

КАППЕЛЬ
Владимир Оскарович
1883–1920

КАППЕЛЬ

Валерий Поволяев

ЕСЛИ СУЖДЕНО ПОГИБНУТЬ

РОМАН

ACT
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
Транзиткнига
Москва
2004

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П 42

Оформление
В. И. Харламова

Поволяев В. Д.

П 42 Каппель: Если суждено погибнуть: Роман / В. Д. Поволяев. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 524, [4] с.: ил. — (Белое движение).

ISBN 5-17-024629-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-09291-7 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 5-9578-0984-5 (ООО «Транзиткнига»)

Новый роман современного писателя-историка Валерия Поволяева посвящен беспощадной борьбе, развернувшийся в России в годы Гражданской войны.

В центре внимания автора — один из самых известных деятелей Белого движения — генерал-лейтенант В. О. Каппель (1883—1920).

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 30.04.2004. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,28.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 2344.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

ISBN 5-17-024629-3
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-09291-7
(ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 5-9578-0984-5
(ООО «Транзиткнига»)

© Поволяев В. Д., 2004
© ООО «Издательство Астрель», 2004



Валерий Поволяев

ЕСЛИ СУЖДЕНО ПОГИБНУТЬ

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГОРЯЩАЯ ВОЛГА

Ночью в Самаре часто раздавалась стрельба — палили то в одном растревоженном углу города, то в другом; слышались крики; по жестяным крышам доходных домов и старых купеческих особняков грохотали сапоги — люди, не боясь оскользнуться и нырнуть вниз, будто черти, носились по крышам, вызывая ругань стариков, страдающих бессонницей. Иногда внизу по грохочущим сапогам били из маузеров, случалось — попадали, и тогда с верхотуры на землю сверзалась ругань, а иногда — сам человек. Летали люди обычно раскорячившись, по-гусиному раскинув ноги в стороны и ловя широко расшеперенным ртом воздух; приземлялись с воем, будто подрезанные шрапнелью «ньюпоры», и затихали среди луж и липких, набухших влагой куртин земли.

Одни говорили, что это шалят оставшиеся в городе офицеры-фронтовики, вторые — что красные гоняют белых (ныне пошло такое деление — на красных и белых, и это вызывало удивление обывателей), третьи вообще все сваливали на осмелевших мазуриков — те совсем от рук отбились, режут всех подряд, даже дамочек,

а потом выпотрошат у них ножиками нижнее белье в поисках драгоценностей.

В Самаре еще с конца семнадцатого года существовала тайная офицерская организация, которой руководил подполковник Галкин. Начиналась она с малого — с десятка фронтовиков, собравшихся отметить день Покрова в трактире Мякинникова, а к маю восемнадцатого года насчитывала уже двести пятьдесят человек.

Это была сила. Только применять ее было пока негде. Но, как говорится, всему свое время.

В самом центре Самары, где через Волгу был перекинут мост, под опорами два офицера, бывших окопника, поймали огромного сома. С бычьей, похожей на большую шайку головой, украшенной длинными мясистыми усами, и глубоко разрубленной у заднего верхнего плавника спиной. Видно, древний сом этот когда-то угодил под винт парохода, но задело рыбину по касательной, выдрало кусок мяса, а хребет не перебило, поэтому сом и остался жив. На горе всякой волжской мелюзге...

Поймали сома на удочку-закидушку, капитан Вырыпаев был по этой части большим мастером, он даже умел ковать рыболовные крючки, раскаливал их до малиновой красноты на медленном огне, затем так же медленно опускал в плошку с ружейным маслом, чтобы крючок набрал твердости и одновременно не утерял вязкости горячего металла, с таких крючьев сомы никогда не сходят, хотя они по этой части большие мастаки. У иного в огромном рту сидит целый якорь от бронированного волжского монитора[1], а сом поездит, поездит немного, подергает хвостом нервно, и глядишь — якоря во рту уже нет.

И бечевку для закидушек Вырыпаев готовил специально — из нитей шелка, скрупулезно сплетая их в одно прочное целое — бечева получалась такая крепкая, что на ней бурлаки, если бы таковые объявились, запросто могли бы тащить баржу.

Грузила Вырыпаев также отливал сам: однажды, будучи в Москве, приобрел он в рядах Китай-города австрийскую форму для «любителей лова рыбы на реке Ла-

уре», как было написано в визитной карточке, приложенной к плавильной форме. Где находится река Лаура, капитан Вырыпаев не знал, даже не слышал про такую, но, видимо, река эта была большая и рыба там водилась великая, раз для грузил сработали специальную форму. Вырыпаев только довольно посвистывал, подкидывая в руке отлитые и остывшие грузила.

— Этой плюшкой запросто можно свалить с ног бегемота, — посмеивался он, — была бы только охота.

Напарником у него был поручик Павлов — огненноглазый, как цыган-степняк, проворный, усатый, насмешливый. Вырыпаев звал Павлова Ксан Ксанычем — Александром Александровичем, значит, Павлов же своего напарника — с подчеркнутой вежливостью «господином капитаном».

Они снимали комнату на двоих у одной старушки, наследницы большого купеческого богатства, которого та лишилась в ноябре семнадцатого года, — остался только большой, на девятнадцать комнат особняк, который кормил и поил ее: старуха Перфильева сдавала ныне комнаты внаем. Брала дорого.

Выбирать не приходилось: все, что стоило дешевле, плохо выглядело, пахло клопами, мышами, кислой капустой и могло наградить вшами. А Вырыпаев и Павлов были одинаково брезгливы и чистоплотны — плохое жилье со вшами им никак не подходило.

Они вместе воевали, вместе чуть не попали в плен, но счастливо избежали его, откатились на восток и на одной из узловых железнодорожных станций едва не были растерзаны восставшими солдатами. Солдат взбесило, что и капитан, и поручик отказались снять с себя погоны.

Выручил незнакомый полковник Синюков, приехавший на станцию на автомобиле, за неимением бензина заправленном спиртом. Автомобиль, весело пукнув синим спиртовым взваром, обдал солдат вкусным духом, в окно машины высунулся толстый ствол «люськи» — английского пулемета, хорошо знакомого фронтовикам под названием «льюис», следом высунулась голова

с красными, блестящими от выпитого спирта глазами, рявкнула свирепо:

— Эй, славяне!

Солдаты, наставившие на офицеров-фронтовиков стволы винтовок, оглянулись, увидели толстый «люськин» кожух и оробели — с их тонкоствольными винтовочками против пулемета не попрешь.

— Чего? — просипел один из солдат, наиболее смелый.

— Я тебе, рыло рязанское, сейчас так чевокну, что у тебя ноздри разом окажутся в желудке... А ну, руки! — скомандовал ему полковник.

Мужик, обозванный «рылом рязанским», поспешно поднял руки. В правой он держал винтовку, подхватив ее пальцами под ремень, и не выпускал.

— Все поднимите руки! — прорявкал полковник. — Винтовки бросьте под ноги!

Солдаты — их было восемнадцать человек, поручик Павлов посчитал специально, — пошвыряли винтовки под ноги, в грязь, и поспешно вздернули руки.

— А теперь отойдите от господ офицеров на двадцать метров, — приказал полковник.

Солдаты замялись. Начали переглядываться друг с другом.

— Ну! — рявкнул полковник и дал короткую очередь из «люськи». Толстое полено пулеметного ствола, забранное в плотный кожух, украсилось диковинными лиловыми цветами.

Пули прошли поверх солдатских голов. Несколько человек плюхнулись коленями в грязь.

— Правильно, — одобрил их действия полковник, пригласил офицеров: — Пожалуйте в мотор, господа!

Когда Вырыпаев и Павлов уже сидели в автомобиле, несколько солдат, осмелев, в едином порыве двинулись к машине. Кто-то выкрикнул зло:

— Золотопогонники!

— Назад! — предупреждающе рявкнул полковник и, новой очередью из «люськи» отогнав солдат, скомандовал шоферу: — Вперед! Не мешкай!

Тот, не оборачиваясь, просипел простудно:

— Вы же хотели узнать, когда прибудет эшелон с казачьим полком.

— Я сказал: вперед!

Шофер скрежетнул рукоятью перевода скоростей, тронул машину с места, полковник глянул в окошко — не бегут ли следом за ними солдаты, и, разом успокоившись, протянул спасенным офицерам руку:

— Полковник Синюков!

— Капитан Вырыпаев!

— Поручик Павлов!

— Что же вы, господа, так неаккуратно сунулись на станцию, а? — укоризненно проговорил полковник. — Сюда, к солдатам, без пулемета ныне нельзя. Так недолго и голову потерять. Нехорошо, господа, нехорошо.

...Полковник Синюков теперь также находился в Самаре, образ жизни вел скромный, иногда появлялся в бывшем купеческом клубе, где сегодня располагалась столовая благотворительного общества Волжского коммерческого пароходства и можно было отведать качественной, еще довоенного производства, монопольки, свежей пробойной и дивной паюсной икры, кулебяки с вязигой и нежной, приготовленной на пару стерляди. Хороши были и жареные сомовьи плестки — хвосты. Самое вкусное, что есть у сома, — плесток. Хвост, которым он лупит по воде, оглушая мелюзгу, а потом проглатывает ее сотнями, втягивает в себя, словно пожарный брандспойт воду.

Пласток у сома — нежный, вязкий, тает во рту, жарить его можно без масла, а если к этому жареву подать еще картошку фри, подрумяненную до корочки, либо пюре-растирушку по-крестьянски, на парном молоке, то никакая стерлядь под сметанной крышей с этим блюдом не сравнится.

Полковник Синюков к жареным сомовьим плесткам относился положительно.

Сом насадился на крючок прочно — хапнул его так, что зубастое острие крюка просекло ему голову едва ли

не наполовину. Тем не менее сил от этого у сома не убавилось, он натягивал самодельную бечевку до звона — та звенела, словно гитарная струна, а вода под опорами моста вибрировала, будто наверху, по настилу шел бронированный поезд.

— Хоть и крестьянское это дело — ловить рыбу, а люблю я его, — блестя белыми зубами, признался Вырыпаев.

— Ну почему крестьянское? — не согласился с ним Павлов. — Не только. Господин Тургенев любил взять в руки удочку, граф Толстой Лев Николаевич также не брезговал... — Поручик неосторожно перехватил пляшущую бечевку, намотал ее на руку, чтобы удобнее выволочь сома с мелкотья на песок берега, но Вырыпаев поспешно сдернул бечевку с его руки.

— Поаккуратнее, Ксан Ксаныч, — предупредил он. — Сомы бывают сильны, как орудия крупного калибра. Запросто может отрезать вам кисть.

— Свят, свят! — Поручик перекрестился. — Такое даже на фронте не всегда случается.

Они значительно выдохлись, прежде чем сом оказался на берегу. Но и на берегу он не успокоился — изгибаясь толстыми кольцами, заскакал, будто собака, по камням, зацепился бечевкой за лодку и сдернул ее с места.

— Нет, друг, дело так не пойдет, — сказал поручик, подбирая на берегу подходящий камень, — слишком уж буйно ты себя ведешь!

Он хряснул сома камнем по большому плоскому темени один раз, потом другой, третий. Сом согнул в баранку свое мощное тело, враз становясь старым, кожистым, слабым, хлопнул хвостом по борту лодки и затих.

— Во, поспи немного, — одобрил действия сома поручик.

Откуда-то появился дедок с просветленным взором и всклокоченной редкой бородкой, на лацкане ветхого рубчикового пиджака у него висела старая солдатская медаль, которую давали еще за Плевну[2]. Дедок вгляделся в сома и воодушевленно потер руки:

— А ведь это он, гад!

— Кто он? — не понял Вырыпаев. — Объясни, служивый!

— Да этот сом корову мою доил.

— Как это? — опять не понял Вырыпаев.

— Очень просто, ваше благородие. Пастух у нас забирает коров прямо с улицы, пригоняет сюда же, на улицу. Все буренки возвращаются полные, а моя каждый раз — пустая. Все время пустая. Ну, начал я, значит, за нею следить — неужели в городе нашелся такой оглоед-разбойник, который на глазах у всего честного люда доит мою корову? Ну, думаю, я его, этого любителя парного молочка, обязательно перепоясшу ломом, — дедок храбро взмахнул своей коричневой, в темном крапе рукой, — он у меня долго будет помнить это молочко.

— Неужто сом? — догадался Павлов.

— Сом, — кивнул дедок. — Вечером, когда пастух возвращался со стадом домой, то, естественно, гнал его вдоль Волги, по берегу. Коровы-то и заходили в воду, чтобы напиться. И моя разлюбезная это делала — в аккурат вот здесь вот, у моста. Последний раз я не поленился, залез в воду ну и заметил, как от коровы сом отвалил... Вот гад!

— Молоко отсасывал? — Павлов удивился. — Да у него же острые зубы!

— Нет у него никаких зубов, ваше благородие, только щетка. — Дедок покосился на сома, лежавшего у лодки. — Когда этот вражина подохнет, сами увидите, что у него нет зубов. Вместо них — щетка. Правда, подохнет он не скоро, через несколько часов — лишь на закате. Сом ведь как змея — живет до захода солнца. Как солнце зайдет, так он и подохнет.

Дедок подошел к сому, нагнулся, ухватил его за один ус, подергал. Сом в ответ клацнул огромными жабернымн крышками.

— Что, служивый, создала природа чучело? — не удержался от реплики поручик. — А?

— Бог много чего создал. Сом старый, годов пятнадцать ему будет.

— На жарево годится?

— Он и на котлеты годится. Очень вкусно это — котлеты из сомятины. С луком. М-м-ме! — Губы у дедка враз сделались маслеными, он почмокал, подвигал ими, сам становясь похожим на сома. — При определенных навыках и уху можно такую сгородить, что в ней ложка стоймя будет стоять. Не хуже, чем из осетрины. — Дедок выпрямился, вид его сделался озабоченным. — А вам, ваше благородия, подводу надобно-то добыть, чтобы вражину этого домой транспортировать. На себе вы его не доволокете.

— А мы и не собираемся волочь, — сказал Вырыпаев.

— Правильно, — одобрил дедок, — не офицерское это дело.

— Может, у вас есть подвода?

— У меня сейчас нет, она на хутор с бабкой отбыла, а вот у соседа есть. Могу попросить у него в порядке взаимной выручки. А вы ему за это сомовьего мясца подкиньте... Годится?

— По рукам! — сказал Вырыпаев, громко хлопнул своей ладонью о ладонь дедка. Он действовал как заправский купец, купец и добытчик, уже даже совсем не по-дворянски бить ладонью о ладонь.

Через двадцать минут на телеге, запряженной старым Воронком, чья шкура была сплошь изряблена шрамами от жестокого кнута, клочками седины и пятнами старых заживших язв, появился дедок и лихо скатился с песчаного взгорбка.

— Транспорт подан! — объявил дедок, остановившись около офицеров.

Втроем, с большим трудом, сопя и пачкаясь сомовьей слизью, они взгромоздили рыбину в телегу.

— Однако здоров, вражина, — довольным тоном произнес дедок, — отъелся, нехристь, на коровьем молоке.

Прошло еще двадцать минут, и сом был доставлен во двор купеческого особняка старухи Перфильевой, где

квартировали офицеры. Павлов взял у прислуги топор и разрубил им живого, мелко подергивающего хвостом сома на несколько частей. Плесток отложил в сторону. С кухни тем временем принеслась грудастая ширококостная молодуха. Павлов отдал ей плесток. Повернулся к деду:

— Выбирай, служивый, любую часть!

Дедок с сожалением проводил молодуху, унесшую с собой плесток, и, вздохнув по-ребячьи, ткнул пальцем в здоровенный кусок, килограммов в десять, не меньше.

— Вот эту!

— Бери! — разрешил Павлов. Добавил, усмехнувшись: — Гонорар.

— Гонорарий, — хмыкнул дедок, с кряхтеньем подхватил кусок и поволок его к телеге. Уложил на старый чистый мешок — бабка недавно выстирала, словно бы специально, — сверху «гонорарий» прикрыл другим мешком, таким же старым и чистым, повернулся к офицерам и поклонился им в пояс. Произнес чисто, звучно: — Благодарствую!

Павлов в ответ махнул рукой; на жестком, с подобранными щеками лице его возникло что-то размягченное, далекое, словно бы дедок этот возник из его детства.

— Поезжай!

— А вы это... ваше благородие, вы мой адресочек запомните. Волжский проулок, три... Вдруг я еще понадоблюсь когда-нибудь.

— Как зовут-то тебя, дед?

— Игнатий Игнатьевич я. Фамилия — Еропкин.

Самара, несмотря на ночную стрельбу и мазуриков, жила в общем-то тихо. Война — обычная кровавая бойня, переросшая в самую страшную и беспощадную из войн, грохотала на севере и на юге, на западе и на востоке — везде, словом. А в Самаре все же не грохотала. Здесь и организация большевиков была сильная, и поскольку она ощущала свою силу, то хорошо знала, что при случае может сделать, — в общем, большевики

здешние были миролюбивыми, а руководил ими человек крепкий — Валерьян Куйбышев.

Впрочем, офицеры, квартировавшие в городе, тоже были не слабенькими и так же, как и большевики, понимали, что произойдет, если сила схлестнется с силой. От этой ошибки вспыхнет и сгорит весь город.

А кругом шла война. И понятно было как Божий день — Самару она стороной не обойдет.

В городе появились чехословаки. То ли беглецы, то ли лазутчики, то ли просто обычные побирушки, шатающиеся по дорогам войны, — не понять.

В своих куцых, словно бы специально укороченных шинелях, в кепи с отстегивающимися «ушами» и матерчатыми козырьками, горластые, кадыкастые, каждый вооруженный двумя, а то и тремя ложками и увесистым котелком — главным своим оружием, они, даже если их и собиралось мало, производили впечатление большой грачиной стаи. Стаи, которая любит погалдеть, пожрать и погадить под ближайшим деревом. Ходить в сортир не обязательно: Россия — это ведь не Германия.

В плен их было взято видимо-невидимо, воевать под немецкими знаменами они не хотели да и побаивались, поэтому в плен чехословаки сдавались пачками — батальонами и даже целыми полками.

Лозунг, провозглашенный российским государем Николаем Александровичем: «Защитим братьев-славян!», чехи приняли на «ура». Поскольку пленных было много, а к немцам они относились так же, как и русские, было решено сформировать Чехословацкий корпус численностью в сорок тысяч человек — три дивизии.

Чехословаки очень неплохо дрались в середине семнадцатого года на Юго-Западном фронте, спасая самого генерала Корнилова во время крупнейшей наступательной операции, когда солдаты, разложенные братаньем и агитаторами, оставляли свои окопы и на фронте образовалась огромная дыра. Но после того как в Петрогра-

де грянул залп «Авроры», чехи решили перейти в подчинение украинским властям.

В плен ни немцам, ни австрийцам чехословаки старались не сдаваться — и те, и другие их вешали без всякого суда и следствия. Как изменников. Когда немцы выдавили чехословаков из «самостийной» и они оказались в России. Хорошо организованные, любящие вкусно поесть и пощипать за толстые зады кухарок, превосходно вооруженные — нешуточная сила в только зародившейся Гражданской войне, где счет потерь пока шел на десятки... До тысяч дело не докатилось — это было впереди.

Троцкий предложил чехословакам вступать в Красную Армию.

Те отрицательно покачали головами:

— Ни! Быть карателями, как латыши и эстонцы, мы не хотим, это противно нашему характеру. У нас на то жестокости не хватит.

В это время к Ленину обратилась Франция, которая просила сохранить хотя бы капельку верности союзническому долгу — несмотря на Брестский мир, уже заключенный, по которому Россия позорно выбыла из войны как проигравшая сторона, — и передать Чехословацкий корпус во Францию, на фронт, где немцы в это время давили так, что из французов только пузыри лезли.

Советская Россия согласилась: чехословаки были уже не соринкой в глазу — целым бревном. Такую опасную силу иметь у себя под боком, в доме, — номер смертельный. Оставалось решить один вопрос: как чехословаков переправить во Францию?

Самый простой путь лежал через Архангельск. Там был хороший порт, корабли Антанты отлично знали туда дорогу, она была проложена на всех морских картах, однако имелось одно «но»: чехословакам надо было предоставить коридор, который проходил через Москву, а кроме того, дальнейшая часть пути пролегала в непосредственной близости от Петрограда. А что, если этим ребятам вздумается пограбить две столицы? А заодно и сменить политическую власть?

Решили разделить чехословаков на четыре группы и отправить их в Европу дальним путем — через Владивосток.

Решение это стоило России дорого. Думаю, что Гражданская война не была бы такой затяжной и лютой, если бы чехословаков во Францию отправили через Архангельск или даже через Мурманск (тоже неплохой вариант). И что еще было плохо — эшелоны чехословакам почти не давали, а если давали, то при каждом удобном случае вагоны, которые были сплошь в дырах, загоняли в тупики, а самих пассажиров держали на голодном пайке...

И стали чехословаки расползаться по всей России. Будто парша по капустному полю.

В тот вечер в купеческом клубе появились трое чехословаков. В офицерской — старой, но вычищенной и отутюженной — форме. Держались они особняком, по-русски говорили хорошо, хотя речь их была какой-то каркающей, замедленной — русские люди по-русски так не говорят.

Чехословаки заказали пиво — в Самаре традиционно варили хорошее пиво — и кулебяку с рыбой. На большее не решились: может, денег у них не было, а может, желудки не принимали икру и отварную севрюгу.

Павлов внимательно осмотрел чехов:

— Не пойму, то ли это друзья-союзники, то ли враги-противники.

— А сейчас никто ничего не может понять, Ксан Ксаныч, все перемешалось: полосатое выдают за пятнистое, розовое за синее и так далее. Вы слышали, генерал Толстов с казаками осадил Астрахань?

— Слышал другое: атаман Дутов поднимает оренбургское казачество. На Дону тоже все готово вспыхнуть... Там, похоже, вообще затевается что-то грандиозное.

— Пора, пора, Ксан Ксаныч. Не то власть нынешняя уже здорово надоела.

— А появление чехословаков — это штука знаковая. Это нам словно кто-то знак подает.

— Куйбышев собирает свои части в кулак. Тоже знак.

— Правильно делает, грамотно. Если из оренбургских степей навалится Дутов со своими казаками, то Куйбышеву надо будет выставлять очень прочный заслон. Вот он и собирает своих людей в кучу.

— А Дутов навалится обязательно.

— Да, Ксан Ксаныч, Дутов навалится обязательно. Хотя бы ради пива из самарских пивоварен. — Вырыпаев не удержался, усмехнулся. — Атаман очень любит пиво.

— Как и эти вот... с длинными козырьками. — Павлов продолжал бесцеремонно разглядывать чехословаков.

— Вы напрасно относитесь к ним с неприязнью, дорогой друг. Думаю, чехословаки для нас — больше друзья, чем освобожденные из сибирского плена, из лагерей, немцы.

— Господин капитан, есть хорошая поговорка: «Поживем — увидим». Время все расставит по своим местам. — Павлов приподнялся на стуле и сделал приветственный жест рукой: — Господин полковник!

В дверях показался Синюков — круглоголовый, с красными, будто бы посеченными ветром щеками. Увидев Павлова, полковник кивнул, направился к столику, за которым сидели поручик и капитан Вырыпаев. Поздоровавшись, Синюков голодно блеснул глазами и потер руки:

— А я, господа, проголодался так, что могу съесть не только целую стерлядь — готов съесть пароход вместе с колесами и рулевым управлением. — Он пощелкал пальцами, подзывая к себе «человека» — кудрявого малого в желтой атласной рубахе, сделал ему заказ и, опершись локтями о стол, строго глянул на офицеров: — Ну-с, об чем ведем речь?

— Да вот, — Павлов показал глазами на чехословаков, — обсуждаем появление иноземцев в глухой Самаре.

Полковник покосился на чехословаков, прогудел в кулак:

— Это все неспроста.

В клубе было дымно. Тихий рокоток переходил от стола к столу. Из соседней комнаты доносилось звонкое костяное щелканье. Там офицеры, наряженные в штатские кургузые пиджачки — по революционной моде — и кителя со споротыми погонами, резались в бильярд.

Двое официантов принесли большой, натуженно пыхтящий — словно бы он готов был взорваться — самовар и поставили на соседний стол, где собралась группа однополчан-уланов. Уланов всегда можно было узнать по прямой, словно бы натянутой на доску спине и замедленной походке.

Хлопала входная дверь.

Вот она хлопнула в очередной раз, и на пороге появился человек в деповской форменной тужурке с петлицами на воротнике, при красной повязке, охватившей рукав. На ремне у деповского висел наган в большой кожаной кобуре. Медленно оглядев зал, деповский заметил чехословаков и, повернувшись к двери, приоткрыл ее. На пороге возникли двое рабочих с винтовками. Деповский — старший в наряде, скорее всего, представитель городского ревкома — кивнул на чехословаков. По выражению его лица было понятно, что произойдет дальше.

Рабочие подошли к столику, где сидели чехословаки.

— Допивайте, ребята. пиво, — по-простецки сказал им один из рабочих, седоусый, с косматыми серыми бровями, стукнул прикладом винтовки о пол, — а кулебяку эту прихватывайте с собой, каждый по куску, и потопали с нами.

Чехословаки поспешно допили пиво и, ежась, поднялись. Рабочие увели их.

— Убей меня Бог, не пойму, как они здесь оказались. — Полковник налил водки в рюмку, залпом выпил. — Большевики же яро ненавидят их... Как пропустили? Ведь по России расставлено столько кордонов!

— Вот потому они их и арестовали.

— Исправили свою ошибку, значит?

— Так точно, господин полковник!

Полковник крякнул, подцепил на вилку крепкий, до сего времени успешно ускользавший от уколов рыжик, выпил и так смачно захрустел соленым грибом, что Вырыпаеву и Навлову захотелось сделать то же самое.

В соседнем помещении, откуда доносился стук бильярдных шаров, послышался шум, — очевидно, там играли по-крупному.

Синюков пальцем подозвал к себе кудрявого малого, стоявшего неподалеку от них с перекинутым через руку полотенцем, ткнул рукой в дверь бильярдной:

— Узнай, что за шум, а драки нету?

— Уже узнал.

— И что же?

— Прапорщик Дыховичный проигрался вдребезги. Теперь на кону «русская рулетка».

Полковник присвистнул и осуждающе покачал головой:

— Молодые дураки! — Отведя голову назад, спросил: — И сколько же раз он в случае проигрыша должен крутить барабан револьвера?

— Три.

Прапорщику Дыховичному в последнее время вообще не везло: его оставила любимая женщина, укатила в Астрахань с капитаном единственного парохода, плавающего из Самары на Каспий и по Каспию в Дербент; из Парижа пришло письмо, что там, в квартире на бульваре Сюше, умерла мать прапорщика, бывшая замужем за колонелем[3], интендантом французской армии. Дыховичный скрипел зубами, мечтая добраться до колонеля — подозревал, что интендант приложил руку к этой трагедии. В довершение всего те несколько золотых пятнадцатирублевок, которые прапорщик отложил на черный день, в последние два часа перешли в карман другого человека — жгучего черноволосого корнета Абукидзе, мастера лихих финтов на бильярдном столе.

То, что корнет проделывал с шарами, вызывало удивление даже у опытных бильярдистов: вперившись

глазами в катящийся по зеленому полю шар, он мог остановить его либо заставить свернуть в сторону. Иногда даже под прямым углом.

Такого проделывать в Самаре не мог никто. Где корнет обучился таким штучкам, было неведомо — вполне возможно, что брал уроки у великого Гарри Гудини.

Прапорщик тоже мог неплохо лупить кием, иногда с ходу загонял в лузу сразу три шара, но все равно от Абукидзе отставал. Удар у корнета-грузина был и хитрым, и железным одновременно. Он и сейчас упрямо наседал на обобранного Дыховичного. Хрясь! — и желтоватый костяной шар, украшенный цифрой 10, отскочил от нафабренного мелом кончика кия сантиметров на двадцать, по пути неожиданно остановился, будто бы споткнулся о преграду, затем медленно, под прямым углом покатился в сторону, в среднюю лузу.

Он катился все медленнее и медленнее, словно по пути терял свою силу, перед самой лузой сила в нем вообще сошла на нет, он должен был бы остановиться, но не остановился — в последний момент вдруг обрел резвость и буквально спрыгнул в лузу.

Вот чудеса! Колдовство какое-то!

Собравшиеся, затаив дыхание, следили за шаром, и, когда тот нырнул в сетку, раздался сожалеющий вздох — собравшиеся сочувствовали прапорщику.

— Ну что ж, осталось забить еще один шар, — довольно молвил Абукидзе. — За этим дело не станет. — Голос у него был высоким, с резковатыми бабьими нотками. Абукидзе глянул насмешливо на прапорщика и опытным глазом, будто Наполеон, окинул бильярдное поле.

Прапорщик в ответ молча кивнул.

Напоследок корнет решил слихачить — поразить собравшихся королевским ударом, когда шар превращается в снаряд и даже способен обломить бортик у бильярдного стола. Абукидзе обошел стол кругом и выбрал один шар, очень простенький шар, который можно было не то чтобы кием — пальцем закатить, такая примитивная это была подставка.

Абукидзе ударил резко, с лету, но шар, обычно послушный, делающий все, что желал хозяин, неожиданно позорно оторвался от сукна, пронесся с полметра по воздуху и вновь шлепнулся на бильярдное поле... Проскочив по всему пространству и не зацепив ни одного шара, он ударился о бортик и, отскочив назад, задел за оказавшийся на его пути шар.

Корнет сыграл так, как не играет даже ребенок — более чем плохо, и все же выдержка не изменила ему, и он с благодушной улыбке растянул губы, украшенные тоненькой ниточкой усов.

— Мой подарок вам, прапорщик, — сказал он, обращаясь к Дыховичному.

— Не надо мне никаких подарков, корнет. Подарки при такой игре оскорбительны... Возвращаю его вам. — Дыховичный, почти не глядя, ткнул концом кия в шар, и тот, загромыхав глухо, ткнулся в один шар, потом в другой, в третий и остановился. Дыховичный сделал легкий поклон в сторону Абукидзе.

— Больше, господин корнет, прошу не делать мне никаких подарков.

— Больше не буду, — с усмешкой пообещал корнет, неторопливо обошел бильярдный стол — чувствовал, стервец, что на его улице наступает праздник, отстрелил взглядом несколько шаров, поделил их на свои и чужие, примерился к одному, но не ударил, выпрямился с кием в руке — шар чем-то не понравился ему, остановился у другого шара.

Тишина возникла такая, что звук пролетевшей мухи был похож на рев подбитого «ньюпора», устремившегося к земле.

Корнет покосился в одну сторону, потом в другую — такая тишина ему нравилась, еще раз окинул взглядом зеленое суконное поле и, подняв кий, примерился ко второму шару.

Тишина сделалась еще более прозрачной, натянутой, тревожной, от подобной тишины у фронтовиков седеют виски, а в ушах начинает заполошно биться кровь: они

прекрасно знают, что это такое — угрюмая звонкая тишина, в которой запросто может остановиться сердце.

Полковник Синюков первым засек эту опасную тишь, исходящую из бильярдной комнаты, потяжелел лицом и произнес короткое, похожее на пыханье мигом сгоревшего пороха:

— Ох!

— Что-то там происходит, — произнес Вырыпаев, лицо у него тоже сделалось тревожным. — Отвратительная штука — тишина, в которой слышно, как летают мухи.

За столом у них появился четвертый человек — подполковник Генерального штаба Каппель, с темно-русыми вьющимися волосами, аккуратной бородкой и внимательным взглядом. Говорил Каппель мало, если же говорил, то только по делу. Был он одет в чистый, хорошо отглаженный китель, с которого были спороты погоны; справа, на кармане, под клапаном, виднелись две крохотные дырочки — следы серебряных академических знаков. Каппель тоже прислушался к тишине, установившейся в бильярдной комнате.

— Это все от безделья, от того, что люди не знают, куда деть себя, — сказал он, — все мы оказались выбитыми из седла. Все без исключения.

— Верно, — Синюков вздохнул, налил себе очередную стопку водки, предложил водки и Каппелю, но тот отказался, — мы были нацелены на войну до победного конца, а в результате получили сапогом по морде. Тому, кто готовил позорный Брестский мир, я бы оторвал все, что висит ниже пояса, — полковник, ожесточась, сжал пальцы в кулак, оглядел побелевшие костяшки, словно хотел ими ткнуть кого-нибудь из сидящих за столом, — или бы вообще всадил пулю между глаз... Ох, всадил бы.

— История всадит эту пулю, — спокойно отозвался Каппель, — история ничего не прощает. За все потребует ответа.

— Ну, те, кому надобно отвечать, на это просто-напросто плюют, — поморщившись, будто от боли, произнес Вырыпаев.

— Совершенно напрасно. Я бы на месте этих господ-товарищей истории очень боялся. И относился бы, извините за дамское словечко, трепетно. Шляпу при встрече поднимал бы за два квартала...

Тем временем корнет Абуладзе ударил по шару. На этот раз он продемонстрировал удар настоящего мастера — шар точно пошел в лузу, по дороге столкнулся со вторым шаром, который сделал неожиданный рывок в сторону и нырнул в другую лузу. У Дыховичного не осталось ни одного шанса на выигрыш.

Он побледнел, по-боксерски подвигал нижней челюстью из стороны в сторону, словно ожидая прямого удара в лицо, глянул корнету в глаза.

Тот приподнял плечо и произнес с зажатым, будто заиканным куда-то в грудь смешком:

— Крутите барабан, прапорщик, исполняйте свой долг.

— От исполнения долга я никогда не отказывался. — Прапорщик положил кий на стол, достал из кармана аккуратный револьвер, взятый им на фронте у убитого оберста, с тихим клацаньем разъял ствол. Револьвер был ухожен, в пустых гнездах барабана не было ни одного патрона.

Прапорщик протянул руку к собравшимся.

— Один патрон, пожалуйста! Взаймы... Прошу вас!

Никто не дал прапорщику патроны, ни одного... Оружие было у многих, и патроны были. Люди отводили глаза в сторону и отрицательно качали головами. А артиллерийский поручик Булгаков подошел к корнету и попросил:

— Сведите все к шутке, пожалуйста! Не хватало еще ради каких-то глупостей играть в «русскую рулетку».

Вместо ответа Абуладзе усмехнулся, произнес жестко и одновременно высокомерно, с некоей брезгливостью:

— Играть надо лучше! — Сунул руку в карман, вытащил оттуда револьвер — другой системы, не такой, как у Дыховичного, но того же калибра. Вытряхнул из

барабана один патрон. — Держите! — произнес он убийственно вежливым тоном.

Дыховичный перехватил патрон, сунул его в барабан револьвера, пальцем крутнул барабан и в ту же секунду поднес ствол к виску. Нажал на курок.

Звонко клацнул боек, всаживаясь в пустоту гнезда, — всадившись, отскочил назад, на исходную позицию. Дыховичный снова крутнул пальцем барабан и вторично нажал на спусковую собачку револьвера.

Выстрела опять не последовало. На щеках Дыховичного появились розовые пятна, он словно начал оживать, корнет Абуладзе, наоборот, побледнел, на лбу у него выступили капли пота. Дыховичный вновь резким движением пальца прогнал барабан вокруг оси, приставил ствол к виску и надавил на курок.

По тому, как дрогнул воздух в бильярдной, стало понятно — сейчас произойдет непоправимое. Раздался выстрел.

Лицо у Дыховичного сделалось плоским, как доска, даже нос и тот втянулся внутрь, остались две черные страшные дырки ноздрей. Пуля снесла Дыховичному половину головы, он, выронив револьвер, взмахнул руками и грохнулся спиной на пол.

Услышав выстрел, полковник Синюков выскочил из-за стола и стремительно — от полнеющего тела трудно было ожидать такой прыти и слаженности движений, но что было, то было, и такое проворство вызывало уважение: Синюков умел в пиковые минуты преображаться, — в следующее мгновение влетел в бильярдную комнату.

Вернулся оттуда мрачный, вытер руки салфеткой.

— Прапорщик Дыховичный... — сообщил он. — Самострел.

— А причина? — спросил Каппель. Он не знал, что происходило в бильярдной.

— Формально — бильярдный проигрыш. Проиграл этому подонку из Грузии, корнету Абуладзе. На деле же причина более глубокая. Потеря ориентиров, потеря це-

ли и как окончательный результат — потеря России. Что может быть хуже!

Лицо у Каппеля потемнело, он отставил в сторону тарелку.

— Скоро начнется лютая война, — неожиданно произнес он, — очень затяжная, жестокая.

Синюков на слова Каппеля не обратил внимания.

— Жалко Дыховичного, — сказал он. — Славный был молодой человек.

— Славный, — согласился Каппель.— Я с ним сталкивался.

— Половину бильярдной забрызгало кровью. — Синюков проводил взглядом трех половых, которые бегом с шайками в руках проследовали в бильярдную комнату. — Вот и пролил Дыховичный кровушку свою во славу России. — В горле у Синюкова что-то булькнуло, глаза сделались влажными.

Люди начали подниматься из-за столов: клуб могли окружить ревкомовские патрули, оставаться здесь было нельзя. Если окружат — начнется такая матата, что... Проверка документов, обыски, чужие пальцы будут выворачивать наизнанку портмоне, а матросы с потными чубами, прилипшими к крутым лбам, станут составлять протоколы. Попадать в кастрюлю с этим супом не хотелось никому.

К черному ходу, чтобы покинуть клуб через него, поспешил и корнет Абукидзе. Тонкие губы его были плотно сжаты, глаза полуприкрыты тяжелыми веками, вид он имел какой-то болезненный, сонный. Корнета перехватил прапорщик Ильин, однополчанин Дыховичного по отдельному пехотному батальону.

— Ну что, корнет, довольны? — враждебно спросил он.

Абукидзе приподнял одну бровь.

— Дыховичный рассчитался за проигрыш, и только, — сказал он.

— И только?

— Ничего другого за этим нет. Ни ссоры, ни недомолвок, ни неприязни.

— Из-за каких-то жалких бильярдных костяшек вы позволили человеку расстаться с жизнью? Не остановили его?

— А вы где были, прапорщик? Могли бы остановить.

— К сожалению, я появился только что, — голос у Ильина зазвенел горько, — роковой выстрел уже прозвучал.

— Так что я здесь ни при чем. — Абукидзе ловко обогнул прапорщика и вышел на улицу.

Утром следующего дня по городу на простой телеге, едва прикрытой куцым брезентовым полотном, провезли тела трех чехословаков, арестованных накануне в клубе: их сочли лазутчиками и расстреляли во внутреннем дворике — специально огороженном, глухом — городской тюрьмы.

На нескольких заборах, примыкающих к зданию ревкома, появились распоряжения, в которых населению было объяснено, за что были расстреляны «братья-славяне».

— «За шпи-о-наж», — по слогам прочитал Павлов, остановившись у одного из таких распоряжений.

— Ну все, — мрачно проговорил Вырыпаев,— теперь жди сюда гостей. Странно, что Куйбышев, осторожный человек, пошел на это.

Куйбышева в Самаре не было, он находился в шестидесяти километрах от города, пытался организовать оборону: сведения о том, что со своими казаками поднялся атаман Дутов, взял Оренбург и теперь идет на Самару, были проверенными. Атамана предстояло во что бы то ни стало остановить.

— По мне, чем хуже — тем лучше, — заметил Павлов, сорвал листок с распоряжением с забора, хмыкнул одобрительно: — А грамотно научились писать, стервецы. Складно. Литературная гостиная, а не ревком.

— Ах, Ксан Ксаныч... — укоризненно произнес Вы-

рыпаев,— скоро начнется такое, что люди вообще про грамоту забудут.

— И что же начнется, господин капитан?

— Самое страшное из всего, что может быть — гражданская война.

— По мне, я уже сказал: чем хуже — тем лучше. Я не приемлю новую власть. Впрочем, старую, Керенского, Гучкова и прочих, вплоть до современного государя, тоже не очень жаловал. Слабые все это люди... Были... Не люди, а людишки. — Павлов скомкал революционное распоряжение, швырнул его под ноги. — Были... Все в прошлом.

— Что же вы, Ксан Ксаныч, — вновь укоризненно проговорил Вырыпаев, вскинул голову. — Ощущаете, как сильно пахнет в городе сиренью?

— Я не только это ощущаю, я еще слышу, как поют соловьи.

Над Самарой плыли розовые летние облака. Ничто не предвещало ни войны, ни беды, но люди чувствовали и войну, и беду, а одно неотъемлемо от другого, свилось в тяжелый черный клубок. Уйти от этого накатывающегося вала было невозможно.

На берегу реки Самары стояли со сбитыми замками купеческие лабазы — в них глазастые патрули ревкома искали припрятанные пулеметы, но ничего, кроме небольших запасов пшеницы-перерода и проса, не нашли, обнаружили также съеденные мышами корабельные канаты. Целые бухты смазанных салом канатов — чтобы лучше скользили — со стальным проводом, проложенным внутри канатов для прочности, были съедены до самой середки. На земле лежала голая, с приставшей трухой проводка, и все.

Кто-то испохабил памятник Александру Второму — белой краской покрасил покойному самодержцу усы, и это почему-то вызывало истерический смех у залетных матросов, охранявших ревком. Сами матросы с удовольствием трескали в Струковском саду моченые арбузы и очень хвалили продукт, запивали его водкой

водкой неизвестного производства. Беда бедою, а жизнь жизнью. Жизнь шла.

Расстрелянных чехословаков ревкомовцы закопали на Кинеле, на песчаном берегу вздорной, во время летних суховеев становившейся совсем крохотной речушки.

Молодые люди, которым ни войны, ни революции были нипочем, плавали на лодках к живописному камню, откуда и Волга, и степь здешняя просматривались едва ли не до Царицына; гимназисты занимались тем, что ловили в Самаре и в Соке щук-травянок и вели разговоры о будущем. Поговаривали, что офицеров, осевших в Самаре, пошерстят, отберут у них оружие, но этого пока не произошло.

Лето ожидалось лютое — если подуют степные ветры, то сожгут не только все хлебные посадки, сожгут даже огороды, где никогда уже не вырастут ни огурцы, ни помидоры, а мелкие речки Моча, Безенчуг и Чагра высохнут до дна, ничего в них не останется, только пыль, и будут ходить по руслам этих речек задумчивые верблюды в поисках занесенных туда жестким ветром клубков перекати-поля.

Похоронить прапорщика Дыховичного на городском кладбище не позволили — самоубийца! Самарский благочинный высказался против, переговоры ничего не дали, и Дыховичного похоронили за кладбищенской оградой. Благочинный против этого не возражал.

Через два дня после похорон в Струковском саду нашли Абукидзе — корнет валялся в срамных кустах, куда любили оправляться обожравшиеся моченых арбузов матросы, с простреленной головой.

— Собаке — собачья смерть, — узнав об этом, проговорил Павлов, как всегда, резко — он был открытым человеком, без карманов, куда всегда можно что-нибудь спрятать, а потом, в нужную минуту, выудить пару козырных картишек и сделать партию, — он и резко высказывался, и резко мыслил.

— Вы — максималист, Ксан Ксаныч, — по обыкновению мягко произнес Вырыпаев.

Каппель, сидевший с ними за одним столом, деликатно промолчал.

Появившийся с опозданием полковник Синюков, как обычно, был шумен:

— Господа, вы слышали, к Самаре приближаются чехи.

— Значит, все-таки не атаман Дутов, а чехи.

— Не надо было расстреливать тех трех несчастных, любители шпикачек двинулись бы на Казань. — Павлов сжал пальцы в кулак, легонько постучал им по краю стола.

— Что будет делать господин Куйбышев? — спросил Вырыпаев.

— Товарищ Куйбышев, — поправил Синюков. — Для начала попробует подтянуть к городу войска Урало-Оренбургского фронта, который он создал, чтобы защищаться от атамана Дутова.

— Вряд ли успеет, — подал голос молчавший Каппель.

— В Самаре только что создано новое правительство, называется Комуч — Комитет членов Учредительного собрания... Комуч объявил местный ревком вне закона, готов поддерживать советскую власть, но только без большевиков, и командующий Урало-Оренбургским фронтом Яковлев уже перешел на сторону Комуча.

— Браво! — похлопал в ладони Синюков. — Что же вы молчали, подполковник?

Каппель улыбнулся краешком рта:

— Так получилось.

— А почему не слышно выстрелов? — спросил Павлов.

— Выстрелы еще будут. — Каппель улыбнулся вновь, спокойное лицо его посмуглело, глаза обрели блеск, он придвинул к себе тарелку с жареной осетриной, приправленной топленым сливочным маслом и крошеным куриным яйцом, взялся за вилку и рыбный нож, но есть не стал, обвел глазами офицеров. — Создается добровольческая военная дружина. Советую в нее вступить.

Доесть им не удалось. На улице раздалась пулеметная очередь, от грохота выстрелов в клубе задзенькали стекла. Павлов стремительно поднялся, бросился к окну, поспешно оттянул тяжелую темную портьеру.

По улице пронеслась бричка, на козлах сидел парень в нижней рубахе и кожаной фуражке, украшенной красной звездой, в саму бричку был закинут станковый тупорылый «максим». Чтобы пулемет не ерзал по сиденью, его загнали в цинковое корыто, в каких обычно купают детей. Около «максима» возился, что-то крича, крепкий белозубый мужик с растрепанными волосами. Лошадь, запряженная в бричку, была взмылена.

Белозубый красноармеец приложился к пулемету, саданул очередью вдоль улицы — только пыль поднялась да где-то неподалеку заполошно залаяла собака. На соседней улице ахнул взрыв, следом — другой. В обеденный зал клуба вбежал Ильин, отер потный лоб. Выкрикнул:

— Чехи уже захватили мост через Самару!

Новость эта была грому подобна. Хоть и ожидали ее, а все равно она стала неожиданностью.

Пронеслась бричка с пулеметом, и на улице, где располагался клуб, все стихло. А вот на соседней улице стрельба сделалась густой, частой — там ревкомовцы вступили в тяжелый бой с группой прорвавшихся в город чехословаков.

— Эх, друг Дыховичный, вот сейчас ты бы пригодился в самый раз, — пробормотал Ильин, смахивая пот с загорелого лба. — Жаль!

В клубе вновь зазвенели стекла — неподалеку взорвалась граната. Покидать сейчас клуб было нельзя — легко можно попасть под осколок или пулю. Едва ли не все повскакали со своих мест — метались теперь по залу, стараясь угадать, где прозвучал очередной взрыв, лишь Каппель продолжал сидеть на месте, спокойно орудуя вилкой и ножом, словно все происходящее его совершенно не касалось.

Павлов восхищенно глянул на него:

— Ну и выдержка у вас, господин подполковник!

В ответ Каппель махнул рукой:

— Пустяки!

— У меня такое впечатление, что вы очень хорошо знаете, что будете делать завтра.

Каппель не удержался, улыбнулся:

— Совершенно верно, я это очень хорошо знаю.

На улице, стреляя на ходу, пронеслись несколько всадников, одетых в чешскую форму, в плоских фуражках — английских, перехваченных внизу, под подбородком, ремешками, потом неожиданно раздался многоголосый вой.

Вой этот заинтересовал даже Каппеля, он отставил в сторону тарелку, прищурился выжидающе: что за психическая атака?

Разгадка оказалась проста: несколько потных лабазников, чьи амбары недавно шерстили ревкомовцы, гнали по улице усталых мужиков, по виду деповских рабочих. Лабазники размахивали кольями и выли, но близко подступиться к работягам боялись — те были вооружены маузерами, и хотя они не стреляли — похоже, кончились патроны, — все равно подступиться к ним было боязно, и лабазники только выли протяжно да крутили в воздухе дубины. Один из рабочих прихрамывал, мокрое лицо его было тоскливым — понимал, что лабазники не отступятся от них, обязательно достанут.

— Гу-у-у-у! — вопили те, загребая сапогами пыль.

Мимо них проскакали несколько всадников-чехословаков, сверкнул один клинок, потом другой, и рабочие упали — чехословаки зарубили их. Выстрелов не было — магазины маузеров у деповских рабочих действительно давно опустели.

Тот, который прихрамывал, пытался после удара клинком приподняться — половина его лица была окровавлена, лохмот кожи вместе с отрубленным ухом лежал на плече, но лабазники подняться ему не дали, злобно заработали палками. Каппель, увидев это, покачал головой и произнес тихо и грустно:

— Камо грядеши[4], Россия?

В тот день лабазники чуть не изловили самого Куйбышева — если бы не подоспела подмога, убили бы.

Позже, через несколько лет Куйбышев отметил этот факт в своих воспоминаниях: «Меня хотели схватить разъяренные против большевиков обыватели...»

Красноармейцы и ревкомовцы покинули Самару. На дворе стояло 6 июня 1918 года.

Власть в городе окончательно перешла к Комучу — Комитету членов Учредительного собрания, в который вошло пять человек — Климушкин, Нестеров, Вольский, Фортунатов и Брушвит.

Первое, что сделал Комуч, — провозгласил себя единственным законным правительством на «освобожденной территории» — официально, через печать — и объявил мобилизацию в Народную армию.

Красный флаг, реявший над зданием ревкома, чехословаки расстреляли из винтовок, с перешибленным пулями древком он упал на землю. Встал вопрос: какой флаг вешать вместо красного?

Депутат Учредительного собрания Климушкин озадаченно почесал затылок:

— Может, красно-сине-белый? Но это — торговый флаг, этакий намек на то, что мы хотим продать Россию, а мы совсем не хотим ее продавать... Оранжево-черный, Георгиевский? Но это — военный флаг... Мы же совсем не хотим войны, мы — мирные люди. Тогда какой же? Пусть останется красный флаг, цвет нашей крови! — Климушкин оглядел своих товарищей, членов Комуча, и спросил: — Кто «за»?

Руку он поднял первым. Следом за ним за красный флаг проголосовали и остальные — не было ни одного голоса против.

Над зданием Комуча вновь взвился красный флаг.

Дальше Климушкин повел речь совсем неожиданную:

— Большевики утекли из Самары, их нет, но жены-то остались! Жена Цурюпы, жена Брюханова, жена Кадомцева, жена Юрьева...

— Что вы предлагаете? — спросил нетерпеливо Брушвит.

— Арестовать их и выслать к мужьям, в Сибирь... Без права возвращения в Самару.

Так и сделали. Жены руководителей Советов держались тесно, угрюмо, на вопросы не отвечали; у Климушкина, прибывшего поглядеть на них, спросили ехидно:

— Ну что, мануфактура, с бабами теперь будешь воевать?

Климушкин смутился и поспешил ретироваться.

Тогда арестованные жены поперли на конвой:

— Расстреляйте нас! Расстреляйте!

Расстреливать их не стали — обменяли на депутатов Учредительного собрания, арестованных красными в Уфе.

Не только в Самаре новая власть решила жить под красным флагом, но и во многих других городах России. Старый флаг надоел, все, что было связано со старым строем, тоже надоело, народ требовал обновления. В Ижевске и Воткинске восстали рабочие-оружейники — люди с золотыми руками, умеющие и блоху подковать, и с иностранцами разговаривать на «ты»; они прогнали большевиков и решили строить свои Советы. Без большевиков. По улицам ходили с красными флагами, в бой также направлялись с красным флагом, друг к другу обращались прекрасным словом «товарищ», рождающим тепло и чувство общности, единения, главной своей песней сделали «Варшавянку» — с ней, если требовалось, поднимались и в атаку.

Половина рабочих с Ижевских заводов воевала, вторая половина корпела у станков, обеспечивала тех, кто находился в окопах, оружием, боеприпасами.

Атаман Дутов тем временем взял Оренбург, следом — Уфу. Восстал Омск. Восстание там возглавил полковник Анатолий Пепелев — будущий генерал-лейтенант. За Омском восстал Томск. Вскоре заполыхала вся Западная Сибирь. Вспыхнул Северный Казахстан. Там объявились сразу три казачьих атамана, в том чис-

ле и самозваные — Анненков, полковник Иванов-Ринов, полковник Гришин-Алмазов, все — опытные фронтовики. В Забайкалье поднялся есаул Семенов, подмял под себя не только офицеров и часть иркутского казачества, но и монголов, и китайских хунгузов — отпетых бандитов, решивших половить в мутной российской водице свою «рыбку». В Уссурийске начал активно помахивать острой шашкой атаман Калмыков.

Во Владивостоке также вспыхнуло восстание, власть перешла к Временному правительству во главе с эсером Дербером.

Сибирь оказалась заполненной чехословаками. Они вмешивались во все дела, и в первую очередь — громили ревкомы, Советы и гонялись за большевиками, отлавливая их.

Троцкий, обеспокоенный тем, что чехи взяли большую силу, разослал по ревкомам и частям Красной Армии свой приказ: «Все Советы депутатов обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть выгружен из вагонов и заключен в концлагерь».

Оказывается, и тогда слово «концлагерь» было уже в большом ходу.

В Пензе красноармейцы, получив грозный приказ Троцкого, окружили чешский лагерь. Чехословаки схватились за винтовки. Завязался бой. Терять чехословакам было нечего, они находились на чужой территории, и шансов на жизнь у них имелось немного. Чехословаки это прекрасно понимали и дрались, сцепив зубы. В результате разбили красноармейцев и свергли в Пензе власть Советов.

Этого им показалось мало — они передали по железнодорожному телеграфу в эшелоны, идущие на восток, что произошло в Пензе, и объявили Советы своими врагами. В итоге прямо в пути начали восставать чехословацкие эшелоны — сорок тысяч штыков, растянувшиеся на расстояние в две тысячи километров. Действовали

восставшие умело, беспощадно, занимались не только тем, что громили красные отряды, но и грабили...

Брали все — от бабьих юбок и валенок до граблей и сенокосилок. Непонятно только, как они рассчитывали довезти этот товар до своей далекой родины.

На Дону, в Новочеркасске, собрался Круг Спасения Дона — приехали делегаты из ста тридцати станиц. Старики выдвинули нового атамана — генерала Краснова.

Краснов познакомил собравшихся со своей программой: коли уж единой России, как раньше, больше не существует, то Дон должен стать самостоятельной державой со своей властью и органами управления, заключить мирные договоры с Украиной и Германией, помочь Москве, своей бывшей столице, избавиться от большевиков и усадить там на трон нового царя. О Петрограде речь не шла вообще, Петроград казаки не признавали.

«Здравствуй, Царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!» — такой лозунг провозгласил новоиспеченный атаман (Краснов был избран 107 голосами против 13 при 10 воздержавшихся).

Новый атаман предложил собравшимся свод законов — целый пакет, по которому вся власть между заседаниями Круга передавалась атаману. Он командовал Донской армией, регулировал внешние взаимоотношения, утверждал подзаконные акты, если таковые возникали, контролировал исполнение законов, назначал министров и судей.

Флаг был утвержден трехцветный, «полосатый матрас» — сине-желто-красный; герб оставили старинный: голый вооруженный казак, сидящий на винной бочке, как на лошади; гимн утвердили тоже старинный — песню «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон».

Из зала Краснова спросили:

— Почему вы стремитесь к единовластию? Может, лучше создать правительство, которое и распределит между собой обязанности — каждый министр будет тянуть свой возок, а?

Краснов сложил в кармане галифе фигу, но наружу ее не вытащил, ограничился лишь витиеватой фразой:

— Власть атамана на Дону должна быть единоличной — творчество никогда не было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля создал Рафаэль, а не объединенный комитет художников, состоящий из полусотни бездельников.

В зале зааплодировали.

Делегатов, приехавших с верховий Дона, из станиц, где было полно инородцев, объявившихся в хлебном краю, чтобы подкормиться, интересовал вопрос: а может ли их превосходительство Петр Николаевич Краснов что-либо изменить в законах, им предложенных?

Краснов ответил в обычном своем духе:

— Могу, — и вновь сложил фигу в кармане, — могу изменить статьи о флаге, гербе и гимне. Можете предложить мне любой другой флаг — кроме красного, любой другой герб — кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, любой гимн — кроме «Интернационала».

Генерал Краснов казакам понравился — он был им ближе, понятнее, чем интеллигентный Каледин или вялый генерал Попов.

На огромной территории России, во всех ее углах поднимались, готовые противостоять друг другу, две огромные силы — белые и красные. Начиналась одна из самых страшных, самых опустошительных и позорных войн, которые только придумало человечество, — Гражданская. То там, то тут вспыхивали костры, на которых горели не тела — души человеческие.

В Самаре шла запись в Народную армию — ту самую, которая могла бы противостоять армии Красной.

Первыми в нее записались бывшие корниловцы. Из подполья вышла офицерская организация подполковника Галкина. Капитан Вырыпаев на удивление быстро сформировал отдельную конно-артиллерийскую

батарею, получившую номер один. Корнет Карасевич занялся кавалерией.

Через два дня после ухода красных из Самары состоялось собрание офицеров Генерального штаба. Вопрос стоял один: кому возглавить первую добровольческую дружину, уже сформированную — ядро будущей Народной армии?

Председательствовал на собрании Галкин, сияющий, как хорошо начищенный самовар, в тщательно отутюженной офицерской форме, украшенной серебряным генштабовским знаком.

— Освобождение России началось, — торжественно провозгласил он, — союзники наши в этом благородном деле — доблестные чехословацкие воины.

Собравшиеся вяло похлопали подполковнику, тот поправил кончиком пальца усы и сообщил, что назначен командовать всеми вооруженными силами Самарской губернии.

— Если дело так и дальше пойдет, то скоро появятся командующие вооруженными силами волостей, уездов, сел, хуторов, — неожиданно язвительно заметил капитан Вырыпаев, сидевший в зале рядом с Каппелем. — Бедная Россия!

Каппель, лицо которого было печальным и сосредоточенным одновременно, вежливо кивнул.

— Россия пока еще не бедная, — помедлив, произнес он. — Бедной она еще будет. Ей столько предстоит пережить. — Сухие глаза Каппеля неожиданно сделались влажными. — И нам пережить вместе с нею, — добавил он.

Подполковник словно предвидел и свою судьбу, и судьбу России.

Галкин продолжал подробно рассказывать, какое оружие имеется на руках офицеров, что могут дать склады, что должно прибыть из Ижевска, с тамошних заводов, чем способны подсобить Уфа и уральский Екатеринбург...

Сообщение Галкина вызвало одобрительный рокоток.

— Вопрос последний, гос... господа, — сказал тем временем подполковник, поморщился, словно съел зеленый перечный стручок, и Каппель догадался, в чем дело. На первом заседании Комуча обсуждали болезненный вопрос: как обращаться друг к другу — «товарищ» либо по-стародавнему «господин» или же, как при Керенском, «гражданин», но пока так ни о чем не договорились. — Кто возглавит добровольческие части, и прежде всего — первую дружину?

В зале сделалось тихо. Никто не подал голоса, каждый будто примерял эту одежку на себя, смотрел, хороша она или нет, и отступал в сторону — блестящим офицерам, прошедшим Великую войну, как тогда в печати называли Первую мировую, не хотелось натягивать на свои плечи этот кафтан... Неведомо еще, какой он... Надо было выждать.

— Ну что же вы, гос... тов... господа? — вытянулся за столом Галкин, перевел взгляд на генерал-майора Клоченко, с надеждой всмотрелся в него. — Может быть, вы, ваше превосходительство?

Клоченко медленно качнул головой:

— Я — узкий специалист, моя профессия — артиллерия. Тут нужен опытный командир.

— Тогда кто?

В ответ — тишина. Пауза затягивалась.

Каппель вздохнул и поднялся со своего места.

— Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне возглавить дружину, — произнес он и смущенно отвел глаза в сторону, посмотрел в окно, за которым ярилось красное вечернее солнце.

Каппеля знали не все. В Самаре он держался особняком, в буйных офицерских пирушках участия не принимал, по крышам с маузером в руке, дразня ревкомовцев, не бегал, в большевиков из-за угла не стрелял, и те не имели к нему претензий. При этом много времени проводил за книгами и образ жизни вел замкнутый.

Однако в зале находилось и несколько офицеров-корниловцев, воевавших в так называемом ударном полку.

Они, в том числе и поручик Павлов, тоже оказавшийся в зале, знали Каппеля. К выпускникам Академии Генерального штаба Павлов отношения не имел, но ему было интересно, как будут развиваться события, и он пришел на собрание генштабистов.

— Браво, Владимир Оскарович! — воскликнул поручик и громко захлопал в ладони.

Павлов был одним из немногих, кто знал Каппеля и до Корниловского ударного полка: на фронте им вместе пришлось пережить газовую атаку немцев. Хорошо, что у них оказались исправные резиновые респираторы с консервными банками воздухоочистителей — иначе погибли бы.

— Я тоже знаю Владимира Оскаровича Каппеля,— сказал Галкин и сделал легкий полупоклон в сторону подполковника — будто птица решила клюнуть зернышко, — я поддерживаю это предложение. — Галкин похлопал в ладони. — Это — мужественный поступок.

...Иногда Каппель, находясь здесь, в Самаре, вспоминал свое маленькое, вконец разрушенное, разоренное временем и бедами имение, поставленный на кирпичное основание деревянный дом с большими чистыми окнами, которые никогда не закрывали ставнями — семейству Каппелей нечего было скрывать от глаз людских.

Вспоминал и дом в крохотном уютном городе Белеве, где он родился, — дом этот был еще меньше, чем в имении, — старый, с облупившейся краской и такими же, как в имении, тщательно вымытыми окнами.

Семейство Каппелей любило чистоту.

Отец — Оскар Павлович, мрачноватый, почти всегда погруженный в себя, говорил мало. Но бывали минуты, которые превращались в часы, когда отец снимал с себя всякие оковы, раскрепощался и рассказывал, рассказывал... Рассказать он мог много — Оскар Павлович во время турецкой кампании был ординарцем у самого генерала Скобелева. За взятие крепости Геок-Тепе в мо-

розном январе 1881 года был удостоен ордена Святого Георгия — самой высокой воинской награды.

Именно в такие минуты откровений сын узнал то, о чем вряд ли бы ему поведали другие — как русские солдаты переходили зимние Балканы, как в пропасть срывались люди и лошади, как художник Верещагин[5] совершал вместе с войсками тяжелый переход.

Верещагин не боялся ни пуль, ни снарядов, которые в ту пору величали гранатами, ни мороза — под огнем расставлял свой складной стул и делал наброски. Вокруг кипел бой, люди кололи друг друга штыками, умирали, но Верещагин этого словно не замечал. От названий, которые произносил отец, пахло дымом, морозом, потом, порохом, горелым человеческим мясом — Чикирли, Казанлык, Имитли, Хаскиое... Но потом в отце срабатывал некий внутренний тормоз, и рассказчик, отерев рот рукой, замыкался, уходил в себя. В течение нескольких часов мог уже не проронить и слова.

Дед Каппеля также был георгиевским кавалером — крест он получил за оборону Севастополя. Был знаком с молодым артиллерийским поручиком Львом Толстым.

Ныне, по истечении времени, установить, кто были Каппели по национальности, невозможно. Многие говорят, что происходили они из прибалтийских немцев, а вот соратники Каппеля, ушедшие впоследствии в Китай, а потом в Австралию, утверждают, что Каппели были скандинавами.

Нести погоны на плечах — это, видно, было на роду у Каппелей написано, поэтому Владимир не задумывался о своей судьбе, не маялся в сомнениях, знал, кем будет — военным.

Окончил он Николаевское кавалерийское училище и в чине корнета был направлен служить в Польшу, под Варшаву, в 54-й драгунский Новомиргородский полк. В 1906 году, после событий печально известного 1905 года, полк был переброшен в Пермскую губернию — там объявилась крупная разбойная шайка бывшего унтер-офицера Лбова, терроризировавшая бук-

вально всю губернию. Шайка, прикрываясь революционными лозунгами, умудрилась пролить столько крови, что против нее решено было бросить регулярное войско.

Расквартировали полк в большом селе — нарядном, богатом, голосистом, называвшемся Мотовилиха[6]. В селе был расположен пушечный завод.

Едва полк осел на зимних квартирах, как из Санкт-Петербурга, из военного ведомства пришло распоряжение о переименовании его в 17-й уланский Новомиргородский полк.

Директор пушечного завода инженер Строльман — старый, с седыми усами и ухоженной бородкой, насмешливо покусывающий кончик одного уса, — к драгунам, переименованным в уланы, отнесся строго. Он вообще считал офицеров, независимо от рода войск, обычными пустобрехами, годными лишь на одно — волочиться за дамскими юбками да пить водку фужерами. Строльман фыркал иронично, когда ему говорили о новых сельских постояльцах что-нибудь хорошее, он даже не захотел повидаться с командиром полка — боевым человеком, награжденным многими орденами... Когда с ним заводили об этом речь, директор доставал из кармана большой платок, словно хотел им, как полотенцем, вытереть руки.

— И этот — из тех же! — говорил он. — Прожигатель жизни! Командир большой кучи пьяниц и интриганов!

В его доме офицерам уланского полка в приеме было отказано.

— Раз и навсегда! — пафосно воскликнул Строльман. — С прожигателями жизни я не вожжаюсь!

Причина такой строгости скоро стала понятна: у Строльмана была на выданье дочь Ольга — девушка умная, воспитанная (много умнее и воспитаннее своего отца, исключая, правда, знаний по пушечной части), очень деликатная, никогда не позволяющая себе произнести хотя бы одно неосторожное словцо по отношению к кому бы то ни было. Старик Строльман охранял ее пуще глаза.

Сейчас нам уже не дано узнать, как и где Каппель познакомился с Олечкой Строльман, но молва людская считает, что произошло это на уездном балу.

Как ни старался директор пушечного завода посадить свою дочь под колпак, огородить ее забором, заставить заниматься яблонями в собственном саду, а произошло то, что должно было произойти.

У Строльмана были свои виды на одного заводского инженера, человека бледной внешности, вдумчивого, из хорошей семьи. Старик несколько раз приглашал его к себе в дом, но инженер на Олю никакого впечатления не произвел: слишком унылый, много потеет, старомодное пенсне, прицепленное к журавлиному носу, будто бельевая прищепка, всегда мутное, захватанное, за стеклами даже глаза невозможно разглядеть.

Нет, этот молодой человек с инженерными погончиками на плечах был Оле совершенно неинтересен. Строльман только вздыхал и прикладывал платок к носу. Трубно сморкался.

— Олечка, ну, право, будь поласковее с ним, — просил он. — Ну пожалуйста!

Но Олечка ничего поделать с собой не могла, пыталась произносить какие-то ласковые слова, но вместо них рождались обычные деревянные, совершенно безликие фразы.

Совсем другое дело — корнет Каппель. Обаятельный, элегантный, с лучистым взглядом, умеющий интересно говорить, да и кончик носа всегда сухой.

Общались Ольга Строльман и Владимир Каппель через шуструю, тонконогую, похожую на синичку горничную. Очень проворная и хитрая была девушка, ей немало перепало серебряных рублей из скромного жалованья корнета.

Встречались Каппель и дочка Строльмана тайком и на большее пока не могли рассчитывать — Олин папенька по-прежнему не мог видеть бравых кавалеристов, морщился недовольно:

— Интриганы! В седлах спят, в седлах едят, в зубах ногтями ковыряют... Тьфу!

Как-то старика Строльмана вызвали в Санкт-Петербург, в управление, которому подчинялись пушечные заводы России. Поехал он туда с женой, поскольку возраст уже не позволял ему совершать такие поездки в одиночку. Дома оставалась лишь Ольга с шустрой горничной. Строльман почесал затылок, подумал о том, что домашнюю крепость надо бы укрепить хотя бы одним мужчиной... Пусть в доме Строльманов в отсутствие хозяина витает мужской дух...

Поразмышляв немного, директор пришел к выводу, что это будет совсем неплохо, и попросил старенького, давно уже вышедшего в тираж инженера Селезневского пожить немного в его «латифундии», присмотреть за хозяйством, за Олей, и ежели что, то и внушение сделать — без всякого, естественно, стеснения.

Селезневскому такое доверие польстило, он покивал головой, на которой смешно подрагивал пушистый белый венчик:

— Не извольте тревожиться!

С тем супруги Строльманы и отбыли в Санкт-Петербург. Рассчитывали они провести там не менее месяца — этот вызов был для них вроде дополнительного отпуска, тем более Строльману надо было проконсультироваться с врачами по части урологии и крепости сердечной мышцы: что-то «магнето», как он называл сердце, начало работать неровно: то убыстрит свой бег, то замедлит...

Стояла зима, роскошная, холодная, такая зима может быть только в России — с высокими прямыми дымами, вертикально уходящими в небесную высь, с хрупким рассыпчатым снегом, пахнущим молодой капустой, со звонким тюканьем синиц, с затихшими селами — каждая яблоня до уровня человеческого роста побелена известкой и заботливо укутана рогожей, чтобы комли не обгладывали зайцы.

Каппель любил такую зиму — она и под Тулой была такой же красочной, как и под Пермью. Когда он приез-

жал на рождественские каникулы из училища домой, то очень любил кататься днем на санях, а вечером — заглянуть в какой-нибудь теплый, с гудящей печью трактир, выпить пару стопок монопольки либо местного вина, которое тут гнали из яблок, вишни и крупных, как картечь, ягод черной смородины. Вино это как сидр продавали в бутылках, и оно, игривое, легко вышибало пробки...

Когда Строльманы отбыли в Санкт-Петербург, Оля и Каппель стали видеться чаще. Корнет, очень ладно скроенный, с мягкой улыбкой, нравился девушке, в нем было скрыто что-то колдовское, очень притягательное, заставляющее в сладком страхе сжиматься сердце. Оля как-то сказала об этом Каппелю, в ответ он только засмеялся...

Селезневский переехал в дом, поселился в кабинете директора, но что мог сделать этот старый подслеповатый хрен, когда двое молодых влюбленных людей тянулись друг к другу. Строгая Ольга Сергеевна призналась себе — она влюблена в корнета, и это признание далось ей непросто. А жизнь была такой прекрасной, таинственной, светлой, в ней было столько хорошего...

Ночью Мотовилиха погружалась в темноту — ни одного огонька, ни-че-го. Только в глубине ночи, там, где располагался пушечный завод, что-то басовито ухало, в небо взлетали белые пушистые клубы пара. Пар оседал на деревьях, делал их сказочными, громоздкими, иногда под тяжестью инея не выдерживали, трещали сучья, хлопали пистолетно, и тогда пушмы инея сползали с веток вниз, врубались в снег, взбивая султанчики нежного белого пуха; потревоженные деревья стонали сонно, сладко, и все вновь погружалось в тишину.

Смотреть бы да смотреть инженеру Селезневскому за молодой госпожой Строльман не в два глаза, а в четыре, но старичок, большой любитель поспать, упустил Ольгу Сергеевну.

Темной ночью к саду Строльмана была подогнана лихая тройка, запряженная лучшими лошадьми уланско-

го полка. Оля, ожидавшая сигнала — стука в ставню, накинула на плечи шубку и, не издав ни одного звука, вышла из дома. В санях ее ждал Каппель. Тонконогие кони рванули с места, только снег тугим вихрем взметнулся следом, попробовал достать до задка саней, застеленных ковром, но куда там...

Венчание происходило в маленькой деревенской церкви, из которой после записи в церковной книге Ольга Строльман вышла Ольгой Каппель.

Утром Оля заехала домой, чтобы забрать свои вещи. Старик Селезневский только что проснулся, вытащил из ушей затычки, увидел подопечную с незнакомым офицером и едва не грохнулся в обморок, заморгал жалобно, на глазах у него появились слезы, рот скривился страдальчески. Ольга не выдержала, подскочила к старику и, будто девчонка-гимназистка, чмокнула его в щеку.

Молодые отправились в Петербург. Остановились у матери Каппеля — та очень обрадовалась, супруга сына ей сразу понравилась... Хотя Ольга была крайне встревожена: предстояло свидание и с ее родителями. Как они, совершенно не терпящие военных погон, воспримут Володю, кавалерийского офицера?

Встревожена была Ольга недаром: строгие родители закрыли перед молодоженами дверь дома, где остановились Строльманы, отказались принять. Старик Строльман приказал горничной даже захлопнуть за ними калитку и никогда не пускать на порог. Это было сурово.

Каппель до сих пор помнил озноб, пробежавший у него по коже — ему было очень жаль заплаканную Ольгу, от этой жалости на глазах появились мелкие слезинки, но он быстро справился с собой и повел жену к ожидавшему их возку.

Не приняли Строльманы молодоженов и на следующий день. Жить молодые остались у матери Каппеля, в ее небольшой квартирке.

Владимир стал готовиться к поступлению в Академию Генерального штаба. Старики Строльманы, прослышав про это, сделали неприступные лица, хотя и пе-

реглянулись довольно: они считали, что кавалерийский офицер только и умеет, что сабелькой сшибать макушки у репьев да сдергивать с головы кивер перед дамами, а Академия Генштаба — заведение серьезное, пожалуй, самое серьезное из всех учебных заведений России. Чтобы поступить в эту Академию, надо иметь отменные мозги.

— Может, простим их? Все-таки родная дочь, не чужая...

— Подождем, когда муженек ее в Академию поступит, — ответил супруге несгибаемый Строльман.

— А если не поступит?

— Тогда снова подождем.

Каппель был принят в Академию, и старики Строльманы оттаяли, признали его за своего. Директор пушечного завода облачился по этому поводу в парадный мундир и велел накрыть в честь зятя стол.

Жили супруги Каппели дружно. Ольга Сергеевна оказалась великолепной, очень бережливой хозяйкой, скромных денег, которые получал Каппель, им вполне хватало.

В 1909 году у супругов родилась дочь Таня, а в тревожном 1915-м, полном раненых, боли, невнятных новостей, запоздало приходивших с фронта, появился на свет сын Кирилл.

На фронт Владимир Каппель ушел в чине капитана Генерального штаба — обнял жену, прижался щекою к ее щеке, кончиками пальцев поправил тяжелый локон, свалившийся на висок, и прошептал едва слышно:

— Береги детей, Оля! — Через несколько секунд, подождав, когда прекратит реветь паровоз, вставший в голову воинского эшелона, добавил: — Жди меня, ладно?

Ольга, у которой глаза были склеены слезами, прижалась к груди мужа, кивнула.

Должность, что Каппель получил на фронте, — адъютант 37-й пехотной дивизии, если по-нашему — заместитель начальника штаба. В самом конце военной кампании, завершавшейся для России печально, он стал начальником штаба. Несмотря на два ранения, полученные на фронте, на замены частей, когда командиров переставляли с места на место, как фигуры на шахматном поле, Каппель продолжал служить в одной и той же дивизии — 37-й пехотной.

С фронта он вернулся в чине подполковника, с ходу, без остановки, попробовал прорваться к своим, к жене и к детям, которые находились на Урале, в Екатеринбурге, но не сумел — застрял в Поволжье: туда была переброшена 37-я пехотная дивизия.

Уйти из части, махнуть к своим самостоятельно означало бы дезертировать. А дезертиром Каппель никогда не был, ему даже само слово это было противно.

С Олей и детьми находились старики Строльманы. Директор пушечного завода уже пребывал в отставке, да и орудия ныне производили совсем иные, что привык отливать Строльман: старик был специалистом по пушкам времен осады Севастополя да по кремневым ружьям, а пушки сейчас начали производить скорострельные, безоткатные — загляденье, а не орудия. Вот Строльмана и отправили домой, на печку.

Заняты были старики тем, что помогали дочери воспитывать Танюшку и Кирилла... Жалко, не удалось Каппелю дотянуться до них, несмотря на то что он стремился хотя бы на двадцать минут попасть к ним — глянуть на детишек, обнять Ольгу — и назад, в Самару. После такого свидания можно в любой бой... Даже и последний.

Расстроился Каппель сильно, хотя виду не подал, в общении с товарищами был ровен, мог с ними выпить водки, закусить тугим, как сыр, осетровым холодцом, сыграть в городки, сходить на рыбалку... Одного он только не одобрял: не любил волокитничать и никогда не появлялся в компаниях веселых молодцов-ухажеров — был верен своей Ольге Сергеевне.

Часто он брал лист бумаги, доставал походную чернильницу-непроливашку, ручку со стальным австрийским пером и выводил тихо и грустно: «Милая моя Оля...»

На почту, чтобы отправить письмо в Екатеринбург, не спешил — знал, что оно все равно не дойдет. Взгляд его делался страдальческим, неподвижным, уголки губ горько опускались.

Ему очень хотелось увидеть жену, но это желание было невыполнимым. И вообще, он чувствовал, что не увидит Ольгу Сергеевну уже никогда.

Через сутки отряд Каппеля, в который вошли артиллерийская батарея, кавалерийский эскадрон, подрывная команда, а также группа чехословаков — сводный пехотный батальон под командованием капитана Чечека, выступил из Самары.

Стояло лето — милая пора. Начало июня. Все было зелено, безмятежное небо лоснилось от солнца. В распадках пели соловьи. Ах, как заливались, как пели профессора-соловьи, рождали в душах людей невольное щемление, восторг, что-то еще — радостное, надолго западающее в сердце, то самое, что превращает будни в праздник, облегчает дыхание и вообще помогает человеку ощущать себя человеком.

Командир взвода поручик Павлов с новенькой трехлинейкой, перекинутой по-походному через плечо, шагал в первом ряду сводной роты и слушал соловьев. Рядом с ним шагал прапорщик Ильин.

Поручик не знал, как зовут прапорщика, спросил — оказалось, так же, как и Павлова.

— А по отчеству как будет? — спросил Павлов. — Вдруг мы двойные тезки?

— Викторович.

— Жаль. Я — Александрович.

В километре от них на крутой зеленый бугор, похожий на старую татарскую насыпь, под которыми кочевники хоронили своих знатных воинов, выскочил конный разъезд красных — всадники хоть и далеко находились, а были хорошо видны, словно на ладони. Из походных порядков комучевцев раздалось сразу несколько выстрелов, винтовки бухали громко, азартно.

Павлов на ходу развернулся и угрожающе взмахнул кулаком:

— Отставить!

— Почему? — выкрикнул кто-то возмущенно.

— По кочану да по кочерыжке. Стрелять бесполезно — все равно что в воздух... Рассев большой. Берегите боеприпасы.

Красные картинно развернулись на бугре и ускакали.

На круглом мальчишеском лице Ильина возникли багровые пятна — была бы его воля, он бегом бы понесся за неприятельским разъездом.

— Тихо, юноша, — придержал его за рукав Павлов. — Это мы сделаем чуть позже.

— Кто возглавляет красных, не знаете? — спросил Ильин.

— Да там ничего не поймешь, сам черт ногу сломает... Из штатских у них старшим сам Куйбышев, из военных — Тухачевский.

— Откуда он, этот Тухачевский? Из солдат-дезертиров? Разложенец? — Голос у Ильина сделался звонким, будто у гимназиста, глаза заблестели: чувствовалось — попади ему сейчас Тухачевский в руки, он бы из него сделал такое... в общем, что надо, то бы и сделал. — А?

Павлов не ответил. Он обратил внимание, что за последние двадцать километров, когда они двигались походным порядком, не встретилось ни одного вспаханного поля. Поля заросли, на них — сорняки, трава, худая зелень да черные высокие остья засохшей полыни. И вороны. Кругом сидят вороны, ждут чего-то, недобро поглядывают на людей. Было в этих птицах что-то колдовское, мистическое, рождающее в душе холод: сколько же человечины могут сожрать эти твари!

— Господи, сколько же ворон! — невольно воскликнул Павлов. Вопроса прапорщика он не услышал. — Это они на мертвечину прилетели. Война началась... Теперь мы будем молотить друг дружку до изнеможения. Так что птицам этим корма будет много — под завязку... Охо-хо!

Прапорщик растерянно покосился на стаю ворон, сидевшую неподалеку на берегу плоского дождевого озерца. Птицы были жирные, носатые, голенастые, уверенные в себе и в уверенности этой, не птичьей, казавшиеся беспощадными, страшными.

— Да, — подавленно произнес Ильин.

— Вот кто будет жрать нас.

Ильин протестующе мотнул головой: человек ведь устроен так, что до конца не верит в собственную уязвимость, в смерть, считая, что жизнь вечна и он будет жить вечно, и потом до изжоги, до коликов бывает разочарован...

— Интересно, красные дерутся за Россию или за что-то еще? — спросил Ильин.

— Думаю, что за Россию, — не задумываясь, ответил Павлов, — среди них есть немало неглупых людей. Только у них Россия одна, у нас — другая. Это две разные России. Хотя кровь у нас цвет один, общий, имеет.

— Тухачевский — он кто? — вернулся на старые рельсы Ильин. — Из наших?

— Говорят, из наших. Офицер.

— Чего же он в таком разе продался? Ведь что большевики, что немцы — едино.

Снисходительно улыбнувшись, Павлов поправил винтовку на плече — тяжела, однако, зараза!

— Надо поменьше читать газеты, прапорщик. Я не верю в то, что большевики заодно с немцами. Среди них немало русских людей. Думаю, что они — честные, Россию не продадут ни при каких обстоятельствах. У меня сосед по имению в Елецком уезде ушел к красным — Мишка Федяинов. Контужен был на фронте. Воевал так, как дай нам Боже воевать. Получил Владимира с мечами[7] и Святого Георгия. Я уже не говорю о разных заморских знаках отличия. Во всяком случае французский орден Почетного легиона у него есть точно. Так вот, свои ордена он выкинул на помойку и пошел воевать за красных.

— А у красных есть свои ордена?

— Не знаю, — честно признался Павлов. — Должны быть... То же самое произошло, как я полагаю, и с Тухачевским. Что-то управляет этими людьми, а вот что именно — мне неведомо. Чтобы их понять, надо влезть в их шкуру.

Каппель тоже думал о Тухачевском. Он ехал впереди колонны на гнедом длинноногом жеребце, взятом из конюшни самарского ревкома — о коне в спешке просто забыли, — сумрачно поглядывал вокруг из-под защитного козырька полевой фуражки и размышлял о бывшем поручике Тухачевском: что же именно толкнуло поручика на ту сторону баррикад, какая такая сила? Каппель пытался себя поставить на его место и не находил ответа.

Говорят, у поручика этого есть редкостное увлечение — он мастерит скрипки. Сам подбирает для этого дерево, сушит, обрабатывает его, делает звонким. Из рыбьих костей варит особый прочный клей, точно такой же клей, но для других целей, варит из костей говяжьих и потом приступает к работе.

Скрипки, сказывают, получаются у него звонкие. Уступают, конечно, скрипкам профессиональных мастеров, но те, кто на них играл, ничего худого об инструментах, сработанных Тухачевским, не говорят. Воевал Тухачевский на фронте неплохо. Но одно дело фронт, обзор не дальше соседнего окопа, и совсем другое — огромные российские расстояния...

К Каппелю запоздало приблизился на коне полковник Синюков — у него начала распухать, вздуваться правая нога, и полковнику из запасных коней батареи выделили бокастого, с лохматой мордой мерина.

— Красный разъезд видели, Владимир Оскарович?

— Видел. Они нас теперь до самой Сызрани не отпустят, будут держать за хлястик.

— А в Сызрани?

— А в Сызрани будет бой. Нам надо взять город. Там нас уже ждут. — Каппель усмехнулся.

До Сызрани нужно было добраться как можно скорее, иначе Тухачевский с Куйбышевым перегруппиру-

ют свои силы и первыми нанесут удар. Город надо брать, пока красные не опомнились. Чем быстрее Каппель окажется в Сызрани, тем лучше.

В строю, в соседней роте, Павлов заметил красивую девушку с бледным лицом и толстой золотистой косой, переброшенной через плечо. Одета девушка была в просторную солдатскую гимнастерку, перепоясанную брезентовым ремнем, и длинную, до щиколоток, юбку, сшитую из армейской ткани в рубчик. Идти в такой юбке было тяжело; командир второй роты, подполковник с точеным узким лицом, несколько раз предлагал девушке сесть на телегу, но она отказывалась — предпочитала тянуть походную лямку наравне со всеми. Девушку звали Варя Дудко, и была она сестрой милосердия.

На рукаве ее гимнастерки белела повязка, украшенная красным крестом. Единственное, на что удалось уговорить Варю, так это на то, чтобы ее тяжелую сумку положили на повозку. Варя вначале не соглашалась, но потом все-таки отдала сумку.

Девичье лицо с усталыми тенями, образовавшимися в подскульях, посвежело, посветлело, сделалось милым. Всякий раз, когда Павлов оглядывался, то видел Варино лицо.

Сызрань встретила каппелевский отряд хмурым молчанием — город словно вымер, не кричали даже горластые в эту пору петухи. Не было слышно лая собак.

— Это что же получается: большевики эвакуировали город и сами ушли? — пробормотал недоуменно полковник Синюков, глянул на молчавшего Каппеля, понял, о чем тот думает, и хмыкнул: — А может, у них голод, может, они не только петухов, но и всех собак уже поели?

Одну роту Каппель послал в обход города, она пошла слева — по оврагам и замусоренным долинкам, из которых горожане пробовали сделать свалку, и весьма преуспели в этом, вторую роту пустил справа, а перед городом выставил батарею Вырыпаева и скомандовал:

— Огонь!

Грохнул залп из четырех пушек. Снаряды с воем ушли в город. Каппель подозвал к себе командира подрывной команды — маленького капитана в мешковатой форме, развернул перед ним карту:

— Где здесь самое слабое место?

Капитан озадаченно приподнял плечо:

— Узнать можно, только попробовав красных на зуб. В бою.

— Это вовсе не обязательно. По моим данным, на станции Батраки скопилось несколько эшелонов. В вагонах — боеприпасы, винтовки, амуниция, на платформах стоят орудия, один эшелон — наливной. Ваша задача, капитан, — не дать красным все это угнать. Эшелоны должны остаться на станции. Задание ясно?

— Так точно! — весело ответил капитан, козырнул лихо, будто на учениях. С этой задачей он справится, она ему по зубам. Он даже помолодел — соскучился по настоящему делу.

— Возьмите, капитан, с собою взвод пехоты, — сказал ему Каппель, — своими силами вам не обойтись.

Капитану был выделен взвод Павлова.

Подрывная команда, пригибаясь, лощинками ушла в сторону от города, вместе с ней ушел и Павлов со своими людьми. Напоследок поручик остановился, поискал глазами симпатичную сестру милосердия, не нашел и, огорченно качнув головой, побежал следом за взводом.

Батарея Вырыпаева обстреливала город недолго — не было снарядов, да и чего попусту разносить в пыль городские домишки обыкновенных обывателей — в лоб на город пошел чешский батальон Чечека.

Две роты, посланные Каппелем в обход Сызрани, ворвались на улицы города. Поднялась стрельба. Каппель спокойно ждал. Невозможно было понять, о чем он думает, что переживает — его лицо совершенно ничего не выражало, никаких эмоций, лишь посветлевшие глаза напряженно поблескивали, и все — больше никаких зримых примет, говоривших, что Каппель волнуется.

Главным должен быть не уличный бой, самые важные события должны произойти совсем в ином месте, и отзвук того, что произойдет, обязательно донесется до него. Каппель ждал.

...Подрывная команда тем временем достигла станции Батраки. Станцию венчало серое унылое здание — то ли вокзал, то ли железнодорожная контора, то ли еще что-то — какое-нибудь нужное путейское строение; на крыше серого здания был установлен пулемет.

Около пулемета горбился бородатый солдат в кожаном картузе и из-под руки озирал окрестности. Чаще всего он поворачивался в сторону города, откуда уже доносилась стрельба, а над домами поднимались сизые дымы.

Начальник подрывной команды из-за вагонов оглядел станцию — тут набилось не менее десятка эшелонов, уйти скоро они никак не смогут, в головах лишь трех составов стояли паровозы.

Рельсы надо было рвать около стрелок — закупоривать эшелоны на станции, только так можно задержать вагоны, груженные воинским и прочим добром. Но пока пулеметчик находится на крыше, минировать стрелки нельзя: он легко достанет подрывников, скосит, не морщась.

Все это начальник подрывной команды хорошо понимал и морщился недовольно. Подозвал к себе Павлова:

— У вас во взводе хорошие стрелки есть?

— Это первый бой, я пока еще не знаю, кто на что способен...

— Нужен хороший стрелок, который с одного патрона снял бы вон того дудака. — Начальник подрывной команды показал на пулеметчика.

— Можно попробовать. — Поручик стянул с плеча трехлинейку.

— Тут не пробовать надо, тут нужно действовать наверняка.

— Я же сказал — можно. — Павлов прикинул расстояние от вагона, за которым они стояли, до пулеметчика — получалось метров восемьдесят, не меньше. — У него второй номер должен быть.

— Второго номера, как видите, нет.

— Не растворился же он, в конце концов.

— Придется вам во время всей операции держать эту точку под прицелом, — сказал начальник подрывной команды, — если появится второй номер — снимите его. Иначе этот пулемет не даст нам заминировать рельсы.

Пулеметчик тем временем выпрямился, как будто специально приподнялся на цыпочки, сделался приметным. Павлов не удержался, хмыкнул:

— Молодец! — Пристроил ствол винтовки на срезе металлического кронштейна как на упоре — кронштейн этот словно специально был кем-то прикручен к стенке вагона, похоже, на него крепили сигнальный фонарь, плечом притиснулся к вагону, замер. В следующий миг протер пальцами глаза. — Главное, чтобы дудак этот, как вы его величаете, не шлепнулся головой вниз, а остался лежать на крыше.

— Главное — в него попасть.

— Тоже верно. — Павлов усмехнулся.

Стрельба в городе усилилась, в центре Сызрани что-то заполыхало, занялось сильно, в небо потек жирный черный дым.

Пулеметчик занервничал, оглянулся, ища кого-то глазами, не нашел, помял пальцы, словно ему было холодно. Павлов понимал состояние этого человека — он еще живет, ощущает жизнь каждой клеточкой своего тела, каждым крохотным нервом и не знает, что уже мертв, — однако то, что пулеметчик уже мертв, ощущала его душа. На войне часто так бывает — сознание само, без всяких подсказок, ощущает, что тело скоро будет пробито пулей. Так и здесь.

Павлов подвел мушку винтовки к низу груди пулеметчика, в разъем ребер. Пулеметчик сейчас стоял вполоборота к поручику, рассматривал что-то вдали, пуля своим ударом, как кулаком, должна будет отшвырнуть его назад, на крышу, что, собственно, и требовалось сотво-

рить. Павлов сделал небольшую поправку на ветер и нажал на спусковой крючок.

Выстрел внимания людей, находившихся на станции, не привлек — слишком много стрельбы было кругом. Пулеметчик вскинул руки к небу и повалился на спину. Мелькнули его ноги в обмотках, в глаза ударили две мелких тусклых молнии — до блеска вытертые железные подковки, прикрученные к резиновым каблукам ботинок, и ноги исчезли. Ни пулеметчика, ни ног. Поручик отер со лба пот.

Начальник подрывной команды восхищенно воскликнул: «Лихо!», махнул рукой, подзывая к себе подчиненных, и первым побежал по железнодорожным путям. За ним устремились четыре человека, которые несли два ящика с толом; замыкал команду крупный, похожий на лошадь фельдфебель с круто выступающей вперед нижней челюстью. Фельдфебель передвигался прыжками, и в такт прыжкам у него внутри гулко екала селезенка.

Поручик продолжал следить за крышей.

Начальник подрывной команды оказался прав — за крышей надо было приглядывать: минуты через три там появился второй номер — губастый деревенский парень с бледным лицом, густо украшенным конопушками. Он захлопал суматошно руками, склоняясь над первым номером. Павлов взял конопатого на мушку.

Гулко бабахнул выстрел. Второй номер лег на крыше рядом с первым — сложился кулем и так, кулем, застыл около своего напарника.

— Мир праху вашему, ребята! — проговорил Павлов удовлетворенно и перекрестился. — Спите спокойно.

Он подумал о том, что перед ним были такие же русские люди, как и он сам, рождены той же землей и поклонялись тому же Богу — а значит, в нем обязательно должна родиться жалость к этим людям, но ничего не было — ни жалости, ни сочувствия, он чувствовал только пустоту, усталость, да еще, может быть, желание выпить.

На станции по-прежнему было тихо. Из города же продолжала доноситься стрельба. Павлов расставил своих людей по всему периметру станции. С одной стороны, это было опасно — если завяжется серьезный бой, он не сумеет собрать их в кулак, а с другой стороны — вступать в бой в его задачу не входило, ему надо прикрыть подрывную команду.

Поручик глянул в сторону железнодорожных стрелок, где копошились подрывники, мысленно подогнал их: «Быстрее! Быстрее!» Губы у него шевелились сами по себе, словно поручик что-то произнес, но он ничего не говорил, лишь подумал о том, что жарко — все-таки начинается лето восемнадцатого года.

На станции по-прежнему все вроде бы было спокойно — никто не бряцал оружием, не бегал — ни рабочие, ни красноармейцы. Либо здесь силы незначительные, которым вести войну совершенно несподручно, либо находившиеся здесь люди, зная, что они прикрыты пулеметом, уверовали в собственную безопасность, либо было что-то еще... Поручик вновь глянул в сторону подрывников.

Те продолжали копаться: под рельсы, на главной стрелке, вырыв яму, подсунули ящик с толом, потом несколько брикетов взрывчатки рассовали под соседними стрелками, сводящими все колеи в две — одна колея вела в одну сторону, вторая в другую.

«Чего они там копошатся? — раздраженно подумал Павлов. — Время-то идет! Дорогое время...»

На руке, на ремешке, у него висели большие часы, переделанные из карманной луковицы — он подсмотрел на фронте у англичан, которые приезжали в окопы с инспекцией и все как один были с наручными часами. Павлов глянул на часы и удивился: а подрывники-то копошатся совсем недолго, всего три с половиной минуты... Напрасно он придирается к ним. Глянул на крышу — не появился ли там какой-нибудь сменный расчет? Если появится, а Павлов зевнет — расчет точно выкосит половину подрывной команды. На это пяти секунд хватит.

Крыша была пуста — ни одного человека.

На солнце наползло круглое, с провисшим тяжелым низом облако, принесло дождь. Через минуту на землю посыпалась тихая мелкая мокрота.

«Грибной дождь, — отметил Павлов, — у нас под Ельцом все куртины после таких дождей бывают полны грибов. Интересно, как там сейчас? Цел ли дом? Цела ли в Ельце гимназия, в которой я учился?» Воспоминания о доме родили у Павлова тяжелое щемящее чувство: почта не работает, ехать домой опасно, он не знает, что там происходит.

Если уж до дождя на станции не было никого видно — так, мелькнет какой-нибудь чумазый сцепщик с ведерком и молотком, иногда солдатик торопливо пробежит, лавируя между вагонами, и все, — то когда же посыпалась противная теплая мокреть, похожая на пар из котла, станция со странным названием Батраки и вовсе обезлюдела.

У станции не только название было странным — она сама производила странное впечатление. Обычно на станциях толкаются, пыхтят, пуская белые струи и хрипло гудя, паровозы-маневрушки, ругаются сцепщики, где-нибудь в углу сиротливой кучкой обязательно жмутся пассажиры, по перрону важно прохаживается усатый человек в красном картузе — железнодорожный начальник, — а здесь ничего этого не было. Ни пассажиров не было, ни служащих в форменной одежде, паровозы стояли — может быть, ими некому было управлять? Эта безлюдность, невольно бросающаяся в глаза незащищенность станции, рождала в душе беспокойство.

На крыше тем временем неожиданно показался еще один человек. Белобрысый парень в черной железнодорожной тужурке, украшенной блестящими форменными пуговицами, с растерянно пламеневшим лицом. Увидев убитых, он что-то залопотал, замахал руками.

Павлов поспешно взял его на мушку. Пожалел только, что больно уж глупо он ведет себя, наверное, никогда не был на войне, другой бы немедленно смылся с это-

го страшного места — растворился бы, не произнеся ни одного звука, — а молодой белобрысый железнодорожник словно специально искал смерти, очень неосторожно подставлялся под пулю. Павлов нажал на спусковой крючок винтовки.

Чернотужурочник вскрикнул надорванно и повалился на пулемет. Голова его с изумленно открытым ртом свесилась со щитка «максима» вниз, на каменную площадку закапала кровь.

Поручик выругался: все, конспирация на этом закончилась, сейчас первый же паровозный масленщик, увидев кровь, задерет башку и заорет так, что крик его не только в Сызрани будет слышен — его услышат даже в Самаре.

Хорошо, что хоть дождик капает, пока он будет нудно всачиваться в землю, люди постараются из помещения носа не показывать.

Ну что там телится подрывная команда? Павлов оглянулся вновь — подрывников не было. Он изумленно потер глаза: может, ему просто мерещится, что их нет, может, это оптический эффект мелкого противного дождя? Но нет — подрывников действительно не было. Павлов понял — сейчас рванет. Невольно сжался, делаясь ниже ростом.

Дождь пошел сильнее. В голове возникла нелепая мысль: а что, если у подрывников отсырели боеприпасы либо бикфордов шнур намок под дождем? Убогая, конечно, мысль, жалкая, но на войне в голову и жалкие мысли приходят.

Он почувствовал, как кожу на щеках и на лбу стянуло что-то клейкое, словно к лицу прилипла паутина, во рту сделалось сухо. Фронт научил Павлова ощущать опасность загодя, когда ею еще и не пахнет. Человек о ней не думает, а бренные кости, мышцы, сухожилия думают за него, ощущают боль, немоту, жжение, резь — то, чего еще нет, но может быть.

Поспешно оттолкнувшись от вагона, больно стукнувшись о большой круглый буфер, Павлов пробежал мет-

ров тридцать, перескакивая через рельсы, и прыгнул в замусоренную, забитую шлаком канаву.

В тот же миг дрогнула земля. В воздух полетели обломки шпал, несколько скрученных рельсовых нитей с грохотом всадились в бока вагонов. Кислый белый дым сдвинул в сторону дождевое облако, вагоны задергались, запрыгали, застучали лепешками буферов — музыка эта была чудовищной, рождала внутри дрожь. С одного из вагонов сдернуло крышу, и в прогал выплеснулось темное красное пламя, взвилось вверх.

Земля под Павловым дрогнула вновь, приподнялась, стараясь выбросить человека из ямы. Его винтовка зацепилась ремнем за какую-то железку, взлетела, будто ничего не весила, и рухнула вниз, больно ударив поручика прикладом по руке. Павлов боли не почувствовал, он вцепился что было силы в толстый оплавленный камень, вылезающий из-под груды шлака, по запястья влез в жесткие мелкие комки горелого угля. Ноги его все-таки выволокло из ямы, подняло, поручик задергал ими по-птичьи, а в следующий миг он, не удержавшись, приподнялся и сам, повис в воздухе всем телом, но висел недолго — свалился в яму.

За первым вагоном рвануло второй. С крыши серого станционного здания невесомым перышком слетел пулемет; труп убитого чернотужурочника с широко раззявленным ртом пронесся над вагоном, словно большая птица, и нырнул в раскаленное жерло первого вагона, из которого продолжало врываться пламя.

За вторым вагоном рванул третий, потом четвертый. Павлову показалось, что у него лопнули барабанные перепонки и из ушей течет кровь. Он застонал, провел ладонью по щеке, застонал сильнее, увидев ладонь, красную от крови. Выругался, не слыша своего голоса:

— Н-ну, подрывники, мать т-твою!

Подрывники были ни при чем, команда пожилого капитана сработала как надо — сдетонировали вагоны с боеприпасами, стоявшие почти у самой стрелки — главной, выводящей на магистраль — красные хотели

этот эшелон увести со станции в первую очередь, и правильно сделали бы. Однако плохая осведомленность, слабая разведка, которая что у красных, что у белых была одинаково никудышной, противоречивые слухи плюс лень, нежелание лишний раз оторвать зад от скамейки — все это решило судьбу эшелона с боеприпасами: он на какие-то полчаса застрял на станции Батраки и погиб.

Следом снесло крышу с серого станционного здания; она с грохотом сорвалась, обнажая чердак, заваленный старой мебелью, опустилась прямо на железнодорожные пути, взбив целую скирду едкой пыли. Один из взорвавшихся вагонов въехал в серую стену, проломил ее и застрял внутри здания, раздавив сразу несколько человек.

В городе, словно отзываясь на станционные взрывы, также что-то сильно рвануло, потом взрывы повторились, и город загорелся. Послышался далекий колокольный звон — одна из церквей звала на помощь.

На станции среди горящих вагонов неожиданно мелькнул стремительный темный силуэт — пронесся лихой конник. Павлов узнал в этом коннике прапорщика Ильина, закричал что было сил, высовываясь из ямы:

— Саша! Саша!

Ильин не услышал его, растворился в пламени, в треске, в дыму. Поручик махнул рукой обреченно — запоздало вылез он из своей невольной схоронки... А Ильин наверняка привез какой-то приказ. Молодец, уже и конем успел обзавестись.

Через несколько секунд Павлов вновь увидел прапорщика — тот несся прямо на него.

— Ильин! — закричал поручик, высунувшись из ямы.

Прапорщик поднял коня на дыбы, навис над ямой и спрыгнул на землю. Смахнув рукой пот с закопченного, в черных потеках лица, он улыбнулся белозубо, выкрикнул что-то. Павлов слов не разобрал, но выкрикнул ответно:

— Что случилось?

— Ну и наворотили вы тут!

— Преисподняя! Я и сам не ожидал, что из двух жалких окурков подрывники такой фейерверк сгородят.

— Действительно, преисподняя... Вам велено со взводом перемещаться в город — в распоряжение самого Каппеля.

— Что в городе?

— Город наш. Красные отходят. Много пленных.

— Даже пленные есть? — Павлов удивился. В следующее мгновение удивление сменилось усталостью: гражданская война, как и всякая иная война — это не только стрельба и грохот взрывов, не только пули и мертвые люди, это и пленные... Русские люди в плену у русских людей. До чего дожили! Тьфу!

— Даже пленные, — подтвердил прапорщик. — Несколько сот человек. И артиллерию взяли.

— Много?

— Две батареи.

Подполковник Каппель, отправляя донесение в Самару, в Комуч, написал вечером того же дня: «Успех операции достигнут исключительно самоотверженностью и храбростью офицеров и нижних чинов отряда, не исключая сестер милосердия. Особо отличаю мужественные действия подрывной команды и артиллерии отряда. Последние, несмотря на огонь превосходящей артиллерии противника, били по его целям и позициям прямой наводкой, нанося большой урон и сбивая его с позиций. Красные вели свой огонь крайне беспорядочно, поэтому потери отряда невелики».

У поручика оказалась сильно рассечена локтевая часть правой руки — требовалась перевязка. Если в горячке боя он не чувствовал боли и не заметил кровь, просочившуюся сквозь ткань, то сейчас и кровь в глаза бросилась, и боль сильная появилась. Прапорщик Ильин, увидев залитый кровью рукав павловского кителя, настоял:

— Ксан Ксаныч, надо в соседнюю роту к фельдшерице. — Он, как и Вырыпаев, стал звать поручика Ксан Ксанычем. — Там очень толковая фельдшерица, может быть, даже лучше врача. Все так говорят... Надо к ней.

Павлов вспомнил, как на марше он все поворачивал голову, оглядываясь — искал и всякий раз находил милое женское лицо.

— Считаешь, что надо? — В голосе поручика проступила несвойственная ему робость.

— Надо, надо, — сказал Ильин. — Я даже узнал, как ее зовут. Варюха она.

— Варвара, значит.

Варвара Дудко заботливо мазала посеченные руки Павлова какой-то душистой прохладной мазью, пояснила:

— Мазь на травах. Заживет быстро, поручик.

— На мне все всегда быстро заживает. Как на собаке.

— Грех сравнивать себя с собакой.

— Простите, это я по-солдатски... Понимаю — грубо. — Поручик неожиданно смутился, извлек из распаха рубашки маленький золотой крестик, поцеловал его. — Грешен перед Богом.

— Перед Богом мы все грешны. — Варвара закончила перевязку, склонившись, завязала на бинте узелок, чтобы марля держалась, не сползала. Павлов ощутил, как пахнут ее волосы, внутри у него что-то дрогнуло, щеки сделались красными.

Он не ожидал, что это мальчишеское качество еще сохранилось в нем, думал, что фронт и годы давным-давно выбили ненужные здесь чувства, оставив только то, что необходимо на войне...

От Вариных волос пахло чем-то вкусным — то ли травами, то ли особым мылом, то ли еще чем-то, запах этот заставлял усиленно биться сердце.

— Все, — сказала Варя.

— Премного благодарен, — произнес Павлов смятенно.

Он хотел сказать что-то другое, найти иные, менее сухие слова, а произнес то, что произнес, и недовольно покрутил головой, не узнавая себя.

Прапорщик, находившийся в перевязочной, также не узнавал поручика, который почему-то вел себя скованно и был на себя совсем не похож.

Павлов поднялся, с трудом просунул перебинтованную руку в китель. Варя помогла ему.

Из перевязочной поручик выскочил стремительно, словно его ждали срочные дела, пронесся полквартала по кривой, хорошо утоптанной улице, остановился у дома, окруженного палисадником. Двинул прикладом трехлинейки в калитку.

— Эй, славяне! Есть кто живой в доме? — крикнул он зычно.

Неподалеку догорал какой-то сарай, вонючий белесый дым полз по улице, щипал ноздри, выдавливал из глаз слезы. Павлов закашлялся и вновь ударил прикладом по калитке:

— Славяне!

Поручик приподнялся на носках, глянул на частокол — в палисаднике цвело все, кажется, даже трава, непривычно ярко зеленевшая в углу, и несколько былок молодой крапивы, не говоря уж о даже нежных, с маленькими твердыми головками розах, начавших протискивать сквозь броню облаток кремовые пахучие лепестки. Каких только цветов тут не было!

На зов поручика явилась старуха с землистым перекошенным лицом и одним зубом, вылезающим из-под верхней губы.

— Чего надо? — хмуро поинтересовалась бабка. Ни войны, ни винтовок, ни белых, ни красных эта ведьма не боялась.

— Как чего? — В голосе Павлова появились недовольные нотки: и как это только старая яга не понимает, чего надо молодому человеку?

— Цветов!

— Цветы стоят денег, — сказала бабка.

— Рви! — приказал поручик.

— Сколько дашь? Только имей в виду — керенками я не беру. И царскими бумажками тоже не беру.

— А чем берешь?

— Золотом. Серебром.

— Ну, золото за этот полупрелый мусор... Это слишком.

— Мусор требует ухода. Можешь заплатить серебром.

— Сколько?

— Смотря сколько возьмешь цветов.

— Букет. Большой.

— Рублевку найдешь?

— Найду.

— Гони! И можешь рвать цветы. Сам. Я тебе верю.

Поручик сунул ведьме большой серебряный рубль с изображением родного батюшки последнего российского императора и перемахнул через изгородь.

— Только корни смотри не вырви, — предупредила ведьма.

— Не боись, бабка, не трепещи, все равно я ущерба нанесу меньше, чем на серебряный рубль.

Поручик набрал целую охапку цветов и перемахнул обратно через изгородь.

Дымы пожаров, висевшие над Сызранью, рассеялись, хотя и сильно повanивало гарью, но этот едкий дух изжить сразу нельзя. Он исчезнет, когда на пепелище вырастет кипрей, прикроет своими розовыми цветами изувеченную землю, останки жилья, чужую беду — лишь тогда этот мерзкий дух и истает.

По улице в сторону Батраков пронеслось несколько всадников. Павлов проводил их взглядом, подхватил винтовку и побежал к Варе Дудко. У той подоспела работа: привезли двух раненых. У одного — юного дружинника — было прострелено пулей плечо, он закусывал до крови губы, стараясь не стонать, у второго рана была попроще — ему прострелило ногу. Варя занима-

лась с первым раненым, его надо было срочно оперировать: пуля воткнулась ему в кость и застряла там. Варя втолковывала помощнику — рябому санитару, где в Сызрани можно разыскать врача. Санитар бестолково топтался на месте, мял тяжелыми сапогами землю и повторял тупо, без всякого выражения:

— Дык... дык... дык...

— Я добуду вам врача, Варя, — сказал Павлов, — дайте мне на это минут десять.

Он извлек из-за спины букет и отдал его девушке.

— Это вам в знак благодарности за то, что избавили меня от боли.

Варя смутилась:

— Перестаньте, поручик, что вы...

— Держите, держите букет. Это — гонорар за лечение. — Павлов почувствовал, что лицо у него вновь сделалось горячим, пунцовым.

Варя тоже покраснела — не привыкла к цветам и подаркам. Павлов улыбнулся снисходительно и, увидев ведро с водой, воткнул в него цветочную охапку и приложил руку к козырьку фуражки:

— Разрешите выполнять задание! Через десять минут я буду с врачом...

Красные отступили в сторону Симбирска. Одна часть ушла на пароходах в Мелекесс, другая поспешно закрепилась в Ставрополе-Волжском[8], где стоял большой красный гарнизон — очень сильный, имевший артиллерию и пулеметы; кроме того, там были заранее вырыты линии окопов, как на фронте, в полный профиль — перемещаться по ним можно было не пригибаясь.

Каппеля не отпускала мысль о Тухачевском, он никак не мог припомнить, встречались они на фронте или нет — впечатление было такое, что все-таки встречались.

Из данных разведки он знал, что Тухачевский — мелкопоместный барин из-под Пензы, из Чембарского уезда, сейчас командует Первой армией, пользуется особым доверием у Троцкого и, судя по всему, у самого

Ленина, в бою бывает сообразителен и сегодняшнее его поражение совершенно ничего не значит — Тухачевский себя еще покажет.

Только что на этом фронте назначен новый командующий — известный столичный сердцеед, бывший гвардейский полковник Муравьев[9]. Вот с Муравьевым-то Каппель точно встречался и хорошо его запомнил.

Случилось это в Петрограде, куда Каппель приехал с фронта на полторы недели в отпуск. Попав в гости на один званый ужин, он увидел там подвижного смуглокожего белозубого гвардейского полковника, который очень остроумно рассказывал об окопных буднях. Собравшиеся хохотали, а Каппель сосредоточенно молчал: ему казалось кощунственно между двумя блюдами — заливной морской рыбой и рагу из куриных голяшек — говорить о крови, о том, как люди после газовых обстрелов выблевают из себя легкие. Это было даже более чем кощунственно, поэтому Каппель и молчал.

— Может, вы тоже что-нибудь расскажете, Владимир Оскарович? — обратилась к Каппелю хозяйка салона, полная седая дама с живыми, навыкате глазами; один глаз у хозяйки слегка косил, поэтому казалось, что она все видит и от лукавого ее взора невозможно спрятаться.

Каппель отрицательно покачал головой:

— Нет. У меня таких ярких впечатлений нет.

А гвардейский полковник продолжал распаляться — так он весь вечер и пробыл в центре внимания честной литературной компании.

Фамилию его Каппель запомнил хорошо — Муравьев.

И вот он, похоже, встретился с Муравьевым вновь — если, конечно, это тот самый Муравьев. Однако другого гвардии полковника, который мог бы поступить на службу новой власти и занять такой высокий пост, представить себе было невозможно, значит, и сомневаться не стоит — это тот Муравьев...

Он, кстати, разбил наголову «жовто-блокитников», взял Киев и отдал его на откуп мародерам, за два дня

там были расстреляны две тысячи офицеров, решивших отказаться от военной карьеры и не поступивших на службу в Красную Армию, хотя им настойчиво это рекомендовали... Муравьев приказал всех их поставить к стенке. Офицеров-орденоносцев фактически расстреляли только за то, что они хорошо воевали на фронте и били в хвост и в гриву приспешников кайзера...

Троцкий этот расстрел одобрил.

Собственно, Муравьев Каппеля не очень беспокоил — гораздо больше беспокоил Тухачевский. Разведка донесла, что Тухачевский также объявил призыв бывших офицеров в Красную Армию, причем призыв добровольный, без всякого муравьевского нажима, и начал железной рукой наводить в своих частях порядок. Собственно, Каппель, будь он на его месте, сделал бы то же самое и начал именно с этого, точно так же стал бы бороться с партизанщиной и разбоем... В общем, Тухачевский был достойным противником.

Из Симбирска офицер-разведчик привез Каппелю листовку, подписанную Тухачевским. Листовка была отпечатана на серой, плохого качества бумаге. Впрочем, другую бумагу в стране, охваченной войной, сейчас вряд ли можно было найти. Каппель прочитал листовку очень внимательно, стараясь вникнуть не в текст, а в то, что находилось за текстом, потом дважды перечитал ее.

«Товарищи!

Наша цель — возможно скорее отнять у чехословаков и контрреволюционеров сообщение с Сибирью и хлебными областями. Для этого необходимо теперь же скорее продвигаться вперед, необходимо наступать: всякое промедление смерти подобно!

Самое строгое и неукоснительное исполнение приказов начальников в боевой обстановке без обсуждений того, нужен ли он или не нужен, является первым и необходимым условием нашей победы!

Не бойтесь, товарищи! Рабоче-крестьянская власть следит за всеми шагами ваших начальников,

и первый же необдуманный приказ повлечет за собой суровое наказание.

Командарм-I Тухачевский».

— Вполне в духе Робеспьера и вождей французской революции, — сказал Каппель, кладя листовку перед собой на стол. — Текст не может не вызывать недоверия к тем офицерам, которые пошли служить в Красную Армию. А это нам на руку.

— Кроме Тухачевского, есть еще Муравьев. Не кажется ли он вам более серьезной фигурой, чем Тухачевский, Владимир Оскарович? — спросил Вырыпаев, находившийся здесь же, в передвижном штабе. Первая рота захватила в Сызрани штабной вагон, отделанный бронзой и бархатом; говорят, это был личный вагон Троцкого, в котором тот любил принимать гостей, в частности приезжавших на фронт дам. Каппель ко всем этим бронзулеткам относился брезгливо, но содрать дорогой металл со стенок вагона нельзя было, слишком оборванным выглядел бы тогда салон, и Каппель обреченно махнул рукой: пусть остается все, как есть!

— Нет, не кажется. — Каппель снова вспомнил лощеного гвардейского полковника, лихо разглагольствовавшего в литературном салоне. — Муравьев любит гусарить, а гусары — принадлежность прошлого века, но никак не нынешнего. Малиновые чикчиры, серебро, цыгане со скрипками, знойные женщины, шампанское из изящных лаковых туфелек, авантюра на авантюре — вот весь Муравьев. А Тухачевский... Тухачевский — человек серьезный.

— Но ведь именно Муравьев разбил под Гатчиной Краснова, а у Украинской Рады отнял Киев...

— Ну и что? Зато он так доблестно и так позорно драпал от румын. — Каппель невольно поморщился: румын он вообще не считал за солдат. Максимум, на что они способны, — работать в армии парикмахерами. — Велел разрушить Одессу... Это шут какой-то, а не главнокомандующий.

— Я слышал об Одессе, Владимир Оскарович.

Муравьев действительно драпал с румынского фронта так, что только пятки сверкали. По дороге он отдал следующий приказ: «При проходе мимо Одессы из всей имеющейся артиллерии открыть огонь по буржуазной и аристократической части города, разрушив таковую и поддержав в этом деле наш доблестный героический флот. Нерушимым оставить только прекрасный дворец пролетарского искусства — городской театр». И подпись свою поставил, для истории — «Муравьев».

Копия этого приказа в конце концов оказалась у Каппеля — он поместил его в специальную папку: срабатывала штабная привычка знать о своем противнике как можно больше, желательно все, вплоть до того, какую кашу он предпочитает есть на завтрак. Точно такую же папку он решил завести для материалов, касающихся Тухачевского, и она — Каппель в этом не сомневался — также будет все время пополняться.

— Тухачевский много серьезнее Муравьева, — сказал он, развернув карту, лежавшую на столе, — и относиться к нему надо как к серьезному противнику.

Каппель расстегнул несколько пуговиц на кителе. Такие вольности он позволял себе редко, но в вагоне было душно, сыро, в воздухе парило, собирался дождь, и Каппель чувствовал себя муторно.

Пуговицы на своем кителе он обшил тонкой тканью, многие офицеры вообще заменили пуговицы с вычеканенными на них царскими орлами на обычные черепаховые. Орлы были уже не в ходу — это старая символика, а новая еще не придумана, вот и приходилось довольствоваться тем, что оказывалось под руками. Вырыпаев, например, заменил пуговицы на сугубо гражданские, мещанские — роговые...

Со станционного телеграфа Каппелю принесли ленту: наспех, клочками наклеенную на старый почтовый бланк, украшенный николаевским гербом. Телеграмма была от Бориса Савинкова, с которым Каппель был едва знаком. «Поздравляю блестящей победой», — написал Савинков. Точно такую же телеграмму Каппель получил и от полковника Галкина, командующего военными силами Комуча.

К телеграммам он отнесся равнодушно: что были они, что не было их — все едино.

Вырыпаев взглянул на карту:

— Что будем делать дальше, Владимир Оскарович?

— Воевать. Пока Муравьев не соединился с Тухачевским — а он сейчас находится где-то в районе Царицына, — будем бить Тухачевского. Когда подоспеет красный главнокомандующий — будем бить обоих.

В Поволжье, на огромной территории затягивался мощный узел, непонятно было, кто кого сомнет, а смяв — победит — красные ли победят белых, или белые красных... И у тех, и у других имелись свои гении. И были эти гении отнюдь не доморощенными. Тухачевский стоил Каппеля, Каппель стоит Тухачевского.

— Сегодня вечером выступаем, — приказал Каппель. — На Ставрополь-Волжский.

Этот поход был легче сызранского. Во-первых, появились кони, много коней. Командиры рот и взводов пересели в седла. Во-вторых, шли все время берегом реки, обдаваемые дыханием воды, прохладой — было не так жарко. В-третьих, дух в частях был совершенно иной, приподнятый: то, что они сумели победить в сызранской схватке, здорово всех подбадривало.

— Если дело так дальше пойдет, мы скоро всю Россию освободим и поставим на верный путь, — говорили старые солдаты, шагающие с винтовками в строю, и поучали солдат молодых: — Вы, парни, силы свои соизмеряйте с расстоянием. Сегодня нам надлежит отшагать не тридцать верст, что положены бойцу на марше, а все пятьдесят. — Сказав это, говорящий обязательно поднимал заскорузлый указательный палец и продолжал разъяснять: — А это, считай, в два раза более обычного, но с Божьей помощью мы этот серебряный полтинник одолеем... Дыхание только, парни, держите ровное, не рвите, не сбрасывайте резко на поворотах да ноги ста-

райтесь не напрягать — нога на марше должна быть расслабленной. Тогда икры не сводит, и мышцы не так устают... Понятно?

Бывшие ударники-корниловцы шли весело, готовы были даже на ходу «тянуть носок» — шаг тогда делается торжественным, как на параде.

Ставрополь-Волжский считался городом захолустным, невесть как городской статус получившим. По сравнению с ним Сызрань почитай что столица, в ней имелись даже колокола с малиновым звоном, а купцы сколотили такие состояния, что им могли позавидовать самарские богатеи.

Природа же тут была много краше, чем в мокроносой Сызрани, радовала глаз. Волга под Ставрополем была широкая, наполнялась неожиданной синью, простор дышал, и если на этом просторе вдруг возникал маленький белый треугольник паруса, душа замирала от невольного восторга. Каменные утесы поражали размерами, высотой, гигантскими соснами, которые своими толстыми сильными корнями разваливали прочные камни, дробили их и одновременно скрепляли. Такой природы, как под этим маленьким захолустным городком, нигде на Волге не было — по всей своей длине она была другая.

Сызрань Каппель оставил и тем самым допустил ошибку. С севера подоспел красный батальон, полновесный и хорошо вооруженный, быстро занял город, перестреляв дружинников-одногодков из учебного взвода, которые тренировались на небольшом зеленом лугу, обучаясь делать резкие уколы штыком, потрошили чучела, сшитые из старой одежды и увенчанные диковинными суконными шлемами — их потом стали называть буденновками.

Из Сызрани вырвался только один казак — застрявший у какой-то вдовушки посыльный, он проскочил через несколько огородов, нырнул в ложок и был таков. Погоня, посланная за ним, успеха не принесла — казак, легкий в кости, цепкий, припав к конской спине, ото-

рвался от десяти всадников, тесной толпой бросившихся за ним — всадники только друг другу мешали, — и ускакал.

Погоня вернулась в Сызрань. А казак из одного лога нырнул во второй, потом в третий, затем на пути его попался лесок — так и ушел. Потом он свернул к Волге и берегом поскакал вслед за каппелевскими частями. От берега старался не удаляться — река была хорошим ориентиром.

Намеченные пятьдесят верст, о которых упрямо талдычили старики, одолеть не удалось — слишком непосильной оказалась эта задача для людей. Тридцать верст — норма, после которой солдат снопом валится на землю и дышит хрипло, кашляет надсаженно, тяжело, того гляди, вот-вот выкашляет свои легкие и загнется, но ничего, проходит немного времени, и солдат поднимается на ноги. Крутит головой устало и начинает зыркать вокруг глазами: а где полевая кухня?

Получив миску гречневой каши с говядиной и кружку горячего чая, он окончательно приходит в себя, а через полчаса и вовсе оказывается, что он готов шагать дальше.

Вот такие солдаты водятся в России.

Подойдя к Ставрополю-Волжскому, Каппель решил применить старую тактику — проверил ее на Сызрани, она оказалась верной: взять город в клещи и накрыть его артиллерийским огнем.

Снарядов у капитана Вырыпаева было теперь более чем достаточно.

— Могу вести огонь десять часов без перерыва, — доложил он Каппелю, — главное, чтобы стволы пушек выдержали.

Стволы от беспрерывной стрельбы могли просто потечь.

Конечно, неплохо было бы зажать Тухачевского в этом городе и прихлопнуть котел крышкой — бывший поручик в нем и сварился бы. Но и Тухачевский был не дурак, прекрасно понимал, чего хочет Каппель,

и, пораскинув мозгами, не обращая внимания на тяжелый, рвущий барабанные перепонки свист снарядов, разложил перед собой карту и принял решение: город сдать!

Тухачевского знобило — в эту жаркую пору он ухитрился подхватить насморк, переросший в обыкновенную противную инфлюэнцу[10]. Болезнь эта хоть и не опасна, но очень изматывает, кажется, что человек варится в собственной одежде, делается противно липким, горячим, от слабости кружится голова и трясутся пальцы.

Чтобы унять дрожь, Тухачевский натянул на плечи старую, в нескольких местах порванную шинель с длинными кавалерийскими полами, пахнущую дымом, конским потом, еще чем-то неприметным, но очень родным, рождающим тепло под ключицами. Командарм расслабленно морщился и двигал головой так, будто на горло ему сильно давил воротник.

— Отступаем к Симбирску, — решил он, — в Ставрополе-Волжском хоть и отрыты окопы в полный рост — лошадь можно водить, а толку от них с гулькин нос — они не защищены с флангов, не имеют укрепленных стыков. Пока есть коридор — будем уходить. Перекроют коридор — Каппель раздавит нас прямо в городе. Как мух... Перехлопает поштучно.

Тухачевский присматривался к Каппелю, как и Каппель к Тухачевскому. В судьбах их было много общего. Тухачевский принадлежал к разорившимся, едва сводящим концы с концами дворянам. Каппель тоже был таким же — его полуразобранное имение находилось в Тульском уезде. Тухачевский прошел фронт, видел войну из окопов, и Каппель прошел фронт, он также видел войну из окопов и умел держать винтовку в руках. И у того, и у другого имелись общие знакомые, разбросанные по всей России от Екатеринодара до Хабаровска.

Пожалуй, только о личной жизни Каппеля — это была тайна за семью печатями — командарм ничего не знал. У Тухачевского же имелась «единственная и непо-

вторимая» — бывшая ученица Шор-Мансыревской гимназии Маруся Игнатьева, с ней Миша Тухачевский познакомился на гимназическом балу в Пензе, в дворянском собрании. Они вместе танцевали печальный вальс «На сопках Маньчжурии», исполнили его так, что аплодировало все собрание.

А потом Тухачевскому пришлось уехать из Пензы в Москву — в кадетское училище. После кадетского было Александровское юнкерское училище, которое он закончил с отличием в чине фельдфебеля. И — сбылась его мечта: он попал в лейб-гвардию, в знаменитый Семеновский полк.

В полку служили люди богатые. Офицеры могли запросто швырнуть на ломберный столик «катеньки» веером. Тухачевский таких денег не имел, а двести десятин земли его поместья были уже несколько раз заложены и перезаложены... Оставалось одно — надеяться на себя.

Интересно, похожа ли на его судьбу судьба Каппеля?

У Владимира Каппеля была такая же судьба, и в жизни он сталкивался с теми же проблемами, что и у Тухачевского. Детали только были разными.

Но не в деталях суть. А в том, что они очутились по разные стороны баррикад. И оба сражаются за Россию. Что один, что другой. Только у каждого из них своя Россия, свои идеалы, свой народ, хотя разным народ быть не может, он — один... Оба хорошо проштудировали Клаузенвица и Суворова, оба назубок знали биографии Мольтке и Бонапарта. Они оба были достойны друг друга, достойны того, чтобы стать хорошими товарищами...

Но они стали врагами.

Тухачевскому в эти дни пришло письмо из Пензы, от сестры. Странно было, что оно добралось в Ставрополь-Волжский сквозь гигантские расстояния и не сгинуло. Измятый конверт с пятнами грязи и масла, видимо, побывал во многих переделках... Сестра писала, что Маша Игнатьева стала ее близкой подругой, они теперь «не разлей вода», даже питаются вместе, и Маруся по-прежнему помнит и любит сероглазого гвардейского по-

ручика... Независимо от того, продолжает ли он носить офицерские погоны или же перешел под другие знамена и повесил на грудь пышный красный бант. Письмо было приятно Тухачевскому, он перечитал его дважды.

Симбирск ожидал прибытия Муравьева, командующего всеми красными силами на фронте. Было известно, что Муравьев очень близок к Троцкому. Тухачевский хоть и был болен и пробовал избавиться от инфлюэнцы разными снадобьями — от порошков до отваров из трав, и не до встречи ему было, а этой встречи ожидал со смутным чувством.

Имя бывшего гвардейского полковника было у всех на слуху, газеты писали о Муравьеве едва ли не каждый день. Тухачевский эти газеты читал, но одно дело — газеты, и совсем другое — увидеть человека, что называется, живьем, посмотреть ему в глаза, подышать с ним одним воздухом.

Он слышал, что Муравьев — писаный красавец, черноволосый, черноглазый, с бронзовым чистым лицом, умеющий великолепно говорить и, судя по успехам под Гатчиной и в Киеве, умеющий неплохо воевать.

Когда Муравьева бросили на румынский фронт, он собрал остатки разбитых русских подразделений, создал из них более-менее боеспособный кулак и назвал это разношерстное формирование довольно выспренне — «Особая армия по борьбе с румынскими олигархами».

Речи, которые Муравьев произносил во время своих грозных походов, как правило, заканчивались угрозой, что он обязательно «сожжет Европу».

Еще знал Тухачевский, что до войны, в тринадцатом году и в начале года четырнадцатого, Муравьев любил появляться в дорогих ресторанах Санкт-Петербурга вместе с высокой глазастой негритянкой, имевшей умопомрачительную фигуру, и пил вместе с нею дорогое французское шампанское в количествах немереных. Шампанское это поставляли царскому двору, но часть его, естественно, попадала в рестораны.

Негритянку гвардейского полковника Муравьева Санкт-Петербург — ныне Петроград — помнил до сих пор.

Вот, пожалуй, и все, что знал о Муравьеве Тухачевский — примерно столько же, сколько знал и Каппель, от того, как поведет себя Муравьев — вот странное дело, — зависела судьба и того, и другого.

Путь от Сызрани до Ставрополя-Волжского Каппель проделал на коне. Наломался. Кроме того, он, как и Тухачевский, подхватил от не вовремя расчихавшегося полковника Синюкова инфлюэнцу — мерзкую штуку, способную вывести из состояния равновесия кого угодно. Каппель потел, плавал в горячей одежде, ощущал себя червяком, которого решили сварить; земля перед глазами дергалась, никак не могла удержаться на одном месте, болезненно кренилась то в одну сторону, то в другую, раскачивалась, и никакие лекарства не помогали.

Полевой доктор Никонов, появившийся в группе после Сызрани, накормил Каппеля какими-то горькими, пахнущими дробленым мелом порошками, потом сдернул с головы офицерскую фуражку и вытер ладонью блестящую лысину.

— Тут, ваше высокоблагородие, такое дело: что принимай порошки, что не принимай — один лях. Если будете принимать — выздоровеете через семь дней, если не будете принимать — проболеете целую неделю.

Каппель в ответ усмехнулся, ничего не сказал, отпустил лысого доктора-шутника, покачал головой, то ли осуждая его, то ли, наоборот, приветствуя такой грубоватый, мужицкий юмор.

На станции под Ставрополем-Волжским Каппель вновь перебрался в штабной вагон, походил по нему, дивясь дорогой отделке, бронзе, покрытой особым, похожим на лак, французским составом, из-за которого бронза не требовала чистки, мягкому плюшу, и, не выдержав, отрицательно покрутил головой.

— Не могу, — сказал он, — не могу ездить в таком вагоне.

— Отчего же? — озадаченно поинтересовался Синюков. — Вы командуете крупной группировкой, у вас сейчас под началом как минимум — бригада плюс приданные подразделения со своим хозяйством — артиллерия, подрывники, кавалерия... Скоро, наверное, и флот подтянете. Вам положен такой вагон. Штабной. — Полковник неведомо кому погрозил пальцем. — Он просто необходим.

— Слишком роскошный, — пожаловался Каппель, — и, кроме того, уж очень напоминает дамский будуар. Не могу я из дамского будуара командовать боем. Не привык...

— А если посдирать все эти цацки? — Синюков поддел ногтем трехрожковое бра, прикрученное латунными шурупами к стенке вагона. — А?

— И что прибить на их место? Железные подсвечники, позаимствованные в каком-нибудь трактире? Нет. Жалко этакую красоту рушить. Пусть она существует сама по себе, а я буду существовать сам по себе. Подвернется подходящий вагон, попроще — я в нем поселюсь. А этот... — Каппель красноречиво развел руки в стороны, — этот — нет.

Но все равно бросать вагон было жалко.

— А его и не надо бросать, — сказал Каппель. — Зачем бросать? Это же военный трофей. Пусть находится в обозе... в железнодорожном обозе, — поправился он, — пока мы не передадим его какому-нибудь достойному генералу.

— Вы, Владимир Оскарович, не слышали, Комуч что учудил?

— Нет. — Каппель невольно поморщился — он не любил слухов, а то, чем хотел его угостить Синюков, принадлежало, очевидно, к этому разряду.

— Утвердило обращение друг к другу «гражданин»...

— Это было и раньше.

— Да, это было и раньше, только против этого не выступали офицеры, Владимир Оскарович. На воинской форме — никаких погон, лишь отличительный знак в виде георгиевской ленточки.

— Бред какой-то, — пробормотал недовольно Каппель. — Как может быть форма без погон? Это красные обходятся без погон, но и они — будьте уверены — в конце концов введут у себя погоны. Бред, — повторил он. — Противоречит психологии, более того — противоречит даже идеологии всякой армии.

— Согласен. Но что есть, то есть.

— Единственное, с чем не могу спорить, так это с обращениями «ваше высокоблагородие», «ваше высокопревосходительство» и так далее. Но и в это тоже была вложена государственная идеология, это тоже имело свой смысл и, в конце концов, дисциплинировало подчиненных. — Каппель закашлялся — болезнь давала о себе знать. Откашлявшись, скомандовал: — Выступаем на Симбирск!

К Симбирску по Волге подплывала целая флотилия. Впереди резал носом воду белый, с изящными формами корабль под названием «Межень», на якорной палубе которого была выставлена пушчонка, также окрашенная в белый цвет. Это был бывший пароход царицы, очень удобный, продуманно сработанный, с тихой, но сильной машиной и роскошными полуприводненными каютами. Не корабль, а сказочная яхта, какая только царю и положена.

Впрочем, по роскоши, удобству, скорости «Межень» нисколько не уступала знаменитому царскому «Штандарту» — балтийской яхте Николая Второго.

За «Меженью» шли еще четыре корабля — «Владимир Мономах», «София», «Алатырь», «Чехов», везли хорошо вооруженные отряды, сколоченные бывшим гвардейским полковником. Кроме русского отряда, на «Чехове» находился батальон молчаливых, жестких в бою латышей, а на «Софии» — рота китайцев под

командой Сен Фу-яна. Сен Фу-ян называл себя «капитаной китайской слузбы», был зубаст, груб, глаза имел какие-то непрорезанные, уже обычного, а голос тихий — «капитана» не любил тех, кто говорил громко.

На передней палубе «Межени», около пушчонки, был поставлен стол, накрытый хрустящей от крахмала, белой, как рождественский снег, скатертью. За столом сидел сам главнокомандующий Муравьев, наряженный в алую, цвета давленой клюквы черкеску, украшенную серебряными газырями и большим шелковым бантом, — красное на красном. Стол окружали несколько плечистых охранников-грузин с мрачными лицами.

Муравьев говорил, что только два человека в России предпочитали в последние двадцать лет иметь охрану из мюридов-грузин: он и свергнутый царь Николай Второй.

— Преданнейшие люди! Если не торгуют мандаринами — очень хорошо несут охранную службу, — утверждал бывший гвардейский полковник, ставший главнокомандующим.

Адъютантом у Муравьева тоже был грузин — гибкий, как танцор, белозубый, тонкоусый человек с редкой для горца фамилией Чудошвили.

Муравьев завтракал. Напротив него за столом сидел Чудошвили, рядом, тесно прижавшись с обеих сторон к командующему, чтобы можно было обнять и одной рукой, и другой — две гастролирующие певицы, юные жизнерадостные особы, похожие друг на дружку, как близнецы, с пухлыми розовыми щечками, отмеченными очень милыми ямочками.

Руки у Муравьева были украшены дорогими перстнями, хотя камни, вставленные в перстни, никак не сочетались друг с другом: в одном перстне краснел огромный кровавый рубин, во втором — поблескивал искрящимся синим холодом сапфир, в третьем — зеленел редкостный мадагаскарский изумруд. Муравьев, не снимая перстней, рвал пальцами холодную курицу — очень любил простонародное блюдо — холодную

рябу под острым аджичным покрывалом, с пристрявшими к белому мясу комочками нежного желе.

— Я видел, как воюют эти чехи, — говорил он громко, напористо, обращаясь только к певичкам, адъютанта он не замечал, — день посидят в окопах, потом уходят на два дня в ближайшие сады собирать сливы. Ну, кто такой Гайда[11], новоиспеченный чешский генерал? Или он еще не генерал? Это — обыкновенный барахольщик, привыкший у баб из лифов выдергивать ассигнации, спрятанные на черный день. Был в армии у австрийцев обыкновенным фельдшером, чирьи солдатам зеленкой прижигал. В плен сдался добровольно. Ну разве может из фельдшера получиться толковый командир полка? Не понимаю, как он мог потеснить наших... Это надо же! — Муравьев взмахнул рукой, отправляя за борт «Межени» очередную куриную кость, выругался. — Сдали Сызрань и Ставрополь-Волжский... Позор!

— Там, кроме Гайды и Чечека, есть еще Каппель, — осторожно вклинился в разговор адъютант, мазнул пальцем по тонким черным усикам.

— Каппель? Не знаю такого. Но будь уверен — узнаю! И спущу штаны с толстой белой задницы. Прикажу сечь плетками до тех пор, пока задница не будет располосована на ремни.

Певички дружно засмеялись. Чудошвили тоже засмеялся — ему нравился шеф, умеющий так красочно изъясняться.

— Ну что, скоро там Симбирск? — повернувшись к охране, спросил Муравьев.

— Сейчас узнаем, — склонил голову один из охранников, низкорослый, широкоплечий грузин. Через несколько минут он доложил, нагнувшись к уху главнокомандующего: — Капитан сказал — остался час хода.

— Через час будем в Симбирске, — громко провозгласил Муравьев, подхватывая со стола бутылку с шампанским, ловко разлил вино по фужерам — налил дамам и себе, адъютанту наливать не стал — чин не тот.

Чудошвили, всем своим видом показывая, что нисколько этим не ущемлен, сам наполнил себе фужер.

— Почистим этот город, покажем местным сундукам, как правильно произносить слово «Ленин». — Муравьев перевел взгляд на адъютанта: — А ты — Каппель... Если же найдутся инакомыслящие, то... — Муравьев сжал руку в кулак, кулак был крепкий, тяжелый, словно налитый свинцом. — Инакомыслие лучше всего ликвидировать вместе с его носителями. Чтобы больше ни у кого не возникало никаких вопросов. Главное — с именем Ленина не свернуть с ленинского пути.

Муравьев говорил грамотно, умел убеждать, и хотя в голове у него был сумбур, идти по ленинскому пути он не собирался. Одно дело — адъютант, похожий на кудрявого барана, и эти профурсетки с аппетитными ляжками, и совсем другое — Тухачевский, с которым он очень скоро поведет душевный разговор. Как дворянин с дворянином. С глазу на глаз.

Тухачевский в это время находился на Симбирском вокзале, его вагон стоял в небольшом зеленом тупичке, метрах в семидесяти от здания вокзала. Инфлюэнца никак не могла отвязаться от командующего, продолжала трепать, и Тухачевский зябко кутался в старую шинель.

Адъютант предложил ему свою шинель, новенькую, сшитую из превосходного генеральского сукна, но Тухачевский вежливо отказался.

— Михаил Николаевич, но вы же — командующий! — с неожиданной обидой воскликнул адъютант.

— Ну и что?

— Не понимаете вы большой революционной значимости своей фигуры, Михаил Николаевич!

Тухачевский промолчал. Он пытался выстроить в мыслях предстоящий разговор с нервным, кокетливым, горячим как кипяток — именно так только что ему охарактеризовали главнокомандующего — Муравьевым... Только в кипятке этом чаю не заварить. И вот ведь как — разговор этот у него никак не получался.

Не склеивался, не выстраивался. В конце концов Тухачевский перестал заниматься этим бесплодным делом: и начаться и закончиться разговор с главнокомандующим должен был благополучно.

Муравьев, Каппель... В бинокль Тухачевский увидел знамя, под которым каппелевцы шли в атаку. Знамя было красного цвета. Что бы это значило?

Тухачевский воюет под красным знаменем, и Каппель тоже воюет под красным... Одновременно они безжалостно молотят друг друга, русские — русских. Тухачевский вытащил из кармана сверток со снадобьями, вытряхнул из него один пакетик.

Врач рекомендовал порошок растворить в стакане воды и выпивать, оставляя малость на дне — там остается шлак, вредный для организма, его надо обязательно вытряхивать, поскольку от шлака этого не только в почках, но и в желчном пузыре и в мочеточнике образуются камни, — но возиться с водой, растворять порошок Тухачевскому не хотелось, и он высыпал порошок прямо в рот. Запил тепловатой, противно пахнущей болотной тиной водой. Спросил вслух, ни к кому не обращаясь:

— Ну, где же Муравьев?

А Муравьеву еще только подали второе — с кухни принесли барашка, приготовленного по степному рецепту, в собственном соку. Готовится такой баран долго, несколько часов, томится на медленном огне, мается, но зато вкус у него не сравним ни с чем. Десяток живых баранов на «Межень» доставили аж из-под самой Астрахани. К подносу с томленым бараном повар поставил три бутылки настоящего французского «Божоле».

— Вино, ваше высокопревосходительство, — м-м-м! — Повар сложил пальцы в щепоть и звучно чмокнул. Он называл Муравьева «вашим высокопревосходительством», как генерал-лейтенанта, и Муравьев против этого не возражал, хотя в Красной Армии было совсем другое обращение — «товарищ». — В самый раз вино. «Божоле», которое делается из винограда сорта «гамэ», — на мой взгляд, лучшее вино в мире, — продол-

жал заливаться повар, которого Муравьев отыскал в Санкт-Петербурге, увез с собою на фронт в Румынию, в Киеве поселил в лучший особняк на Крещатике, а на «Межени» отвел ему каюту по соседству с капитанской, предназначенную для царского наследника.

— «Гамэ», — зачарованно повторил вслед за поваром Муравьев, повернулся к одной даме, потом к другой, подмигнул им и поднял указательный палец: — Это — великолепный виноград.

— На всякий случай, если барашка окажется мало, я еще приготовил телятину и стерлядь, все с легкими соусами. «Божоле» тяжелых соусов не терпит. Лучше стерляди могла быть семга, но, ваше высокопревосходительство, семга — северная рыба, а поставки с севера к нам временно затруднены.

— Да-да, — рассеянным тоном произнес Муравьев и сделал рукой жест, отпуская повара. Тот удалился.

Уже был виден Симбирск — колокольни, соборы с золочеными куполами, справные купеческие дома, вставшие на высоких волжских откосах.

По берегу, следом за пароходами Муравьева двигались неуклюжие, похожие на больших неповоротливых жуков броневики; битюги, запряженные попарно, тянули тяжелые пушки. Бывший гвардейский полковник представлял собой грозную силу, способную свернуть голову кому угодно.

И Муравьев это осознавал. Барашек, приготовленный в собственном — чуть горчившем от приправ — соку, показался Муравьеву лучше холодной курицы. Он похвалил повара:

— Молодец! Много лет знаю этого человека и ни разу в нем не ошибся.

Певички, сидящие рядом, вели себя манерно — мясо отщипывали крохотными кусочками, оттопыривая прелестные мизинцы, отправляли эти крохи в рот. Муравьев не удержался от едкого замечания:

— Не будьте курицами!

Певицы в ответ жеманно улыбнулись.

— У нас еще десерт есть, — сказал молчавший Чудошвили. Говорил он с таким акцентом, что иногда его невозможно было понять — искажал все до единой буквы алфавита. — Шампанское и ананасы.

— Свежие ананасы или консервированные? — деловито осведомился Муравьев.

— Свежие, — проклекотал горец.

День был жаркий, небо блистало голубизной, будто было покрыто лаком, на огромном пространстве от горизонта до горизонта не было видно ни одного облачка, на колокольнях грохнули звоны. Звук колоколов был хорошо слышен.

— Сегодня что, праздник какой-то? — недоуменно поинтересовался Муравьев.

Адъютант пожал плечами:

— Не знаю.

Точно такой же вопрос задал своему адъютанту Тухачевский.

— Троица, — ответил тот, — великий православный праздник. Пятидесятница.

Тухачевский понимающе кивнул.

Через полтора часа на набережную вывалилась толпа матросов, одетых во все черное. Их тяжелые маузеры в деревянных коробках болтались на длинных тонких ремешках, мешали шагать, а уж при быстрых перемещениях по пространству, когда надо было проявить ловкость и ухватить за зад какую-нибудь смазливую бабенку, вообще становились настоящим препятствием: ремешки, попав в широкий шаг, запутывали ноги, и революционный матрос прикладывался всей мордой о булыжную мостовую.

Несколько таких случаев было зафиксировано в тот день в славном городе Симбирске.

Муравьев встретился с Тухачевским на вокзале — ему сказали, что командарм-один болен, почти не выходит из вагона, и главнокомандующий поехал к командарму.

Разговор между ними не получился, хотя оба они, и Тухачевский, и Муравьев, были гвардейцами. А все гвардейцы, как земляки, — родственные души.

— Отсюда, из этого маленького пыльного городка, начнется освобождение Европы, — патетически провозгласил Муравьев.

Тухачевский дипломатично промолчал. Хотел было сказать, что в этом «маленьком пыльном городке» родился Ленин, но не сказал, промолчал. Муравьев еще несколько минут говорил о том, что значит мировая революция для Европы, из Европы она перекинется в Америку, а потом вообще охватит Галактику, потом неожиданно оборвал свою пламенную речь и спросил у Тухачевского:

— Вы коммунист?

— Коммунист.

— А почему в драной шинели ходите?

Сам Муравьев был одет как актер из оперетты: на плечи накинул роскошную, расшитую малиновыми и серебряными цветами венгерку, под венгеркой — диковинная желтая рубаха из тончайшего шелка, наряд дополняли алые чикчиры и сабля, украшенная дорогими каменьями. На пальцах сияли перстни.

В ответ на вопрос о шинели Тухачевский неопределенно пожал плечами.

— А я — левый эсер, — подчеркнул Муравьев. Он сделал это специально, ему надо было расставить точки над «i», определиться и показать, кто есть кто. Муравьев понял — Тухачевский никогда не станет его союзником, несмотря на общее гвардейское прошлое. Подумал отрешенно и зло: «Ну что ж, кто не с нами — тот против нас...»

Вслух же произнес совсем другое:

— Надеюсь, разница в наших политических платформах не помешает нам сработаться.

Тухачевский и на этот раз промолчал.

У Муравьева уже был выработан план — свергнуть большевиков, которым он пока продолжал служить, и установить в России свою собственную власть. Такие люди, как Тухачевский, могут этому либо помочь, либо здорово помешать... Расстался Муравьев с Тухачевским холодно.

На следующий день в штабной вагон, где находился командарм-один Тухачевский, ворвались матросы, вооруженные маузерами и гранатами.

— Именем революции вы арестованы! — объявили они ему.

Тухачевский в ответ недоуменно усмехнулся. Впрочем, в этой усмешке недоумения по поводу того, что он арестован, было мало — усмехался он тому, что Муравьев слишком поздно это сделал.

Его бросили в черный автомобиль и отвезли в городскую тюрьму, в одиночную камеру.

Следом был арестован руководитель симбирских коммунистов латыш Варейкис, затем — члены губкома большевики Гимов, Иванов, Кучуковский, Фельдман, Малаховский.

Муравьев собрал горожан на большой митинг и объявил, что ожидаемой войны с чехословаками не будет, с ними он подпишет мирное соглашение и вместе они двинутся на запад — добивать немцев.

Больше всех этому сообщению радовались китайцы — они азартно палили из винтовок в воздух и что-то певуче кричали. Горожан пламенные речи Муравьева оставили равнодушными, их больше беспокоили погромы, которые устраивали матросы.

Матросы громили лавки, в витринах которых были выставлены бутылки с монополькой — старой вкусной водкой, выпущенной еще до Великой войны. Некоторые, будто метлой, огребая пыль с симбирских тротуаров широкими, как бабские юбки, клешами, настолько возбудились, что перепутали бакалейные лавки с керосиновыми и напились керосина.

Пришлось служивых откачивать. Рвало матросов до желчи, сделались они зелеными, как весенняя трава, но выжили. Отовсюду доносились женские крики — китайцы оказались также весьма охочими до бабских юбок, и весьма проворными — как увидит китаеза бабу с широким задом, так винтовку наперевес и — за ней, словно в атаку.

То там, то здесь раздавались взрывы — матросы баловались бомбами, кидали их в непонравившиеся лавки. Особенно свирепствовали опившиеся балтийцы — в своих бедах и в зеленом цвете собственных физиономий они винили кого угодно, даже петухов, хрипло орущих в этот солнечный день, но только не самих себя.

Во дворе тюрьмы, в которой сидел Тухачевский, хлопали выстрелы: муравьевцы расстреливали большевиков. Тухачевский зябко кутался в рваную шинель: в тюрьме с ее метровыми стенами было знобко, как в подземелье. Да и от инфлюэнцы он так и не вылечился.

Настроение было хуже некуда, в таком подавленном состоянии он не находился со времен немецкого плена, и то там это чувство мучило его лишь в первые дни, когда он еще не ориентировался, не осознал, что с ним произошло, а потом, когда через несколько дней он принял решение о побеге, от подавленности и следа не осталось.

Матросы сменили охрану в тюрьме, поставили своих людей, заняли телеграф и указывали комиссару Панину, какие телеграммы можно передавать, а какие рвать на клочки и швырять в мусорную корзину, распотрошили и кадетский корпус, в генеральском кабинете с мебели сорвали «бронзулетки», а на соборной площади города, в самом центре поставили три броневика с пулеметами.

Суд, которым управлял Муравьев, вынес приговор: арестованных большевиков, в том числе и Тухачевского с Варейкисом, — расстрелять. Только вот что-то медлил Муравьев, его матросы пили не просыхая, сам главнокомандующий надрался так, что не мог оторвать голову от стола, бубнил о создании некой Поволжской республики — речей о том, что он разложит большой костер в Европе и сварит континент, как курицу, больше не было. Когда же он приходил в себя, то немедленно вызывал охрану и мчался в латышский полк — уговаривать тугодумных стрелков.

Латыши не верили Муравьеву, и он это чувствовал, ловил на себе их настороженные взгляды, стискивал зубы так, что желваки на щеках становились кирпично

твердыми, и произносил слова, которые у многих уже набили оскомину — о создании Поволжской республики и о том, что надо помочь чехословакам добить Германию.

...Темной августовской ночью латыши окружили тюрьму. Тухачевский не спал — ожидал, когда за ним придут и поведут на расстрел. Варейкис тоже не спал. И того, и другого удивляло, почему же Муравьев медлит, почему теряет время? Что ли спился окончательно?

Неожиданно внизу, под окнами, послышалась стрельба — но не во внутреннем дворе, где матросы расправлялись с приговоренными заключенными, а у ворот, у будки с охраной. Потом два выстрела грохнули в коридоре, следом раздались сопение, топот, возня... Сердце у Тухачевского сжалось: это конец. Через пару минут распахнется дверь камеры, и пьяный, с расплывающимся лицом матрос скомандует: «Выходи!»

Через две минуты дверь камеры действительно распахнулась, Тухачевский одернул на себе шинель и поднялся со спокойным лицом.

На пороге стояли два латыша с винтовками. На фуражках у них краснели революционные ленточки.

— Выходите, товарищ Тухачевский, — проговорил один из них, светловолосый, с льдисто-твердыми глазами. — Вы свободны!

Речь у латыша была негромкая, отчетливая, каждое слово он отливал, будто пулю из свинца. Тухачевский помял пальцами свои запястья, словно они болели после кандалов, и, пригнувшись, чтобы не задеть за низкую железную притолоку, выбрался в коридор.

В коридоре горело несколько тусклых электрических лампочек, в самом его конце он увидел Варейкиса. Тот приветственно поднял руку. Прокричал:

— Собираемся на срочное заседание губкома, товарищ Тухачевский! Наши уже все свободны!

Под «нашими» Варейкис подразумевал Гимова, Иванова, Кучуковского, Фельдмана, Малаховского, Шера.

— Где сбор? — деловито спросил Тухачевский.

— В кадетском корпусе. Корпус занят интернациональным полком, оставшимся верным советской власти.

— Где Муравьев?

— На «Межени». Спит.

— Неплохо бы арестовать мерзавца, — сказал Тухачевский.

— Обязательно попробуем это сделать.

Электрические лампочки в тюремном коридоре замигали — сейчас вырубят свет. Тухачевский вышел на улицу, в теплую летнюю ночь. Шинель он так и не снимал.

В кадетском корпусе осталось лишь несколько неободранных комнат — пострадал не только генеральский кабинет. Одну из комнат, под номером четыре, решили использовать для экстренного заседания. В комнатах, находящихся рядом — номер три и номер пять, — разместили по пятьдесят латышских стрелков. Варейкис разговаривал с ними на родном языке. Напротив комнаты номер четыре, в небольшом чуланчике, установили пулемет, задрапировали его тряпками.

— Если этот гад будет сопротивляться, открывай огонь не раздумывая, — инструктировал Варейкис пулеметчика, — руби всех подряд, и своих, и чужих. Потом разберемся. Муравьев не должен уйти.

Однако нужно, чтобы Муравьев пришел на это заседание, а он мог этого и не сделать, мог просто скомандовать своим пароходам отход и поплыть куда угодно — двинуться на север, к Нижнему Новгороду, либо на юг, к Царицыну, или даже уйти к самой Астрахани.

Разбудил Муравьева Чудошвили. Главнокомандующий долго не мог понять, чего от него хочет адъютант, поскольку вечером здорово перебрал. На мягком роскошном диване по-мужски грубо храпела одна из каскадных певичек, которых Муравьев привез с собой, при появлении Чудошвили она даже не открыла глаз.

Наконец адъютант дотолкался до главнокомандующего. Тот сел на постель, покрутил головой:

— Чего надо?

— Вас приглашают на заседание губисполкома.

— Ночью? Зачем? — удивился Муравьев.

— Для выяснения обстановки... Так велено передать.

— Что за народ, что за народ, — удрученно произнес Муравьев, свесил ноги с постели, — они что, до утра не могли подождать?

Надо было одеваться.

Собравшиеся в кадетском корпусе большевики ждали. Не верилось, что Муравьев явится на заседание — не дурак же он, в конце концов, — и тем не менее ждали: а вдруг ему глаза заволочет пьяным туманом или в черепушке что-нибудь сместится?

— Придет, вот увидите, придет, — убеждал своих товарищей Варейкис, — не может не прийти.

Он был прав.

Муравьев рассчитывал на обычное свое красноречие — толкнет пламенную речугу, укажет пальцем на смутьянов, матросы-бомбисты, подметая клешами пол, кинутся арестовывать виноватых, уведут их, а оставшиеся, как кроткие овечки, пойдут, куда укажет Муравьев.

Так было уже не раз.

У входа в кадетский корпус ему сообщили, что все большевики, в том числе и Тухачевский с Варейкисом, освобождены латышами. Нет бы тут Муравьеву развернуться и поскорее драпануть от кадетского корпуса, но он этого не сделал — опять понадеялся на себя. И не рассчитал свои силы.

Он не вошел в комнату номер четыре — влетел, как птица, совсем не обратив внимания, что за его спиной, за матросами-бомбистами, незамедлительно возникают молчаливые стрелки-латыши — солдаты интернационального полка.

Посредине комнаты Муравьев остановился, выдернул из лакированной черной кобуры маузер и взмахнул им.

— Вы кто? — спросил он громко у собравшихся. — Враги мне или товарищи? Настал решительный час. На моей стороне — фронт, войска, в моих руках Симбирск, завтра я возьму Казань. С кем вы, товарищи?

Разговаривать с вами долго не буду, извольте мне подчиняться!

— Свиньи тебе товарищи, — вдруг негромко, на «ты» проговорил Варейкис. — Шулер ты, Муравьев!

Муравьев побледнел. Щелкнул курком, взводя маузер. Варейкис напрягся лицом — вдруг Муравьев опередит латышей, выстрелит первым? С треском распахнулась дверь, и в комнату всунулось тупое пулеметное рыло. Матросы, окружавшие Муравьева, горохом сыпанули в разные стороны. Муравьев остался один.

Он стоял посреди огромной комнаты с маузером в руке и кусал губы. Пулеметчик откатил «максим» чуть в сторону и лег за него, ствол пулемета направил на Муравьева. Дверь снова закрылась. Пулеметчик готов был накрошить из людей капусту.

Видные симбирские большевики загалдели, будто малые дети, перебивая друг друга, они кричали Муравьеву прямо в лицо:

— Изменник!

— Шулер! — Это слово, пущенное легким на язык Варейкисом, потом долго гуляло по Симбирску.

— Предатель революции!

Муравьев собрал остатки сил, имевшиеся у него, и гаркнул оглушающе:

— Вы со мной или против меня?

— Мы против тебя, гнида! — так же оглушающе, что было мочи, гаркнул Варейкис.

Один только Тухачевский со спокойным видом сидел в углу комнаты на стуле, закинув ногу на ногу, и молчал, словно все происходящее никак его не касалось.

Муравьев выругался. Крепко выругался, наверное, раньше он так никогда не ругался. Дверь снова распахнулась с чудовищным треском, и в комнату вкатился Чудошвили. Увидев шефа, адъютант пожаловался слабым, разом осевшим голосом:

— Меня только что разоружили латыши.

Теперь Муравьев окончательно понял, только сейчас это до него дошло, а до этой поры не верил, что его могут

крутить: он попал в ловушку. Сам, добровольно залез в западню. Красивое лицо его исказилось.

Он взмахнул маузером и резко, на одном каблуке, повернулся к двери, проговорил громко, четко:

— Я успокою этих людей... Сам!

С силой ударил ногой по двери, та, затрещав, открылась, главнокомандующий остановился: на него смотрело два десятка штыков. Впереди стоял рослый латыш в кожаной тужурке и, неприятно шевеля нижней челюстью, целил из нагана Муравьеву прямо в переносицу.

— Измена! — закричал Муравьев громко, оглушая самого себя и людей, навскидку ударил из маузера и в ту же секунду получил пулю в голову.

Следом грохнуло еще несколько выстрелов, все пули — в Муравьева: за несколько мгновений его тело буквально изрешетили. Он, бывший гвардейский полковник, должен был упасть, но не падал, ловил собственным телом пулю за пулей и не падал, словно заговоренный.

Одна из пуль, пробив Муравьеву шею, врезалась в потолок, украшенный большой лепной розеткой, в белый потолок устремилась длинная страшная струя. Это была кровь Муравьева.

Наконец ударил еще один выстрел — из винтовки прицельно саданул длинноволосый латыш в кожаной фуражке, похожий на сельскохозяйственного рабочего, — и Муравьев застонал мучительно. Последняя пуля добила главнокомандующего. Он развернулся к стрелявшему боком, ноги у него подогнулись, ослабли, и он рухнул на пол. Маузер отлетел в сторону.

Тухачевский поднялся со стула, произнес просто:

— Вот и все!

Надо было возвращаться к своим делам. Штабной вагон куда-то угнали из Симбирска, нужно было подыскивать новый, и Тухачевский решил пока переселиться в обыкновенный пассажирский вагон.

Утром, едва он проснулся, ему сообщили:

— Каппель подходит к Симбирску.

Опасность поражения была ощутима в Москве, куда переехало советское правительство, гораздо острее, чем в Симбирске, в Казани, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в других волжских городах. Вот как описал правительственные заседания той поры Роман Гуль[12] — историк, литератор:

«Идут непрекращающиеся заседания. Тут — рассеянный барин, моцартофил Чичерин, желчный еврей с язвой в желудке Троцкий, грузин, дрянной человек с желтыми глазами Сталин, вялый русский интеллигент Рыков, инженер-купец Красин, фантастический вождь ВЧК поляк Дзержинский, бабообразный, нечистый, визгливый председатель Петрокоммуны Гришка Зиновьев и хитрый попович Крестинский. Председательствует Ленин, нет времени в стране, две минуты дает ораторам, многих обрывает: «Здесь вам не Смольный!»; комиссару Ногину кричит: «Ногин, не говорите глупостей!»

Главный вопрос, который обсуждается на этих заседаниях, — пошатнувшееся положение на Волжском фронте; если фронт не будет выправлен, Красная Россия может просто рухнуть. Это понимали все, и в первую очередь Владимир Ильич Ленин.

На внеочередном заседании Совнаркома было решено — на Волжский фронт отправить Троцкого: этот человек, похожий на чахоточника и ракового больного одновременно, желтокожий, очень язвительный — бывший журналист, а ныне красный российский Робеспьер, — быстро выправит положение.

Худая тонкопалая рука Троцкого обладает железной силой — в это верили все члены Совнаркома без исключения, вплоть до «дрянного человека с желтыми глазами», как величал Сталина будущий полпред России в Германии Н.Н. Крестинский».

Удержать Симбирск Тухачевскому не удалось: подполковник Каппель обыграл бывшего гвардии поручика. С одной стороны, Муравьев здорово навредил своею

страстью к заговорам и желанием управлять Россией, с другой — армия Тухачевского была слаба, в ней и дисциплины той, что у комучевцев, не было, и слаженности в действиях, и орудий не хватало. Артиллерия Первой армии перешла к Каппелю.

Тухачевский, выйдя из тюрьмы, немедленно занялся делами своей армии. Он понимал, что сейчас быстрота, натиск, время — важнее всякого оружия. Выиграет тот, кто окажется быстрее... Быстрее и хитрее. Тухачевский подготовил Каппелю в Симбирске «подарок» — ловушку, в которую Каппель обязательно должен был попасть. По его плану каппелевские колонны вместе с артиллерией должны войти в притихший настороженный город, втянуться в него, и когда Каппель будет в городе, все сработает — не уцелеть удачливому подполковнику.

Каппель нутром своим, кожей почувствовал, что его ожидает, и сделал шаг совершенно неожиданный: бесследно растворился в приволжских просторах. Только что на Тухачевского наступала целая армия, запыленная, усталая, с громоздким обозом и артиллерией, — разведчики, которые засекли, что каппелевцы остановились на ночлег прямо в голой степи, съедаемые комарьем, даже пересчитали разведенные противником костры и доложили об этом Тухачевскому. И вдруг армия исчезла...

Колдовство какое-то, ведьминские штучки. Тухачевский даже лицом потемнел, уткнулся в карту, соображая, что же это могло означать, но прийти к какому-либо выводу не успел: в южной части города, на окраине, вспыхнула перестрелка. Тухачевский сразу догадался, что это такое, никаких докладов ему не понадобилось: пришли каппелевцы. Он застонал от бессилия и от какого-то странного унижения, которое испытал в те минуты.

Каппель обвел его...

А Каппель поступил просто. Раскинул в поле большую палатку и вызвал к себе командиров. В палатке стояли скамейки и большой разборный стол, привезенный из ближайшего села.

— Прошу отведать чайку, — предложил командирам Каппель.

На столе горой гнездились две связки баранок, взятых в Сызрани, несколько головок синеватого, прочного, как камень, сахара — также из старых сызранских запасов, твердый сахар этот надо было колоть топором, простые щипцы его не брали... Командиры оживленно загалдели. Каппель молча наблюдал за ними.

Он вообще был человеком немногословным, и когда можно было молчать — старался молчать. Каппель походил на тихого русского интеллигента, который многое знает и многое умеет, но никогда не использует свои знания и умение во вред кому-то, более того — даже побаивается, стесняется этого, невольно зажимается, но неожиданно становится очень жестким, твердым, когда дело касается чести, доброго имени.

Несколько артиллеристов внесли в палатку сразу три самовара — больших, на пару ведер каждый, вкусно попахивающих дымком. Каппель окинул самовары знающим взглядом, приказал:

— Два самовара отдайте в роты, столько мы не одолеем. Оставьте нам один, этого хватит...

Когда собравшиеся, хрустя баранками, выпили по первому стакану чая, Каппель сказал:

— Ночевать сегодня не придется, так что надо подкрепиться, господа.

Синюков с интересом покосился на Каппеля.

— Сдохнем ведь от усталости, Владимир Оскарович. — Голос полковника сделался жалобным, он отер рукою красные глаза.

— Ничего, Бог поможет удержаться нам на ногах, — сказал Каппель. — Зато, когда войдем в Симбирск, отоспимся. Пейте, пейте, господа, — Каппель сделал радушный жест рукой, — подкрепляйтесь. Сейчас будем есть баранину. У меня тут целая команда баранину готовит...

Словно в подтверждение этих слов полог палатки распахнулся, и двое дюжих артиллеристов внесли под-

нос с горячей дымящейся бараниной. И будто сама степь ворвалась в палатку — запахло не только мясом, но и душистыми травами, ветром, еще чем-то, чем пахнет только степь.

— Тухачевский готовит нам ловушку, — сказал Каппель, подошел к самовару, подставил под тугую фыркающую струю стакан, — надо бы, конечно, выслать разведку и узнать поточнее о деталях этой ловушки, но на этом мы потеряем целые сутки, если не больше... А у нас этого времени нет. Плюс за эти сутки Тухачевский сможет укрепиться еще больше. Поэтому сегодня ночью мы должны совершить длинный марш-бросок. Не менее пятидесяти километров.

Полковник Синюков с сомнением покачал головой:

— Пехота этого не одолеет. Свалится с ног.

— А нам и не надо, Николай Сергеевич, чтобы она одолевала... Мы пехоту посадим на телеги.

Предложение было неожиданным. Синюков задумчиво пожевал губами, потом ухватил с подноса кусок баранины, отправил его в рот, начал жевать энергичнее.

— Интересный фортель, — наконец произнес он. — Такого в истории войн еще не было.

— Все когда-то должно совершаться впервые.

— Выходит, задача у нас следующая: к утру окружить Симбирск? Так, Владимир Оскарович?

— Кольцо замыкать не будем, оставим Тухачевскому коридор для вывода своих солдат.

— Зачем, Владимир Оскарович?

— А к чему нам лишняя мясорубка? Красные будут прорываться с боем, положат уйму своих людей, а заодно и людей наших. А потом... — Каппель коротким нервным движением потеребил темную искристую бородку, — потом я не верю, что началась полновесная гражданская война... Такая война — самое страшное из всего, что может быть. Пока это еще не война, пока это локальные стычки. Если же грянет война полновесная, мы утонем в крови. Это не нужно ни красным, ни белым. Ни-ко-му.

К поручику Павлову в темноте подошел дедок с кнутом, слегка похлопал им по ноге.

— А я вас, ваше благородие, помню, — сказал он.

— Откуда?

— А вы в мае месяце со своим товарищем из Волги большого сома вытащили... Было такое дело?

— Было. Вкусный сом. — Павлов вгляделся в дедка, шевельнул пальцем медаль, висевшую у того на рубахе, покивал головой мелко, как-то по-птичьи: — И я тебя, дед, помню.

— Вот так, — удовлетворенно произнес дедок. — Еропкин я, Игнатий Игнатьевич. Обоз со мною прибыл, пятнадцать подвод. Все — в ваше распоряжение.

— Подгоняй, дед, через десять минут будем садиться.

— Игнатием Игнатьевичем меня зовут, — напомнил дедок на всякий случай. — Подводы находятся в двадцати метрах отсюда. Лошади накормлены, напоены, к дальней дороге готовы.

— А чего дома, в Самаре, не остался, а, Игнатий Игнатьевич? — спросил Павлов. — Чего понесло в такой далекий край?

— Дома скучно, ваше благородие, — серьезно ответил дедок. — Одиночество заедает. — Он снова несколько раз стукнул длинным деревянным кнутовищем по ноге. — Бабка у меня вскоре после той нашей встречи умерла, общался я, когда оставался один, только с мышами. С ума трехнуться очень недолго. А здесь что... Здесь я на виду, с людьми, среди людей. Чувствую себя нормально... Вот и все мои секреты, ваше благородие.

Под начало к поручику Павлову попал и соседний взвод — командир его, подпоручик Сергиевский, получивший ранение еще в Сызрани, вынужден был остаться в Ставрополе-Волжском, где спешно развернули госпиталь, — Павлов теперь стал командиром роты.

— Игнатий Игнатьевич, держись меня, — приказал он дедку, — не отставай и не теряйся!

— Не боись, — голос у дедка сорвался на фальцет, — не потеряюсь. Только рыбоедов своих предупрежу, что-

были готовы, — проговорил Еропкин и исчез в ночной темноте.

К полуроте Павлова была прикреплена сестра милосердия Варя Дудко.

— Варюша! — Поручик расплылся в улыбке и уже готов был при всех ринуться ей навстречу, но Варя глянула на него строго, осуждающе, и Павлов разом пришел в себя, хотя настроение его хуже от этого не стало. — Варюша! — произнес он еще раз и умолк.

Тележный десант был разбит на две половины: одна должна была взять в кольцо город, вторая же получила приказ сделать дальний бросок, на Казань: Каппель уже понял, что Симбирск он возьмет без особых осложнений. Тухачевский просто не сможет противостоять — в его армии разлад. К Каппелю поступили сведения и об истории с Муравьевым. Так что Тухачевскому сейчас не до серьезной драки, он не в форме — это во-первых, а во-вторых — лучше плохой мир, чем хорошая война — хоть и затерта эта истина донельзя, а ничего незапятнанного, незахватанного в ней нет, а Каппель все еще продолжал надеяться, что красные и белые в конце концов сойдутся, хлопнут по рукам и обо всем договорятся. Ведь умные люди есть и среди одних, и среди других... Потому он и оставлял Тухачевскому коридор для вывода людей.

Полурота Павлова попала во вторую половину. Поручик, узнав об этом, довольно потер руки:

— Превосходно!

Улыбка, возникшая на его лице, была откровенно счастливой, мальчишеской. Собственно, Павлов в свои двадцать два года, несмотря на ордена и звездочки, украшавшие его погоны, был еще мальчишкой. Два с половиной года, проведенные в окопах, рукопашные драки с германскими солдатами, газовые налеты не сумели убить в нем восторженную душу, выхолостить память о былом, о детстве, проведенном под старинным русским городом, о первой охоте на зайцев-беляков по чернотропу, которую они совершали вместе с Мишкой Фе-

дяиновым... Где ты сейчас, Мишка? Улыбка сама по себе сползла с лица поручика — когда он думал о Федяинове, вид его делался озабоченным.

— Варюша, вы поедете на головной подводе, — предупредил он сестру милосердия.

— А вы, поручик, где поедете?

— Пока не знаю, — ответил Павлов, хотя хорошо знал, что поедет там же, где и Варя, на первой подводе.

Варя молча закинула в телегу сумку с медикаментами. Павлов запоздало кинулся к ней:

— Давайте помогу! Тяжело ведь!

— Ничего. Это своя ноша. А своя ноша, как известно, не тянет. — Варя проворно забралась в телегу, глянула вверх — небо над головой было огромным, чистым, черным, на глубоком сажево-черном бархате блистали, переливались, словно бы играли друг с другом, звезды, вид их рождал восторг и тепло.

Приложив руку ко лбу — на былинный манер, Варя попыталась отыскать Стожары — мощное скопище звезд, в котором, как ей говорила бабушка, есть и ее звездочка, но не нашла...

— Трогаем! — послышался где-то совсем рядом окрик, заскрипели колеса, и несколько подвод ушло в темноту.

Это были подводы первого, ближнего броска.

Если они будут так быстро наступать, то очень скоро могут очутиться в Москве. Варя неожиданно для самой себя легко и счастливо рассмеялась, представив, как въезжает в Златоглавую на телеге.

Через несколько минут поручик впрыгнул в телегу, следом за ним проворно забрался дедок в рубахе, к которой была прицеплена медаль, и под колесами загудела, заколыхалась дорога.

— Вы же, поручик, собирались ехать на другой подводе, — неожиданно капризно произнесла Варя.

— Варюша, места мне на другой подводе не нашлось, все забито, — проговорил искренним тоном по-

ручик, прижав руку к груди, — как в последнем поезде, уходящем из оккупированного города на свободу.

Когда было необходимо, поручик умел изъясняться цветисто — вон какую словесную вязь сплел...

— Ай-ай-ай, поручик, — укоризненно произнесла Варя.

— Меня зовут Сашей, — сказал Павлов, — Александром Александровичем, если полно. — Он почувствовал, что молчать сейчас никак нельзя, молчание будет непонятно для этой привлекательной девушки, да и долгая дорога в разговоре не будет казаться такой долгой.

— Александр Александрович... В этом есть что-то немецкое. У нас сосед был, Александр Александрович Репер, земский врач. Немец.

— Каппель — тоже немец. Так все говорят... Но на фронте немцев бил почище всякого русского.

— Владимир Оскарович — это особая статья.

— Просто это человек чести.

По небу вдруг понесся длинный желтый хвост и угас, родив в душе тревогу.

— Видели? — спросила Варя.

— Человек умер, чья-то жизнь кончилась, — с печальными нотками в голосе провозгласил Павлов, — яркий был человек, потому и след на небе был такой яркий.

— Скажите, Александр Александрович, вы верите в колдовство?

— Меня Сашей зовут, Са-шей, — мягко поправил Павлов.

— Извините, Александр Александрович.

— Всегда так получается, — поручик весело помотал головой, — все почему-то зовут меня по имени-отчеству. Даже капитан Вырыпаев.

— Это который артиллерист?

— Он самый.

— У вас много орденов, потому, наверное, и величают по имени-отчеству.

— В колдовство я верю. У меня отец как-то ехал по лесной дороге, задумался и не заметил, как конем толкнул старичка. Невесть откуда взялся этот старичок — только что не было его, и вдруг появился. Старичок зло посмотрел на отца и сказал: «Ну, погоди, ты меня еще попомнишь!» С этого дня отцу стали отказывать ноги. Чем дальше, тем хуже. И к врачам его возили, и к бабушкам-знахаркам, и на курорт в Баден-Баден — все бесполезно. Никто не мог понять, в чем дело. Тогда отцу сказали, что под Мценском, в леске живет один старик, который не только тех, кто не ходят — даже переставших ползать, и то ставит на ноги. Повезли отца к этому старику. Долго везли, сам отец уже передвигался еле-еле, на костылях. Подъехали к домику в лесу, а хозяин уже стоит в дверях, ждет. И к отцу по имени-отчеству: «Заходите, — говорит, — Александр Николаевич», — хотя раньше они никогда не виделись. Отец сполз с телеги, а старик ему: «Иди-ка, Александр Николаевич, для начала в баньку, я, пока ты ехал ко мне, специально ее истопил, попарься часик и — ко мне в дом. Я жду тебя». Отец, значит, попарился, потом перебрался на костылях в дом, а старик сидит там за столом и держит в руках зеркало. Перед зеркалом лежит полотенце, на полотенце — нож...

Под колесами телеги что-то ухнуло, телега вдруг стремительно понеслась вниз. Еропкин с криком придержал вожжи, поручик встревоженно привстал в подводе:

— Что случилось?

— Овраг. Оврагов тут уйма, но мы все их благополучно обошли, а этот — главный — обойти никак нельзя, объездной дороги нет. Вот и ухнул в преисподнюю. Тьфу!

— В преисподнюю? — Павлов усмехнулся.

— И что было дальше? — заинтересованно спросила Варя у поручика. Она и боялась этого рассказа, но одновременно ей хотелось узнать, что было дальше, вылечился ли отец поручика? — Колдуны — это бр-р-р! Их все опасаются.

— Старик повернул к отцу зеркало и сказал: «Смотри! Вот причина твоей болезни!» Отец глянул в зеркало, а там — тот самый лесовичок, которого он случайно задел конем.

— Надо же! — громко выдохнула Варя. Ей сделалось страшно.

Грохотал под колесами твердый пыльный проселок, над головами людей качались звезды, ночь была черна, колдовски глубока. Где-то невдалеке послышался вой волка.

— Неужто волк? — неверяще прошептала Варя.

— Он самый, — подтвердил старик, придержал захрапевшего коня.

— Что было дальше? — поежившись, спросила Варя.

— Дед этот, значит, и говорит отцу: «Ты можешь убить этого лесовика — возьми нож и ударь прямо в зеркало. Он умрет, а ты излечишься от болезни». Отец отказался. Дед в ответ только вздохнул да затылок себе пальцем почесал. Сказал: «Ладно! Вылечить мне тебя, Александр Николаевич, будет в таком разе, конечно, труднее, но я попробую». Два месяца он лечил моего отца, на звезды заговоры делал, на луну, на молодой месяц — по-всякому, словом, припарки готовил на ноги, на поясницу клал, золой кормил и — вылечил.

Варя снова зябко поежилась:

— Боюсь я колдунов.

— Казаки на Дону специально шашки себе заговаривали, чтобы те не тупились, если попадался колдун.

— А у немцев колдуны есть?

— Конечно. Колдуны даже в Африке есть.

За первым оврагом последовал второй — такой же глубокий, сырой. Старик Еропкин выругался:

— Видать, в темноте я малость промахнулся, мать честная! Надо бы чуть правее взять, ближе к Волге, там никаких оврагов нет, а мы спрямили дорогу — вот и кувыркаемся.

Одна телега действительно закувыркалась, но ее быстро подняли, поставили на колеса. Проверили ноги

у лошади — не переломала ли? — и двинулись дальше. Варя под шумок, под досадливый говор людей и веселое перемигивание звезд уснула.

Целый караван телег, наполненных вооруженными людьми, двигался по берегу Волги на север. Ни один разъезд красных не встретился им по дороге, словно армии Тухачевского не существовало.

Может, так оно и было?

Утром Каппель вошел в Симбирск. Улицы, вызолоченные ярким солнечным светом, были пустынны, в городе даже не лаяли собаки, словно муравьевцы, пока властвовали, выловили их всех до единой. Кто знает, может, так оно и было — ведь у Муравьева на службе находилась китайская рота Сен Фуяна, а китайцы, как и корейцы — большие доки по части собачатины. Вот в городе и не осталось ни одного тузика.

Каппель сузившимися, каким-то враждебными глазами осмотрел улицу, на которой остановился штабной эскадрон.

— Не люблю таких городов. Всякая тишина обладает зловещими свойствами и враждебна человеку.

На соборной площади лежали двое убитых красноармейцев — погибли ночью. Каппель приказал коротко:

— Похоронить!

В кадетском училище, в комнате номер четыре, с пола даже не стерли кровь убитого Муравьева, она въелась в старые нециклеванные доски, почернела и перестала походить на кровь — будто бы темную краску пролили...

— Владимир Оскарович, может, займем училище под штаб? — предложил Каппелю Синюков.

— Нет. В Симбирске мы задерживаться не будем — сегодня же двинемся на Казань.

Комучевцы Каппеля набирали скорость, победный запал этот нужно было не только сохранить, но и развить, а это было непросто: никому уже не хотелось воевать, люди устали от войны, от стрельбы, от того, что на

уже четыре года подряд приходится смотреть сквозь прорезь прицела... Нервы не выдерживали.

Единственное, чем Каппель мог поддержать своих людей — кроме, конечно, надоевшей трескотни, что Россия должна быть свободна от большевиков, — хорошим питанием, хорошим — ладным, как говорят на Волге,— обмундированием да почаще поить их сладким вином победы. Других рецептов нет.

И алый флаг Комуча, под которым уже два с половиной месяца воюют его солдаты, надо сменить на другой. Можно было вернуться к «матрасу» — бело-красно-голубому флагу царской России, но он был здорово замазан, запятнан, неудачно застиран. Каппель не хотел ходить под этой линялой торговой тряпкой, ему больше нравились другие цвета. Например, цвета георгиевской ленты на славных солдатских крестах: оранжевый и черный, с перемежающимися полосами.

«Под этим флагом мы будем ходить в бой, — думал он, глядя на пустынные симбирские улицы, — и хотя Комуч возражает против погон, погоны у моих солдат должны быть. Погоны — это то самое, что дисциплинирует людей, митингующий сброд превращает в солдат... Как ж можно солдату быть без погон? Погоны не носят только дезертиры...»

Спокойное, чуть припухшее лицо Каппеля неожиданно обузилось, проглянуло в нем что-то татарское, скуластое... Может, и не немцем, не прибалтом он был вовсе, а татарином, потомком монголов, с воем и свистом ворвавшихся в тринадцатом веке на тихую нашу землю?

Каппель уже понял — более того, он знал это точно, — он возьмет Казань, а вот дальше, за Казанью, начнутся трудности. На фронте появился Троцкий — председатель Реввоенсовета Красной России, человек жестокий, мающийся желудком, а желудочники, как известно, — люди беспощадные.

Даже среди белых стал широко известен приказ Троцкого, пущенный по частям, от солдата к солдату,

из рук в руки: *«Предупреждаю, если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Мужественные храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии. Троцкий».*

Прочитав грозную бумагу, Каппель произнес просто:

— Такие приказы издают беспомощные люди. Солдата в атаку надо поднимать иначе. Во всяком случае, не бумажками, в которых слишком много желчи...

Он скомкал бумагу, подержал мгновение в руке, словно пробуя на вес, и швырнул в мусорную корзину.

В Симбирске Каппель оставил два комендантских взвода с одним станковым пулеметом «максим» и двумя «люськами» — ручными пулеметами «люис» — для поддержания порядка в городе и спешно двинулся на север, к Казани.

Скорость, которую он набрал, терять было нельзя ни в коем разе.

Беспокоило то, что по нему в любую минуту могли ударить с воды: с Балтики по Мариинской системе на Волгу переправились боевые миноносцы «Прочный», «Прыткий», «Ретивый». Противопоставить им на воде было нечего. Каппель приказал внимательно осмотреть пароходы, стоявшие в волжских затонах, и те, которые годились для военных действий, укрепить броневыми листами и вооружить пушками.

Он понимал, что Казань — это не Самара и не Симбирск, драка за город предстоит нешуточная, к ней надо хорошенько подготовиться.

За создание Волжской флотилии взялся человек, от воды и кораблей далекий — генерал Болдырев, по происхождению, кстати, из рабочих: Болдырев был сыном кузнеца.

Генерал знал толк в металле, был хорошо знаком с инженерными науками, имел светлую голову. Довести Болдыреву дело по созданию Волжской флотилии не да-

— генерал был назначен главнокомандующим вооруженными силами Комуча, названными, как мы знаем, размахом — Народной армией.

Офицерам, служившим в Народной армии, было предложено снять погоны. Болдырев пытался противиться этому, но безуспешно: Климушкин на заседании Комуча несколькими ослепительными громкими фразами разбил его.

Каппель тем временем взял Мелекесс и Бугульму.

С запада к Казани подтягивались боеспособные красные части — курские, белорусские, брянские полки. Особый, Мазовецкий и Латышский конные полки, Московский полк, бронепоезд «Свободная Россия», отряд аэропланов, отряд броневиков — в общем, потасовка затевалась крупная.

Троцкий наводил порядок в Красной Армии железной рукой, не щадил никого, ни старых, ни малых. Из Симбирска в Казань эвакуировался штаб Восточного фронта во главе с новым командующим Вацетисом, здесь находилось банковское золото России, сюда была эвакуирована главная военная академия — Генерального штаба, вместе с преподавателями и офицерами-слушателями, в Казанском кремле размесилось многочисленное сербское воинство.

Посидев над картой, Каппель пришел к выводу, что его преимущество сейчас заключается только в одном — в быстроте действий. Надо стремительно атаковать. Если он промедлит хотя бы немного, затянет, упустит время — потеряет все.

Никто не видел в эти дни, чтобы Каппель отдыхал, но лицо у него не было усталым — лишь тени пролегли под глазами да заострились скулы...

Полурота Павлова расположилась на отдых в кудрявой зеленой рощице, густо заселенной певчими дроздами. Пели дрозды самозабвенно, громко, ярко, они славили последний месяц лета — самый сытый для них, воздавали хвалу этому неуемному солнцу, занявшему

чуть ли не половину неба, созревающей рябине — лучшему лакомству для дроздов, теплу...

Поговаривали, что зима в этом году будет ранняя, морозы вызвездятся злые, снега же выпадет мало, совсем мало, так определили старики по своим «ревматическим» приметам.

— Я пение дроздов люблю больше соловьиного, Варюша, — проникновенно произнес поручик, присев на сухой почерневший пенек рядом с телегой. — Соловьиное пение — изысканное, предназначено для утонченного вкуса, оно более для женщин, чем для мужчин, а пение дроздов — самое что ни есть наше — для нас, для солдат. Я бы в марш Народной армии включил дроздовые трели.

Варя улыбнулась:

— Вы — увлеченный человек, Александр Александрович.

— Не Александр Александрович, а — Саша, — поправил Павлов.

Сестра милосердия отрицательно качнула головой:

— Простите, Александр Александрович!

Поручик поднял обе руки, лицо его сделалось огорченным: в этом он был сам виноват — при знакомстве с Варей Дудко представился Александром Александровичем. На западе громыхнул далекий задавленный гром. Павлов приподнялся на пеньке.

— Не пойму, что это, — проговорил он, — то ли гроза, то ли орудия ударили залпом.

Раскат грома повторился.

— И кто ее выдумал, войну эту? — неожиданно беспомощно, с какой-то странной слезной обидой, натекшей в голосе, проговорила Варя, смахнула с уголка глаз то ли пылинку, то ли мокринку, поглядела на Павлова с укором, словно он мог ответить на этот сложный вопрос, зябко передернула плечами.

— Вы, случаем, не заболели, Варя? — встревожился Павлов.

Варя качнула головой:

— Нет! — Снова смахнула с уголка глаза что-то неприятное, мешающее смотреть.

Когда раскат грома всколыхнул пространство в третий раз, Павлов стремительно поднялся с пенька, озадаченно похлопал прутиком по сапогу.

— Пушки, — сказал он. — Пушки бьют. Целая батарея.

— Это опасно? Не попадем ли мы в какую-нибудь ловушку?

— Не должны попасть. — Павлов суеверно сплюнул через левое плечо и сорвал какую-то увядающую былку с узкими продолговатыми капелюшками-семенами, висящими на стебле. Он растер ее пальцами, понюхал и сказал восхищенно:

— Ах, как здорово пахнет! Этой травкой, говорят, лечат запойных людей — она делает их невинными и чистыми, как младенцы.

— Что это?

— Чабрец! — Павлов вгляделся в кудрявую зелень рощицы, выкрикнул зычно: — Ильин!

Через несколько минут запыхавшийся прапорщик предстал перед Павловым:

— Гражданин командир!

Поручик сердито оборвал его:

— Не ерничай!

Из Самары, перед самым тележным походом, прямо в войска пришла сердитая «указивка» Комуча — к командирам обязательно обращаться не по званию, а по должности: «гражданин комроты», «гражданин комбат», «гражданин комбриг». Бумага эта вызвала среди офицеров нервный недовольный шепоток — такое не укладывалось в представления о дисциплине, некоторые офицеры, например полковник Синюков, вообще отнеслись к этому брезгливо, поручик Павлов принадлежал к числу таких офицеров.

Круглое мальчишеское лицо Ильина покраснело: понял, чо с поручиком на эту тему лучше не шутить.

— Возьми с собою пять человек, возьми коней и бы-

стрее вон туда. — Павлов ткнул пальцем на запад, откуда несколько минут назад слышалась канонада. — Неведомая батарея сделала три залпа. Надо узнать, что за батарея, кто в ней, сколько орудий и нельзя ли ею овладеть. Ступай и возвращайся назад со сведениями как можно скорее.

— Есть! — Ильин по всей форме взял под козырек, скосил насмешливые глаза на сестру милосердия и исчез.

— Хороший офицер будет, — бросил ему вслед Павлов.

— Если только офицеры в нашей армии вообще останутся, — Варя улыбнулась, — не то будут одни граждане комбриги, комдивы, комвзводы... Есть что-то козье в этих названиях.

Наступила очередь Павлова улыбаться.

— Армия без офицеров не имеет права на существование, — сказал он, — это будет уже не армия, а банда. Офицеров... вообще всех нас уже попытались превратить в бандитов. Нас, Варюша, убрали с фронта под лозунги «Долой войну!», и мы вернулись в Россию, не имея ничего, кроме ран и орденов. До сих пор мы не разобрались в бесовщине мирной жизни. У нас нет ни домов, ни квартир — жилье себе снимали на последние гроши... Вы слышали о судьбе прапорщика Дыховичного?

— Нет.

— Он застрелился из собственного пистолета, попросив взаймы патрон — у него даже патронов не было, не говоря о деньгах. Проиграл в бильярд грузину — корнету Абукидзе, поставил на «русскую рулетку» и снова проиграл...

— А корнету... ему что... за это ничего?

— Корнета за подлость и мелкую душу через несколько дней положили рядом с Дыховичным. Корнет получил то, чего хотел. Часть офицеров вообще обзавелась курами и огородами... Офицерство, одинаково лояльно настроенное и к монархистам, и к большевикам,

и к социалистам, и к анархистам, начало гнить. Жалованье Москва перестала платить, казенным довольствием, как раньше, уже совсем не пахнет. Худо стало всем нам. Мы с капитаном Вырапаевым, например, промышляли тем, что ловили в Волге сомов и продавали их. Разве это дело для офицера-фронтовика? Так и догнили бы мы, Варюша, в своих чуланах, если бы не самостийность Малороссии, захотевшей подстелиться под германский сапог, если бы не потеря Крыма и Закавказья, если бы не Финляндия, сданная Лениным в декабре семнадцатого года финским националистам, если бы не угроза отделения от России Сибири и Дальнего Востока... Это и заставило всех нас подняться. Потому мы и сидим в этих телегах, потому и держим винтовки. — Речь поручика была горячей, говорил он громко, вдохновенно, а сам все тянул и тянул голову вверх, желая услышать далекий орудийный грохот и угадать, что же все это значило.

Варя слушала его, не перебивая, лишь качала головой да с печальным видом мяла в пальцах травинку. В лесу в нескольких местах горели костры, звучал негромкий говор, кто-то варил кулеш, а кто-то со дна котелка выскребал остатки старого, ругался, если в ложке оказывался какой-нибудь чересчур проворный жучок. Немногочисленное воинство это совсем не походило на армейское подразделение — больше смахивало на бригаду косцов, забредших в рощу перевести дух, либо лесорубов, решивших пообедать под ласковыми белыми березами.

На востоке снова громыхнул гром; лицо у Павлова потемнело, сжалось, он откинул в сторону размятую былку чабреца:

— Послал я Ильина, конечно, потому, что послать больше некого было... Как бы он в беду не угодил.

— Прапорщик — человек проворный, — сказала Варя, — увидит опасность — обойдет.

— В чем,в чем, а в этом я как раз не уверен. Парень он действительно толковый, но, во-первых, горячий,

а во-вторых, слишком молодой. У него нет опыта войны, который есть у фронтовиков.

Пока стояли в лесу, прискакали разведчики с Волги. Они прошли по берегу реки двенадцать километров, засекли серый военный корабль, который медленно тащился по фарватеру, с корабля по разведчикам ударил пулемет, и конники, развернувшись, ушли.

— Это флотилия с Балтики, — уверенно проговорил Павлов, — спешит на помощь к Тухачевскому, флаг на корабле был красный? — спросил он у командира разведки, черноусого фельдфебеля, перетянутого новенькой двойной портупеей.

— Красный.

— Они, балтийцы. Неплохо бы этому кораблю какую-нибудь ловушку подстроить.

— А как? — Фельдфебель развел руки в стороны. — Для этого надо как минимум пару таких посудин иметь.

Павлов погрустнел:

— Да, с берега миноносец не взять. Скорее, он нас возьмет. — Поручик сделал рукой выразительны жест. — Что еще было замечено?

— В сторону Казани проскакал эскадрон красных.

— Так, та-ак... Эскадрон красных. — Павлов достал из полевой сумки блокнот, сделал в нем пометку, потом еще одну.

На ясное небо наползла тучка, она была одна-единственная во всем огромном пространстве, с отвисшим животом, с кудрявыми краями, медленная, — и умудрилась точно попасть на солнце. Она дрогнула, встряхнулась, из нее на землю посыпался мелкий ласковый дождик.

Варя обрадованно подставила под капли руку.

— Теплый дождик, грибной.

Поручик Павлов озабоченно глянул на серебряную луковицу, висевшую у него на руке: группа Ильина должна бы уже вернуться... Может, что-нибудь случилось?

Если что-нибудь случилось — была бы стрельба, они

бы ее услышали, но стрельбы не было... Тучка продолжала осыпать землю ласковым тихим дождем.

Группа Ильина вернулась через полтора часа. У прапорщика была перевязана голова. Свежее красное пятно расползлось по повязке.

— Господи, прапорщик! — удивленно воскликнул Павлов. — Что стряслось?

— Две батареи красных окопались на тракте. В очень выгодном месте, на высоте. Насыпали брустверы. Красные ждут нашего наступления по тракту.

— Это понятно. А что за канонада была?

— Снарядов у красных много — делали пристрелку.

— Залпами? — не поверил Павлов.

— Такой, Ксан Ксаныч, у них главный артиллерист, с выдумкой... Держит он под прицелом все пространство. По тракту не пройти.

— А по железной дороге?

— Железная дорога тоже сильно охраняется, мышь не проскочит. Если по железке — могут быть большие сложности.

Впрочем, это Павлов знал и без прапорщика.

Было ясно, что Тухачевский ждет появления Каппеля в местах наторенных, наезженных, много раз исхоженных, тех, что уже стали привычны.

— А с головой что?

— В лесу наткнулись на взвод красных. Пуля задела по касательной, сорвала лохмот кожи.

— Варюша! — зычно позвал поручик.

Ильин испуганно замахал руками.

— Не надо, не надо... Право, не стоит тревожиться!

— Как это не надо? Надо, прапорщик! — прежним зычным голосом придавил Ильина поручик. — Не то какой-нибудь антонов огонь[13] прицепится... Тогда махать руками будет поздно.

Прапорщик покорно опустился на пенек, который облюбовал Павлов, свесил с коленей красные, неожиданно сделавшиеся тяжелыми, чужими руки. Варя нравилась ему так же, как и поручику, — было сокрыто

в ней что-то неземное, нежное, рождающее в душе ответную нежность; круглые мальчишеские щеки Ильина попунцовели.

— Право, Варвара Петровна... — попросил он, — не надо. Не тревожьтесь.

Но девушка уже размотала бинт на голове прапорщика, свернула в трубочку — бинт этот, выстиранный, снова пойдет в дело.

Павлов, склонившись над телегой, начал писать донесение Каппелю, в котором сообщал подполковнику и о миноносце, и о батареях, перекрывших дорогу на Казань, и о стягивании красными сил к этому городу. Оторвался он от писанины и поднял голову, поправил пальцем растрепавшиеся, влажные от дождя усы и спросил:

— Ну, что с прапорщиком, Варя? Жить будет?

Та тихо рассмеялась:

— Надежды есть...

— Варвара Петровна, ну зачем же так? — еще более заливаясь краской, произнес прапорщик.

— О, ты даже отчество Варюши знаешь? — запоздало удивился поручик. — А я — каюсь, не знаю...

Прапорщик промолчал. Хотя Палов подставился — ответ на эту фразу мог прозвучать резко и остроумно. Только в груди, под сердцем, у него заполыхал огонь, растопил все внутри, красные круглые щеки погорячели, он выразительно глянул на поручика, тот взгляд прапорщика засек, все понял — хмыкнул и вновь углубился в бумагу.

Через десять минут всадник повез к Каппелю донесение.

Каппель атаковал Казань внезапно, ночью, когда на черном небе даже звезд не было — куда-то попрятались, — испуганные, притихшие, они словно растворились в сажевой глуби. Подполковник со своим отрядом благополучно обошел и Волгу, которую охраняли миноносцы, и главный почтовый тракт, перекрытый артил-

лерией, и проселочные дороги, на которых фланировали крупные красные разъезды.

Вышел Каппель к Казани внезапно, в темноте, и без остановки, без предварительной подготовки двинулся на штурм. Он рассчитывал, что его поддержат офицеры, пошедшие служить к красным. Впрочем, многие из них, приняв присягу в Красной Армии, так в этой армии и остались. Вацетис[14], Каменев, Коленковский, Менжинов, Андерс, кавалер золотого Георгиевского оружия Балтийский... Но многие все-таки вновь надели на плечи погоны.

В июне восемнадцатого года из Екатеринбурга в Казань была переброшена Академия Генерального штаба России. Каппель рассчитывал, что ее преподаватели и слушатели перейдут на его сторону — тем более что его, бывшего выпускника Академии, там хорошо знали.

Часть преподавателей и слушателей действительно перешла на его сторону. Но не все.

В Казанском кремле засел большой отряд сербов, отказавшийся выполнять приказания красного командования. Городские жители поддержали сербов. Обстановка в городе сложилась самая неблагоприятная, и Тухачевский вместе со штабом командующего фронтом Вацетиса был вынужден срочно бежать из Казани в Свияжск. Причем сам Вацетис с комендантской ротой, охранявшей штаб, едва не попал в плен.

В Ижевске рабочие заводов образовали свои полки, к ижевцам присоединились воткинские повстанцы — также рабочие. Это была мощная сила, подчиняющаяся собственной воле и железной дисциплине; взялись за дело ижевцы и воткинцы серьезно — им надоели порядки, которые на их заводах завела новая власть, надоело безхлебье. В общем, Поволжье заполыхало.

Это было на руку белым силам. Впрочем, если Каппель верил в ижевцев и воткинцев, то в собственное самарское правительство, в Комуч, не верил совсем — оттуда шли бумаги, противоречащие одна другой, невыполнимые, а то и просто глупые. После первых побед

правительство присвоило ему звание полковника, но новое звание это не грело Каппелю ни душу, ни сердце.

Капитан Вырыпаев, сумевший буквально из ничего создать собственную артиллерию, стал подполковником.

Единственная надежда была, что в Самаре в военном штабе остались сидеть мыслящие люди — подполковник Галкин и два его заместителя — Лебедев и Фортунатов. Все трое, кстати, были эсерами. Но очень часто эта надежда так и оставалась надеждой — в силу политических привязанностей этих людей.

Еще был разумный человек генерал-майор Болдырев. Но что он мог сделать один?

Каппелю не хватало людей, катастрофически не хватало — чтобы проводить крупные операции, нужны были совершенно иные силы. А сил у Каппеля было, как он сам выразился, с «гулькин клюв» — обычный «летучий полк»: два батальона пехотинцев-добровольцев, два артиллерийских эскадрона и батарея орудий. Все остальные — писари, комендантский взвод, ездовые, даже маленькая подрывная команда были не в счет.

Офицеры, которые успели обжить теплые места у разных молодых вдовушек, не спешили эти места покидать.

В Симбирске в отряд Каппеля вступило всего лишь четыреста человек юнкеров и офицеров, более двух тысяч остались безучастны ко всем призывам — в штабе Каппеля они так и не появились. Впрочем, Каппель не ругал их — люди устали от войны.

Несмотря на внезапность удара, бой в Казани все-таки длился несколько часов.

Хорошо сработала небольшая речная флотилия, которую успел создать из обыкновенных гражданских пароходов Болдырев. Она ушла в одну из проток, пропустила мимо себя миноносец, медленно ползущий к родине Ильича — городу Симбирску. Троцкий после падения Симбирска объявил: «Социалистическое отечество в опасности!» Сдачу города он перенес как личную

оплеуху, залепленную ему прямо по физиономии, и кинул на поддержку морские силы. Речная флотилия слаженно, вместе с отрядом Каппеля атаковала Казань.

Каппель, так и не надевший на плечи полковничьи погоны, знал, что в Казани находится золото Российского государства — половина всего запаса. Вторая половина обреталась не так далеко от Казани — в Нижнем Новгороде. Охранялись обе кладовые как зеница ока. В частности, в Казани золотой запас охраняли два полка латышских стрелков.

Поручик Павлов со своей полуротой очутился в самом центре боя. Латыши умели драться. Угрюмые, жесткие, настырные, они неплохо стреляли из винтовок, но у них не было того, что в достаточном количестве оказалось у Павлова при штурме Казани — пулеметов.

Отряд Каппеля вместе с дивизией генерала Бокича назывался теперь Народной армией. Он увеличился: с появлением новых людей в нем появилось и много нового оружия. Среди прибывших повстанцев из Ижевска и Воткинска оказались такие умельцы, которые ни в чем не уступали лесковскому Левше. Они, кажется, могли превратить в пулемет даже обычную швейную машинку «Зингер».

Один взвод ижевцев перед самым штурмом Казани был передан для усиления полуроте Павлова. Поручик осмотрел каждого новичка и остался доволен — эти мужики латышским стрелкам не уступали ни в чем.

Когда на улице солдаты Павлова наткнулись на завал, за которым сидели латышские стрелки, поручик, поняв, что ждет его людей, остановил полуроту и скомандовал зычно:

— Наза-ад!

Полурота поспешно отступила в темный, совершенно вымерший переулок, в котором находилось несколько купеческих лавок, украшенных жестяными вывесками, и приказал поднять на крыши домов два пулемета.

Наверх полезли ижевцы: четыре человека на крышу одного здания, четыре — на противоположную сторону,

на крышу старого купеческого особняка. Пулемет «максим» — штука тяжелая, меньше чем четверым с пулеметом не справиться. Павлов тряхнул головой:

— Эх, жалко, «люсек» нету... Пару «люсек» бы сюда!

Действительно, ручной пулемет «люис» — самое милое дело для войны на крышах. Но «люисов» не было.

Стрельба уже слышалась в нескольких местах города. Где-то совсем недалеко, в двух или трех кварталах отсюда, горел дом, неровное пламя бродило тревожными отсветами по низкому небу; латыши, сидевшие за завалом, нервничали — у них не было сведений о том, что происходило вокруг.

— Без моей команды — не атаковать, — предупредил Павлов своих людей и особо подчеркнул это, обращаясь к воткинцам, — и огня не открывать... Все — только по моей команде.

— А какая будет команда? — деловито осведомился старший одного из пулеметных расчетов, плечистый мужик с пышными соломенными усами.

— Выстрел из маузера. — Павлов хлопнул себя по кобуре, болтавшейся на длинном «морском» ремне — этим оружием он обзавелся несколько дней назад.

— Понятно, — кивнул ижевец.

— Как твоя фамилия будет, мастеровой?

— Дремов.

Латыши продолжали нервничать. Над завалом поднималась то одна голова, то другая — стрельба раздавалась уже совсем недалеко, бой шел на соседних кварталах, здесь же было странно тихо. Павлов внимательно наблюдал за баррикадой. В проулке, скрытом от глаз латышей, вдоль лавок и стен домов расположились его солдаты, притихшие, сосредоточенные. Около дверей скобяной лавки, прижав к боку большую сумку с медикаментами, стояла Варя. Павлов сморгнул, прогоняя с глаз что-то теплое, неожиданно заслонившее взор, и отвернулся.

Сердце у него билось учащенно. Он опять подумал о городе, которого давно не видел и который стал для не-

го родным — о Ельце. Там церквей столько — не сосчитать, и у всех золотые головы, а по городу, рассекая его, течет светлая чистая река, имя которой известно, наверное, каждому ребенку в России... Павлов покрутил головой из стороны в сторону — дышать становилось еще труднее.

Пулеметчики втаскивали свои «швейные машинки» на крыши грамотно — без единого стука. Вот только действовали бы они побыстрее.

Над завалом в рост поднялось несколько латышей. Стрелки озирались недоуменно — не могли понять, что происходит, почему их никто не атакует. Павлов глянул на часы — время шло быстро, а пулеметчики действовали медленно. Он нетерпеливо щелкнул пальцами по стеклу часов: скорее, скорее!

Вновь оглянулся, безошибочно выхватил взглядом из неровной шеренги людей, прижавшихся к домам, Варю и вновь подумал о Ельце. С каким бы удовольствием он прошелся бы вместе с этой девушкой по главной елецкой улице... Там расположена гимназия, в которой он учился. Павлов улыбнулся неверяще — не верил своим мыслям, тому, что такое может быть, и от этого неверия, внезапно родившегося в нем, поручику сделалось горько.

Он снова посмотрел на часы.

С крыши тем временем свесился Дремов, махнул рукой — пулеметы, мол, установлены. Павлов дал ему отмашку — понял, мол, втянул в грудь воздух, как всегда делал перед атакой, перед быстрым бегом, и вытащил из деревянной кобуры маузер.

Поднял его, резко вдохнул, пальнул в сторону баррикады. Было видно, как пуля проворной красной точкой всадилась в перевернутую телегу, отскочила от железного обода и ушла вверх, в черное, начавшее стремительно приподниматься над городом небо.

В ту же секунду на крыше оглушающе резко, с металлическим отзвоном заработал пулемет, на соседней крыше отрывисто, как-то по-собачьи застучал другой.

Павел снова втянул в грудь воздух, оглянулся на своих людей и махнул рукой:

— Вперед!

Когда они подбежали к завалу, живых там почти не было, пулеметы искрошили буквально всех. Павел взметнулся на верх завала, перемахнул через железную погнутую бочку, спрыгнул вниз:

— За мной!

Пулеметы перенесли огонь в глубину улицы, где виднелось темное здание с широким — двухстворчатым — парадным подъездом; пули с треском прошлись по широкому каменному крыльцу и, искрясь ярко, разлетелись в разные стороны, несколько рикошетом ушло вверх, увязло в черной наволочи.

Несмотря на пляску пуль, визг и опасность, на крыльцо из дома выскочили несколько человек, попали под очередь и свалились на ступени. Даже в темноте было видно, как задергались их тела; один из латышей, опираясь на винтовку, попробовал подняться, но пуля выбила из его рук винтовку, и он вновь упал на ступени.

Павлов, увлекая за собой людей, понесся вдоль улицы к зданию, украшенному роскошным крыльцом, увидел ствол винтовки, направленный на него из-под груды тел, валявшихся на ступенях, выстрелил, целя в раненого латыша, стремившегося отрезать его, не попал, выстрелил еще раз. Латыш выстрелил ответно. Оба выстрела — мимо. Очередной пулей поручик заставил латыша бросить винтовку.

До крыльца оставалось несколько метров, когда из двери опять выбежали люди, выставили перед собой стволы винтовок. Павлов отпрыгнул в сторону, на лету несколько раз саданул из маузера — ударил удачно: свалил двух латышей. Один из них взмахнул руками и распластался, будто птица, спиной навалился на своих товарищей и, накрыв их, вогнал назад в помещение.

Дверь закрылась вновь.

Полурота поручика Павлова за несколько минут окружила громоздкое здание, кто-то бросил в приотворенное окно брикет тола, похожий на кусок хозяйственного мыла с торчащим из боковины шнурком запала.

Внутри здания рванул взрыв.

— Отставить динамит! — закричал Павлов. — Так мы половину Казани спалим.

Из окна высунулся винтовочный ствол, раздался выстрел. Мимо! Выстрел был неприцельным.

Двери здания вновь распахнулись, на улицу опять вывалились люди — это были латышские стрелки. Спустя мгновение все они погибли под штыками ижевцев — хмурые заводские работяги предпочитали не стрелять, а действовать штыками.

— Правильно! — крикнул им ободряюще Павлов. — Еще Суворов говорил: «Пуля — дура, а штык — молодец!»

Перед ним мелькнуло и исчезло лицо Дремова. Поручик, если честно, побаивался за ижевцев — как-то они себя поведут? В боях-то ведь еще не были... Ижевцы повели себя так, как надо, бились упрямо. Пулеметчик Дремов, оставив «швейную машинку» на второго номера, появлялся то в одном месте, то в другом, проворно орудовал штыком, ощерив зубы, бил, колол. В драке его кто-то зацепил, и лицо у Дремова было залито кровью.

Уже в самом здании, в вязкой продыми на Павлова прыгнул дюжий латыш, перебинтованный грязной марлей, косо державшейся у него на голове, с белыми слезящимися глазами и ртом, распахнутым в тихом яростном рычании. Латыш ткнул в Павлова штыком, поручик увернулся, навскидку выстрелил в нападавшего из маузера, но выстрела не последовало — раздался отчетливый пустой щелчок... Странное дело, но Павлов услышал его в вязком засасывающем грохоте, в дыму, в стрельбе и криках. Латыш щелчок этот тоже засек и в радостной широкой улыбке показал поручику зубы — крупные, крепкие, перекусившие на берегу Балтийского моря хребет не одной рыбине — и, сделав ловкое движение винтовкой, снова ткнул в Павлова штыком. Движение было коротким, резким, латыш знал,

что делал, — видно, не раз ходил в штыковые атаки, впрочем, он понял, что противник у него тоже опытный, взять просто так не удастся, и оказавшийся перед ним офицер тоже хорошо — накоротке, а не понаслышке — знаком с искусством штыкового боя, поэтому лучше потратить на него патрон.

Латыш стремительно подвернул головку предохранителя, ставя оружие на боевой взвод, и вскинул трехлинейку. Нажал на спусковой крючок. Латышу не повезло так же, как и Павлову. Вместо выстрела раздался металлический щелчок. Поручика словно что-то полоснуло по горлу, он неожиданно для себя торжествующе рассмеялся и, запоздало уходя от выстрела, отпрыгнул в сторону. Если бы выстрел все-таки прозвучал, он точно снес бы Павлову половину головы.

Шансы хоть и были равны — у латыша имелся штык, да и самой винтовкой можно орудовать как дубиной, поручик этот бой не думал проигрывать. Запоздало он ощутил страх — тот самый сдавливающий тисками душу страх, который должен был прийти к нему, когда латыш нажимал на спусковой крючок винтовки, но тогда страха не было — появился сейчас, несколько мгновений спустя. Уворачиваясь от удара штыком, Павлов сделал еще один прыжок, ухватил латыша за рукав и рванул его на себя. Ему важно было выбить из рук противника винтовку. Латыш пошатнулся, выкрикнул что-то непонятное, воронье, картавое, Павлов снова рванул его за рукав.

Латыш оказался мужиком сильным, очень сильным, тем не менее Павлов ухватился одной рукой за винтовку — удалось сделать то, к чему он стремился, — дернул трехлинейку, но попытка оказалась тщетной, — лицо латыша оказалось рядом с лицом поручика. Латыш дохнул на него густым чесночным запахом — когда вечерял, видно, хорошо заел все, что было отправлено в желудок, чесноком, у Павлова от этого крутого духа даже глаза заслезились, в голове что-то помутнело, захотелось откусить латышу нос, он подавил в себе это людоедское желание и вторично дернул винтовку на себя.

Пальцы у латыша были железными, и тогда Павлов, вдруг вспомнив, что в правой руке держит маузер, ударил противника рукояткой в лоб.

У того от боли завращались в разные стороны глаза, делаясь совершенно прозрачными, латыш замычал нечленораздельно, но за винтовку продолжал держаться по-прежнему крепко. Поручик еще раз ударил противника рукоятью маузера в лоб, вложив в удар всю силу, что у него имелась. Такой удар наверняка запросто мог уложить на землю теленка, даже корова и та задрала бы вверх копыта, а латыш вновь устоял на ногах и винтовку в руках держал крепко.

— Отдай винтовку! — неожиданно рявкнул на него поручик.

Вместо ответа латыш отрицательно мотнул головой.

Откуда-то сбоку, как заметил Павлов, на странной замедленной скорости, словно собирался разбегаться, в пространство между противниками вполз испачканный кровью Дремов, он обошел поручика, ткнул концом винтовки в латыша, и тот, захрипев обессиленно, предсмертно, начал оседать на колени. Дремов вышиб дух из него одним ударом.

Дремов с силой рванул винтовку к себе, послышался костный хруст — Павлов только сейчас увидел, что ижевец вогнал в противника штык целиком, по самую пятку.

— Спасибо, — задавленно просипел Павлов, — чуть меня этот трескоед не отправил на тот свет...

Он нырнул за колонну, отщелкнул обойму, тряхнул маузером, выбивая ее из металлического короба, — обойма вывалилась вместе со струйкой дыма, поспешно расстегнул на поясе «кошелек», извлек из него запасной магазин.

Маузер этот был утяжеленный, «долгоиграющий», шестнадцатизарядный; освободившуюся обойму Павлов сунул к себе в карман, поспешно загнал в маузер новый магазин.

— Еще раз спасибо, — пробормотал он благодарно, тряхнул ижевца за плечо, — если бы не ты, лежал бы я сейчас на земле, башмаки сушил...

Поручик поймал себя на том, что обращается к ижевцу на «ты», обтер лицо — показалось, что оно и у него, как и у ижевца, в крови. На ладони остались гарь, грязь, еще что-то, но крови не было.

— Мастеровой, ты ранен? — спросил поручик у ижевца.

Тот тоже отер ладонью лицо, тоже посмотрел на ладонь. Качнул головой отрицательно:

— Не ранен. Это — чужая кровь.

Стрельба затихала. Напоследок несколько раз в углу этого здоровенного здания грохнула винтовка — непонятно, своя ли, чужая ли, — и все смолкло. Стрельба и взрывы раздавались теперь только в городе. Поручик отогнул рукав, глянул на многострадальные, испачканные грязью и кровью часы.

— Далеко ли до рассвета? — спросил ижевец.

— Далеко. Часа два еще.

Из двух латышских полков, оборонявших Казань, один был уничтожен полностью — в живых не осталось никого, даже командир с комиссаром не сумели спастись. Второй латышский полк, не выдержав натиска каппелевцев, отошел. Троцкий, узнав об этом, едва собственной слюной не захлебнулся от ярости. Взметнул над головой тощие желтые кулаки:

— Ну, латыши соленоухие! Чесночники! Они у меня попробуют мацу из коровьего дерьма!

В прошлом Троцкий был журналистом, и теперь, став представителем Реввоенсовета республики, иногда любил выражаться красиво, замысловато, иногда заковыристо, иногда грязно, умел говорить по-всякому, словом, навыков не растерял. Все зависело от настроения и обстановки. При всем том приближенные знали хорошо: если Троцкий обещал кого-то накормить мацой из коровьего дерьма — обязательно накормит.

К Каппелю присоединился отряд сербских добровольцев под командованием майора Благотича. Поскольку сербы отказались выполнять приказы красных командиров, то Каппель отнесся к ним с некоторым недоверием: точно так же они могут подвести и его самого.

Главным трофеем затяжного ночного боя в Казани было золото — Каппель взял казенное золото России, находившееся в этом городе. Понимая, что красные попытаются отбить это золото, он приказал немедленно пересчитать его и погрузить в вагоны.

Погрузка происходила в жестких условиях, под охраной солдат — полурота Павлова была поставлена в оцепление. Золота, камней, серебра, платины, ценных бумаг было много: набралось сорок пульманов — вместительных прочных вагонов. Четырехосных, между прочим — эти большегрузные вагоны стали выпускать уже тогда.

Второе охранное кольцо выставили чехословаки — они очень внимательно присматривались к дорогой добыче и прикидывали: не удастся ли что-нибудь отхватить? И — впоследствии — отхватили. Такой солидный кусок оттяпали, что через несколько лет смогли открыть в Праге так называемый «Легионбанк» — очень богатую финансовую структуру. А пока сорок пульманов были загружены, что называется, под самую завязку, доверху. Это был дорогой груз.

Самого же Каппеля золото интересовало мало, он был человеком, лишенным жажды богатства и вообще всякой корысти, непритязательным в еде и одежде, а все его имущество помещалось в обычном фанерном чемодане, купленном по случаю на самарском рынке. Крышку чемодана, оборотную его часть, украшали роскошные клейма — оттиски медалей разных выставок: чемодан этот, приобретенный у оголодавшей дамы с голубоватой благородной сединой, был «фирменным».

Волновало сейчас Каппеля совсем не золото, а то, что в своем движении на север — в конечном счете к Москве — он потерял скорость, увяз. Ему бы сейчас уже под-

ступать к Нижнему Новгороду надо, а он все еще продолжает сидеть в Казани. Кстати, если говорить о Нижнем, то там находится вторая половина золотого запаса России; если они возьмут его, то Ленину нечем будет расплачиваться с немцами по Брест-Литовскому мирному договору (доподлинно известно, что Владимир Ильич отвалил кайзеру ни много ни мало 94 тысячи килограммов золота, в декабре 1918 года это золото целиком было захвачено французами). И тогда — все, тогда и будет конец красным. Наступят времена, когда не станет ни красных, ни белых...

Но принять самостоятельное, без отмашки Комуча решение о походе на Нижний Новгород Каппель не мог — за это его могли снять с должности, за которую он пока не получил ни копейки, и расстрелять. Он запросил по телеграфу Самару: дайте «добро»!

Самара на запрос не ответила.

— Что делать с золотом, Владимир Оскарович? — спросил Синюков, ввалившись в штабной вагон Каппеля.

— Сколько эшелонов получилось в итоге — один или два?

— Два. По двадцать вагонов в каждом.

— Пусть оба эшелона стоят под парами и ждут приказа об отправке. И обеспечьте надежную охрану эшелонам, Николай Сергеевич. Надежная охрана — прежде всего. Беречь эти эшелоны надо как собственные головы. Я думаю, это золото придется отправить в Самару либо в Уфу. Нам с вами... нам с вами, Николай Сергеевич, от этого золота ничего, кроме беспокойства, нет. Меня лично заставляет заниматься этим... металлом, — Каппель в слово «металл» вложил долю иронии, даже какого-то странного презрения, — только одно обстоятельство: металл этот принадлежит России. Кстати, мне доложили, что, кроме российского золота, тут еще находится золотой запас Румынии. Кажется, в слитках. Но найти его, и тем более отличить российское золото от румынского мы пока не в состоянии. Э! — В голосе Каппеля появились досадливые нотки. — Что же по мне, то я бы никогда не имел с ним дела!

Золота досталось много: сорок пульманов — это сорок пульманов. А если быть точнее, то золотой запас, взятый в Казани, тянул на 657 миллионов рублей. Это не просто много — а очень много.

У Каппеля имелись сведения о том, что Ленин принял решение перевезти золотой запас из Казани в более безопасное место, более того — лично утвердил состав группы, которая должна была заниматься этим делом — возглавил ее старый член партии Андрушкевич. Входили в группу, кроме Андрушкевича, еще пять человек: Добринский, Богданович, Наконечный, Леонов, Измайлов.

Группа эта прибыла в Казань 28 июля 1918 года, решила погрузить золотой запас на пароходы и отправить его по Волге в Нижний Новгород, а оттуда перевезти на Оку. Эвакуация золота началась 5 августа, но ее сорвал Каппель своей стремительной атакой: на пристани появилась целая рота комучевцев, и Андрушкевич понял, что золото он не спасет, погибнет вместе с ним, и отступил.

Впрочем, он все-таки успел вывезти из Казани на четырех автомобилях сто ящиков золота. Помог казанский министр финансов Бочков — если бы не он, запас, попавший в руки к Каппелю, потянул бы не на 657 миллионов рублей, а на сумму гораздо большую.

Когда казанское золото очутилось уже в Сибири, в распоряжении правительства Колчака, то в Омске министерством финансов была обнародована другая цифра — сведения, между прочим, официальные, подтвержденные подписью министра. Вот текст, опубликованный в газете в ноябре 1918 года:

«Всего запасов из Казани вывезено золота:

а) в русской монете на 523 458 484 руб. 42 коп.

б) в иностранной валюте на 38 065 322 руб. 57 коп.

в) в слитках на 90 012 027 руб. 65 коп.

Всего: 651 535 834 руб. 64 коп.»

Произошла усушка с утруской на пять с половиной миллионов золотых рублей. Куда подевались эти деньги — можно только строить предположения. Каппель к их исчезновению не имеет никакого отношения.

— Всякое золото обладает отрицательным зарядом, колдовской силой, способной погубить человека, и далеко не одного, она способна погубить целую армию, — сказал он, потер руки, словно ему было холодно, хотя в Казани и вообще на Волге стояла жаркая погода. — Когда началась Великая война, господин Путилов, владелец девяти оружейных заводов, очень неглупый человек, сказал, что именно золото приведет Россию к революции, а революция, в свою очередь, погубит Россию. От буржуазной России мы незамедлительно перейдем к России рабочей, а от нее — к России крестьянской. Круг, таким образом, будет замкнут. Начнется анархия, распад, пугачевщина... Дословность, точность пересказа я не гарантирую, но мысль господина Путилова я передаю верно. Он боялся анархии, крови, разнузданности, бессмысленности, беспорядков, жестокости толпы... Я этого тоже очень боюсь.

— Этого все боятся, Владимир Оскарович. — Синюков прижал руки к кителю.

Каппель глянул в окно, по лицу его проползла озабоченная тень, он неожиданно прицокнул языком:

— Эх, какое дорогое время мы теряем! Нам бы сейчас двинуться на штурм Нижнего... А мы тут сидим, протертыми котлетками балуемся.

— Я на кухню велел подать живого осетра, — сказал Синюков, — несколько штук всплыло — оглушило снарядом. Здоровенные боровы. Голова едва в чугунок влезает. — Синюков развел руки в стороны, жест был красноречивый.

Каппель невольно позавидовал полковнику — никаких терзаний у человека. Такие люди долго живут, прекрасно чувствуют себя в любой обстановке, они бывают храбры в бою, любят крепкое вино и не держат зла... Каппель же был слеплен из другого теста. Хотя в храбрости ему тоже нельзя было отказать — в Великой войне он был дважды ранен, награжден боевыми орденами и умом, острым, способным все схватывать на лету, не был обделен... Недаром он окончил одно из самых блестящих учебных заведений России, по-настоящему аристократических — Академию Генерального штаба.

Но он бы никогда не смог с такой легкостью прийти к командиру и сказать ему об осетре, поданном на кухню, — сделал бы то же самое, только не стал бы об этом сообщать. Он не мог — не хватало пороха — поведать какую-нибудь плоскую, хотя и веселую байку или запросто пожаловаться на несварение желудка, а Синюков все это может... Характер у Синюкова легкий, общительный — завидный характер.

— Бог даст, будем наступать и на Нижний, — запоздало проговорил Синюков.

— Но время, время, время! — не удержавшись, воскликнул Каппель. — Мы теряем дорогое время!

Глаза у него неожиданно сделались влажными, размягченными, он отошел от окна к столу, на котором была расстелена карта, и склонился над ней.

А тем временем с отступившими красными частями разбирался сам Троцкий.

Он, сутулый, худой, едкий, с желтым, странно истончившимся лицом, подслеповатый, с крикливо-резким голосом, приехал в уцелевший латышский полк — как мы знаем, один полк был уничтожен полностью, второй отступил и потому уцелел. Сопровождали Троцкого четыре грузовика охраны с дюжими, вооруженными пулеметами стрелками.

К Троцкому подскочил дежурный по штабу в новенькой, перетянутой желтыми кавалерийскими ремнями форме, вскинул руку у козырька, пытаясь доложить, но Троцкий резко оборвал его:

— Где командир полка?

— Находится в госпитале. Был ранен в ночном бою в Казани.

— Ранен... — Троцкий издевательски хмыкнул, измерил дежурного с головы до ног желчным взглядом, еще раз хмыкнул. — И кто же, позвольте полюбопытствовать, в таком разе командует полком?

— Члены полкового комитета.

— Построить полк! — приказал Троцкий.

Полк был построен на берегу Волги. Внизу, под крутым берегом, плескалась рябоватая теплая вода, насквозь пронизанная рыжими солнечными лучами, рождающими в душе ощущение слепого детского восторга; было видно, как крупные рыбины выплывают на отмель, чтобы ухватить губою солнечный лучик, поиграться с ним, пощекотать себе пузо об осклизлые камни.

Троцкий стоял на берегу, заложив руки за спину, и смотрел на рыб — думал о чем-то своем. Может быть, о том, что Волга по существу — большой аквариум, а может быть, о чем-то другом. Ссутулился он так, что стоявшим рядом людям показалось: а Троцкий-то горбат.

Наконец-то он повернулся, увидел выстроенный полк и произнес резко, с каркающими вороньими нотками в голосе:

— Так!

Неторопливо прошелся вдоль строя, продолжая держать руки за спиной как сугубо штатский человек. Остановился, двинулся в обратном направлении — маленький, истощенный, хворый человек, которого каждый из этих рослых латышей мог бы придавить одним ногтем... Мог бы, да не дано — позади Троцкого, за спиной его, стояла могучая охрана с маузерами и пулеметами. Эти ребята не дадут даже подойти к Троцкому, уложат при первом же решительном движении.

И вот Троцкий остановился.

— Вы опозорили революцию, — выкрикнул он, — опозорили честь и имя Красной Армии, вы отступили. Вам надо было всем лечь, как это произошло с первым латышским полком, и тогда ваши имена были бы вписаны в историю золотыми буквами. Но вы этого не сделали, и имена ваши покрыл позор. Что делать с трусами, шкурниками и предателями? — спросил он и, отвечая, процитировал сам себя, строки из своего приказа: — «Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули» — трусов, шкурников и предателей расстреливают. — Троцкий повысил голос: — Члены полкового комитета, выйти из строя!

Окаменевший, словно скованный ужасом строй шелохнулся, раздвигаясь, и из него вышли три человека. Троцкий не знал их фамилий, да ему и не надо было их знать, ему надо было совершить пропагандистский акт, о котором заговорили бы на всех фронтах, а кто станет жертвой акта — не имеет никакого значения.

Он оглядел членов полкового комитета. Все трое были коммунистами. Невысокий, плечистый, с лицом, на котором красным глянцем блестел старый шрам, рыбак; длинный, похожий на жердь, рабочий автомобильного завода из Риги, у которого нервно подергивалась нижняя губа, и обычный крестьянский парень с тяжелыми, набухшими болью, словно ошпаренными руками. Подумав немного, Троцкий хотел было спросить у них фамилии и обыграть это в своей речи, но потом решил: «Не надо, это только затянет процедуру», и выкрикнул:

— Эти трое сейчас рассчитаются за весь полк, за всех... Рассчитаются за вашу трусость! — Он поднял руку, зло блеснул очками и разрубил воздух каким-то укороченным кривым движением, затем проговорил скрипуче, стиснув зубы: — Всех — расстрелять!

Охрана, замершая было, зашевелилась, к членам полкового комитета подскочили сразу несколько человек, ухватили под микитки и поволокли к обрыву. Высокий рабочий — один из троих, — сопротивляясь, что-то выкрикнул на ходу, но его ударили по затылку рукояткой маузера, он стих, затряс головой, разом делаясь покорным.

Строй латышей дрогнул, и тогда из охраны проворно выдвинулись трое пулеметчиков с тучными «люськами», вторые номера встали рядом с первыми, держа наготове запасные диски-тарелки.

Было ясно: эти люди откроют стрельбу не задумываясь, в несколько минут выкосят весь полк. В кузовах грузовых машин, сопровождавших автомобиль Троцкого, также стояли пулеметы — тяжелые «максимы». Шансов отстоять своих товарищей у полка не было ни одного, и люди поникли, опустили головы.

— Трусы! — Голос Троцкого неожиданно молодо зазвенел. — Это будет вам наука на будущее. Отщепенцы!

Троих латышей поставили на кромку берега, лицом к воде, в глаза им била нестерпимая синь пространства, заставляла щуриться, все трое все еще не верили, что их расстреляют. И полк не верил, вот ведь как — люди думали, что этот крикливый, вздорный человечишка поругает их, поярится немного, выговорится, прикажет избрать новых членов полкового комитета и уедет, но не тут-то было. Эти люди не знали Троцкого.

Вороний, с хрипотцой голос председателя Реввоенсовета Республики вновь набряк молодым звоном, стал металлическим — Троцкий умел говорить захватывающе, картинно, умел увлекать за собой людей — увлек, заговорил и сейчас: полк стоял на волжском берегу, освещенный солнцем, и зачарованно слушал речь первого оратора революционной России. По этой части ему уступал даже Ленин — человек, в умении собирать доказательную базу и убеждать и по внутренней организации своей стоявший выше Троцкого. Но не было у Ленина с его картавинкой и глуховатым голосом того колдовского дара, что имелся у Льва Давидовича. Троцкий, когда говорил, гипнотизировал людей. Ленин же — убеждал и выглядел менее картинно.

Полк вздрогнул, когда Троцкий неожиданно прервал свою речь и, выставив перед собою руки, поездил ладонью о ладонь, словно вострил их, затем, резко рубанув ладонью воздух, прокричал громко — так громко, что от крика его, кажется, всколыхнулось небо:

— По шкурникам и трусам, опозорившим имя революции, — огонь!

Грохнул залп из маузеров. Охранники Троцкого стреляли обреченным людям в затылок. Двое, просеченные пулями, скатились вниз, к самой воде, а третий, низкорослый широкоплечий рыбак, внезапно развернулся лицом к стрелявшим и, хотя несколько пуль уже сидели у него в голове, на подгибающихся дрожащих ногах сделал шаг вперед. Потом — еще один.

— Стреляйте, стреляйте в него! — закричал Троцкий. Он очень отчетливо представил, что может произойти, если сейчас всколыхнется полк.

В шеренге стрелявших был старший — комиссар, одетый, несмотря на августовскую жару, в черную кожаную куртку, перепоясанный офицерским ремнем; рыбак, безошибочно угадав в нем старшего, шел прямо на него. Изо рта у рыбака выбрызнула кровь, он мотнул головой упрямо и сделал третий шаг.

— Ну, стреляй, сука! — прохрипел он. Кровь изо рта у него хлынула струей.

Комиссар поспешно выстрелил, всадил пулю рыбаку прямо в лицо, выкрошил зубы и оторвал часть рта, однако ноги рыбака по инерции сделали шаг.

— Стреляйте! — раздался визгливый вскрик Троцкого. — Чего медлите?

Человек в кожаной куртке вторично нажал на курок маузера, потом еще раз, пули всаживались в размозженную голову, но не могли остановить движения еще живого нервно вздрагивающего тела. Из разбитого рта донесся хрип, и всем показалось, что рыбак сделает очередной шаг.

— Стреляйте в него! — скомандовал человек в кожаной куртке своим товарищам, поспешно отступив. — Залпом — пли!

Беспорядочно, вразнобой, застучали маузеры. Залпа не получилось. Голова рыбака превратилась в сплошной кровяной сгусток. Он рухнул на колени, постоял так несколько секунд и завалился на бок.

Троцкий грозно сверкнул очками:

— Так будет с каждым, кто струсит в бою или попятится назад, таких людей мы приравниваем к предателям. Разговаривать с ними будем на одном языке — языке пуль.

Охрана окружила Троцкого — выстроенный полк угрожающе заколыхался — и быстро увела его к автомобилю.

Троцкий наводил порядок в Красной Армии железной рукой.

В тот же день он снова вскинул кулак, чтобы рубануть им воздух — рубанул и скомандовал суровым звенящим голосом:

— По трусам, предавшим революцию, — огонь!

Это была настоящая расправа. В полку, который вышел из ночного боя практически без потерь и отступил за казанскую окраину, Троцкий провел децинацию — приказал расстрелять каждого десятого. При этом Троцкий матерился и орал громогласно:

— Зеленая армия, кустарный батальон! Сволочи, лишенные революционной совести! По трусам и гадам — огонь!

Расстреливали людей из маузеров — как и членов полкового комитета у латышей. Стволы маузеров перегревались — к ним невозможно было прикоснуться.

Следом Троцкий решил расстрелять двух старых большевиков, которых хорошо знал Ленин, — комиссаров дрогнувшей Пермской дивизии Залуцкого и Бакаева. Кто-то из дивизии — сейчас уже невозможно узнать, кто именно это сделал, — дал телеграмму Ленину.

Ленин остановил Троцкого.

Троцкий, яростный, стучащий зубами — никак не мог погасить в себе припадок, — связался с Лениным.

«Владимир Ильич, эти люди позорят Красную Армию, — передал Троцкий сообщение по прямому проводу в Москву, — если я их не расстреляю — я не смогу навести на фронте порядок».

Ленин был категоричен.

«Бакаева и Залуцкого не трогать».

Выпростав под ноги телеграфную ленту, Троцкий сжал кулаки, затем наложил один кулак на другой, провернул со скрипом, словно завинчивал старую ржавую гайку, проколол злым взглядом телеграфиста.

— Отстучите следующий текст. «Бакаев и Залуцкий виноваты не только в том, что струсили и позволили дивизии отступить, виноваты и в том, что покрыли предательство. Часть офицеров, служивших в дивизии, перешли на сторону Каппеля».

«Вот с офицерами и разбирайтесь, — незамедлительно последовал ответ Ленина, — у вас на это есть все полномочия. А Бакаева с Залуцким оставьте в покое. Это — решение ЦК».

— Опять у него в кабинете сидит этот Коля Балаболкин и вдувает в уши разную пыль, — догадался Троцкий, снова наложил кулак на кулак. С костяным скрипом провернул. — Вот напасть!

Колей Балаболкиным Троцкий звал Бухарина.

— Отбейте еще одну фразу, — приказал он телеграфисту. — Диктую. «Жаль, Владимир Ильич, так нам порядок на фронте не навести».

«Если вы его не наведете, — после минутной паузы ответил Ленин, — с вас спросит ЦК по всей партийной строгости».

Из Пермской дивизии на сторону Каппеля перешли четыре офицера — всего четыре, их и имел в виду Троцкий.

Вернувшись в штабной вагон — своего телеграфного аппарата в вагоне председателя Реввоенсовета Республики не было, приходилось пользоваться станционной связью, Троцкий вызвал к себе помощника — лощеного молодого человека во френче «а-ля Керенский», с отложным воротником.

— Немедленно поднимите личные дела офицеров-перебежчиков, — приказал он помощнику. — Мне нужны их адреса, где, в каких городах остались их семьи.

Через двадцать минут помощник принес ему бумагу, на которой были нанесены четыре адреса; ниже, в четы-

ре столбца, бумагу дополнял список несчастных офицерских семей. Список был составлен поименно, вплоть до маленьких детей.

— Расстрелять! — приказал Троцкий. — Всех найти и расстрелять!

— И детей тоже? — полюбопытствовал помощник недрогнувшим голосом: он во всем любил точность.

— Я же сказал! — заревел Троцкий.

Помощник поспешно закрыл за собою дверь.

Через двое суток на фронте дрогнули два татарских полка, оставили свои позиции. Татары считали, что защищать надо только свою землю, на которой они живут; если же война уходит с их земли, то надо складывать оружие — чужие земли пусть защищают другие люди.

— Поставить на дороге у отступивших полков пулеметы! — приказал Троцкий. — И — стрелять не задумываясь, стрелять во всех подряд, от командиров до подвозчиков фуража.

И пулеметы стали беспощадно выкашивать отступившие полки — Троцкий создал то, что впоследствии, в годы Великой Отечественной войны, называли заградотрядами — заградительными отрядами.

Жесткими мерами он добился того, чего хотел добиться, — дисциплины. Красные части перестали бежать с фронта.

— Я эту партизанщину с корнем вырву! — кричал Троцкий, потрясая кулаками. — Огнем выжгу! — И усмехался недобро: — Зеленая армия, кустарный батальон! У меня вся армия будет красной и только красной. Если не от света революционного знамения, то от очищающей крови.

Лев Давидович продолжал безжалостно лить «очищающую» кровь и нисколько об этом не жалел.

К Каппелю он относился с ненавистью и одновременно с уважением, считал, что в Красной Армии должен быть свой Каппель.

Вацетис на эту роль не подходил, он не выдержал ис-

пытания, продул Казань — свое генеральное сражение, и с Казанью и несколько сражений поменьше. Поэтому Троцкий снял его с должности главнокомандующего, назначил на Восточный фронт новую фигуру — бывшего полковника Генерального штаба царской армии Сергея Каменева.

Будь его воля, Троцкий расстрелял бы и Вацетиса, но воли на то не было, и он вынужден был приглашать Вацетиса — как и Каменева — в свой штабной вагон, распивать с ними чаи — иногда с коньяком — и делиться с ними планами.

А в планах у Троцкого было одно — вернуть Казань. За Казанью — Симбирск, родину Ленина. Самара же, честно говоря, Троцкого пока не волновала, в Самаре сидел Комуч, знамя которого, как и знамя Троцкого, было красным.

Вот ведь парадокс какой: одно красное знамя воевало против другого, такого же красного знамени.

О дисциплине в своих частях мечтал и Каппель, но указания, которые приходили из Самары, никак этому не способствовали. Да и самому руководству Комуча, если честно, не было дела до того, что происходило на фронте — гораздо важнее была подковерная борьба.

В этой борьбе Комуч преуспел — победы в ней были одержаны значительные. Когда в сентябре восемнадцатого года Каппель поехал в Самару за подмогой, его встретили розовощекие, сытые, попахивающие хорошим шампанским члены Комуча — все пятеро, его создавшие, — Климушкин, Фортунатов, Нестеров, Вольский, Брушвит, — поздравили Каппеля с воинскими победами (но это были старые победы, уже оставшиеся в прошлом, новых не было), один за другим, выстроившись в рядок, пожали ему руку:

— Поздравляем вас также с присвоением звания генерал-майора!

— Лучше бы вместо звания дали мне пару свежих батальонов, — не удержался от резкости Каппель.

— А батальонов, батенька, нету, — сказал ему Брушвит. — Нету-с! Организуйте пополнение сами. Нас тоже можете поздравить. Мы только что вернулись из Уфы, где было решено создать новое российское правительство... Мы добились, чтобы нас тоже включили в его состав! — И добавил хвастливо: — Наши имена войдут в историю России.

И такую радость, такой восторг выражало лицо Брушвита, что Каппель не выдержал, отвернулся.

Золотой запас, стоявший в Самаре на запасных путях, даже не был выгружен из вагонов, на следующий день оба состава тихонько двинули в Уфу: руководители Комуча считали, что дело сделано: раз появилось единое правительство и Россия ныне стала единой, то, значит, и золото должно находиться под мышкой у всесильных министров.

Каппель, далекий от политики и от подковерных игр, уже слышал о том, что едва ли не каждая деревня постаралась создать свое правительство — название, конечно, высокое — «правительство», только цели у каждого правительства были мелкие, маленькие, на уровне ночного горшка. Правительства эти не признавали друг друга, обменивались официальными уколами, поливали всех и вся грязью, считая, что газетная бумага, даже самая плохонькая, все выдержит. Под спасением России эти правительства зачастую понимали спасение самих себя и собственных карманов.

Наконец, в Уфе собралось несколько правительств — так и охота назвать их правительствами в кавычках: Самарское, Омское, Владивостокское, Екатеринбургское, депутаты Учредительного собрания — те, которые к этому моменту остались живы, представители духовенства и казачества — в общем, большая топтучка. Но гора родила маленькую мышь. Каппель понимал, что никогда эта «мышь» не сможет нормально работать и управлять огромной Россией.

Как только эти умные господа не понимают такую простую штуку, и сейчас, когда все трещит, ломается,

горит, дымится, вот-вот вообще опрокинется и рухнет в тартарары, они пребывают в радужном, радостном состоянии, будто в канун Рождества.

Увы, никто из пятерых членов «Учредилки», обосновавшихся в Самаре, этого не понимал.

К слову, Уфимская директория в полном составе так ни разу и не собралась.

С грустью оглядев эту кучку восторженных людей, Каппель вздохнул и, козырнув, покинул кабинет.

Но это было потом. А пока он терпеливо ждал разрешения двигаться вверх по Волге, на Нижний Новгород.

До него уже дошли слухи, что Комуч объявил мобилизацию в Народную армию — по ее уставу Каппель командовал теперь не полком, не дивизией, не отрядом, а дружиной; второй такой дружиной командовал — и очень умело — генерал Бакич; чехословацкий же полк — дружиной его сделать не удалось — успешно воевал под командой капитана Степанова. Впрочем — бывшего капитана. Это в Самаре, во время игры в «русскую рулетку» Степанов был капитаном, а сейчас его произвели в полковники.

Мобилизация была объявлена на бумаге — на деле же ее никто не проводил. Все было пущено на самотек, и мобилизация тихо почила в бозе.

Каппель, теряя дорогое время, продолжал ждать приказа двигаться на север, на Нижний, а потом и на Москву. Однако приказа все не было и не было, и Каппель, усталый, с красными веками, нервничал: он в эти дни очень плохо спал, погода стояла душная, вагон днем раскалялся донельзя, превращаясь в гигантскую кастрюлю, ночью не успевал остывать, и в него устремлялись комары. Они раздражали особо. Денщик наломал веток полыни, поставил их в крынку в большом служебном купе, где Каппель проводил заседания штаба, а также в купе, где он спал, но полынь действовала на комаров слабо. Иногда казалось, что от нее они делаются еще кусачее, яростнее, злее.

Обычно комары пропадают в здешних местах в конце августа — ни одного не найдешь, а тут продолжали дер-

жаться, летали целыми тучами, размножались... Этому способствовало затяжное летнее тепло, еще — июньские грозы, которые в восемнадцатом году гремели не только в августе, но и в сентябре.

Комучем были недовольны и офицеры. В роте поручика Павлова — после Казани Павлов принял под свое начало роту и ждал очередного воинского звания — появился новый офицер, капитан Трошин, который до этого работал в оперативном отделе штаба у полковника Петрова. Веселый, зубастый, с необычными пушкинскими баками, делающими его похожим на большого породистого пса, Трошин жаловался:

— Я ведь почему удрал на фронт из Самары, из штаба? Душно там, гнусно, гнилью пахнет. Учредиловцы офицеров ненавидят, обвиняют их во всех смертных грехах, но стоит только показаться на небе пороховой тучке — немедленно стремятся укрыться за наши спины. И посылают нас на смерть целыми батальонами.

Поручик, мало что понимающий в таких делах — для него все это были странные игры, — только качал головой да невнятно поддакивал:

— Да... Да... Да...

— Мы готовы отдать жизнь за Россию, за землю нашу, но за Комуч? — Трошин недоуменно разводил руки в стороны. — Нет, только Россия, Россия и еще раз Россия. И никакого Комуча. Тогда можно умирать. В противном случае — извините!

— Но вы ведь попали на фронт, где умирают. В Самаре же люди могут умереть только от перепоя и чесотки, — перестав поддакивать, неожиданно произнес Павлов.

— Смерти от чесотки либо от чужой перхоти, попавшей мне в суп, я очень боюсь, — сказал капитан, — офицер должен умереть в бою. Но и неразумная смерть в бою — это также страшно, как и смерть от чужой перхоти. Умирать можно — и должно! — только за свою Родину.

— Согласен, — сказал Трошину Павлов.

Поручик в эти дни загорел, стал совсем походить на цыгана, взгляд его был веселым, хотя нет-нет да и проскакивала в нем неясная тоска — наползало на глаза что-то темное, печальное, взгляд поручика делался тусклым.

Ильин, успевший хорошо узнать поручика, понимал, в чем кроется причина тоски, — в Варе Дудко. Сестру милосердия забрали в полк. Одна надежда — начнется наступление, и ее снова вернут в роту Павлова.

— Иногда, знаете, бывает очень охота напиться, — неожиданно произнес Трошин, — а видя бестолковость происходящего, напиться особенно. Хотя я боюсь одного...

— Чего? — машинально спросил Павлов.

— Похмелья. Очень жестокая штука — похмелье. Я, как японцы, совершенно не переношу похмелья.

— А что, разве японцы не переносят похмелья?

— Что-то у них в крови имеется такое, что неспособно перерабатывать алкоголь.

— У нас в имении управляющий был большой дока по этой части — брал два стакана чая, растворял в нем пять столовых ложек меда и добавлял лимонный сок — через двадцать минут был здоров и свеж, как огурец, который только сорвали с грядки.

— Завидую. — Трошин хмыкнул.

— Я даже взял у него рецепт, увез с собой на фронт. Но на фронте пить не пришлось — пришлось воевать.

— А я пытаюсь обходиться по старинке — рассолом. Капустным либо огуречным. Но помогает мало. Пробовал «кровавую Мэри». Если с помидорным соком — не помогает, если с куриным желтком, то — более-менее.

Поручик похрустел костяшками пальцев.

— Скоро начнется наступление — не до рассола будет, по себе знаю. Разговоры про выпивку и похмелье — это оттого, что мы застоялись. Честно говоря, я думал, что после взятия Казани мы на следующий день пойдем дальше — красных надо бить, пока они не очухались... И как только они там, в Самаре, этого не понимают?

— Вы предполагаете, что предстоит поход?

— Я не предполагаю, я это знаю точно. Кожей чувствую.

Лицо Павлова неожиданно обрадованно вытянулось, глаза вспыхнули остро, белки высветлились, сделались блестящими, он даже стал выше ростом. Трошин оглянулся. По тропке, сбивая прутиком сохлые репейные головки, к ним шла высокая красивая девушка с пшеничной косой, перекинутой на грудь. Поручик одернул на себе гимнастерку, поправил ремень.

Хотя по решению руководства Комуча и пришлось снять погоны, отсутствие их нисколько не портило офицерскую внешность Павлова. Как говорится, офицер — он и в бане офицер.

Поручик устремился навстречу девушке. На ходу еще раз одернул, загоняя складки под ремень, гимнастерку, шаг у него сделался невесомо-летящим... Варя тоже вытянулась, становясь тоньше и выше.

Трошин, сделавший было стойку, угас — здесь ему ничего не светило.

Екатеринбург напоминал прифронтовой город: затемненные улицы, окна, плотно прикрытые ставнями, тусклые газовые фонари, зажженные, чтобы экономить электричество, свет их был настолько немощен, что не дотягивал до земли, таял по пути, словно снег в теплом воздухе. Из-под каждой подворотни раздавался злобный собачий лай.

Собак этих пытались и отстреливать, и морили мышьяком, как крыс, и объявляли «заготовку собачьих шкур для нужд местного населения», любившего зимой ходить в теплых пимах и сапогах (собачий мех, как известно, — самый лучший, не пропускает холода, недаром из него целых четыре десятка лет шили амуницию для участников полярных экспедиций), а тварей этих меньше не становилось.

Наоборот, их становилось больше.

Город был погружен в беспрерывный лай — разноголосый, захлебывающийся, сдобренный злобной слюной. Если прислушаться, то собачий лай можно было засечь не только в подворотнях, но и в подвалах, на чердаках, он доносится даже из брошенных пустых квартир — собаки поселились и там. Такое складывалось впечатление, что лает весь город.

По ночам на промысел выходили «гоп-стопники» — плечистые небритые мужики, побрякивающие метровыми цепями, намотанными на кулак, с финками, притороченными к кожаным поясам.

Увидев какого-нибудь приличного господина, идущего под руку с дамочкой, они орали зычно, во всю глотку:

— Стоп! — И дружно на онемевшую парочку: — Гоп!

Как правило, «гоп-стопники» оставляли мужчину в одном нижнем белье, все остальное сдирали безжалостно, могли даже и белье содрать, но если исподнее приванивало или было в пятнах, его не брали, иногда еще не брали из-за мужской солидарности — чем же гражданин революционной России будет прикрывать свое достоинство, женщин оставляли в розовом изящном белье, украшенном тонким кружевом.

Розовый цвет в ту пору был в особом почете в молодом революционном государстве, городской Совет солдатских и рабочих депутатов подумывал о том, как наладить выпуск женского белья красного цвета. Чтобы пышнотелые уральские купчихи не уклонялись от выполнения своего революционного долга в постели и помнили, в какое время они живут.

С наступлением сумерек Ольга Сергеевна Каппель на улицу старалась не выходить.

Отец ее сильно сдал, постарел, сделался похожим на большой вопросительный знак: пока Строльман работал на заводе — держался, как только ушел в отставку — начал стремительно дряхлеть.

Иногда Ольга Сергеевна проводила ладонью по его щеке и говорила:

— Папа, ты совершенно зарос, стал походить на Деда Мороза.

— Олечка, человеку в моем возрасте положено иметь бороду.

— Бороду, но не заросли дикого кустарника.

Отец грустно опускал голову. Ольга видела худую белую шею, на которую спадали колечки нестриженых седых волос, хрящеватые уши, натруженные жилы, бугристо выступающие под кожей, и невольно всхлипывала от прилива жалости к отцу, вздыхала зажато:

— Эх, папа!

Да, отец начал сдавать слишком стремительно.

А вот дети радовали ее. Танюша хоть и была еще ребенком, но черты взрослого человека, будущей красавицы начали все отчетливее проступать в ней. Ольга Сергеевна как-то застала дочь врасплох, когда та стояла в модных ботинках с высокой шнуровкой и собольей муфтой, натянутой на руки, и не удержалась, воскликнула с изумлением:

— Ох, Танька!

Кирюша тоже радовал — несмотря на трудное время, не болел, не скулил, в холодные дни, когда нечем было топить печь, не плакал. Ольга Сергеевна выхватывала его из кровати, закутывала в меховую жакетку:

— Ты растешь у меня настоящим мужчиной!

Как-то отец принес домой газету, отпечатанную на плохой сероватой бумаге, с расплывающимися в нескольких местах буквами — потекла краска, — развернул ее перед дочерью:

— Полюбуйся, Оля, на этот революционный листок!

— Таким листком диван накрыть можно. Это целое одеяло.

— Ты прочитай, что тут написано. На первой полосе, вверху, справа... Видишь заметку в кудрявой рамочке?

— «На Волге объявился новый наймит Антанты — Каппель», — прочитала Ольга Сергеевна и умолкла.

— Читай дальше, — попросил отец.

— «На Волге объявился новый наймит Антанты — Каппель», — повторила Ольга Сергеевна и вновь умолкла.

— Ты дальше читай, дальше!

Ольга Сергеевна почувствовала, что у нее онемели, сделались чужими губы — перестали слушаться, язык тоже перестал слушаться, радость жаркими молоточками застучала в висках.

— Это Володя, — прошептала она, — живой.

— Живой, Оля, — подтвердил старик Строльман, — и, судя по всему, здорово сыпанул перца под хвост красным. Видишь, как они на него обозлились, — старик взял газету в руки, — обзывают предателем, империалистическим пауком, исчадием, царским прихвостнем, — старик вновь пробежался по заметке глазами, — пресмыкающимся гадом, клещом, врагом, гнидой — Строльман покашлял и махнул рукой, — и те де, и те пе.

— Живой, — вновь прошептала Ольга Сергеевна, в неверящем движении прижала руку ко рту, вновь заглянула в газету: — Самара — это далеко отсюда?

— Прилично. Примерно так же, как и до Москвы. — Лицо старика Строльмана сделалось озабоченным. — Ты это, Оля, ты это... Не говори никому, что твоя фамилия Каппель...

— Почему, папа?

— Да большевики не простят нам, что Володя нанес им поражение. Мстить будут. До него они не дотянутся, а до нас с тобою дотянутся легко. Строльман ты, Строльман! Ольга Сергеевна Строльман! Понятно?

Ольга задумалась. Внезапная радость родила внутреннее торжество, у нее даже лицо изменилось — помолодело, сделалось красивее.

— Вряд ли, папа, большевикам будет сейчас дело до меня. Им не до этого.

— Не скажи, дочка! — Старик Строльман предостерегающе поднял указательный палец, ткнул в газету пальцем, велел Ольге Сергеевне: — Ты глянь получше, может, там не только эта статья посвящена нашему Володе.

Та быстро пробежала по газетному листу глазами. Отец оказался прав: про «наймита Антанты Каппеля» было опубликовано целых четыре материала: два из них

были преподнесены как письма красноармейцев, побывавших в каппелевском плену и «чудом вырвавшихся из рук белогвардейских палачей», две — обычные заметки.

— Никогда не поверю, что Володя способен истязать и расстреливать пленных, — неожиданно жалобно проговорила Ольга Сергеевна, глянула на отца, словно ища у него поддержки, но тот, приняв отчужденный вид, свел в одну линию мохнатые брови:

— Это — дела военные, я в них ничего не смыслю.

— Папа, при чем тут дела военные или невоенные?.. Это вещь такая — тут все построено на внутреннем «я», на том, есть у человека тормоз или нет. Володя — из тех людей, который никогда не поднимет руку на человека, у которого нет оружия... Я очень хорошо знаю Володину натуру.

— А если у противника оружие? — Старик Стрельман сердито шевельнул бровями.

— Тогда кто раньше выстрелит, то и победит. Но это совсем не то, чтобы уничтожать пленных. Эти люди... — она негодующе тряхнула газетой, — эти люди врут!

Глаза у Ольги Сергеевны потемнели, сделались гневными, но в следующую минуту лицо у нее обмякло, стало растроганным, и она неожиданно поцеловала газету:

— Сегодня у меня — лучший день в году... Праздник! Володя жив! Я так рада!

— И я рад, — помедлив, произнес отец, строго свел брови вместе: он, похоже, не забыл прошлого.

Вместо Нижнего Новгорода Каппелю пришлось наступать на восток. По направлению к Уфе. Это, конечно, не наступление на Москву, но в тактическом отношении шаг был верный — двигаться на соединение с казаками Дутова, смять перемычку, которую из последних сил держали красные, и слиться с хорошо обученным уральским войском. В стратегическом отношении все же надо было двигаться на Нижний Новгород, а следом — на Москву. Во-первых, в Нижнем находилась часть золотого запаса России, без которого большевики будут все равно что без зубов, во-вторых, от Нижнего Новгорода рукой подать до Москвы...

Однако в Самаре решили по-иному. Каппель хоть и сморщился от этого решения, как от горькой редьки, но не выполнить приказ не мог.

Снялись каппелевцы ночью, при чистом черном небе, озаряемом горячими всполохами зарниц, снялись тихо. Большое войско, усиленное офицерскими ротами, мобилизованными в Казани, всколыхнуло огромное пространство, под множеством ног задрожала земля.

Перед выходом Каппель попросил Синюкова:

— Николай Сергеевич, прошу вас, проверьте — сделайте это лично — ушли два золотых эшелона в Самару или нет?

Синюков проверил, доложил командующему:

— Слава Богу, ушли!

— Оба эшелона, все сорок вагонов?

— Все сорок вагонов.

Каппель сложил пальцы в щепоть, словно собирался перекреститься, посмотрел на щепоть задумчиво, потом перевел взгляд на Синюкова и опустил руку.

Синюков поймал себя на мысли, что он не знает, к какой вере принадлежит Каппель — к православной ли, к католической либо к лютеранской — хотя, скорее всего, Каппель — православный. Большинство немцев, переселившихся при Петре да при Екатерине в Россию, приняло православную веру. Каппель вздохнул:

— Слава Богу, хоть душа будет спокойна, не то золото это висело тяжелым ярмом у меня на плечах... Неспокойно было внутри, очень неспокойно... — пожаловался он.

— Там, где золото, всегда бывает неспокойно, — рассудительно, будто деревенский мужик, сказал Синюков.

За ночь большой каппелевский отряд проделал тридцать верст, это был настоящий марш-бросок. Отдыхали на ходу. Можно было, конечно, вновь организовать ударный «клин» из телег, но для этого надо было бы рас-

потрошить только что созданный кавалерийский эскадрон, и Каппель не пошел на это. Кавалерией он должен был обзавестись во что бы то ни стало. Это было для него гораздо важнее, чем несколько побед над красными.

Впрочем, Павлов, например, имел у себя в роте две подводы — старик Еропкин не захотел покидать роту и отбывать в Самару, с ним остался и его напарник, такой же, как и он, старый солдат, награжденный Георгием за то, что умело действовал против турок.

— Зачисляй, ваше благородие, нас в свою команду, — сказал Павлову старик.

— Не могу, дед, уж больно ты... вы... тьфу, совсем запутался. — Поручик обескураженно махнул рукой.

— Обращайся на «ты» — не ошибешься. Так будет лучше.

— У нас же война, убить могут.

— Я смерти не боюсь. И мой напарник тоже.

— Я знаю...

— А ты, ваше благородие, ответственности на себя не бери и зачисли нас во второй разряд.

— Это что такое — второй разряд?

— Обоз. Вот и зачисли нас в него. По принадлежности. — Старик Еропкин улыбнулся, проглянуло в его улыбке что-то ущемленное. Павлов понял, что есть у деда причина, по которой ему не хочется возвращаться в Самару, да и далеко, если честно, они уже находятся от Самары, вернуться не так просто. Лицо у поручика сделалось нерешительным — за деда он мог получить нагоняй от батальонного начальства, и даже больше — от самого Синюкова, который являлся личным инспектором Каппеля в частях. Павлов глянул еще раз на старика Еропкина оценивающе и отвернулся, чтобы тот не заметил его нерешительность.

— Ну, ваше благородие! — моляще произнес тот.

— У нас «ваши благородия» отменены.

— Знаю. Только неверно все это. В таком разрезе можно и дисциплину в частях отменить... И что тогда будет?

— Керенщина. Анархия.

— Верно. — Дед Еропкин переступил с ноги на ногу, глянул на поручика печально и просяще.

— Ладно, — наконец решился тот, — пристраивайся пока двумя телегами в хвост роты, а там видно будет.

— Ваше благородие, да я готов расцеловать тебя за это.

— Не надо — не баба! Но если, дед, с полпути придется разворачивать оглобли на сто восемьдесят градусов — не обессудь. А насчет керенщины ты, дед, прав. Более гнусного явления, чем керенщина, нет. И, наверное, не будет.

Поручик ошибался: история России видела такие явления, перед которыми керенщина казалась обычной детской шалостью.

На время похода к роте Павлова вновь была прикомандирована сестра милосердия Варвара Дудко.

Еще не видя Варю, поручик почувствовал, что она находится где-то рядом, у него даже лицо сделалось другим; он поправил гимнастерку, привычно загнал складки назад, остановился, пропуская вперед роту:

— Поторапливайтесь, поторапливайтесь, ребята... Нам предстоит еще много пройти.

В последнем ряду роты он увидел Варю, шагавшую невпопад с солдатами — шаг у нее был короче, чем у здоровенных, привыкших к походам мужиков.

Поручик поспешно перехватил лямку тяжелой сумки, набитой медикаментами.

— Варюша, ваше место не здесь.

— Где же, поручик?

— На штабной повозке. — Телегу деда Еропкина он для солидности назвал штабной повозкой. — Идемте, я вас провожу...

— Мне неловко, право, — засомневалась Варя.

— Пошли, пошли... Набивать мозоли в солдатском строю — не женское дело, Варя. — Павлов перекинул тяжелую сумку через плечо. — Вы ведь, наверное, устали?

— Нет-нет, нет! — Варя протестующе замахала руками, оглянулась. — Вы посмотрите, как народ приободрился!!

В темноте в такт шагам колыхались головы, спины, плечи; порыв объединял людей, рождал чувство восторга и одновременно некой глухой тревоги: а чем, собственно, кончится этот поход?

Усадив Варю на телегу, поручик некоторое время шел рядом, потом, наказав старику Еропкину, чтобы приглядывал за девушкой — мало ли кому вздумается обидеть ее, — исчез в темноте.

Дед проводил его взглядом, завистливо вздохнул:

— Хороший парень, их благородие поручик. Вы сделали правильный выбор, барышня.

Хорошо, что в темноте не было видно, как покраснела Варя. Она не ответила старику.

Над людскими головами, в глубоком чистом небе вспыхнула комета, осветила все вокруг тускло и унеслась вперед, к краю горизонта. Испуганная лошадь заржала, присела на задние ноги.

— Тихо! — успокаивающе окоротил ее дед. — Обычное явление природы — ведьма на помеле вдоль строя пролетела... Ты такое сто раз видела.

Кто-то из солдат, неразличимый в темноте, воскликнул звонко:

— Это к победе, братцы!

— Что, есть такая примета?

— Есть.

— Врешь ведь. Я слышал от одного умного человека другое: когда такая дура пролетает — это значит, что жандарм родился.

Захохотало сразу несколько человек. Люди пребывали в хорошем настроении. Варя тоже улыбнулась.

Минут через десять Павлов возник вновь — внезапно вытаял из темноты, прошел несколько метров рядом с телегой, держась за неровный, оглаженный до лаковой скользости край, и Варя невольно подумала, что с этим человеком она чувствует себя много спокойнее:

от него исходят какие-то успокаивающие теплые токи, с ним не страшно. Подумав так, она неожиданно для себя благодарно улыбнулась.

— Варюша, у вас оружие есть? — спросил Павлов.

— Нет, а зачем мне оно?

— Ну, как сказать... Мы идем в бой, а в бою всякое бывает.

— Да я и стрелять не умею.

— Стрелять я вас научу. Это несложно. — Поручик протянул ей небольшой дамский браунинг, украшенный резными деревянными щечками. — Вот, я для вас в Казани присмотрел.

— Право, мне неловко, поручик...

— Варюша, это война, а на войне все ловко, поверьте мне. Держите, держите... Он, правда, без кобуры, но такие браунинги в кобуре не носят — только в сумочке либо в кармане. Держите!

Варя с опаской взяла браунинг.

— Сейчас нет. Стоит на предохранителе.

Некоторое время Павлов молча шел рядом. Варя повертела браунинг в руках:

— А как он снимается с предохранителя?

— Очень просто. Видите слева лапку-рычажок? Вон он, — Павлов пальцем показал на рычажок, — его надо сдвинуть вниз... И все — можно стрелять.

— Удобно. Лапку эту сподручно сдвигать большим пальцем. Не надо пистолет вертеть туда-сюда. Очень удобно...

— Это специально так сделано, Варюша. Чтобы не терять время. А это — семечки к вашему оружию. — Павлов ссыпал ей в ладонь горсть мелких тяжелых патронов. — Кончатся эти — добудем еще.

Варя благодарно тряхнула головой — как девчонка, которой первый раз в жизни разрешили сходить на бал, проводимый двумя гимназиями вместе, мужской и женской. А ведь поручик прав — в жизни действительно все может случиться.

— Спасибо, господин поручик, — благодарно произнесла она.

— Меня зовут Сашей.

— Спасибо, Александр Александрович!

— Й-эх! — Павлов удрученно помотал головой. — Вы меня, Варюша, еще «вашим благородием», как дед Еропкин, обзовите. Для полноты картины.

Варя тоненько, серебристо рассмеялась — будто колокольчик встряхнул ночное пространство. У Павлова от этого смеха сладко сжалось сердце, к горлу подполз комок. Так бывало с ним в детстве, когда он от смущения не мог говорить, что-то закупоривало горло — так это произошлои сейчас.

— Спасибо, ваше благородие, — сказала со смехом Варя, и поручик, оттолкнувшись рукой от края телеги, вновь растворился в ночи.

— У их благородия — целая рота, забот по макушку: двести пятьдесят голов, двести пятьдесят пар ушей, — *рассудительно проговорил старик Еропкин, — двести* пятьдесят ртов. На каждый роток, если все заговорят разом, не накинешь платок. А голоса есть разные, барышня, так что вы, барышня, не обращайте внимания на ротного командира и не обижайтесь на него. Он — человек исключительный.

Дед так и сказал: «Человек исключительный».

Колыхалось небо над людьми, подрагивала земля под ногами, на горизонте, гася звезды, полыхали яркие зарницы — предвестник жаркой осени. Длинная пешая колонна продолжала двигаться на восток. Кавалерия — два эскадрона — прошла стороной, чтобы не дразнить пехоту, да и задача у эскадронов, в случае стычки, была совсем иной, чем у пехоты.

Ночью стороной обогнули два села — разведка, проверившая их, доложила, что красных нет. «Одни только собаки, но лютуют они так, так лают, что из дома начинают выскакивать бабы с топорами», — доложил командир разведки, и после его доклада села решили не тревожить. К утру вышли к третьему селу, вольно раскинувшемуся среди полей, с избами, крытыми почерневшей соломой, посреди села стояло несколько домов

побогаче. В центре их — церковь с нарядной, словно игрушечной, маковкой, невольно притягивающей к себе взоры.

Разведчики приволокли из села часового — испуганного паренька с водянистыми глазами и жидкими волосами, прилипшими ко лбу. Посмеиваясь в кулак, разведчики доложили, что вытащили парня из-под коровы — пытался надоить в котелок молока. Парень, досадуя о промашке, размазывал ладонями слезы по щекам.

— Не бойся, родимый, — сказал ему полковник Синюков. — Чего плачешь-то?

— Как чего? Меня расстреляют...

— Кому ты нужен, чтоб тебя расстреливать? — осадил его полковник. — Расскажи лучше, что и кто в селе, да вали отсюда на все четыре стороны. К бабке своей на печку.

Парень, уверовав наконец-то, что его отпустят, перестал утирать слезы. Оказалось, что в селе этом уже трое суток стоит красный полк, командир полка ранен, лечится у местного фельдшера — дом эскулапа находится в центре деревни, около церкви, отличительная примета — новенькая железная крыша, еще не успевшая потускнеть, когда светит солнце, то крыша сияет так, что слезы из глаз катятся ручьем, смотреть невозможно, — с командиром полка в доме адъютант и трое красноармейцев.

— Очень хорошо, — удовлетворенно произнес Синюков и дал команду начинать атаку.

— А я? — дрожа всем телом и смаргивая с глаз слезы, спросил пленный.

— А ты иди домой, как я и обещал, — сказал Синюков, — топай на все четыре стороны.

Кстати, каппелевцы в восемнадцатом году с пленными не расправлялись, лишь отнимали у них винтовки и отправляли домой.

Отряд тем временем цепью вошел в сонное село — стоял тот самый сладкий рассветный час, когда у спя-

щего человека можно над ухом жахнуть из пушки, и он не откроет глаз. Сон в этот час бывает сладок и глубок.

Беспрепятственно дошли до середины села, до самой церкви и дома фельдшера, украшенного новой крышей, где остановился раненый командир красного полка, взяли дом в кольцо, и в это время с треском распахнулось окно. Стекло, блеснув, нырнуло в куст георгинов, и на подоконнике показался круто обрубленный ствол пулемета, следом выглянул человек в нижней рубахе, с головой, перевязанной бинтами.

Это и был командир красного полка.

— Сволочи! — звонко выкрикнул он. — Не возьмете!

Воздух всколыхнулся, в него влипли серые куски дыма, который вместе со свинцом выплюнул из своего горла пулемет; раненый командир повел стволом в сторону — посреди улицы остались лежать сразу несколько каппелевцев.

Тотчас в разных концах села застучали выстрелы. Синюков обеспокоенно прислушался к ним — он послал в обход села роту Павлова, чтобы та «закупорила горшок крышкой» — перекрыла выезд, поставил на дороге пару пулеметов.

Успел поручик захлопнуть «крышку» или нет? Синюков прижался спиной к плетню. В руке он держал наган — пора отбиваться от дезертиров «люськой» прошла, наган — интеллигентное оружие настоящего офицера; рядом с Синюковым находились два порученца, держались подле полковника, словно тени.

— Ну что, успел Павлов или нет? — спросил полковник у порученцев, обращаясь к обоим сразу.

— Успел, — уверенно ответил один.

Второй вытянул голову, вслушался в стрельбу, раздающуюся в противоположном углу села.

— Похоже, успел, — сказал он.

— Похоже, похоже, — передразнил его полковник, — мне нужен определенный ответ, без «кабысь» да «кубысь» — либо «да», либо «нет». Одно из двух... Уважаю людей, которые говорят либо «да», либо «нет».

— Успел.

Полковник удовлетворенно кивнул.

— А этот-то, этот... Из пулемета садит, будто шубу шьет. — Прислушавшись к непрерывному пулеметному стуку, полковник поморщился, у него нервно задергалась щека. — Лучше бы в плен сдался — жив бы остался... Мы бы его отпустили.

— Уже не останется. Он человек шесть наших положил.

— Еще бы не положить, коли мы к нему полезли с распахнутыми ртами, как к мамке за кашей.

— Живым этого пулеметчика, ваше высокородие, мужики уже не выпустят. Не получится.

Полковник скосил глаза на порученца. Старый, уже немало повоевавший, с седыми висками и темным усталым лицом, темнота в подглазьях сгустилась, набрякла пороховой копотью, словно порученец побывал на пожаре.

Красного командира отвлекли винтовочным огнем — начали бить по дому так плотно, что он не мог даже высунуть голову из окна; один из солдат — ловкий, жиглявый, как речной вьюн, под прикрытием кустов подполз поближе к дому и швырнул в окно гранату.

Рвануло так, что над фельдшерским домом даже приподнялась крыша, из-под вывернутого, с согнутыми листами железа угла вымахнуло пламя, тугой паровозной струей хлобыстнул дым, а с кирпичной трубы слетел кокошник. В окно, выламывая раму, вылетел пулемет.

Красный командир, посеченный мелкими осколками, с окровавленным лицом, приподнялся и лег на подоконник, безжизненно свесив руки.

— Все, готов, — констатировал Синюков. — Отстрелялся.

Словно поняв, что сопротивляться бесполезно, красные начали сдаваться.

Несколько человек на конях, перемахивая через плетни и вытаптывая огороды, ушли в задернутую туманом утреннюю лощину, из нее — в недалекий лесок,

из леска, смяв случайно оказавшуюся на их пути разведку, прорвались к тракту.

— Все, быть незамеченными больше не удастся, — сказал Синюков.

— Что делать с пленными? — спросил у него Павлов.

— Оружие отобрать, пленных отпустить.

— Есть отпустить пленных! — Внезапно повеселев, Павлов четко, как на параде, отдавая честь вышестоящему командиру, приложил руку к фуражке.

Синюков подозрительно сощурился.

— С чего это вы, поручик, таким веселым стали?

— Да я пленных уже отпустил. Отобрал винтовки, посдирал с них ремни вместе с патронташами и велел держать направление в сторону горизонта.

До двух часов дня был объявлен отдых.

Опытный старик Строльман оказался прав — он шкурой своей почувствовал опасность, это чутье было выработано у него годами, всей предыдущей жизнью.

Ольгу Сергеевну он предупреждал недаром.

В городе все чаще и чаще звучало имя Каппеля. Газеты писали: «Каппель вероломно напал на Свияжск», «Каппель лютует в Ставрополе-Волжском», «Маленький Наполеон, вскормленный царским генштабом и антантой (слова «генштаб» и «антанта» в заметке, напечатанной в газете, начинались со строчных букв), решил совершить победоносный поход на Москву. Грудью встанем на защиту Всероссийской столицы!»

То, что Владимира Каппеля сразу несколько газет стали называть маленьким Наполеоном, Ольга Сергеевна тут же заметила, и сердце у нее защемило. Ольга давно не видела мужа, как он там? Кто обихаживает его? Кто стирает и крахмалит подворотнички, платки, нижнее белье? Впрочем, Володя сам никогда не чурался различных постирушек — был к этому приучен с малых лет.

Здоров ли он? Однажды Володя, вернувшись с зимних учений, пожаловался на какие-то хлипы в легких.

Ольга Сергеевна поспешно напоила его кипяченым молоком и уложила в постель — шум исчез бесследно, а вот память о жалобе, несмотря на то что прошло десять с лишним лет, у нее осталась до сих пор.

Ей очень хотелось очутиться рядом с мужем. Хотя бы на десять минут — и то дышать стало бы легче. Она даже застонала от некого внутреннего бессилия, от униженности — бессилие всегда рождает униженность, слабость, которую приходится стыдиться.

Она глянула на себя в зеркало — за последние три года Ольга Сергеевна здорово изменилась, около глаз появились гусиные лапки морщин, рот обрел упрямое выражение, лицо постарело.

Женщина всегда стареет быстрее мужчины.

Ночи в августе выпадали тихие, чистые, со звездопадами и частыми всполохами. Собак в Екатеринбурге стало меньше — выдавались ночи, когда не слышно было ни одного бреха: то ли ушли собаки из города, то ли их уничтожили, то ли произошло еще что-то, и брехливые решили спрятаться от войны, от людей, от беды.

Около дома, где жили старики Строльманы и Ольга Сергеевна Каппель, остановилась грузовая машина. Из кузова выпрыгнули несколько человек с винтовками.

К грузовику приткнулась плотно, едва не коснувшись радиатором досок кузова, легковушка, из которой вышел плотный усатый человек в кожаной куртке.

Старик Строльман не спал. Услышав рокот моторов, перекрестился:

— Свят, свят, свят! Пронеси, Господи!

Не пронесло. Человек в кожаной куртке постучал в дверь:

— Хозяева!

На стук в окно, не прикрытое ставней, высунулась прислуга — пожилая крикливая татарка, готовая за своих хозяев кому угодно выцарапать глаза.

— Чего надо?

— Открывай дверь! — решительным голосом потребовал человек в кожаной куртке.

Старик Строльман застонал и поднялся с постели. Неужто пришли за ним, старым и немощным? Или все-таки за дочерью и внуком с внучкой? Не должны вроде бы. Старик Строльман постарался, чтобы фамилия Каппель в их доме больше не звучала. Ольга Сергеевна была осторожна и тоже не давала, не могла давать повода для приезда целой бригады с винтовками.

Губы у Строльмана сморщились, горько поползли в сторону, он помахал перед собой ладонью, словно пытаясь прогнать наваждение — не верил старик в то — просто не мог поверить, что грузовик с легковушкой прибыли к ним. Он неторопливо оделся, так же неторопливо обулся — время для него будто остановилось, вообще оборвало свой счет.

Одеваясь-обуваясь, старик Строльман слушал, как с приехавшими переругивается Фатима.

Наконец старший, прибывший на легковушке, оттопырил карман кожаной куртки и достал оттуда револьвер:

— Слушай, стерва, если ты еще пропитюкаешь пару слов, я тебя из этой дуры так нашпигую свинцом, что тебя потом ни один доктор лечить не возьмется.

— Не пугай меня, не пугай! — заорала Фатима на незваного гостя. — Ты кто такой?

Человек в кожаной куртке выхватил из кармана лист бумаги. Развернул его.

— Читай! Комиссар военного отдела Екатеринбургского Совета солдатских и рабочих депутатов Редис.

— Как мне повезло, — не выдержала Фатима, усмехнувшись ядовито. — Живого комиссара Редиса увидела! Сподобилась!

Похоже, она не боялась ни винтовок, ни кожаных курток, ни мандатов с печатями.

— Старая стерва! — закричал комиссар. — Открывай дверь!

— Сейчас хозяин штаны наденет, он тебе и откроет дверь, — невозмутимо произнесла Фатима, крик человека в кожаной куртке на нее никак не подействовал.

Старик Строльман смущенно забухал в кулак, открыл дверь:

— Слушаю вас, гос...

Человек в кожаной куртке грубо отодвинул старика в сторону:

— Тоже мне, господ нашел! Отвыкай от этого!

— Простите, товарищи! — поспешно произнес старик и выпрямился.

Незваный гость вновь выдернул из кармана лист бумаги, развернул его перед Строльманом:

— Комиссар военного отдела...

— Это я уже слышал.

— Где находится Ольга Сергеевна Каппель?

— Ольги Сергеевны Каппель здесь нет, — с достоинством ответил старик Строльман.

— А кто есть?

Из старика словно выпустили воздух, он согнулся и попросил, разом делаясь беспомощным:

— Возьмите вместо нее меня...

Комиссар отрицательно качнул головой и, поскольку старик встал перед ним вторично, снова отодвинул его в сторону:

— Нет! У меня предписание задержать жену Каппеля Ольгу Сергеевну, в девичестве Строльман. Она здесь?

Старик согнулся еще больше, становясь совсем несчастным. Врать Строльман не умел — даже в такие минуты. Вздохнул и понуро опустил голову. Редис все понял и скомандовал зычно:

— Пусть она выходит.

— Зачем? — задал нелепый вопрос Строльман.

Комиссар засмеялся — уж больно шутовски выглядел этот растерянный дед.

— В Москву велено доставить. С ней сам товарищ Ленин хочет поговорить.

— Возьмите лучше меня, — вновь униженно попросил Строльман.

В это время за спиной у него возникла Ольга.

— Не надо, папа, — воскликнула она звонко, — не унижайся, не проси!

— Как же, как же... — засуетился старик, — тебе же детей надо воспитывать... Как они без тебя будут?

— За детьми, папа, ты обязательно присмотри. Не бросай их, пожалуйста. — Ольга Сергеевна не выдержала, сморщилась, глаза ее наполнились слезами.

— Не надо, дамочка, — решительно произнес комиссар, беря Ольгу Сергеевну за локоть, — не убивайтесь. Через трое суток вы вернетесь к своим детишкам.

Ольга Сергеевна неверяще мотнула головой, решительно вытерла платком глаза, глянула поверх отца на черную, сиротски притихшую улицу и шагнула за порог. Потом, словно споткнувшись обо что-то, остановилась, развернулась лицом к старику Строльману:

— Папа, прощай!

— Охо-хо, какие телячьи нежности, — скривился комиссар Редис, — какие трагические слова! Любите вы, буржуи, все это больше осетровой икры! А потом рождаются такие злодеи, как ваш муженек. Поехали! — Комиссар взял Ольгу Сергеевну за рукав. — Нечего здесь мерлихрондии разводить!

Ольга Сергеевна сделала стремительный шаг к отцу — это был даже не шаг, а некий рывок, комиссар Редис даже вскрикнул — испугался, что эта красивая и, судя по всему, отважная женщина сейчас убежит, обеими руками схватился за ее одежду, выкрикнул горласто, как биндюжник на рыбном рынке:

— Стой!

Ольга Сергеевна презрительно глянула на него, нагнулась к отцу и поцеловала старика в морщинистую, пахнущую мылом щеку — Строльман умывался перед сном, дух мыла еще не выветрился, — произнесла зажато:

— Папа, очень прошу тебя, сбереги детей!

Старик ничего не ответил, всхлипнул. Ольга Сергеевна поднесла руку к задрожавшим губам, тоже всхлипнула.

Комиссар поспешно затолкал ее в легковушку, и машины уехали. Старик долго еще стоял в проеме двери

невидящими глазами смотрел на пустынную улицу, словно ожидая чуда. Но чуда не было.

Каппель не любил толкотни, шумных сборищ, громких возгласов, споров, в которых, как говорил его отец, старый немецкий колонист Оскар Каппель, — один из спорящих — дурак, второй — подлец. Дурак — потому, что, не зная предмета спора, лезет в него, второй знает предмет спора, знает точный ответ и, проявляя свой подлый характер, обводит дурака вокруг пальца.

И вообще, в среде спорящих умных людей не бывает.

Гражданская война — это тоже спор. Очень кровавый спор, крови может пролить столько, что она не только в реки — в моря не вместится. Выплеснется, затопит берега... Как остановить бойню, пока она еще находится в зародыше, не знает никто. Это только сладкоголосые политики типа Керенского да Троцкого знают, а солдаты, даже в генеральских чинах, не знают.

От ощущения того, что творится нечто непоправимое, было тяжело на душе. Большая кровь еще не пролилась, но она может пролиться.

Красные пришли в себя после казанского разгрома. Тухачевский — талантливый командир — сумел реорганизовать свою потрепанную армию, сейчас готовится наступать. Ядром новой армии стала Железная дивизия — такие дивизии, железные, были и у красных, и у белых, служить в них считалось делом почетным. Для борьбы с восставшими рабочими Ижевска и Воткинска — это были города-братья — в Вятке уже практически сформирована Вторая Красная армия под командованием Шорина. Основой ее стала дивизия Азина. К дивизии примкнул партизанский полк Чеверева. С Урала, из окружения, сумел пробиться Блюхер, вышел к красным под Пермью, привел с собой девять тысяч человек. На основе отряда Блюхера красные начали создавать Третью армию, и она, по данным, которые имелись у Каппеля, была уже почти создана.

На юге, в районе Николаевска, создается Четвертая армия. Основой ее стала дивизия Чапаева. Это — девять тысяч штыков и девять орудий.

Пройдет совсем немного времени, и эти армии начнут наступать, и тогда будет худо.

Преимущество, приобретенное после взятия Сызрани, Ставрополя-Волжского, Симбирска, Казани, безнадежно утеряно — его не вернуть.

Комуч же пока боролся сам с собою, разрабатывал планы, делил портфели и устраивал званые обеды. Питались люди, приближенные к Комучу, совсем неплохо — свежая паюсная и пробойная осетровая икра, белужьи балыки, парная севрюга, телячьи отбивные на столах не переводились. Демобилизация провалилась с треском, да и Комучу не было до нее никакого дела. Ни продуктов, ни оружия, ни патронов от Самарского правительства в Народную армию не поступало. Даже то, что комучевцам надо было сделать обязательно — а именно договориться с чехословаками о четком взаимодействии, тоже не было сделано. И если уж чехи шли в атаку вместе с белыми частями, то о том, что делать, кто пойдет слева, а кто справа, договаривались на уровне командиров рот. Только на один бой.

Комуч упрямо выступал против дисциплины в армии — один в один повторял шаги Керенского, сочинившего в свое время преступную «Декларацию прав солдата», в результате чего едва ли не десяток тысяч честных офицеров, выступавших против разложения армии, был поднят на штыки. Погоны в армии Комуч упразднил, следом упразднил дисциплину — а как быть без погон и дисциплины в армии? Отдавать честь старшему теперь совсем не требовалось, командир не имел права наказать провинившегося солдата... И самое худшее — Комуч добивался коллективного командования в армии.

Чего же хочет Комуч? Чтобы Каппель, допустим, объявил о наступлении, а его напарник, какой-нибудь Фортунатов или Брушвит, тут же отменил этот приказ и предложил солдатам вместо наступления ехать на ярмарку либо разжигать костры и готовить кулеш? Естественно, солдату милее трескать жирный кулеш, сидя у огонька, чем мять ноги в трудном походе.

Каппель подумал о том, что надо бы издать приказ, запрещающий появление в его частях агитаторов и чиновников из Самарского правительства. Если такой приказ будет издан, то жить станет спокойнее. Но издавать такой приказ было нельзя.

Ночью каппелевцы совершили еще один бросок и в предрассветной тиши окружили сонный неряшливый городок, глядящий окнами в медлительную, полную раков речку. Был рачий сезон, и вдоль всего берега стояли раколовки; около них, несмотря на серую прохладную рань, прыгали несколько босоногих красноармейцев: визжали восторженно, выгребая из очередной плетушки клешнястых усачей.

Разведка быстро повязала горластых добытчиков — красноармейцы и пикнуть не успели, как уже сидели в кустах с заломленными назад руками и кляпами не менее капустной кочерыжки, всаженными в рот.

— Ну-с, господа краснорожие, расскажите нам, белорылым, что творится в этом славном городке? — потребовал поручик Павлов, командовавший разведкой. — Кто будет говорить первым? Ты? — Он ткнул пальцем в пожилого, обросшего седой щетиной красноармейца, испуганно таращившего на него глаза. — Нет, ты говорить неспособен... Может, ты? — Павлов ткнул во второго красноармейца, чернявого, с длинным севрюжьим носом, на кончике которого висела мутная простудная капля. Поморщился недовольно: — Больно уж ты соплив. Подарить тебе носовой платок, что ли? Может, ты чего-нибудь расскажешь? — Поручик взялся пальцами за пуговицу, плохо пришитую к гимнастерке третьего красноармейца, оторвал ее и укоризненно покачал головой: — Ай-ай-ай! Ты говорить не достоин. — Он развернулся, двинулся в обратном направлении, выдернул кляп изо рта у длинноносого красноармейца: — Говори!

— А чего говорить, господин хороший? — не оробел тот. — Спрашивай.

— Много вас тут, краснюков, сидит по теплым углам?

— Человек триста.

— Артиллерия есть?

— Три легких пушки. Без снарядов. У анархистов пушки тоже есть. Две, кажись. Также без снарядов. — Длинноносый старался говорить спокойно, с достоинством, но мелкая дрожь, то возникавшая в его голосе, то исчезавшая, выдавала его: боится длинноносый за свою жизнь.

Павлов удивленно приподнял бровь:

— Что, у вас тут еще и анархисты водятся?

— Да. Матросы с Балтики. Целый отряд.

— Балтийцы — значит разложенцы, — с усмешкой проговорил Павлов, — агитаторы, которым надо отрезать все, что растет ниже пояса, и скормить собакам. Вооружены матросы здорово?

— На поясах висят бомбы. По две штуки у каждого.

— Бомбы — это отличительный знак каждого монархиста, — удовлетворенно произнес Павлов. — Нам эти бомбы здорово пригодятся. — Поручик приподнялся над кустом, огляделся. — А где, говоришь, командиры ночуют?

— Тот, который «анархия — мать порядка» — у купца первой гильдии Елистратова. Самый богатый дом в городе. Наш командир товарищ Юхновский — у священника.

— Красный командир — и у попа? — неверяще произнес Павлов.

— Да, — подтвердил длинноносый. — Товарищ Юхновский — из бывших семинаристов, так что это дело ему очень даже знакомо.

— Чудеса, — Павлов покрутил головой, засмеялся, в следующий миг сделался строгим, — выходит, у большевиков так же, как и у нас, всякой твари по паре имеется. — Он поманил к себе Дремова: — Давай-ка, иже-

вец, с докладом к полковнику. На словах ему расскажешь, что видел, что слышал, а я ему еще маленькую записочку нарисую.

— А вы... без меня?..

— Мы здесь, в засаде останемся, будем ждать начала атаки. Как только атака начнется, поднимемся, ударим изнутри.

— Жаль, пулемета нету, — оценивающе сощурив глаза, произнес Дремов; он по обстоятельной своей, рабочей натуре прикидывал, что же может быть дальше, и прикидкой остался доволен. — С пулеметом тут можно много чего накрошить.

— Кто же ходит в разведку с пулеметом, Дремов? — Поручик расправил на коленке листок бумаги, подложил под него обломок доски, валявшийся под ногами, торопливо набросал несколько слов, сложил записку вчетверо. — Это передай Синюкову.

— М-да, пулемет бы, — озабоченно крякнул Дремов, он продолжал гнуть свое, упрямый был человек, — совсем другой сложился бы разговор.

— Насчет пулемета еще не все потеряно, — весело сказал Павлов; тон его был такой, что Дремов понял: пулемет поручик обязательно достанет — человек он удачливый и лихой, любит испытывать судьбу и побеждать.

— Может, я останусь? — просительно произнес, глядя на поручика, Дремов, который очень пожалел, что ему надо отправляться с разведдонесением к полковнику.

— Приказы в армии даются для того, чтобы их выполнять. — Павлов повысил голос и сделал рукой красноречивое движение — так обычно подвыпивший посетитель отбивается от ресторанного служки, по ошибке навязывающего ему чужое пальто. — Быстрее к полковнику и — пулей назад! — Поручик увидел, как изменилось и сделалось темным лицо Дремова, примиряюще тронул его за плечо: — Так надо.

Дремов кивнул и зашагал через мост на ту сторону берега, гулко опечатывая сапогами деревянный настил — этакий стойкий солдатик; шел он, ни на кого не

обращая внимания. Глядя на Дремова со стороны, невозможно было угадать, откуда он, кто он — взбунтовавшийся чехословак, сознательный рядовой Белой гвардии, решивший постоять за старую Россию, партизан, переметнувшийся сюда с Украины — появились в Поволжье и такие отряды, — или деловитый мужик-красноармеец из хозяйственного взвода, отправившийся в местную кожевенную дубильню за материалом для подметок...

Время четкого деления на своих и чужих, по погонам и прочим знакам отличия еще не наступило. Павлов, проводив ижевца взглядом, выругал самого себя: пожалуй, он резок был в обращении с Дремовым. Это дело надо будет обязательно поправить...

Оглянется Дремов или нет? Оглянется или нет?

Дремов не оглянулся.

Вверху, на взгорбке, послышался веселый голос, и по крутой тропке, в нескольких местах специально перечеркнутой ступенями, к самой воде скатился простоватый паренек в штанах, подвернутых до колен, — очередной раколов.

Увидев поручика и хмурых людей с винтовками, парень открыл рот в нехорошем изумлении, изо рта у него выпрыгнул округлый и одновременно какой-то подавленный звук — то ли стон, то ли возглас:

— Оп!

— Вот именно — оп! — сказал ему Павлов. — Откуда идешь?

— Из штаба, — простодушно ответил паренек.

— И чем же занят сейчас штаб?

— Спит.

— Милое дело, — похвалил Павлов. — Покажи, где он находится? — Увидев, что лицо у парня сделалось налимьим, губы вытянулись, стали плоскими, плотно прилипли друг к другу, словно их намазали клеем, а потом что было силы придавили, предупредил: — Молчать не рекомендую. Где находится штаб, я узнаю и без тебя, а вот ты себе только хуже сделаешь. Разумеешь?

— Разумею, — сказал паренек, двигая из стороны в сторону плоскими губами. — Штаб находится на втором этаже лавки «Москательные товары».

— Народу там много?

— Человек пятнадцать. Все спят.

— А где штаб анархистов?

— Анархисты тоже спят. Вчера перепили первача — реквизировали у одной городской ведьмы, — нажрались так, что даже уши у них были мокрыми.

— Мокрые уши — это образно. Ты, брат, — поэт!

— Поэт, ага. — Парень раздвинул в улыбке плоские губы. — В гимназии писал стихи. Их хвалил даже сам инспектор. — Он потупился, на лбу у него заблистали мелкие искристые бисеринки. Поручик заметил, что в глубоких темных глазах паренька шевельнулось и застыло что-то мелкое, тугое, будто резина, еще более темное. — Что вы со мной сделаете?

— С тобой? Отпустим. Их тоже отпустим. — Павлов перевел взгляд на кучку пленных, сгрудившихся под дальним кустом. — Как только займем городок — сразу отпустим. А Юхновский... он все еще у попа? Там ночует?

— Юхновского на месте нету. Ночью вызвали в штаб армии.

— Кто остался вместо него?

— Чеченец один, лютый, как зверь.

— Как фамилия?

— Казыдоев.

— Странная какая фамилия. Ни чеченская, ни русская, ни татарская, ни персидская — никакая, словом. Где он сейчас находится, чеченец этот?

— В штабе.

На мосту тем временем появились каппелевцы, торопливо пробежали по настилу и устремились в гору, поручик невольно подивился — чуть не до середины города дошли без единого винтовочного хлопка. Одно дело разведка, которая должна не по земле ходить, а перемещаться по воздуху, бесшумно, и совершенно другое — толстоногие потные стрелки со своими сидорами, тяже-

лыми подсумками и грузными, гулко шлепающими сапогами.

— Молодцы! — похвалил их поручик, обратился к своим: — Ну что, тряхнем «Москательные товары»?

Через минуту он уже проворно, по-обезьяньи ловко несся по узкой тропке вверх, на вершине взгорбка увидел красноармейца, мочившегося под плетень — тот даже не разлепил глаз, чтобы рассмотреть Павлова, — сонный был, и поручик, словно на что-то обидевшись, рубанул его ладонью по шее — этому приему он научился на фронте у одного бойца-баргута; красноармеец охнул и повалился в мокрую крапиву, которую только что обильно полил.

Поручик перескочил через него, перемахнул через крохотную, детских размеров, калитку, перекрывавшую дорогу, и понесся дальше. Просипел, выдавливая из себя на бегу фразу, которая почему-то застряла на языке и никак не могла выскочить:

— Насчет пулемета еще не все потеряно...

Где-где, а вот в штабе пулемет точно имеется — «максим» или «люис», в штабе пулемет и надо было взять.

Он оглянулся — бегут ли за ним его люди? Разведчики не отставали. Павлов махнул рукой призывно, вновь перескочил через плетень, вспугнул красноглазую грязную курицу, вздумавшую купаться в пыли, — та встопорщенным горластым клубком отлетела в сторону, следом поручик перескочил еще через один плетень и оказался на узкой, изогнутой кривым серпом улочке.

«Странный город какой-то, — мелькнуло у него в голове, — не похожий на другие города, — сплошь плетни, раки в корзинках, улочки, которые никогда уже не будут прямыми — их просто не выпрямить... Зазеркалье какое-то, город из старой английской сказки».

Центр городка находился слева, в него и вела эта кривая улочка — как и все улицы и даже самая последняя-распоследняя тропка, подчиняясь закону градостроительства: этот закон, широко распространенный в провинциальной России, «имел место быть» и здесь.

Поручик вновь призывно махнул рукой: «За мной!», понесся по улочке влево.

Минуты через три он выскочил на округлую, уложенную булыжником площадь. Лавка «Москательные товары» была огромной, на жестяной вывеске был намалеван маслом улыбающийся белозубый господин с нафабренными фельдфебельскими усами, кончики — завитые тугие аккуратные кольца. Господин призывал: «Вам тут рады!» Эта надпись была еще одной приметой «Зазеркалья». Окна на втором этаже были открыты — люди, находившиеся там, любили свежий воздух...

Поручик выдернул из кобуры маузер, махнул стволом вначале в одну сторону, потом в другую, показывая, что разведчики должны обогнуть здание с двух сторон и блокировать его, ткнулся в одну дверь — заперта, в другую — тоже заперта: это были двери, ведущие в саму лавку и на склад. Третья дверь открылась легко и бесшумно, хозяин здешний любил порядок, то, что надо было смазывать, — смазывал, что надо было подкрашивать — подкрашивал. На второй этаж вела деревянная, чисто вымытая лестница. Павлов рванулся по ней вверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки, спиной, лопатками ощущая, что сзади за ним бегут еще двое разведчиков, страхуют...

Он уже почти достиг конца длинной лестницы, когда наверху появился человек — плотный, одетый в новенькую гимнастерку, лицом очень похожий на господина, изображенного на жестяной вывеске — ну точь-в-точь; увидев Павлова, он грозно встопорщил усы, словно заметил что-то непотребное. Поручик ухватил его рукой за воротник гимнастерки, сдавил, второй ладонью, как топором, рубанул по шее.

Усатый господин унесся по лестнице вниз. Разведчики лишь посторонились, пропуская его, — вовремя это сделали, иначе летящий «поезд» сбил бы их с ног.

В том, что в ближайшие двадцать минут этот человек не очнется, поручик был уверен — а через двадцать минут город будет уже взят... В этом Павлов тоже был уверен.

Он рванул дверь на себя и оказался в помещении, где находились три стола, заваленные бумагами, вдоль стен стояли кровати. На кроватях лежали люди.

У подоконника, свесив голову на грудь, спал человек. Под подоконником, стволом к стене, был прислонен новенький, с невытершимся заводским блеском «люис», — видно, взят прямо со склада, а на тумбочке, придвинутой к стулу, лежали два приготовленных к стрельбе диска.

Этот пулеметчик должен был встретить нападавших, но он опоздал. Проспал...

Увидев поручика, пулеметчик захлопал глазами, потянулся к «люису».

— Сидеть на месте! Не двигаться! — заорал на него поручик, навскидку саданул из маузера.

Пуля всадилась в подоконник рядом с пулеметчиком, выхватила несколько щепок, одна из них воткнулась ему в лицо.

Пулеметчик медленно, не чувствуя боли, поднял руки.

— Выше, выше лапы-то! — прикрикнул на него поручик.

Пулеметчик послушно выполнил приказание.

На одной из коек приподнялся бородатый, горбоносый, похожий на имама Шамиля командир, потянулся к ремню с револьверной кобурой, висящей на гвозде. Павлов, не задумываясь, нажал на курок маузера. Стрелять поручик умел метко — еще в юнкерском училище брал призы за точную стрельбу, — пуля посекла горцу руку. Он вскрикнул и повалился спиной на кровать. Павлов вновь перевел ствол маузера на пулеметчика.

— А ну-ка, вот так, с поднятыми руками, пять шагов в сторону — марш!

Пулеметчик сделал два шага, зацепился каблуком за зазубрину в полу, чуть было не свалился, но на ногах все же удержался — лишь чертыхнулся в сердцах.

— Ты Бога почаще поминай, а не черта, — сказал ему Павлов, — и верхом поменьше езди, чтобы ноги такими кривыми не были.

Пробормотав под нос что-то невнятное, пулеметчик сделал еще три шага в сторону.

— Грамотный, — похвалил его Павлов, — до пяти считать научился без ошибок.

Ловко подхватив пулемет, поручик оттянул затвор, выглянул в окно, никого не увидел — стрелки, пересекшие мост, где-то задерживались, — скомандовал всем, кто находился в штабной комнате:

— А ну, вытаскивайте из штанов ремни! Живо! — Вхолостую повел стволом поверх голов, увидел, как глаза у людей, которых он взял в плен, сделались растерянными. — Вытаскивайте, кому я сказал!

Внизу, на площади, грохнул выстрел, за ним другой. Началось.

— Живо! — повторил приказание Павлов.

Горец с простреленной рукой застонал, зашевелился на койке, приходя в себя.

— Ты можешь оставить ремень в штанах, — разрешил ему Павлов, — с тебя хватит.

Горец со стоном вдавил голову в подушку.

— Дерьмо! — просипел он сквозь зубы.

— Сам виноват, не надо было дергаться. — Павлов отпрянул назад, скрываясь за косяком окна, высунул в проем ствол пулемета и дал длинную очередь — на площади только пылевые вихри взвились.

Бежавшие люди попадали на землю — кого-то зацепила пуля, кто-то упал из страха быть зацепленным.

— А ну, бросайте свои винтовки, — прокричал Павлов, высунувшись в окно. — Хватит! Навоевались!

Было слышно, как внизу кто-то со стоном и тоской выматерился.

— Все, война для вас закончилась, — объявил поручик. — Бросайте винтовки и топайте домой, кур с поросятами кормить. — Павлов провел стволом «люиса» по лежащим людям, но на спуск не надавил. — Бросайте винтовки, кому сказал! Сейчас опять стрелять буду!

Послышалось жестяное, какое-то совсем уж мирное бряканье — это люди отшвыривали в сторону винтовки.

— А теперь — по-пластунски — к двери москательной лавки. Не бойтесь испачкать руки пылью... Грязь — не сало. Вперед! — Поручик с интересом посмотрел, как поползли к лавке красноармейцы, одобрил их действия: — Молодцы! А винтовочки пусть останутся. Придут оружейники — подберут.

Лишь двое остались лежать на месте: один загребал пальцами землю, впивался ногтями в теплую плоть, стараясь захватить ее побольше, но из тщетных попыток ничего не получалось; второй, просеченный очередью из «люськи», лежал без движения — он умер мгновенно. Поручику сделалось жаль этого человека — ведь для чего-то он был создан Всевышним, получил свое предназначение и вдруг попал под пулю... Не по своей воле, впрочем, наверняка из мобилизованных. И красные, и белые сейчас стараются мобилизовать солдат в свои армии, только последние делают это неряшливо, абы как, вяло. Красные же — напористо, с угрозами, случается, что кое-кого из сопротивляющихся и к стенке ставят...

— Эх, мужики, — произнес поручик и умолк, скосил глаза в сторону: справляются ли со штабистами два его напарника?

Напарники — Митрошенко и Демкин — справлялись неплохо, держали под прицелом винтовок всех, кто находился в комнате. Павлов одобрительно кивнул, вновь выглянул в окно.

Если говорить о мобилизации, то по России даже слух пронесся, что Троцкий якобы собирается мобилизовать на Урале три новых корпуса и двинуться с ними в Индию — делать там революцию... Хотя до Индии он вряд ли дотопает — подметок на сапогах не хватит.

За домами, примыкающими к площади, раздалась частая стрельба, затем прогремела пулеметная очередь. Павлов ждал. Если матросы — знатные бомбисты протрезвеют, то будет большая свара. Но матросы, судя по всему, не очухались — слишком хорошо нагрузились вчера...

По площади пронесся ветер, высоким клубом взбил пыль, засыпал ею лежащих людей. Павлов продолжал ждать.

Наконец на площадь выскочили несколько конников, впереди — полковник Синюков. Павлов призывно махнул ему рукой, Синюков знак заметил, махнул ответно.

Город взяли почти без потерь — были убиты только два батарейца из артиллерийской команды Вырыпаева, по недоразумению оказавшихся в рядах атакующих. Они не должны были там быть... Павлов отер пот со лба, скомандовал:

— Митрошенко, Демкин, выводите пленных на площадь.

Демкин встал у двери, держа штабную комнату под мушкой, Митрошенко начал сгонять людей с кроватей.

— Ракоеды! Ленивые же вы! — добродушно посмеивался он под нос. — Бабы скоро будут уж по второму разу доить коров, а вы все на койках нежитесь!

Последним он поднял раненого, трясущегося, с мукой и злостью, застывшими в глазах, небритого кавказца — волосы у таких людей растут на лице даже не по часам, а по минутам, особенно если над человеком нависнет какая-нибудь опасность. Кавказец приподнялся, протянул Митрошенко простреленную руку, из которой сочилась кровь:

— Что вы здэлали, э! Будьте вы прокляты!

— Это ты будь проклят, — грубо, на «ты», внезапно зазвеневшим голосом проговорил поручик. Он не отрывал взгляда от окна — ведь мало ли что может неожиданно произойти, вдруг откуда-нибудь вынесутся анархисты, поэтому и не отходил от пулемета. — Что тебя, барана небритого, принесло сюда? Сидел бы у себя на Кавказе, выращивал бы виноград и давил босыми ногами, разливал бы сладкое вино, радовал людей... А ты забрался в чужой огород да еще и за револьвер схватился. Вот и страдай теперь. Комиссар небось?

— Комиссар. — Кавказец хмыкнул. — Разевай рот шире. Комиссара вам не поймать.

— Как фамилия вашего комиссара?
— Спроси у него!
— А твоя фамилия?
— Казыдоев.

Кавказец застонал, ощупал здоровой рукой край кровати, словно искал место понадежнее, на которое можно опереться; пальцы его скользнули под тощий, набитый истершимся, ставшим трухой, сеном матрас, и Казыдоев быстрым, ловким движением выдернул из-под него небольшой браунинг, такой же, как у Вари Дудко.

Первую пулю кавказец всадил в Мирошенко, тот даже рта раскрыть не успел, пуля разодрала ему губы, пробила глотку и застряла в шейных позвонках. Митрошенко выронил винтовку и тихо осел на колени — умер он мгновенно.

Поручик стремительно рванул пулемет с подоконника, но развернуться не успел — Казыдоев выстрелил раньше.

Пуля пробила Павлову плечо, откинула поручика на косяк оконного проема, затылком он больно всадился в срез. Казыдоев выстрелил во второй раз.

Второй выстрел Казыдоева был менее удачным, чем первый, — пуля, не задев Павлова, прожгла пространство рядом с его виском, опалила кожу и, прорубив деревянную раму, унеслась на волю. Поручику повезло — эта пуля могла снести ему половину головы.

В глазах Павлова промелькнуло удивление — в такие минуты в голову часто лезет разная мелочь, ничего не значащая чепуха. «Это что же, абрек этот — левша? Почему он стреляет с левой руки? Или ему все равно, с какой руки бить, с левой или с правой?» — подумал поручик и надавил на гашетку пулемета.

Поручик не оплошал: в следующее мгновение Казыдоев, крестом раскинув руки в стороны, прилип к стене, пули прибили его к ней, как гвоздями, откололи большой кусок штукатурки, осыпавшейся целым пластом, густо забрызгали кровью лубочную картинку, пришпиленную к стене. Браунинг с грохотом выпал из руки Казыдоева.

Павлов засипел от боли, помотал головой — слишком уж злой огонь запылал в пробитом плече, прошептал неверяще:

— Не может быть!

Он, прошедший фронт, хорошо знал, что человек чувствует свою пулю загодя — за несколько дней до ранения, у него задолго начинает болеть голова, — так это раньше бывало и с поручиком, а здесь он, выходит, словил пулю чужую, не ему предназначенную...

Пространство перед ним покраснело, наполнилось чем-то студенистым и дымным одновременно — словно из печи вытащили какое-то странное парящее варево; Павлов сполз на пол, уперся одной рукой в плинтус — вторая рука не действовала. Он пытался удержаться, не свалиться, но что-то, видимо, в нем нарушилось, тело налилось тяжестью, стало чужим, горячим, и поручик, как ни старался, не удержался, повалился на пол и ткнулся в шершавую, почему-то пахнущую дегтем, широкую доску...

Прежде чем потерять сознание, произнес вторично угасающим удивленным шепотом:

— Не может этого быть.

Будучи сильным в военном деле, в стратегии, в тактических ходах, Каппель мог передвигать, будто шахматные фигуры на доске, целые полки и дивизии, разыгрывать, словно по нотам, сражения и побеждать в них, — однако он совсем не был сведущ в делах политических, в грязных «топтучках», в митингах и преступной болтовне, в которую оказалась втянутой Россия. Он совершенно искренне недоумевал: как же могли поломать такую великую державу все эти любители щелкать словесные семечки — эсеры, кадеты, анархисты, меньшевики, большевики, монархисты, эсдеки и прочий окрашенный в разные цвета политический люд? И главный вопрос: зачем это сделали? Ради чего?

Чтобы взять власть в свои руки? А может быть, ради чего-то другого? Спрашивал себя об этом Каппель, но ответа дать не мог, только вновь и вновь возвращался к мыслям о судьбе России.

Авторитет России был велик. Одного только ее взгляда было достаточно, чтобы в Европе враз делались тихими целые страны — это была великая держава. Хлеба выращивали столько, что заваливали не только Европу, но и Новый Свет — гоняли из Одессы в Америку целые караваны огромных пароходов. Крестьяне жили справно — и хлеб у них был, и картошка, и мясо — все свое. Редкая крестьянская семья не имела коровы. Коровы были у всех, даже у самых бедных, самых криворуких работников, не способных вбить гвоздь в стенку.

Конечно, перед крестьянами всегда стоял вопрос о земле — земли не хватало, это Каппель хорошо знал по тульской глубинке, по своему имению, по делам знаковых колонистов, но острота эта мигом снималась, стоило только перевалить через Уральский хребет — там земли было сколько угодно, выше макушки. Сколько сумеешь взять — столько и бери. Тысячу раз был прав Столыпин, убеждая крестьян переезжать в Сибирь. Две тысячи раз был прав прозорливый Ломоносов, утверждавший, что богатство российское будет прирастать Сибирью. Там, если потрудиться малость на земле, не только по паре коров на каждый семейный нос можно наработать, но и золотишка нарыть немало, и керосин-воду, как местные аборигены называют нефть, найти, и много чего еще, что позволяет человеку чувствовать себя человеком.

В Сибири ныне, как было известно Каппелю, полно крестьян, которые имеют коровьи стада в тысячу голов и отары овец в десять–пятнадцать тысяч...

Продуктов было «до и больше», как говорит денщик Каппеля, расторопный крестьянский сын Бойченко, — а уж он-то деревенскую жизнь знает, хлебнул в ней всего, поскольку был двенадцатым сыном в семье и до самого жениховства донашивал то, что не успели сносить старшие.

Бойченко давно держал мыслишку отделиться от своего большого семейства, от родичей и, пока не обзавелся бабой и детишками, махнуть в Сибирь, оттяпать там кус земли посолиднее, так, чтобы душа радовалась, и заняться хозяйствованием. Но ему помешала война: пришлось вскинуть на плечо винтовку и под зычную «ать-два» двинуться на германский фронт.

После войны последовала напасть не меньше — мир. Позорный мир, после которого не только офицеры, но и солдаты стыдились смотреть в глаза друг другу; раздражение в России этот мир вызвал невероятное. Может, он — причина всех наших нынешних бед? Или то, что Россия ввязалась в войну, имея боевого припаса всего лишь на четыре месяца?

В первые дни войны поплыло за кордон, по морям и океанам, русское золотишко: только на него можно было купить пулеметы, пушки, снаряды и сильный бездымный порох — в обмен на хлеб России ничего не давали, только в обмен на золото. Причем поставка «привезенного» металла должна быть сделана «до того, а не после» — опять-таки выражаясь сочным языком хитроватого крестьянина Бойченко.

Рабочие тоже жили неплохо. Взять, например, воткинцев и ижевцев, примкнувших к Каппелю. Они ведь сражаются не за будущую жизнь — за жизнь прошлую.

Оборудование, станки по обработке металла у них новенькие, новейшие, не хуже, чем в Англии или в Германии, положение людей на заводах было прочное. Если хозяин считал рабочего своим, то обеспечивал его всем — и жильем, и деньгами, и черновой одеждой, без которой в цеху не обойдешься, и подарки на Рождество и Пасху дарил, даже устраивал поход в театр. Если же хозяин видел, что рабочий так себе, обычный бродяга, которому все равно, где быть, что есть и кого иметь в товарищах, то и относился к такому работнику соответственно: он для хозяина практически не существовал и благ особых не имел. Словом, каждый получал свое.

Многие политические партии долго и упрямо талдычили о различных свободах — дескать, зажали, вздохнуть не дают, пошаркать подошвами по тротуарам тоже не дают, а уж насчет того, чтобы косо посмотреть на представителя власти или жандармского офицера — не моги ни в коем разе — зубы выбьют! По части же выматерить кого-нибудь в газете — ни-ни... Посадят! На каторгу упекут! Увы, все это не так! Материться можно было сколько угодно, только матерные слова желательно было не употреблять...

Печально знаменитое Третье отделение — так называемая политическая полиция — сотрудников в своей главной конторе имело столько, что все их имена можно было назвать в две минуты — три десятка человек. Закон был опасен только для злостных экстремистов, женатых на бомбе, и террористов, для которых кровь людская была что водица, — они, кстати, и в Государственной Думе не были представлены. А вот большевики, которые сейчас активно воюют с «огрызками старого строя», своих представителей в Думе имели.

Сословные границы — я, мол, граф, а ты человек из навозной кучи, нам не положено сидеть за одним столом, — стали очень прозрачными, их совсем не было видно. Если человек без роду, без племени, какой-нибудь чеховский Ванька Жуков получал высшее образование, то вместе с дипломом он автоматически приобретал и личное дворянство[15]. Выслуга, первый, самый малый среди знаков отличия, орденок первый офицерский либо гвардейский классный чин также автоматически давали дворянское звание. А если Ванька Жуков становился профессором в университете либо полковником в армии, то он приобретал дворянство уже потомственное. То же самое давали и более высокие ордена, врученные за военную или гражданскую службу, и более высокие гражданские чины.

Что сломило могучее государство? Очереди за хлебом?

В Петрограде в феврале 1917 года действительно были очереди за хлебом. За черным хлебом — белого было сколько угодно, а вот черный неожиданно пропал. Оказалось — из-за снежных заносов не сумели вовремя подвезти ржаную муку. Образовались оскорбительные для российского глаза очереди. В городе кто-то пустил слух, что очень скоро будут введены продуктовые карточки, поэтому когда черный хлеб все-таки появился, его начали немедленно скупать на сухари... Хлеба опять не хватило.

Очереди сделались длиннее. Люди ходили озабоченные, с темными лицами, многие возвращались домой из лавок с пустыми руками — хлеб доставался не всем.

Недовольство делалось все сильнее.

И вот после затяжных морозов, метелей, после серых, забитых зимним мороком дней неожиданно выдался теплый солнечный денек — вполне весенний, располагающий к решительным действиям. Люди толпами вывалили на улицы подышать свежим воздухом, полюбоваться синим небом — много людей...

Вдруг по толпам пронесся провокационный слушок, что хлеб-де зажимают специально, более того — припрятывают его... Над Петроградом незамедлительно, подобно грому, прозвучал клич: «Громи хлебные лавки!» Огромные толпы людей пошли в атаку... Так и началась революция — почти стихийно, подогреваемая разными горластыми крикунами. Неужели пьяная толпа оказалась способна свалить могучее государство?

Либо причина всего этого — в поспешных, лихих, зачастую безумных реформах, проведенных еще Петром Первым? Или, напротив, все дело в царях последующих, в Александре Первом и Николае Первом, которые были вообще противниками всяческих реформ?

А может, причины кроются в чем-то другом?

Было над чем поломать голову...

Варя едва не вскрикнула, когда увидела лежащего в телеге поручика Павлова, лицо ее невольно побелело — неужели убили?

— Не беспокойтесь, барышня, — поспешил ее успокоить старик Еропкин, привезший поручика, — живой он, живой, только помощь ваша нужна.

— Что с ним?

— Как что? Честная рана, полученная в бою, — произнес старик с невольным уважением. — Позовите, барышня, кого-нибудь в помощь, мы сейчас перенесем их благородие в палату.

— Да какие тут палаты! — Варя невольно всплеснула руками. — Вы что, дедушка!

Санитарная рота занимала большой деревянный дом — из бывших доходных, — поделенный на множество мелких клетушек, его окна были темными, давно не мытыми — видно по всему, что у дома этого не было настоящего хозяина.

С крыльца проворным колобком скатился рябой санитар, заморгал озабоченно глазами.

— Дык куды его нести, Варвара Петровна?

— В кабинет доктора... Немедленно! — Варя вытащила из-за рукава кружевной платочек, промокнула им лоб поручика. — Быстрее!

Рябой санитар засуетился, смачно давя огромными сапогами землю, потом подхватил Павлова под мышки.

— Дык... Подмогни! — приказал он старику Еропкину.

— У вас что, носилок нет? — возмутилась Варя. — Срочно носилки!

— Дык... Есть! — Рябой ногастым колобком взлетел на крыльцо и исчез. В следующую секунду он вновь появился на крыльце, держа под мышкой складные носилки, сшитые из прочной парусины, на ходу развернул их. Положил на землю около телеги, под колесами. — Подмогни!

На крыльце появился доктор Никонов, ладонью провел по блестящему лысому черепу.

— Аккуратнее, господа!

— Господа! — Старик Еропкин не удержался, хмыкнул. — Ах-хи! Давненько, однако, ко мне так никто не обращался.

Поручика переложили из телеги на носилки и втащили в дом.

— Вон туда, в открытую дверь, — скомандовал доктор. — Кладите прямо на кушетку. Варя, готовьте инструменты! Если в поручике сидит пуля — сейчас будем оперировать.

Варя еще сильнее побледнела — она не представляла, как в поручике, в Саше Павлове, может сидеть пуля.

Доктор нагнулся над раненым, несколько раз тронул пальцами плечо, почти не касаясь его, затем ухватил ножницами край рукава и разрезал гимнастерку.

Рана была черная, с запекшимися, обожженными краями. Раз рана не кровоточит, значит, пуля сидит в человеке.

— Варя, поспешайте, — подогнал доктор девушку, которая была не только сестрой милосердия, но и обыкновенной хирургической сестрой, помощницей в операциях. — Пуля не вышла, будем ее вынимать.

Варя засуетилась, все предметы начали выпадать у нее из рук — за что ни возьмется, то у нее обязательно выскользнет из пальцев и окажется на полу. Лицо девушки сделалось совсем растерянным.

— Да что же такое происходит! — проговорила она жалобно, села на скамейку, прижала ладони к вискам, потом закрыла руками глаза.

Никонов все понял, подошел к Варе, сел рядом с ней на скамейку. Некоторое время он сидел молча. Потом тронул девушку за плечо:

— Успокойтесь, Варя, пожалуйста! Ничего страшного с вашим поручиком не произошло. Просто он ослаб от боли и потери крови. Вытащим пулю, и он сразу пойдет на поправку. Все будет в порядке, Варя. Ну! Успокойтесь, прошу вас!

Варя, не отнимая рук от лица, меленько, по-голубиному закивала, плечи ее вздрогнули раз, другой и сникли.

— Ну вот и хорошо, — сказал доктор. — Вы почти успокоились... Правда?

Честно говоря, он совсем не был уверен в том, что Варя успокоилась, сокрушенно повел головой в сторону, в нем возник досадливый кашель, и доктор выругался

про себя. Варя, словно почувствовав недовольство Никонова, вновь покивала.

— Я спокойна, Виталий Евгеньевич, — едва слышно проговорила она, — я почти спокойна.

— Вот и хорошо, Варя. Нам с вами расклеиваться нельзя. Что бы там ни было, что бы ни случилось... Если одного солдата в бою можно заменить другим солдатом, то нас с вами заменить некому. Поднимайтесь, Варя!

Она вновь закивала, и у Никонова невольно сжалось сердце от мысли: сколько таких девушек, которым надо выходить замуж, рожать детей, обихаживать мужчин, ушло на войну и пропадает там, и сколько еще уйдет! Варя — одна из них. Дай Бог, чтобы судьба сложилась у нее благополучно, чтобы выжила в затевающейся молотилке.

— Ах, Варя! — произнес он с болью — не удержался, слова эти сами соскользнули с языка, поморщился — не надо было это говорить, нужно было промолчать, не делать ничего, и доктор, расстроенно качнув головой, поднялся со скамьи.

— Я сейчас, Виталий Евгеньевич... Дайте мне еще две минуты, — попросила девушка.

— Да-да, Варя... Да!

— Иначе я не смогу вам ассистировать.

— Я вас понимаю. — Никонов постоял немного рядом, похрустел пальцами, не решаясь сказать что-либо еще. Подумал, что, может, Варе предложить нашатыря — очень здорово приводит в чувство, но тут же отогнал эту мысль прочь — сестра милосердия обидится. Вновь расстроенно качнул тяжелой лысой головой.

Никонов был опытным фронтовым врачом, многое видел на войне, страдал за раненых, жалел их, были на его счету жизни, которые он спас, были жизни, которые из-за нехватки лекарств упустил, немало оттяпал рук и ног, хотя и жалел солдат-калек, но иначе поступить было нельзя, иначе эти люди погибли бы, а вот с одним свыкнуться никак не мог, всякий раз терялся... с женскими слезами.

Он не знал, как с ними бороться. Не умел... Умел лечить болезни, умел оперировать, кромсать скальпелем мертвое мясо, отделяя его от живого, умел снимать боль, а также по цвету глаз, состоянию волос, налету на языке ставить точные диагнозы, умел убеждать раненых, чтобы те расстались с гангренозной ногой или исковерканной рукой, которую уже невозможно восстановить, но совершенно не умел, не знал, что надо делать, когда плачут женщины...

Иногда Каппель задавался вопросом: а с чего, собственно, он взялся командовать дружиной Комуча — необтершимся, необстрелянным, разношерстным, не всегда понимающим обычные команды войском? Ведь ни славы, ни авторитета, ни опыта это не даст, скорее он даже растеряет то, что имеет... Что заставило его тогда в Самаре, на притихшем собрании офицеров Генштаба подняться с места и предложить самого себя в командиры этого странного войска, воюющего под красным флагом?

Все попытки поднять над головой новый флаг, Георгиевский, пока ни к чему не привели — Комуч сопротивлялся этому отчаянно, ошибочно полагая, что людей можно объединить только под красным флагом... Что двигало Каппеля в те теплые, тревожные, ставшие уже далекими, майские дни? Тщеславие? Усталость? Стремление выбраться из болотной трясины? Угнетенность? Головная боль с похмелья? Стыд за товарищей, среди которых не нашлось ни одного командира, который мог бы взять на себя ответственность за солдат, за военное дело, навыки в котором успели позабыться за угарную зиму семнадцатого–восемнадцатого годов?

Или же что-то еще?

Ответить на этот вопрос однозначно Каппель не мог. Конечно, он застоялся, увял, опустился, как офицер, от безделья, но не настолько, чтобы ночи напролет резаться в карты, тискать толстобоких вдовушек, пить дурную самогонку, от которой отворачивают морды да-

же свиньи, и произносить пустые пространные речи о том, что Россия находится в опасности...

Он мог бы засесть за книгу воспоминаний, рассказать о Великой войне с точки зрения окопного командира либо выучить китайский язык... Уголки рта устало дернулись, опустились, придав его лицу горькое выражение.

Не для того он родился, приобретал знания, воевал, проливал свою кровь, чтобы в гибельную для страны пору, когда уже началось движение вниз — так ему казалось, — встать в позу постороннего наблюдателя, ковыряющего в носу, либо завалиться на перину к какой-нибудь милой вдовушке лет двадцати двух и послать госпожу Историю ко всем чертям... Россия ему дорога, он — русский, несмотря на то, что по национальному сословию принадлежит к иностранным колонистам, и о том, что он русский, ни разу не забыл на фронте, воюя с немцами.

Он не мог остаться в стороне и не остался.

В сущности, он был одинок. И чувствовал себя одиноко. Иногда ему до стона, до крика, до содроганий и спазмов в горле не хватало человека, которому он мог бы рассказать без утайки все, что видел, что знает — утишить собственную и чужую боль, сгладить остроту одиночества, но этого не было. И Каппель замыкался в себе, на люди выходил застегнутым на все пуговицы, тщательно причесанный, с подбритой на щеках бородкой и аккуратно остриженными, подправленными — чтобы ни одного волоска не было вкривь-вкось — усами.

Он завидовал своим фронтовым товарищам, рядом с которыми находились их жены, — эти люди отличались от других офицеров, были менее жестоки, что ли, тянулись к жизни, а не к смерти. С женщиной мужчина делается чище, учится понимать не только свою боль, но и боль чужую. А это так важно на войне — да и не только на войне — понимать чужую боль...

Неумелые указания Комуча сковали ему руки, главной задачей Каппеля было — сделать как можно меньше ошибок, на которые его толкал Комуч. Поли-

тические решения его руководители считали главными в жизни, их никак не могут подменить решения военные; он же полагал, что там, где голосят военные трубы, нет места сладкоголосым ораторам и рифмоплетам.

... Каппель отодвинул от окна шторку — вагон его сиротливо стоял посреди маленькой станции, больше вагонов на путях не было — их по распоряжению местного коменданта после обстрела уволок паровоз — надо было латать дыры. Неподалеку на рельсах застыла ручная дрезина с установленным на ней пулеметом «максим» — охрана Каппеля.

На площадке рядом со станцией дежурный штабной денщик со смешной фамилией Насморков выгуливал сытого гнедого жеребца с маленькой звездочкой на лбу, схожей с офицерской кокардой — Насморков был настоящим специалистом по лошадям, подопечные кони у него даже умели отбивать на деревянном настиле чечетку. Получалось здорово, люди, превращаясь в ребятишек, восторженно хлопали в ладони, Каппель сам был тому свидетелем.

— Наполеон, ходи ровнее! Тяни правое переднее копыто, — командовал Насморков. Жеребца он выспренне звал Наполеоном. — Ходи ровнее!

Наполеон слушался денщика — умные кони всегда понимают человеческую речь — и старался как мог.

— Молодец! — похвалил его Насморков. — Ах, какой молодец!

Лицо у Каппеля разгладилось, настроение начало понемногу улучшаться. Работой денщика можно было залюбоваться. Если бы все знали свое дело так, как знал Насморков, — любо-дорого было бы, может, и Россия давно бы справилась со своими бедами, не было бы ни белых, ни красных, была бы единая страна. Одна на всех — для тех и других...

Но нет такой России, ее еще надо завоевать, и душа почему-то ощущает приближение беды. Беду эту надо обязательно одолеть. Только как одолеть ее без крови?

Операцию доктор Никонов провел быстро — хотя извлечь пулю из плеча поручика оказалось непросто. Она повредила костную ткань, но кости не перебила. Никонов, вытягивая пулю из раны, орудовал хирургическими щипцами как фокусник — и так приспосабливался к полусмятому куску свинца, и этак, сопел, клал голову на плечо, вытягивал губы трубочкой и, стараясь не дышать, делал мелкие несильные рывки — и в конце концов выудил металл из раны, бросил его в тазик.

— Все, Варя, — сказал он, вытирая полотенцем лысину, обильно покрытую потом, — поручика можно перевязывать. А пулю эту... — доктор покосился на тазик, — пулю оботрите, сделайте это тщательнее, чтобы не осталось ни одной кровинки, а потом подарите ее поручику. Очень ценный амулет. Есть поверье, что такая пуля отгоняет от солдата все другие пули.

— Рука... рука у него будет действовать? — спросила Варя каким-то жалобным голосом.

— Будет. Еще как будет.

Павлов, словно услышав эти слова, шевельнулся, застонал, Варя кинулась к нему с привычными словами:

— Тихо, миленький, не шевелись! Не надо... Иначе будет больно. А пока все хорошо... Все будет хорошо. — Щеки у нее сделались алыми, мелькнула и пропала улыбка, лицо приняло озабоченное выражение.

Очнулся поручик через два часа, замутненным взглядом обвел пространство, ничего, кроме засиженного мухами потолка, не увидел и спросил обеспокоенно:

— Где я?

Варя взяла его за руку, пощупала пульс. Пульс был учащенным, как при воспалении — именно его боялся доктор Никонов, когда торопил Варю с операцией.

— В лазарете, — ответила Варя.

— Варюша, это вы? — Тихий голос поручика дрогнул.

— Да, Александр Александрович... Не тревожьтесь, я с вами.

— Я не тревожусь, — поручик облизнул сухие, в белых трещинках, губы, — когда вы со мною, Варюша, мне не о чем тревожиться. Я долго находился без сознания?

— Долго.

— Значит, ранение оказалось сложным.

— Пуля застряла в кости, но сейчас все в порядке, Александр Александрович, доктор благополучно вытащил ее.

— Меня зовут Сашей.

Вместо ответа Варя упрямо мотнула головой, поправила выбившуюся из-под косынки тяжелую прядь и ничего не сказала.

Перед поручиком внезапно высветилось, возникнув буквально из ничего, видение: небритый кавказец, не целясь, навскидку, стреляет вначале в Митрошенко, потом в него... Очень метким оказался стрелок. Павлов не выдержал, застонал. Варя нагнулась к нему:

— Может, воды? Пить?

Поручик вновь облизал сухие губы, проговорил едва слышно:

— Если можно...

Варя смочила водой угол полотенца, приложила его к губам поручика:

— Сейчас будет легче, потерпите немного, Александр Алек... Саша.

Павлов чуть приметно улыбнулся. Варя налила воды в железную кружку, поднесла ее ко рту раненого:

— Поаккуратнее только.

Павлов сделал несколько жадных глотков.

— Внутри все горит... Уж не была ли пуля у этого абрека отравленная?

Глаза Вари сделались испуганными, округлились:

— Доктор ничего такого не говорил.

— Доктор может этого и не знать.

Варя энергично затрясла головой:

— Нет!

Поручик вновь слабо улыбнулся и закрыл глаза.

К командующему Первой армией Михаилу Тухачевскому, которого сейчас так энергично теснил Каппель, приехала жена — Маша Игнатьева, тоненькая, со светящимся от счастья милым лицом. Тухачевский встретил ее на маленькой станции, где стоял роскошный вагон командующего армией, прицепленный к паровозу вместе с двумя другими штабными вагонами и платформой, к которой толстой проволокой была прикручена горная пушка, невесть как угодившая в эти далекие от гор края.

Вагон этот пригнали из-под Пензы, где он застрял на одном из крохотных разъездов, — богато отделанный, с бронзовыми подсвечниками, прикрученными к стенам, с зеркалами, обрамленными такими же яркими бронзовыми рамами, за которыми неустанно следил, каждую неделю чистил меловым порошком денщик командарма, с диванами, обитыми синим плюшем... Говорили, что в этом вагоне ездил великий князь Николай Николаевич, когда командовал Кавказским фронтом, потом вагон загнали на запасные пути, затем спрятали в одном из депо, потом он, по слухам, попал к Каппелю, но тот вскоре отказался от него, посчитав слишком роскошным для своей скромной персоны, вагон решили отогнать на север, а там его перехватили на одном из разъездов шустрые интенданты Первой армии.

Машу привезли к мужу на дрезине. Она еще больше похорошела, вытянулась — повзрослела, что ли, хотя сияющие глаза ее продолжали хранить восторженное детское выражение, хорошо знакомое Тухачевскому по той поре, когда он впервые встретил Машу Игнатьеву на балу в дворянском собрании. Она училась тогда в Шор-Мансыревской гимназии и влюбилась в высокого сероглазого шатена, бывшего на балу распорядителем — к борту парадного гимназического мундира у него была прикреплена голубая розетка.

Позже Маша Игнатьева стала близкой подругой сестры Миши Тухачевского, первой губернской красавицы, к сожалению уже ушедшей из жизни, и часто появлялась в доме Тухачевских на «законном» основании.

Сестру Тухачевского так же, как и Игнатьеву, звали Марией.

Увидев дрезину, Тухачевский выпрыгнул из своего роскошного вагона и, забыв про то, что он командарм, бегом, будто юный кадет, только поступивший учиться в московское Александровское училище, помчался навстречу дрезине.

Раскинул руки в стороны:

— Машка! Золото ты мое!

Маша кинулась в объятия Тухачевского и неожиданно расплакалась.

— Ты чего? — Тухачевский опешил — женские слезы он переносил с трудом. — Что случилось? Кто-то обидел тебя в дороге?

— Нет, — Маша отрицательно качнула головой, — не обидел. Просто я очень рада видеть тебя. И вот... Сорвалось. — Она виновато улыбнулась, стерла слезы с глаз.

— Пошли в вагон, там уже приготовлен праздничный обед. — Тухачевский проворно подхватил баул жены, обнял ее за плечи и увлек к штабному поезду. — Пошли. Денщик у меня расстарался — даже бутылочку «Марсалы» достал...

— Дореволюционное вино, которое любил Распутин.

— Это вино любят капитаны всех пароходов Европы. — Тухачевский подсадил жену на подножку вагона. — Проходи и будь хозяйкой.

В вагоне Маша с недоумением огляделась:

— А где же все остальные?

— Кто остальные?

— Ну... подчиненные.

Тухачевский рассмеялся:

— Сегодня нам никто не будет мешать — ни подчиненные, ни начальство.

— Я думала, штабной вагон — это вагон, доверху заваленный бумагами, картами — карты везде, на столе, на стенах, на полу, их окружают умные люди... А тут ни карт, ни людей.

— Ну, карт и людей у нас более чем достаточно. Только не все люди умные.

— Это на тебя не похоже.

— Почему?

— Ты привык окружать себя умными людьми.

Тухачевский рассмеялся, коснулся губами завитка волос, закрученного около уха жены, глаза у него потеплели, сделались растроганными, он проговорил тихо:

— Хотел бы окружить, только где взять столько умных людей? А? — Тухачевский вздохнул, подтолкнул Машу к столу: — Прошу! Чем богаты, тем и рады.

Стол был сервирован со вкусом — явно командарм обошелся стараниями не только одного своего денщика, приложил к этому руку и сам: приборы были серебряные, с чернью, без монограмм, туго накрахмаленные салфетки вставлены в такие же серебряные, с чернью, держатели, тарелки — настоящий Кузнецовский фарфор, который не перепутаешь ни с каким другим. Большая темная бутылка «Марсалы» выглядела на столе этакой башней.

В нескольких изящных селедочницах лежала нарезанная рыба, местная, волжская — вареный осетр, напластанный крупными ломтями, истекающая сладким желтым жиром севрюга, мягкий вяленый сазан — ломти огромные, будто и не рыба это была вовсе, а куски баранины, тщательно разделенные и тщательно уложенные на блюде. В серебряном фруктовом судке дымилась горячая картошка, посыпанная свежим укропом.

Маша всплеснула руками:

— Богатство какое! Я давно такой вкусной еды не видела.

— У нас тоже с продуктами не очень, но это ребята расстарались для тебя. — Тухачевский притянул Машу к себе, вновь поцеловал непокорный завиток, топорщащийся около уха — очень ему нравился этот завиток. — Садись! Я, ожидая тебя, здорово проголодался.

— И я проголодалась.

— Что новенького в Пензе? Как родители, как отец?

— Отец полмесяца хворал — простудился в своем депо, на маевке какой-то... Сейчас, слава Богу, уже поднялся с постели.

— А мать как?

— Мать у нас железная. Ничего ей не делается. Годы ее не берут, она все такая же молодая, красивая, подвижная. Попечительствует, рукодельничает, командует.

Простые вопросы, простые ответы, но как много скрыто в них всего, какое тепло они вызывают... Серые глаза Тухачевского потемнели от нежности, он кивнул жене, наклонил голову, чтобы скрыть возникшую минутную слабость. Маша приподнялась на цыпочках и поцеловала его в ровный, тщательно разрезавший густые волосы пробор. Произнесла тихо, почти не услышав своих собственных слов — так тихо они прозвучали:

— Миша, я очень соскучилась по тебе.

Тухачевский обнял ее.

— Давай за стол. — Он вновь, в который уж раз ткнулся губами в завиток, обрамлявший ухо, потом поцеловал второй завиток, свесившийся на лоб. — Если бы ты знала, как я рад тебя видеть.

— В Пензе встретила твоего гимназического надзирателя, Кутузова... Помнишь?

— А как же! Такие люди не забываются никогда. Очень вредный был человек, весь из желчи. Старик уже небось?

— Старик. У него четыре сына... Всех четверых записал в Красную Армию.

— А вот это — молодец! Даже не верится, чтобы такой сухарь мог совершить такой разумный поступок... Меня он не любил особенно. Чуть что — хватал за воротник и тащил в угол: «Опять Тухачевский! Охолонитесь-ка в уголочке!» Как меня не выгнали из гимназии — не знаю. Спас, наверное, кадетский корпус... Моих не видела?

— Видела Игоря. Странный, голодный, злой, погруженный в себя, меня даже не заметил, пришлось трижды окликать.

Игорь — младший брат Тухачевского, талантливый человек, музыкант с необыкновенно тонким слухом.

— Скрипку он не бросил?

— Нет.

— Сашу не видела?

— Не видела. По-моему, его сейчас в Пензе нет.

— Скорее всего, сидит в Петрограде или в Москве.

Саша — старший брат Михаила Тухачевского, одаренный математик, человек, для которого весь мир был поделен на формулы и числа, даже любовь и семейную жизнь и те он подводил под некие математические формулы, под своды случайностей, сделавшихся закономерностями. Когда он это раскладывал на бумаге, с рисунками и числами, — получалось очень убедительно.

Тухачевский отодвинул в сторону стул с резной красной спинкой — среди голубого бархата и тонированного светлого ореха стул этот, добытый расторопным денщиком в одном из помещичьих имений, выглядел совершенно чужим в вагоне,— усадил Машу, напротив сел сам.

По лицу Тухачевского словно пробежала какая-то тень, и Маша заметила, что муж чем-то расстроен. Перегнувшись через стол, она тронула пальцами его руку:

— Что-нибудь случилось?

— Нет. Просто вспомнил свой забитый Чембарский уезд, липовый парк, сад с вишнями, густо облепленными белыми цветами... Иногда мне все это снится, и я чувствую себя счастливым. Не знаю только, удастся мне когда-нибудь увидеть это наяву или нет?

Маша ласково погладила его руку:

— Конечно, удастся. А как же иначе?

— Может быть и иначе. Война порою такие странные сюжеты подбрасывает...

Подцепив ложкой большую рассыпчатую картофелину, Маша положила ее в тарелку мужа:

— Давай не будем говорить о войне, Миша. Представим себе, что никакой войны нет...

Тухачевский согласился.

— Давай не будем говорить о войне. — На лице его возникла улыбка, и он неожиданно стал похож на мальчишку-гимназиста, которого Маша впервые увидела на балу. Она благодарно улыбнулась мужу. — Давай не будем говорить о войне, — еще раз повторил Тухачевский и ловко ухватил пальцами бутылку «Марсалы» за темное тонкое горлышко. — Выпьем лучше, — он разлил золотистое, пахнущее виноградом вино по бокалам, — за нас с тобою!

— За нас с тобою! — эхом отозвалась Маша. — За то, чтобы тебе всегда сопутствовала воинская удача.

— Очень хороший тост, — похвалил Тухачевский, чокнулся с женой. — А я пью за то, чтобы твой муж почаще радовал тебя!

— Тоже неплохой тост, — в тон Тухачевскому произнесла Маша. — За тебя!

— А я — за тебя!

Они долго сидели за столом, обрадованные встречей, тихо разговаривали, пили «Марсалу» и ели рыбу. В окна штабного вагона заглядывало солнце, в деревьях беспечно щебетали разные птахи. Будто действительно не было ни войны, ни стрельбы, ни мук и смертей — будто ничего, кроме нежности и тепла, в мире не было.

Вечером на этой станции появились каппелевцы.

Штабной вагон командарма-один поспешно откатился на восток. Когда под колесами уже грохотали рельсы, неподалеку от состава показались конники. Неведомо чьи — мелькнул вроде бы над их головами красный вымпел и растворился в вечернем сумраке. Красный вымпел мог оказаться и своим и чужим.

Конников отогнали от поезда пулеметным огнем и выстрелами из горной пушки.

Каппель вызвал к себе Вырыпаева. Тот все больше отдалялся от своей батареи — он теперь выполнял штабную работу, стал неким доверенным лицом Каппеля, который поручил ему вести свою личную канцелярию,

связанную с прошениями гражданского населения. Когда Вырыпаев явился, Каппель показал ему рукой на место около стола.

Выглядел Каппель неважно — не спал несколько ночей.

— Василий Осипович, красные в Екатеринбурге арестовали мою жену и увезли в Москву...

Вырыпаев об этом слышал, кивнул сочувственно.

— Детей, слава Богу, не тронули, тестя тоже — они на следующий день съехали с квартиры, оставили только прислугу — на случай, если Ольга все-таки вернется домой. — Каппель взял со стола толстый красный карандаш и неожиданно для себя сломал. Поморщился недовольно: не надо раскисать. — В общем, Ольги Сергеевны нет.

— Сочувствую, Владимир Оскарович, — тихо произнес Вырыпаев.

— Переговорите с разведчиками, пусть под видом мешочников направят кого-нибудь поопытнее в Москву, — попросил Каппель. — Мне очень важно знать, где Ольга Сергеевна, что с ней. В общем, вы сами все прекрасно понимаете.

— Зацепки какие-нибудь имеются? Может, кто-нибудь что-нибудь видел?

— Кроме того, что арестовал ее комиссар местного Совдепа Редис, никаких сведений нет. Разговор с Редисом был, но разговор ничего не дал. Ольгу Сергеевну посадили в пассажирский вагон и в сопровождении двух охранников отправили в Москву. Там веревочка оборвалась.

Вырыпаев поднялся со стула:

— Разрешите действовать, Владимир Оскарович!

— Да-да, — рассеянно кивнул Каппель. — Жду от вас вестей.

На следующие же сутки, в ночное время, были посланы в Москву три разведчика — толковые, умеющие разбираться в любых хитросплетениях люди. Однако вернулись они ни с чем: Ольга Сергеевна как в воду канула.

На обратном пути разведчики попали в облаву. Пришлось отстреливаться. Один из них, поручик Бузанков, был ранен в руку.

Больше Каппель не видел свою жену, сколько ни искал ее — не нашел, сколько ни пытался ухватить хвостик большого запутанного клубка, чтобы потянуть и распутать — так и не ухватил...

В Самару тем временем прибыли представители атамана Анненкова, одетые в черную форму с замысловатыми шевронами на рукавах, с желтыми лампасами на шароварах и погонами красного цвета; в черные, лихо заломленные фуражки у них был вшит белый кант, как у моряков, — в общем, форма эта была едва ли не всех цветов радуги. К тоненьким, непрочным поясам с металлическими наконечниками чуть ли не по всей длине были прикреплены какие-то хвосты, очень похожие на женские побрякушки.

Тихие самарцы, увидев дикое войско атамана Анненкова, крестились: на рукавах у анненковцев красовались черепа с костями — пугающий символ для живого человека, тем более для обывателя. Анненковцы посмеивались над страхом самарцев:

— Вы нашего знамени не видели!

Знамя у анненковцев было черное, окаймленное серебристо-серой полосой, в середине полотна был вышит большой череп, под которым красовался косой крест, сложенный из двух крупных костей. На все нашел деньги бывший есаул Анненков — и форму своим солдатам пошил, и цацки на рукава повесил, и погоны в специальных мастерских изготовил, и высокие, очень фасонистые сапоги с ремешками, перехватывающими ногу под коленом, стачал.

— Отчего ваш флаг черный? — спросил у анненковцев полковник Петров, будущий генерал, а ныне — начальник оперативного отдела штаба комучевских войск.

— Готовимся к партизанской войне! — гордо ответили анненковцы.

— Но черный цвет, он же — пиратский!

— Как большевики с нами, так и мы с большевиками: они с нами по-пиратски, и мы с ними так же.

Увидев, что над зданием Комуча развевается красный флаг, анненковцы недоуменно остановились, притихли. Потом один из них, усатый казак с погонами хорунжего, похожий на кота, неверяще помахав рукой — словно обжегся, — вытащил из болтавшейся на ремне кобуры старый потертый маузер.

— Свят-свят-свят, это что же такое делается? Большевиков в Самаре еще нет, а флаг ихний уже тут! — Он вскинул маузер и выстрелил в красное комучевское полотнище. Полотнище, вяло болтавшееся на ветру, дрогнуло — хорунжий не промахнулся. — Это что же такое делается? Свят-свят-свят! — Хорунжий выстрелил еще раз.

Красное полотнище вновь дрогнуло.

Напарник хорунжего, из одной с ним хлебной станицы, расположенной на Алтае, тоже хорунжий, по фамилии Ванеев, увидел длинную пожарную лестницу, прислоненную к крыше здания.

— Погоди-ка, земеля, — остановил он стрелявшего, — я сейчас эту материю сброшу на землю без всяких пуль... Береги огневой припас, земеля. Подержи-ка. — Он через голову стянул с себя ремень с шашкой, отдал станичнику.

На крышу Ванеев забрался ловко, как обезьяна, перешагивая через ступеньку, наверху подполз к краю крыши и ударил каблуком сапога по древку флага.

Древко хряпнуло, но не переломилось. Ванеев выругался с веселым восхищением:

— Похоже, из дуба шток выстругали.

Ударил еще раз, потом еще. Наконец древко оглушительно треснуло — звук был похож на револьверный выстрел — и полетело вниз.

— Вот, — удовлетворенно проговорил Ванеев.

Его напарник засунул маузер в кобуру и кинулся к флагу. Вонзил каблук в полотнище, вдавил ткань поглубже в мягкую, распаренную теплым дождем землю,

потом всадил в полотнище второй каблук, тоже вдавил в землю.

— Эхе! — азартно выкрикнул он. — Эх-хе!

Ванеев, спустившись с крыши, бросился помогать своему приятелю, легко пробежался по поверженному полотнищу, потом подпрыгнул и всадил сразу оба каблука в красную ткань, прокричал так же азартно, как и его земляк:

— Эхе!

Из открытого окна здания неожиданно грохнул винтовочный выстрел. Ванеев с изумленным видом приподнялся на носках, вскинул голову, словно хотел пересчитать глазами облака, и начал медленно заваливаться на спину.

— Земеля-я! Станичник! — заорал хорунжий и, по-орлиному растопырив руки, кинулся к Ванееву.

Снова хлопнул выстрел, на этот раз из другого окна, и хорунжий с растопыренными руками и распушенными по-кошачьи усами полетел на тело своего товарища.

Анненковцы, столпившиеся посреди площади, кинулись врассыпную — понеслись, будто черные кони, во все стороны, на ходу хватая оружие. Кто-то из них на бегу выстрелил в открытое окно, оттуда ударил ответный выстрел, и снова — попадание. Один из гостей, юный казак с новенькими красными погонами, увенчанными вензелем «А», вскрикнул надорванно и круглым колобком покатился по земле.

Затеялась перестрелка. Шла она недолго — минут пять. Но и этого было достаточно, чтобы на подоконнике одного из окон первого этажа здания Комуча осталось лежать тело дежурного офицера, а среди анненковцев появился раненый — толстый бровастый подхорунжий с красным лицом и хриплым, как у Бармалея, голосом.

Лежа посреди площади, он громко и хрипло стонал.

На анненковцев, оставшихся на площади и взятых на мушку, из боковой улочки вынесся казачий разъезд.

— Кто такие? — поигрывая шашкой, грозно спросил начальник разъезда — сотник со шрамом, плоско припечатавшимся к правой щеке.

— Приехали от атамана Анненкова.

— Гости, значит, дорогие... — Сотник трубно чихнул. — А пошто на флаг наш позарились?

— Так ведь красный же! Ну и подумали — большевики решили над нами поиздеваться — флаг свой вывесили...

— Устроили тут побоище.— Сотник посмотрел, как солдаты из караульной роты стаскивают с подоконника убитого офицера. — Сдайте оружие, и пошли разбираться!

— Оружие мы не сдадим.

— Это почему же? — Сотник демонстративно вытянул из ножен шашку, затем с резким металлическим стуком загнал ее обратно.

— Боимся, — признались анненковцы. — Без оружия вы нас перестреляете как кур.

— Мы вас и с оружием перестреляем... Но в данном разе слово казака даю — не перестреляем! Но ежели не сдадите свои пистолеты, тогда я за исход не ручаюсь. — Сотник вновь вытянул из ножен шашку и со стуком загнал ее обратно.— Не только перестреляем, но и порубаем!

Подъесаул, который вел с ним разговор, нехотя нагнулся и положил к своим ногам маузер.

— Ладно, сотник, я вам верю.

— Вон сколько народу положили и хотите без разбирательства уехать? Так не бывает.

— Да это наши лежат, наши, это вы наших положили. — Подъесаул повернулся к своим спутникам: — Ладно, клади на землю оружие, мужики!

— А вернут нам его? Ведь револьверы ныне больших денег стоят.

— Вернут. Уверен — вернут, — убежденно произнес подъесаул.

Узнав об истории с флагом и перестрелке, Каппель лишь покачал головой:

— Началось!

Полковник Петров, прибывший из Самары на фронт

и рассказавший ему эту историю, болезненно подергал плечом:

— Более глупой ситуации представить себе невозможно.

— Флаг нам надо менять. Чем скорее — тем лучше.

Каппель продолжал атаковать Самару с предложениями заменить красное комучевское полотнище на полосатый Георгиевский флаг, но всякий раз получал отказ. Единственное, чего ему удалось добиться — это чтобы части, на счету которых имелось несколько побед, были награждены Георгиевским стягом. Части эти теперь использовали стяг вместо знамени — ходили с ним в атаку.

Офицеры все больше и больше ненавидели Комуч — недовольство его начало носить уже открытый характер, и только авторитет Каппеля сдерживал их от публичных выступлений.

— Потерпите немного, — говорил офицерам Каппель, — скоро все должно измениться.

Он душой своей, мышцами, нервами, сердцем чувствовал, что изменения эти произойдут очень скоро. Это связано будет не только с победами, но и с поражениями.

Полк, в котором находилась рота поручика Павлова, снова передвинулся на восток — предстояло взять очередной уездный город — тихий, пахнущий рыбой, солью, мореным деревом, гасящим запахи и рыбы и соли, пахнущий также ладаном и лекарствами — в этом городе находился небольшой заводик, производивший из целебных трав разные снадобья.

Встал вопрос о раненых — куда их деть? Полковник Синюков приказал:

— Тех, что лежачие, — оставить на месте под присмотром фельдшера, тех, кто может встать в строй, пусть отправляются в строй!

Павлова решено было оставить, но Варя воспротивилась.

— Нет, нет и еще раз нет! — сказала она.

— Почему? — удивился доктор Никонов.

— А если на этот город налетят красные во главе с этим самым... с пауком?

— С Троцким, что ли?

Троцкого на карикатурах тех лет часто изображали в виде паука, пытающегося сдавить в своих цепких длинных лапах всю Россию (Россия на карикатурах, кстати, изображалась в виде большой беспомощной мухи). Слухи о том, как лютует председатель Реввоенсовета, доходили и до белых — и белые сочувствовали красным, вот ведь как.

Варя кивнула:

— С ним.

— Никаким Троцким здесь не пахнет и пахнуть не может, — убежденно проговорил Никонов. — А поручик отлежится в тиши, в покое, молочка парного попьет вволю и догонит нас, Варя. Тут коровы вот какие отъевшиеся ходят, трава растет даже на тротуарах.

— Нет-нет. Нет и еще раз нет. — Варя уперлась — не свернуть. — Я не оставлю его, Виталий Евгеньевич.

— Но поймите же, Варя, это неразумно. Если мы повезем Павлова дальше, то просто-напросто сделаем ему хуже — мы растрясем его на телеге. А так он быстро поправится.

— Нет, нет. — Варя энергично замахала руками на доктора.

В конце концов Никонов, исчерпав все доводы, махнул рукой:

— Ладно, везите. Только мне за это здорово нагорит от полковника Синюкова.

Варя нежно тронула доктора пальцами за рукав:

— Не бойтесь, я его спрячу так, что его не только полковник — даже генерал не найдет. Поручик будет находиться во втором обозе, среди мешков с овсом.

Никонов вновь махнул рукой:

— Настойчивость ваша, Варя, достойна другого применения.

Варя помчалась искать деда Еропкина с его телегой, нашла около пустого шинка — вся прежняя водка, все

запасы были выпиты, производство новой еще не наладили, поэтому и опустел старый, с прокопченными стенами, такой милый многим здешним жителям шинок. Старик Еропкин сидел под телегой и ел пирог с капустой, приобрел в шинке большой ломоть, справиться с которым мог, наверное, только взвод, держал пирог обеими руками и, прежде чем сделать очередной надкус, тщательно примерялся к нему.

— Хорошо, что я вас нашла, — кинулась к нему Варя.

— А я никуда и не прятался. — Дед хлопнул ладонью рядом с собою — садись, мол... На землю была постелена старая кабанья шкура, которую старик специально держал в телеге для этих целей.

Проглотив очередной кусок пирога, дед отер рукою бороду:

— Ну!

Человеком старик Еропкин был сообразительным, все понял с полуслова, завернул пирог в тряпку и проворно, как молодой, вскочил на ноги.

— Поручик Павлов — достойный человек, — сказал он. — Сделаем все в наилучшем виде, барышня. Поехали!

Через двадцать минут поручик уже лежал в телеге, прикрытый сверху домотканым одеялом, улыбался слабо, щурился, ловя глазами солнце. Под бок ему старик Еропкин сунул кавалерийский укороченный карабин и несколько обойм с патронами, под другой бок пристроил винтовку-трехлинейку.

— С таким количеством оружия можно атаку целого взвода отбить, — заметил Павлов. — К чему столько?

— Мало ли что может быть, — уклончиво ответил старик, — жизнь ведь нынче какая: если есть у тебя ствол — ты на коне, нет ствола — ты под конем. Вот и выбирай, ваше благородие, что лучше: на коне быть или под конем?

Поручик улыбнулся.

— С вами, грамотными, иначе нельзя. Либо так, либо этак. Третьего не дано, — ворчал дед.

— Никаких нюансов, значит?

— Я не знаю, что это такое, но, по-моему, это... — Старик покрутил в воздухе растопыренными пальцами, будто держал крупное яблоко, затем заботливо, как нянька, подоткнул одеяло под ноги поручика, положил рядом кусок дерюжки, привычно хлопнул по нему ладонью, приглашая Варю: — Садитесь, барышня!

— Да я пройдусь, пожалуй...

— Чего-о? — Еропкин свел вместе брови. — С какой стати бить ноги, когда есть лошадь — это раз, и два — долго вы не продержитесь... Не пойму я чего-то... А?— Он вторично хлопнул ладонью по дерюжке: — Пристраивайтесь, барышня! В ногах правды нет.

— Действительно, Варюша. — В голосе Павлова послышались просящие нотки, он сдвинулся к краю телеги, застонал от неловкого движения. — Садитесь!

Варя запрыгнула в телегу.

— Э-э, милый! — Старик хлестнул вожжой застоявшегося коня. — Напшут, как говаривали польские повстанцы в моей молодости. Вперед!

Конь испуганно вздрогнул и едва не выломился из оглоблей, дед скоротил его все теми же вожжами, и телега проворно застучала колесами по неровной каменистой мостовой. Старик успокаивающе почмокал губами, осаживая коня, покачал головой, досадуя на самого себя.

— Чего это я? — пробормотал он. — Я ведь так ваше благородие растрясу. Не годится.

Телега сбавила ход. Старик покрутил головой из стороны в сторону и неожиданно вскинул над собой черенок кнута:

— Есть одна мысль!

Конь засек тень черенка и испуганно вздрогнул, хотел было пуститься вскачь, но дед привычно осадил его.

— Какая мысль? — спросила Варя.

— Да тут я в одном месте шарабан с рессорами приметил. Настоящий тарантас. На нем ехать будет мягче.

— А куда же девать телегу?— спросила Варя. — Жалко ведь.

— Жалко, — согласился дед, — но выхода у нас нету. Обратно будем ехать — обменяем.

Он взмахнул вожжами, подогнал коня, свернул в темный переулок, вдоль которого по обе стороны тянулись купеческие лабазы с прочными заборами на дубовых дверях.

— Стой! — выкрикнула Варя командно. — Не будем менять телегу!

Дед натянул вожжи, сощурился вопросительно:

— Это почему же?

— Тарантас слишком приметная штука. По тарантасу нас можно будет найти где угодно. И полковник Синюков обязательно обратит внимание.

— Это так, — подтвердил поручик.

Дед кнутовищем сбил набок картуз, почесал за ухом:

— М-да. А ведь действительно... — Он снова почесал пальцем за ухом и привычным движением кнутовища поправил на голове картуз. — Действительно, мало ли что... Нас по этому тарантасу и отстрелять можно будет. А ежели он сломается, то чинить его — ого-го! Запаришься. Штука старая, такие уже не делают, и мастеров-то, наверное, не осталось. Вот он какой коверкот нарисовался, однако...

Решили ехать все-таки на телеге — и привычнее это, и безопаснее.

А городок тем временем опустел совершенно, даже собаки и те попрятались по подворотням — все затихло, будто перед бедой. В некоторых домах даже ставни были прикрыты.

Тихо сделалось в городке, глухо. Многие жители не понимали, что происходит, кто кого бьет.

А русские продолжали бить русских. Осознание этого неподъемной тяжестью легло на душу. Каппель, сумрачный, с печальными глазами, ходил туда-сюда по вагону, мял мальцы.

У Каппеля сил было меньше, чем у Троцкого, у которого имелись даже бронепоезда, да и командующим к себе тот назначил толкового человека — полковника

Генерального штаба Сергея Сергеевича Каменева. И все равно Троцкий не мог сдержать Каппеля, который шел по его тылам и громил их.

По данным Каппеля, Троцкий со своим штабом стоял в Свияжске, охраняли его бронепоезд и полновесный батальон пехоты — цель достойная. Каппель решил внести поправку в движение своих частей и ударить по Свияжску: подойти скрытно и ударить стремительно — в общем, сделать так, как умел это делать только он, при этом еще ни разу не проиграв.

Брал Каппель за счет умения, расчета, быстроты, способности появляться перед противником внезапно и также внезапно бить со спины, если это нужно было... И Тухачевский, и Троцкий считались с тем, что Каппель существует, что он — реальность.

Что же касается Тухачевского, то Каппель его очень хорошо понимал и относился с уважением — впрочем, это чувство было взаимным: Тухачевский к Каппелю также относился с уважением, как к достойному противнику. А вот Троцкий вызывал у Каппеля чувство брезгливости, с каким, наверное, всякий нормальный человек воспринимает, допустим, палача и за один стол с которым никогда не сядет и руки ему при встрече не подаст.

В середине августа Каппель послал в Самару бумагу, где изложил свои соображения по поводу того, как Троцкий и Тухачевский укрепляют Красную Армию. Она, по его мнению, стала сильнее, дисциплинированнее, и операции, которые проводит, теперь грамотнее прежних— недаром в ее штабах сидит столько «военспецов», имеющих в том числе и генеральские звания, — воевать с красными делается все труднее, в то время как у белых успехов становится все меньше, и вполне возможно, скоро вообще их не будет. При этом все их победы достигнуты лишь благодаря умению командиров — Бакича, капитана Степанова, командира Первого чешского полка поручика Чечека, произведенного недавно в полковники, капитана Вырыпаева и еще

двух-трех человек... Но сам Комуч к этому не имеет никакого отношения...

Помощи от Комуча так никто и не дождался.

Троцкий не любил ночную темень. Эта вязкая опасная чернота, наполненная разными неприятными звуками, рождала в нем не то чтобы некий внутренний страх, а нечто другое, более тяжелое и сложное, у него даже руки покрывались от этого пятнами, дело поправлял лишь стакан доброго шустовского коньяка.

Выпил Троцкий коньяк залпом, сразу весь стакан, смакование благородного напитка считал вредной буржуазной привычкой, а все, что имело налет буржуазного, вызывало у Троцкого приступы ярости, он был готов все рвать и метать, мог даже схватиться за винтовку и пальнуть в кого-нибудь.

Человеком он был непредсказуемым, характер имел вспыльчивый. Он пытался понять Каппеля, разгадать секреты внезапных его успехов, вычислить направление партизанских рейдов, которые тот предпринимал, и много не мог понять. (Кстати, Троцкий был против всякой партизанщины в Красной Армии. Сталин же и Ворошилов выступали за партизанские методы борьбы; по их мнению, всякие способы были хороши, лишь бы досадить белым; произошла нешуточная драка, в которой победил Троцкий, победил лишь потому, что на его сторону неожиданно встал Ленин.) Многое из того, что совершал Каппель— особенно по части тактики, — было непонятно Троцкому. И он злился, срывал свою злость на подчиненных.

Ночью же, с наступлением темноты Троцкий, словно человек, страдающий «куриной слепотой», преображался, делался тихим, искал защиты у тех, кого днем так яростно распекал.

Больше всего Троцкий боялся ночных налетов, для охраны выдвигал далеко от штабного вагона пулеметные расчеты, чтобы те могли достойно встретить возможных налетчиков, тем самым дать возможность шта-

бу эвакуироваться. Под штабом Троцкий имел в виду самого себя, он бросил бы даже своего любимца Тухачевского, если б тот оказался в беде...

От ночных страхов спасал коньяк. Коньяк Троцкий любил.

В ту ночь он сидел один в большом купе, обитом темным атласом, и, разложив перед собою на столе закуску, пил коньяк. Иногда он приподнимался и пристально вглядывался в ночь, полную летних всполохов — тепло в восемнадцатом году держалось удивительно долго, осень должна была уже вступить в свои права, с заморозками и тонким льдом на воде, а ничего этого не было, лето затянулось, днем даже неподалеку грохотал гром... Впрочем, Троцкий насторожился — а вдруг это не гром, а грохот каппелевских орудий? Но оказалось — гром настоящий. Потянуло, как и положено в таких случаях, свежим ветром, несколько порывов были сильными, подняли на дороге пыль, но на большее запала у природы не хватило — гроза вместе с громом растеклась по пространству и растворилась.

Фонари на станции не горели — не было электричества, Троцкий приказал вместо лампочек зажечь керосиновые светильники.

Было видно, как по деревянному перрону, поскрипывая сапогами, прохаживались двое часовых, измеряли контролируемый отрезок: пятьдесят шагов в одну сторону, пятьдесят — в другую, потом часовые разворачивались и двигались навстречу друг другу, в середине перрона сходились и разворачивались вновь, каждый уходил в своем направлении...

Неподалеку страшновато, хриплым голосом заухал филин. Про филинов Троцкий знал одно: они предсказывают беду, голоса у них недобрые; православные люди, слыша крик филина, обычно молятся... У Троцкого нервно дернулся уголок рта — он не был ни православным, ни иудеем, ни мусульманином, ни в кого не верил, только в самого себя. Даже в Ленина и в того не верил.

Он допил бутылку до конца, поднял ее вверх донышком, вытряхнул себе на язык несколько капель — последние крохи этой жидкости всегда бывают ослепительно вкусны, словно сумели вобрать в себя всю сладость коньячной бочки,— с сожалением поставил бутылку на стол. Затем снова встал, взглянул за окно. Ночь была по-прежнему тиха и многозвездна, и зарницы продолжали полыхать.

Что-то душное, незнакомое сдавило Троцкому грудь, он закашлялся, покрутил головой, будто от боли, спросил самого себя со страхом: «Что это? Не туберкулез ли? Может быть, астма?» Врачей Троцкий не любил, ходить по медицинским кабинетам боялся.

Он поправил на себе гимнастерку, хотел было застегнуть воротник — все пять пуговиц были расстегнуты, но не стал этого делать, только поморщился пренебрежительно и, шатаясь, вышел из купе в соседнее помещение, большое, в полвагона, где стоял длинный штабной стол. Прокричал хрипло, незнакомым голосом, подзывая к себе дежурного адъютанта:

— Эй!

Адъютант, сидевший в тамбуре, в проеме открытой двери на табуретке, поспешно вскочил на ноги, вытянулся. Троцкий небрежно скользнул по нему брезгливым взором, остановил взгляд на табуретке:

— А чо это за доисторическое изделие?

— Какое доисторическое изделие? — не понял адъютант. — Это табуретка.

— Такой вагон, такая обстановка, — Троцкий повел рукой вокруг себя, пьяно покачнулся, — и вдруг — кухаркина колченожка. Грязная, в присохших птичьих потрохах и пятнах керосина. Тьфу!

— Простите, Лейба Давидович! — Адъютант испуганно захлопал глазами, сделал рукой обволакивающее, описывающее пространство движение. — Жалко садиться на такую красоту. Ведь днем приходится бывать где угодно, кругом — грязь, грязь, грязь... Пристанет что-нибудь к штанам, сядешь потом на эту дивную

обивку — останется пятно. Не хотелось бы грязнить такой великолепный вагон, Лейба Давидович...

Троцкий выпятил нижнюю губу, качнулся на ногах, раздумывая, к чему бы еще придраться, но придираться не стал — ночь ведь. Это днем можно карать всех и вся; избивая словами до посинения, ночью делать этого нельзя, — скрипнул зубами и сделал рукой резкое движение:

— Колченожку эту — вон отсюда! Чтобы здесь не пахло ни кухней, ни кочегаркой... Понятно?

Адъютант щелкнул каблуками:

— Так точно!

— И вот еще что... Передайте дежурному коменданту — пусть к штабным вагонам прицепит паровоз и держит его наготове. — Троцкий помял сухими желтыми пальцами воздух, проговорил неопределенно: — Мало ли что может случиться!

— Да ничего не случится, Лейба Давидович!

Троцкий вскинулся, повысил голос, в тоне его появились взгливые нотки:

— Выполняйте распоряжение!

Адъютант вновь щелкнул каблуками:

— Есть!

Через десять минут за задней стенкой вагона послышалось шипение паровоза, лязганье буферов, скрип тормозных колодок, затем легкий толчок. Буферные тарелки сомкнулись. Троцкий сразу стал спокойнее — с паровозом, взявшим коротенький штабной состав на прямую сцепку, он почувствовал себя в безопасности. Если Каппель объявится неожиданно, как он сделал уже несколько раз, Троцкий растворится в ночи.

Он ощутил, как по спине у него пополз колючий холодок, а глаза сделались влажными. Потянуло домой, к жене под теплый бок. Жена у него была большой любительницей разных постельных развлечений, своего «Троцика» просто обожала, а он обожал ее. Хотя взаимное обожание это носило несколько странный характер...

Если русский мужик ухарем прыгает на своей бабе, сопит разбойно, хрипит, от его резких, с маху движений скрипит, разваливается не только кровать — скрипит, покрывается ломинами весь дом, то Троцкий извивался в постели ужом, работая больше языком, облизывал потную женщину от пяток до подбородка, проникая туда и надолго задерживаясь там, куда надо проникать совсем не языком.

В постели Троцкий был извращенцем. Увы! Дома он мог себе позволить то, чего не мог позволить ни с одной женщиной на фронте, слух об этом немедленно бы распространился по всей армии, а этого Троцкий опасался.

Слава о нем по фронтам идет как о человеке жестком, лишенном всяких комплексов, умном, и слава эта такой и должна оставаться.

Троцкий как в воду глядел — шкура у него была тонкая, чувствительная, длинный нос ощущал опасность задолго. Под утро, перед рассветом, в самую сладкую и глухую пору, когда даже птицы спали, пристанционный городок задрожал от внезапной стрельбы.

Стрельба вспыхнула разом, сразу в нескольких местах, Троцкий понял — Каппель, встревоженно выскочил в тамбур вагона, прислушался к выстрелам и повернул искаженное лицо к адъютанту, в выжидательной позе застывшему рядом.

— Отходим! Немедленно, сейчас же! Передайте эту команду машинисту на паровоз!

— Куда отходим? Куда конкретно, на какую станцию?

— На следующую станцию... Как она называется? Плевать! Не важно, как она называется... — Троцкий заторопился, дрожащими пальцами примял на голове встопорщенные вьющиеся волосы. — На этой станции и будем разбираться, что произошло.

— А бронепоезд?

— Бронепоезд остается прикрывать нас. Быстрее, быстрее!

Неподалеку от станционного здания грохнул взрыв, и адъютанта словно ветром выдуло из тамбура, только

что был человек — и не стало его, растворился в ночной черноте.

— Эй! — заполошным голосом позвал Троцкий адъютанта. — Где вы там?

С бронепоезда ударили сразу два пулемета, свинец с шипением кромсал воздух, стук стрельбы был громким, гулким, словно били из пустой бочки.

— Где вы? — Троцкий подслеповато всматривался в темноту, топнул ногой: — Тьфу! Пошли дурака Богу молиться...

Адъютант возник из ночи стремительно, он тяжело дышал, гимнастерка на плече была разорвана.

— Отправляемся, Лейба Давидович, — прохрипел он, — ваше приказание выполнено. — И в ту же секунду рельсы под вагоном дрогнули — так показалось Троцкому, колеса резво застучали на стыках. Паровоз дал резкий, какой-то пугающий гудок.

Адъютант на ходу вспрыгнул на подножку, вцепился обеими руками в поручни.

— Что это с вами? — Троцкий указал на разорванную гимнастерку. — С машинистом подрались, что ли?

— Да не подрались, — адъютант поморщился, — на паровозе толковая бригада, машинист все понял с полуслова. А это... — адъютант ощупал рукою плечо, вновь поморщился, — в темноте налетел на столб, чуть не изуродовался.

Троцкий всмотрелся в глухую предрассветную темноту, в которой ничего не было видно, только косо оскользала назад и растворялась под колесами вагона мелкая насыпь, и произнес брезгливо:

— Дур-рак!

Адъютант поспешно щелкнул каблуками сапог:

— Так точно!

Вот ведь как — он старался спасти Троцкого и сделал это, действовал успешно, чуть в этой ночи не покалечился и сам же оказался во всем виноват.

Как стало ясно впоследствии, в ту ночь Троцкий чуть не попал в плен к Каппелю. Застрянь он на той станции

хотя бы на десять минут — точно был бы повязан. И неведомо как развернулись бы тогда события в Поволжье в восемнадцатом году.

Войны — независимо от того, праведные они или нет, — словно бурные реки обязательно рождают мутную пену, стремительно взметывающуюся на поверхности течения, — появляются различные банды и вооруженные шайки, летучие группы дезертиров, грабителей, воров, тюремных доставал и откровенных разбойников, которые бесчинствуют на дорогах, в лесах, в оврагах, налетают внезапно и так же внезапно исчезают, сеют огонь, беду, льют кровь, грабят, насилуют. И чем дольше длятся войны, тем больше становится таких банд. Рождением своим они обязаны самому дьяволу...

Проходит некоторое время, и многие из этих банд обретают свои цвета: среди них оказываются черные и зеленые, голубые и синие — всякие, словом.

При переправе через длинный глубокий овраг у старика Еропкина едва не слетело с телеги колесо — покосился обруч, и в месте перекоса, под самим обручем, выколотился один из деревянных сегментов. Требовался срочный ремонт.

Дед приуныл. Поручик помочь не сумеет, он раненый, находится в забытьи, из Вари тоже помощник слабый; старик почесал затылок, помял пальцами шею и принялся за работу. Как бы хуже не было, как бы глаза ни боялись того, что надо было сделать, а поправлять телегу нужно.

Он обшарил овраг, приволок на плече старую деревянную колоду, кем-то выброшенную за ненадобностью, попытался подсунуть ее под ось — бесполезно, колода не входила. Впрочем, это было не так уж и плохо, гораздо хуже было бы, если колода вольно болталась под осью... Он уперся плечом в бок телеги, напрягся, закряхтел, сапогами вползая во влажную землю, и приподнял телегу на несколько сантиметров, потом подсу-

нулся спиной, приподнял еще на немного и энергичными ударами кулака загнал колоду под ось. Выпрямился с удовлетворенным видом:

— Вот так!

Старик Еропкин проковырялся с телегой полтора часа, когда он, наконец, вылез из оврага, то воинского обоза, в хвост которого они пристроились, уже и след простыл.

— Ничего страшного, — бодро произнес старик, — наше воинское соединение мы нагоним быстро. Очень быстро нагоним.

Он взмахнул кнутом, конь дернулся в оглоблях, телега заскакала, загромыхала на твердых колдобинах, и старик Еропкин отложил кнут в сторону. Когда конь идет быстро, словно понимая, что надо спешить, можно обойтись одними вожжами.

Заколыхалась, завиляла земля, уползая назад; конь шел шустро, прядал ушами, и пора бы уже нагнать обоз, пристроиться к телегам, которые шли под охраной пяти молчаливых воткинцев, но «воинского соединения» этого все не было, — обоз словно сквозь землю провалился.

— Так-так-так, — озабоченно проговорил дед, привычно помял себе шею, почесал затылок, — что-то долго нет телег нашенских.

Около говорливого чистого ручья остановились перекусить — пора обеда давно уже подоспела, надо было подкрепиться.

Дед развернул свой «фронтовой» припас: в клок материи у него были завернуты полтора десятка яиц, две крупные луковицы, полкраюхи тяжелого кисловатого хлеба, какой выпекали в здешних деревнях. В крохотном, связанном из лыка туеске выставил соль. Оглядел стол, поморщился досадливо — стол ему не понравился: слишком уж скудный. Старик Еропкин с виноватым видом развел в стороны руки, проговорил скрипуче:

— Ежели чего не так, барышня, не ругайте за-ради Бога. Что у меня имеется, то я и выставил.

— Да вы что, Игнатий Игнатьевич, — произнесла та растроганно. — Стол роскошный. Прямо королевский...

— Королевский,— старик Еропкин хмыкнул, — если б короли так питались — давно бы с голодухи окочурились.

— Совсем не обязательно. Король королю — рознь.

— Если только. — Еропкин с кружкой в руке прошел к ручью, зачерпнул воды, принес к телеге. — Вода в здешнем ручье — серебряная. Не киснет, не зацветает — прямо как из церкви, святая. Пейте, барышня, вода вам понравится. И ешьте, ешьте!

— А вы?

— Обо мне не беспокойтесь, я следом за вами. — Старик снова пошел к ручью, зачерпнул воды в пригоршню, напился. Воскликнул восхищенно: — Ах, какая водица! Не серебряная, а золотая!

Он снова зачерпнул в пригоршню воды, огляделся. Что-то ему здесь не понравилось, а что именно, он не мог понять.

— Идите сюда, — вновь позвала его Варя.

— Ешьте, барышня, я сейчас.

Дед прошел краем ручья, влажным бережком, в двух местах нашел следы конских копыт, отметил, что у одного коня на правом переднем копыте отрывается подкова, похмыкал неодобрительно — и как это только хозяин не следит за лошадью, поуродуется ведь животное, — но нигде не нашел тележных следов. Значит, обоз свернул где-то в стороне, место было неприметным, пыльным, потому старик и не зацепился за него глазами и проследовал мимо.

Теперь надо понять, куда именно ушел обоз — то ли влево свернул, то ли вправо... Жаль, поручик в забытьи, — а может быть, спит, отдыхает от своей раны, не с кем посоветоваться. С красивой дамочкой этой не посоветуешься, она ничего не знает — слишком культурная.

— Охо-хо, — поохал дед удрученно.

Он вернулся к телеге, взял яйцо, тихонько кокнул его о железный обод колеса, очистил. Яйцо не имело вкуса. Дед вновь поморщился: сейчас все, что он ни возьмет в рот, не будет иметь вкуса.

Пока старик не отыщет обоз.

— Что-нибудь случилось, Игнатий Игнатьевич? — спросила Варя.

— Ничего особенного не случилось... Кроме одного... Мы потеряли следы обоза. Здесь он, во всяком случае, не проходил.

— Мы его найдем?

— Обязательно найдем, — твердым голосом пообещал старик, — никуда он от нас не денется.

Тем временем в телеге зашевелился поручик, застонал. Варя стремительно вскинулась, шагнула к нему. Поручик открыл глаза:

— Где мы?

— В дороге. Остановились у ручья перекусить. Как вы себя чувствуете?

Поручик неожиданно приподнялся на локте.

— Чувствую себя много лучше... много лучше.— Оглядевшись, поручик покачал головой: — Мы с обозом, кажется, шли?

— С обозом.

— Где обоз? Мы от него отстали? Или, наоборот, оторвались и оказались впереди?

— Отстали, ваше благородие, — виновато поговорил старик. — Поломка у нас случилась. Чуть без колеса не остались. — Он взял с лоскута, на котором была разложена еда, яйцо, стукнул носиком об обод, протянул Павлову: — Держи, ваше благородие. Могу и очистить, если есть желание. Вот соль, вот лук, вот хлеб... Другой еды нет.

— Другой еды и не надо. Яйцо очищу сам. — Поручик пристроил его у себя на груди, очистил довольно легко одной рукой. Попробовал пошевелить пальцами второй руки, туго перетянутой, почти безжизненной, удовлетворенно кивнул: пальцы шевелились. Подцепил из крохотного, протянутого ему Еропкиным туеска щепотку соли, высыпал на яйцо, вновь кивнул удовлетворенно.

В следующий момент что-то привлекло внимание поручика. Он зорко, цепляясь глазами за каждый куст, огляделся. Проговорил медленно, как-то нехотя, то ли интересуясь, то ли констатируя то, что он знал:

— Оружие у нас, я так понимаю, имеется...

— Есть. Карабин и винтовка.

— А патроны?

— И патроны есть. Вдоволь. — Дед хвастливо поднял голову и хихикнул: — Я этого богатства достал столько, что все на телегу не смог погрузить...

— С винтовкой мне не справиться, а с карабином можно попробовать. Дайте-ка мне карабин на всякий случай. Варя, вы, ежели что, будете перезаряжать мне карабин... На тот случай, если я не справлюсь с затвором.

— Конечно, конечно, — поспешно проговорила Варя.

— А где мой маузер?

— Здесь он. Под вами, ваше благородие, спрятан.

— Это совсем хорошо. — Павлов повеселел.

— Себе я винтовку возьму, — сказал старик Еропкин. — Для меня это самое милое дело — быть с винтовкой.

— Набираем воды в дорогу и — поехали, — скомандовал поручик.

Дед обрадованно засмеялся, сказал Варе:

— Раз командовать начал — значит, на поправку пошел.

Уехать не успели — на берегу ручья возник всадник, увидев людей, он прогорланил что-то гортанно, сдернул с плеча карабин. Был наряжен он диковинно: в папаху, перехваченную под подбородком резинкой, чтобы не потерять головной убор, в длиннополый купеческий сюртук с цветными, желтовато-серыми отворотами, в малиновые штаны. Из-под сюртука выглядывала яркая голубая жилетка. Попугай какой-то, а не человек.

«Попугай» выстрелить не успел — поручик выстрелил раньше, с одной руки, — вскинулся в седле и рух-

нул на шею лошади, карабин выскользнул у него из руки, шлепнулся на землю. Против поручика, прошедшего окопы на германской войне, «попугай» не тянул. Павлов перекинул карабин.

— Варюша, передерните затвор, дошлите в ствол новый патрон.

Варя поспешно перехватила карабин. Поручик сунул руку под подстилку, пошарил там. Лицо его напряглось, на крыльях носа выступили капельки пота.

— Где маузер?

— Там, ваше благородие,— хриплым голосом отозвался дед, — правильно ищите.

— Надо скорее уходить отсюда!

— Счас! — Старик Еропкин кинулся к своей скатерти-самобранке. — Иначе же ж без еды останемся!

— Как бы без головы нам не остаться!

В кустах мелькнул еще один всадник.

Поручик, лежа, дважды пальнул по нему из маузера. Мимо! Только пули состригли несколько веток. Полдесятка метелок шлепнулись в ручей. Из кустов также грохнули два выстрела, и оба также — мимо. Одна из пуль пропела свою хриплую песню прямо над виском поручика. Павлов несколько вжался головой в подстилку и выстрелил ответно из маузера — на звук.

Из кустов вывалился человек, наряженный, как и «попугай», ярко, несуразно, хлопнулся головой в ручей. Поручик поморщился — еще не хватало, чтобы он поганил своей грязной рожей чистую воду, — спросил, приподнявшись в телеге:

— Варя, вы целы?

— Цела.

— Дед, уходим! Немедленно уходим отсюда!

Старик Еропкин поспешно кинул в телегу остатки еды, следом запрыгнул сам. Запричитал:

— Вот напасть-то, а! Поесть спокойно даже не дают... Ну, разбойники! — Он круто развернул коня, хлестнул по блестящему крупу вожжами. — Но-о-о!

Вдогонку телеге хлобыстнул гулкий винтовочный

выстрел, сбил с деда Еропкина картуз, следом за выстрелом прямо в ручей заскочил бородатый разбойник в голубой рубахе, расписанной розовыми цветами, в руках он держал трехлинейку старого образца, тяжелую, с удлиненным стволом, чертыхнулся, пытаясь выбить из казенной части перекосившуюся гильзу, Павлов приподнялся и дважды выстрелил в него из маузера.

Бородач выронил винтовку, выпрямился с изумленно вытянутым лицом — не верил, что в него могла попасть пуля, но это было так, в бородача всадились две пули сразу, — в следующее мгновение, раскинув руки крестом, он рухнул в воду.

— Стой! — заорал дед на коня. — Тпр-р-ру! — Проворно спрыгнул с телеги и понесся по колее к ручью.

— Дед, наза-ад! — закричал поручик.

— Как же мне без картуза? Без картуза никак нельзя! — Старик ловко перепрыгнул через колею, всадился боком в куст, упал на четвереньки и зашарил под кустом руками.

Через ручей перемахнули два всадника, загородили собою пространство — один всадник шел слева, другой справа.

— Дед, берегись! — прокричал поручик Еропкину, выстрелил в правого всадника — тот был ближе к старику, — всадник лихо пригнулся, уходя под пулю, потом выпрямился, засмеялся хрипло, держа карабин в вытянутой руке. Опытный был вояка. Они выстрелили одновременно, поручик и всадник, два выстрела слились в грубый сильный стук, будто ударили из горной пушки, имеющей укороченный ствол — выстрелы из «горняшки» звучат особенно сильно.

Всадник ахнул, вылетая из седла, в котором, как ему казалось, он сидел крепко — считал, что уселся навсегда, а на деле вышло не так. Поручика пуля не зацепила, лишь жаром обварила лицо. Павлов стремительно перевел ствол, выстрелил во второго всадника. И всадник выстрелил.

Павлов промахнулся — пуля его лишь напугала коня, молодой черный жеребец, помеченный аккуратной светлой полоской, проложенной по лбу, резво отпрыгнул в сторону, едва не скинув всадника с седла, тот — небритый, косматый, похожий на лесного лешего — выматерился с тоскою, намотал на кулак повод, осаждая скакуна.

— Тих-ха, с-сука! — прорычал он угрожающе. — Мозги вышибу!

Стрелял косматый более метко, чем его напарник: поручик внезапно застонал, покрутил неверяще головой — его вновь зацепила пуля, ударила в то же самое место, где и предыдущая пуля, — в простреленное плечо. От боли у поручика засверкали перед глазами яркие блохи, лес мигом сделался красным — словно кровью наполнился, поплыл неровно; голоса птиц, не обращавших на стрельбу никакого внимания — привыкли птахи к войне, — разом угасли, сладкое птичье пение сменил тяжелый металлический гуд; поручик, не выпуская маузера, схватился рукою за плечо, застонал.

В следующую секунду, разжав веки, сами собой закрывшиеся от боли, поручик увидел, что над телегой уже почти навис всадник — дотянулся, осталось совсем немного. Косматый схитрил, пустив своего черного коня прямо через кусты, напролом, в несколько мгновений прорубился через них и оказался рядом с телегой.

Поручик не успевал выстрелить — еще не пришел в себя. Неожиданно над его ухом громыхнул выстрел, голову поручика невольно кинуло в сторону.

Черный конь сделал резкий прыжок влево, заржал испуганно, всадник закричал гортанно — абрек, что ли? — на лбу у него нарисовалась черная точка-дырка, растеклась стремительно, и всадник, не вынимая ног из стремян, повалился назад, на спину коня.

Конь сделал еще один прыжок, другой, оказался в кустах, а потом заржал и, сдирая с седока амуницию, исчез. Павлов застонал.

Варя кинулась к нему:

— Вы живы, Александр Александрович? Сильно зацепило?

— Зацепило, — вяло шевельнул губами поручик.

Старик Еропкин тем временем вылез из-под куста и, сжимая в руке картуз, помчался к телеге.

— Ай-ай-ай! — заверещал он на бегу. Нависший над колеей ольховый куст стебанул его по лицу, но дед не почувствовал удара. — Ай-ай-ай! Я ведь вас чуть не погубил, дурак старый! Ай-ай!

— Вот именно, ай-ай! — морщась, проговорил поручик. — За такое «ай-ай» розги положены. По голому заду.

— Дайте я вас перебинтую. — Варя попробовала развернуть к себе поручика, но тот, оглушенный пулей, медным звоном, которым была наполнена его голова, не поддался.

— Где мы?

— Дайте я вас перебинтую! — сказала Варя и, чтобы приподнять поручика, потянула за борта кителя, который был накинут у того на плечи, а теперь высовывался из-под его тела.

Она помогла Павлову сесть и, взяв чистый, скатанный в рулон бинт — простиранный и продезинфицированный над чайником, над паром, — наложила новую повязку на старые бинты.

Отсюда, с этого проклятого места, надо было уезжать как можно скорее. Варя спешила.

— Вы спасли всех нас, Варя, — проговорил тем временем поручик одышливо, сипя от боли.

В телегу легко, будто тело его не имело никакого веса, запрыгнул старик Еропкин.

— Простите меня, ваше благородие, — завопил он громко, — я с этим картузом чуть не погубил вас! Смотрите, что супостат сотворил! — Дед показал поручику картуз, навылет просеченный пулей. — Головной убор мне испортил. Эти же дыры теперь никакой ниткой не заштопаешь!

— Поехали, дед, — морщась от боли, попросил поручик, — пока нас тут не прихлопнули окончательно... Как мух.

— А я что? Я ничего! — ответил Еропкин и проворно подхватил вожжи.

Поручик не выдержал, удрученно качнул головой. Варя затянула у него на плече узел и уложила на дерюжную подстилку.

— Вам надо лежать, Александр Александрович!

— Меня зовут Сашей.

— Простите... — Варя смутилась, закусила нижнюю губу, на щеках у нее появились пунцовые пятна и ровно растеклись по коже, — Саша...

— Так лучше, — сказал поручик.

— Как только выберемся отсюда — перевяжу покрепче.

— А пуля? — Голос у Павлова задрожал в такт тележной тряске. — Разве она не застряла в плече?

— Слава Богу, нет. Прошла по касательной. Разорвала бинт, и только. Все чисто, Александр Алек... все чисто, Саша, никакой операции делать не надо. Я понимаю — было больно, ошпарил ожог, но это — единственное, что смогла сделать пуля.

Поручик облегченно вздохнул: самое худое дело, когда пуля остается в теле, вокруг нее начинает гнить живая плоть — и мышцы, и жилы, и даже сама кровь.

— Боль я перетерплю, — сказал он, — это дело такое...

Если бы Каппель взял в плен Троцкого в Свияжске — повторюсь, — наверное, не только Гражданская война, но и сама история России потекла бы в другом направлении. Слишком уж сложной («сложной» — это мягко говоря; когда у нас дают кому-нибудь характеристику и специально подчеркивают: «это — сложный человек», всегда бывает понятно, что это за тип, слово «сложный» в наши дни стало синонимом слова «дерьмовый») фигурой, выбивающейся из общего ряда руководителей-ленинцев, был Троцкий.

Дисциплину в Красной Армии он насаждал кровью — продолжал расстрелы. Стон по воинским частям шел великий. Троцкого проклинали и свои, и чужие, но ему самому до этого стона не было никакого дела. Молва людская его не интересовала. Его больше интересовало, — больше всего, между прочим, — что скажет о нем дорогой друг Владимир Ильич и родная женушка.

По жене он тосковал отчаянно, но фронт покинуть, чтобы побывать дома, не мог. Не имел права.

Не только Троцкого Каппелю не удалось захватить, но и сам Свияжск. То ли обычный маневр не сработал, то ли к красным в последнюю минуту подоспела серьезная подмога, но атакующих каппелевцев встретил такой плотный пулеметный огонь, что голову от земли невозможно было поднять.

Атакующие залегли.

Тут появилась конница красных. Лихая, громко гикающая, она возникла внезапно, ударила сразу с двух флангов, прошлась по каппелевским ротам с сабельным свистом — правда, к счастью, не смогла всех людей изрубить в капусту, но все равно два с лишним десятка оставила лежать на земле.

Выходит, Троцкий охранял себя не только бронепоездами, не только пулеметными взводами и отрядами в кожаных тужурках, но и мощной кавалерией.

Каппель приказал отвести атакующие роты от Свияжска. Надо было выждать, перевести дыхание — люди его устали.

А в Москве в это время обстановка сложилась такая же непростая, как и на фронте.

На телеграммы Троцкого, которые тот слал из-под Свияжска, в Кремле смотрели косо: Троцкий обвинял в поражениях Блюхера[16], Эйдемана[17], Лациса[18], Белу Куна[19], Смилгу[20], Зофа[21], Лашевича[22] — всех, словом. Кроме Тухачевского. Тухачевского он не трогал — понимал, что тогда останется один.

Однако такого положения, когда он один прав, а все остальные не правы, быть не должно — Троцкий, выступая против всех, не загонял себя окончательно в угол, оставлял себе сильного союзника — Тухачевского.

Тридцатого августа Троцкий получил из Москвы, от Свердлова, телеграмму, которая повергла его в уныние — у Троцкого даже руки нервно затряслись: «Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие».

«Не рань, а убей Фани Каплан Ленина[23] в тот момент, когда все ползло из рук Кремля, когда территория суживалась до владений Московского великого княжества и судьбу Октября защищали под Свияжском поручики княжества и судьбу Октября защищали поручики Тухачевского и Славин, — Кремль бы грузно пошел ко дну», — отметил впоследствии в своей книге Роман Гуль. Так говорил старый большевик Бонч-Бруевич, ближайший к Ленину человек: «Если б случилось непоправимое несчастье с Владимиром Ильичем, все бы пропало, все бы пошло насмарку и большевистская социалистическая революция приостановилась бы потому, что мы все малоопытны в управлении страной и без В.И. несомненно наделали бы много роковых ошибок, и они повлекли бы за собой неудачи, которые закончились бы общим крахом».

Но «непоправимое несчастье» не произошло, Ленин устоял, хотя и находился несколько дней между небом и землей — здоровье у него оказалось не самое крепкое...

«В день 30 августа тяжелораненый Ленин лежал на диване в палате Кремля, закрыв глаза, — написал Роман Гуль, — оттенок лба и лица был желтоватый, восковой; приоткрывая глаза, Ленин сказал:

— И зачем мучают, убивали бы сразу».

Пронзительная сцена.

Троцкий понимал: наступил тот самый момент, о котором говорят: или — или... Или он будет разъезжать на белом коне — пардон, на белом бронепоезде, в состав которого включен роскошный спальный вагон, именуемый штабным, или его просто-напросто вздернут на суку... либо на виселице. Из уважения к нему перекладину с веревкой и столбы этого гадкого сооружения могут покрасить в белый цвет.

Троцкий заметался по вагону, хрустя пальцами, по-дамски заламывая руки.

Ему хотелось сейчас одного — исчезнуть куда-нибудь, забиться в щель, сделаться невидимым, спрятаться подобно мыши, затихнуть — чтобы и его никто не видел, и он никого не видел, но этого делать было нельзя.

Это было гибельно.

Троцкий подавил в себе слабость — он решил действовать. Главное — запугать людей. С запуганным человеком справиться много легче, чем с людьми, которые не ведают страха. И Троцкий, по сути, объявил «красный террор», он был его родоначальником, а не Ленин, как кто-то пытается это сейчас изобразить.

Расстрельные команды лютовали, не щадили никого, ни старых, ни малых, стреляли во всех подряд: в настоящих врагов революции, белых офицеров, с презрением относящихся ко всем, кто был причастен к подписанию мира с германцами, независимо от того, кто это был — красные, белые, синие или голубые, — и в совершенно безобидных людей, защищающих свое достоинство, — бывших чиновников, священников, крестьян, сумевших скопить немного денег, подняться на ноги, и даже комиссаров красных полков и командиров дивизий, рабочих заводов и учителей, искренне веривших в Ленина.

«Чем больше будет пролито крови — тем лучше, — к такому выводу пришел Троцкий, — в этих сложных условиях дисциплину можно наладить только с помощью пули».

Надо отдать должное Троцкому — он сумел наладить дисциплину в армии: то, чего не было ни у белых, ни у чехословаков, ни у венгров с французами, — было теперь у красных.

По прямому проводу Троцкий связался с Тухачевским:

— Вам следует взять Симбирск, — сказал он. — Это будет лучший подарок больному Ильичу.

Тухачевский понял Троцкого с полуслова. Взял под козырек:

— Родина Ленина, город Симбирск, — будет взят!

Этого ему показалось мало, и он решил связать себе руки телеграммой, которую поспешно отбил в адрес Реввоенсовета: «Двенадцатого сентября Симбирск будет взят».

Первая армия под командованием Тухачевского ввязалась в затяжные бои около деревень Прислонихи и Игнатовки. Немало там было пролито крови, немало погублено людей — кости до сих пор вылезают из земли на поверхность. Дрались лучшие солдаты. Что с одной, что с другой стороны.

Особенной стойкостью, жестокостью, умением биться до последнего патрона отличалась так называемая Железная дивизия. В таких дивизиях служили люди, которые, кажется, были сработаны из настоящего металла.

Командовал Железной дивизией темпераментный, крикливый, очень решительный армянин Гай[24].

Под этим именем он и вошел в историю Гражданской войны.

Подлинные фамилия, имя и отчество этого человека — Ежишкян Гай Дмитриевич.

В лютую жару Гай ходил в бурке и папахе; влезая в автомобиль, звенел шпорами, на поясе носил большой серебряный с золотыми насечками кинжал старинной работы. Сталь у этого кинжала была такая, какую уже не выпускал ни один мастер в мире, секрет ее был утерян. Кинжалом Гай мог располовинить невесомый шелковый платок, подброшенный в воздух. Русский язык Гай знал плохо, картавил, путал слоги и слова, матерился же отчаянно — получалось очень смешно. Но бойцы Гая любили — он никогда не прятался за спины,

не боялся ни Троцкого, ни его расстрельных команд, ни Тухачевского, ни Ленина — никого, словом.

Именно Гаю суждено было сыграть решающую роль при взятии Симбирска.

Впрочем, у Тухачевского этих лавров тоже никто никогда не отнимал.

Что же касается Троцкого, то он наблюдал за схваткой под стенами Симбирска уже со стороны — ему важно было послать людей на смерть, подогреть их порыв, чтобы не было срыва, а самому отойти в сторону, чтобы спокойно, с чувством выполненного долга наблюдать, как они будут умирать.

Старик Еропкин гнал и гнал коня рысью по едва приметной колее. Не останавливаясь, одолели километров восемь, не меньше. Он размахивал вожжами, хлопал кнутом и постоянно оглядывался назад — ему казалось, что следом обязательно должен увязаться какой-нибудь дурак в голубых бархатных штанах и в сапогах, истыканных блестящими латунными заклепками, но никто за ними не гнался: то ли банда, следовавшая за каппелевскими частями и втихую, под шумок грабившая богатых соотечественников, была малочисленной, то ли это просто была разведка какого-нибудь батьки — наглая, жадная и неопытная, потому и полегла, столкнувшись с людьми умелыми.

Дед остановил усталого потного коня, загнал его вместе с телегой в кусты, выбрав место похитрее, чтобы в прогал между кустами была видна дорога, а сами они с дороги не были видны, — отер ладонью лоб.

— Уф! — произнес он, похлопал себя по мокрым плечам.

Хотя на улице было тепло — солнце светило, как в июле, — от крупа коня исходил приметный, очень тяжелый кудрявый пар, будто глубокой осенью, в заснеженном ноябре.

Старик Еропкин погладил коня и неожиданно заохал, запричитал — увидел на его шее, под хомутом, кровь.

Распустив ремешок, стягивающий хомут, он поспешно запустил под войлок пальцы, поковырялся там и вытащил сплющенную пулю. Пробормотал озадаченно:

— Вот те раз! Как же эта дура попала сюда?

Поручик, лежавший с закрытыми глазами, открыл их, глянул на пулю с профессиональным интересом:

— Рикошет. Пуля влепилась во что-то твердое, отрикошетила и попала под хомут.

Еропкин почесал затылок:

— Однако!

Варя заколдовала над поручиком — надо было сменить бинт. Этот был уже весь в крови. Набух очень быстро.

— Выбросьте, — спокойно произнес поручик. Лицо его было бледным. Чувствовалось, что ему очень больно, но он терпит эту боль, не подает вида, что оглушен ею, стискивает зубы, — потому так и спокоен, и говорит медленно, тщательно выговаривая слова.

— Выбрасывать нельзя, — рассудительно произнесла Варя, — бинт я выстираю, и он еще послужит. А выброшенный бинт — это выброшенный бинт.

Поручик улыбнулся краем рта: в голосе Вари сейчас прозвучало что-то старушечье, ворчливое, заботливое, внутри у него шевельнулась нежность, сделалось тепло.

— Варя, простите меня... Поступайте, как знаете. Вы правы, вы вообще всегда правы. Неправой вы быть не можете, я в этом уверен.

— Ить какая гадина! — выругался старик Еропкин.

— Кто гадина? — насторожился поручик.

— Да пуля эта. Выставила из-под хомута ребро и ребром этим натерла коню шею до крови. Вот гадина!

— Кто же были те люди, что атаковали нас около ручья? — Пальцы у Вари были невесомые, она сменила бинт, почти не прикасаясь к ране, поручик даже не почувствовал, как новая повязка легла на место старой. — Бандиты?

— Совершенно верно. Обыкновенные бандиты, — подтвердил Павлов.

— Откуда же вылезла вся эта... грязь, пыль, на-

кипь, — Варя никак не могла подобрать нужное слово, — мусор весь этот?

— Всякая война рождает много мусора. Особенно война гражданская.

— Выходит, на нас еще могут напасть?

— Могут.

— Кто? Красные? — Голос у Вари сделался высоким, девчоночьим, просквозило в нем что-то жалобное.

— И красные могут, и мусор этот — все могут.

— Что нам делать?

— Только одно — отбиваться. Бог подсобит — отобьемся. — Поручик устало опустил голову на подстилку. Загорелое лицо Павлова было бледным. Он глядел на девушку и думал о том, что станет самым счастливым человеком на свете, если завоюет ее. Коснулся пальцами Вариной руки, произнес шепотом: — Варя...

Та заметила в его шепоте что-то тревожное, подумала, что поручику больно, поспешно приложила ладонь к его лбу.

— Температуры вроде бы нет.

— Да я не о том, Варя. — Поручик снова коснулся пальцами ее руки. — Расскажите мне о себе.

В ответ девушка грустно улыбнулась:

— Здесь? Сейчас?

— Хотя бы немного.

— Отца и матери у меня нет...

— Господи... Простите. Не хотел вызвать у вас печальные воспоминания.

— Ничего, — Варя поправила подстилку под головой поручика, — маму я два дня назад видела во сне. Это означает, что надо заехать в церковь, помолиться, поставить свечку за упокоение.

— А-а... — поручик невольно замялся, — что случилось с родителями?

— Отец был инспектором гимназии в Москве. Погиб на германском фронте в чине штабс-капитана. Воевал у генерала Брусилова. Мать умерла: была сестрой милосердия в госпитале и случайно заразилась тифом. Спас-

ти не удалось — слишком слабым, неспособным к сопротивлению оказался у нее организм.

— Господи, Варя! — вновь воскликнул поручик. — Вам пришлось столько перенести.

— Остался у меня только брат. Старший... Петр Петрович Дудко. Где он сейчас находится, что с ним — не знаю. Может быть, в Москве, на квартире есть письма... Но где она, Москва-то?

— До Москвы далеко, и власть там не наша.

Из ближайших кустов с шумом — сделал это специально, чтобы предупредить о своем появлении молодых, — вывернулся старик Еропкин. В руке он держал несколько тонких земляничных стебельков, украшенных крупными спелыми ягодами.

Церемонно поднес стебельки Варе:

— Держите, барышня.

Та благодарно улыбнулась:

— Какая прелесть!

— А дух от земляники, обратите внимание, какой исходит, а?! Это — поздняя земляника, она все в себя вобрала. Все тепло лета, все ароматы. Все солнце... Кушайте, барышня!

Варя отщипнула губами одну ягоду, наклонила восхищенно голову:

— Прелесть!

Тихая мирная картина. Никакой войны. Ни близких выстрелов, ни далекого грома... Дедок поправил на груди георгиевскую награду и свел вместе редкие седые бровки, проговорил озабоченно:

— Однако мы потерялись. Ни следов в воздухе, ни отпечатков на земле... Что делать будем, ваше благородие?

— Искать!

— Не наткнуться бы нам снова на какую-нибудь... неприятность. Вроде той, от которой мы только что отделались.

— Вновь постараемся отделаться. — Кадык на шее поручика, острый, костистый, дернулся, вызвал у Вари

невольную жалость и страх — она поняла, что отныне будет бояться потерять этого человека.

На виске у нее задергалась мелкая нежная жилка. Ведь если в пламени войны исчез ее брат, которого она ищет, но не может найти, то может статься так, что она осталась совершенно одна — абсолютно никого из родных на этом свете... Она едва приметно вздохнула, слабый вздох этот уловил поручик, повернул к ней лицо:

— Варя, если вам когда-нибудь понадобится помощь — всегда можете рассчитывать на меня.

Та отозвалась едва слышно:

— Спасибо.

— Если понадобится моя жизнь — также можете рассчитывать на нее.

Под Казанью тем временем собрался мощный красный кулак. К городу подступила Пятая армия, которой командовал Славин, бывший поручик, опытный солдат. Тухачевский, готовившийся к штурму Симбирска, также оставил ряд частей под Казанью, хотя они как воздух, как хлеб были нужны для штурма города, в котором родился Ильич. Однако Тухачевский понимал — родина Ленина не имеет никакого стратегического значения, это не Казань, не та точка на карте, которая может определить дальнейшую судьбу мира. Взятие Симбирска — обычный пропагандистский ход, победный вопль Троцкого, а Казань — это и тактика, и стратегия, вместе взятые.

И тем не менее раз он пообещал к двенадцатому сентября взять Симбирск, он его возьмет. Чего бы это не стоило. Тухачевский относился к тем людям, которые слов на ветер не бросают.

Силы белых, защищавших Симбирск, были невелики: пехотный полк, сербский отряд, несколько чешских рот, усиленных броневиками, артиллерия, привыкшая расчищать дорогу перед пехотой, — вот, пожалуй, и все, что там имелось.

Красных было много больше: Троцкий своими расстрелами, жестокостью, тем, что уничтожал не только

провинившихся, но и их семьи, сумел свести случаи дезертирства в армии на нет, команды и приказы в частях исполнялись четко.

Тысячу раз был прав Каппель, когда доносил в Самару, в Комуч, что Красная Армия приобретает, а точнее, повышает качество с каждым днем, белым у нее надо учиться, кавалерийским наскоком, как три месяца назад, красных уже не взять, отряды надо отводить не только на отдых, но и на обучение, что нужен каждодневный приток свежих сил — без пополнения воевать нельзя... Это был глас вопиющего в пустыне: никто из Комуча не захотел его услышать.

Хотя главное дело сделано: Каппель овладел золотым запасом, что крайне важно для будущего Белого правительства, для Колчака. Адмиралу не нужно было заниматься поборами в Сибири, грабить крестьян, хотя крестьяне в Сибири не те, что в средней полосе России, в какой-нибудь Нижегородской или Воронежской губерниях, крестьяне в Сибири — богатые, знают не только, что такое тяжелая горсть пшеницы с делянки, но и как выглядит самородное золото и как горит, искрится, играет мех соболя, когда на него дует человек. На это золото Колчак мог закупать оружие и платить жалованье солдатам.

Не говоря уже об авторитете Верховного... Все это ему обеспечил Каппель.

А пока трещали ворота Симбирска.

Тухачевский получил неприятную новость, вызвавшую в нем зависть и щемление в сердце: командарм пять Славин взял Казань. Произошло это десятого сентября.

А Тухачевский пообещал двенадцатого взять Симбирск. До «срока» оставалось два дня. Тухачевский вызвал к себе Гая. Спросил его жестко, холодно, голосом тихим, сведенным до шепота:

— Чего медлите?

Щеки у Гая сделались бурыми.

— Разве мы медлим? Только что взяли Баратевку.

Баратевка была последним хорошо укрепленным селом перед Симбирском.

— Вы, конечно, знаете, Гай, как в таких случаях действует Троцкий? — спросил Тухачевский.

Бурые пятна, наползшие на щеки Гая, растворились, лицо его сделалось бледным. Он кивнул:

— Знаю, Михаил Николаевич.

Каждый в армии Тухачевского знал, что Гай был бесстрашным человеком, более того, любил рисоваться, выставляя себя напоказ — смерти-де он совершенно не боится. И многие считали: Гай действительно не боится смерти. Но смерти не боится только ненормальный человек, такому надо немедленно показаться врачу и попросить каких-нибудь порошков, все нормальные люди боятся смерти.

Гай часто проносился на коне перед атакующими цепями солдат, следом летела бурка, готовая в любую секунду оторваться от его тела. Он размахивал дорогой, в каменьях и насечках, саблей и кричал гортанно:

— Храбрецы мои!

(Роман Гуль, офицер Белой армии, писал, что Гай не выговаривал слово «храбрецы», оно звучало у него как «храбцы», но это нисколько не мешало популярности легендарного комбрига.)

Тухачевский был убийственно вежлив, даже к тем командирам, которых хорошо знал, обращался на «вы».

— Двенадцатого сентября Симбирск должен быть взят. Кровь из носу — все мы ляжем, но Симбирск возьмем и пошлем телеграмму Ленину.

Гай встал:

— Разрешите выполнять поставленную задачу?

Тухачевский холодно кивнул:

— Выполняйте!

Каппель отправил очередную депешу в Самару, в Комуч: нужна срочная помощь, Белое движение, так удачно начавшееся, задыхается от того, что нет подпитки,

нет свежих сил. На энтузиазме офицеров да старых служак, не дрогнувших на фронтах Великой войны, не удержаться. Красные вернули себе Казань, вот-вот вернут Симбирск. Единственная боеспособная, очень решительная сила, которая может противостоять Красной Армии, родившейся буквально из ничего, из пепла — это ижевские и воткинские рабочие. «Нужны люди, оружие, боеприпасы!» — взывал Каппель.

В ответ пришло поздравление с присвоением ему звания генерал-майора.

О том, что он генерал-майор, Каппель уже знал. С генеральской «змеей» на погонах и двумя звездочками его поздравили лично члены комучевской верхушки: Фортунатов, Вольский, Климушкин.

Долго сидел Каппель в своем вагоне, держа в руках письмо, пришедшее из Самары, потом покачал головой и разорвал бумагу.

Спали в лесу — старик Еропкин, наломав побольше веток, устроил Варе мягкое ложе под телегой, накрыл его брезентом, вместо одеяла дал чистую легкую дерюжку.

— Берите, берите, барышня, не гребуйте, — слово «брезгуйте» Еропкин произносил на деревенский манер «гребуйте», — не обижайте старика.

— Так тепло ведь, Игнатий Игнатьевич, — пробовала отбиться Варя.

— Это сейчас тепло, а под утро, на рассвете, знаете как куковать придется? Туман приползет — о-о-о! Сентябрьские туманы злые, так что берите дерюгу, барышня, не стесняйтесь.

Себе дед устроил постель по другую сторону телеги, улегся, поохал немного и затих.

Было слышно, как где-то неподалеку в ветках высокого дерева покрикивает недобрым голосом ночная птица да на поляне пофыркивает, перебирая землю спутанными ногами, конь. Дед его вообще хотел привязать вожжами к стволу дерева, но потом понял — конь остается голодным, не наестся и не отдохнет, потому натянул ему на ноги путы и пустил пастись.

Павлов остался лежать в телеге. Вечером ему сделалось хуже, он начал бредить, дед посмотрел на него озабоченно, покхекал в кулак и, подхватив котелок, исчез в кустах. Вернулся, приминая пальцами в котелке свежую траву, отдал котелок Варе:

— Это надо вскипятить и отваром напоить поручика.

— Что это?

— Хорошая трава. Снимает разные воспаления, отсасывает гной, если тот заводится внутри. В общем, приносит облегчение.

— Костер разводить можно, Игнатий Игнатьевич? Никто нас не обнаружит по огню?

— Можно разводить. Только в ямке где-нибудь, под корнями упавшего дерева. А в огонь старайтесь сушняка набросать, чтобы дыма было меньше. Впрочем, чего это я? — неожиданно засуетился старик. — Командую да командую. Будто я — поручик, а не он, — дедок оглянулся на беспамятного Павлова, — я и сам костер разведу не хуже. Налейте в котелок воды, прямо в траву...

Поручику от отвара действительно сделалось лучше. Он открыл глаза, обвел ими темное небо:

— Где я?

— На ночевке. Мы остановились на ночевку в лесу.

Павлов озабоченно приподнялся на локте:

— Никто больше не появлялся? Бандитов не было?

— Нет.

— И красных не было?

— Не видели.

Напряженное лицо поручика смягчилось, он откинул голову на сложенное вдвое рядно. Через несколько минут забылся. Собственно, это было не забытье, а сон.

К утру действительно сделалось холодно — на лес наполз тяжелый, пронизывающий до костей туман, ночная птица, нервно вскрикивавшая до самого рассвета — она тщетно старалась подозвать к себе кого-то, — умол-

кла. Туман свалился на лес сверху — вначале пропали растворившиеся в белой влажной плоти макушки деревьев, потом ветви, устремлявшиеся вверх, к макушке, затем ветки, растущие внизу, и наконец он ватным одеялом накрыл телегу. Поручик зашевелился, телега под ним скрипнула, он застонал.

Варя мигом проснулась и, поднявшись на ноги, нависла над телегой:

— Вам плохо?

— Нет, — поручик мотал головой, — чувствую я себя много лучше. Как чувствую и другое...

— Что именно?

— Опять будет стрельба.

Павлов как в воду глядел. Едва, наскоро перекусив, они выбрались из леса, как старик Еропкин, привстав на телеге, произнес неверяще и одновременно испуганно:

— Ба-ба-ба!

На них накатом, выстроившись в лаву, обгоняя друг друга, неслись конники. Человек семь.

— Наза-ад! — закричал поручик. — Назад в лес! Разворачивайся, дед!

Пока старик, стеная, ругаясь, разворачивал телегу, Павлов успел вытащить из-под бока винтовку. Хорошо, патрон уже находился в стволе, не надо было передергивать затвор и загонять патрон в казенник, оставалось только отжать и повернуть предохранитель... Сподручнее, конечно, стрелять из карабина, но тот находился с другой стороны телеги. Павлов поморщился — предохранитель был тугой, холодная влажная пяточка выскальзывала из пальцев, поручик вцепился в нее буквально ногтями, втянул сквозь зубы воздух, оттянул пяточку, повернул налево и в ту же секунду, почти не целясь, ударил в переднего всадника — усатого, мордастого, с щетиной, густо обметавшей щеки.

Хоть и стрелял поручик неприцельно, а выстрел оказался метким — всадник вскрикнул и вылетел из седла; одной ногой, сапогом, он зацепился за стремя, лошадь

захрапела, свернула в сторону и, перерезая дорогу другим всадникам, поволокла бедолагу за собой.

Обут был мордастый в слишком широкие сапоги — явно снял их с кого-то, не по ноге были стачаны сапожки, — через несколько метров ступня выскользнула у него из голенища, и всадник распластался на земле.

Лошадь с застрявшим в стремени сапогом понеслась дальше, врубилась в кусты, окаймлявшие лесок, и остановилась. Мирно забряцала шенкелями, потянулась к траве — зеленая травка была важнее мордастого хозяина.

Конная цепь сбилась. Поручик выстрелил вторично — мимо. Над ухом у него громко хлопнул браунинг Вари. Мимо.

— И-эх, родимые! — взревел дедок, врубаясь в лес. Под колеса телеги попал корень, горбато вылезший из земли, телега подпрыгнула. Поручик застонал от боли.

Пространство перед глазами окрасилось в сукровичную розовину, хорошо, что только окрасилось, было бы хуже, если бы оно поплыло, — предметы не расползлись, не раздвоились перед ним. Он закусил нижнюю губу и снова вскинул винтовку.

На этот раз попал — выбил из седла еще одного всадника — молодого пацаненка в мерлушковой солдатской папахе, натянутой на самые уши, — не по сезону отхватил себе парубок головной убор, на улице пока тепло, даже очень тепло, а короткие холодные туманы — не в счет. Пацаненок воробьем слетел с коня. Варя помогла поручику перезарядить винтовку.

— Но-о-о! Но-о! — заполошно кричал дед, размахивая в воздухе длинными, страшновато свистящими вожжами. Конь старался, как мог, выкладывался в полную силу, а старик Еропкин все размахивал и размахивал вожжами. Телега подпрыгивала, взлетала вверх, со стуком опускалась, колеса опасно трещали.

— Васютка! Сыно-ок! — запоздало загудел один из всадников, ставя коня на дыбы и разворачивая его к сбитому пацаненку. — Как же так, Васютка!

Варя выстрелила во всадника, опасно приблизившегося к телеге. Пуля сбила с его головы новенькую парадную фуражку с околышем пограничной стражи, всадник пригнулся, ошалелые глаза его сделались огромными. Он шарахнулся в сторону, лошадь перемахнула через поваленное дерево, и всадник, не удержавшись в седле, врезался боком в кривой, обросший коростой ствол старой березы. Мокрый, какой-то бултыхающийся удар был хорошо слышен, всадник закричал, спланировал на старый пень и, держась рукой за крестец, охая, скрылся вслед за лошадью в лесу.

Поручик опустил винтовку.

— Все, больше они нападать не будут, — сказал он.

— Кто они? — Варя потерла пальцами виски, помотала головой, как будто хотела вытряхнуть из ушей застрявший там грохот.

— Обычные грабители — крестьяне из ближайших сел. Любители поживиться, вывернуть человеку пальцами ноздри и, пока тот корчится от боли, обчистить его карманы. Эти люди даже стрелять не умеют.

Поручик засек то, чего не заметили ни старик Еропкин, ни Варя: ответную стрельбу — редкую, неумелую, криворукую — все пули ушли в воздух, ни одна из них не сумела даже над головами людей, находящихся в телеге, пропеть свою песню.

— Что будем делать дальше, ваше благородие? — спросил старик.

— Догонять своих.

— Как? Прорываться?

— До этого дело не дойдет. Хотя эта дорога нам закрыта. Надо искать другую.

Старик Еропкин, настороженно оглядевшись, остановил подводу.

— Как будем действовать, ваше благородие?

— Другой выезд из этого леса есть?

— Будем искать.

Минут через десять они нашли едва приметную колею, ведущую в сторону, — по этой колее из леса выво-

зили поваленные старые стволы, сбитые ветром либо рухнувшие от старости, но еще годные в дело — лесом этим занимался толковый хозяин, который не давал пропадать впустую ни одной ветке. Старик вновь одобрительно крякнул, свернул в колею, проехал метров триста по ней и остановился.

— Погодите, граждане, — сказал он, потрусил по колее обратно, на ходу нагнулся, ухватил целую охапку мелких сучьев и скрылся с этой охапкой в кустах.

Сквозь ветви деревьев пробивалось утреннее солнце — белесое, ласковое, нежаркое, рождающее в душе покой и одновременно внутреннее щемление. А ведь скоро эта последняя нега истает, и ничего уже больше не будет, никакого тепла — лишь заморозки по утрам, иней, подобно снегу накрывающий сохлую траву, землю, старые пни. Этот прочный иней, как оледенелый наст, долго не стает на солнце, его даже сильный ветер не в состоянии бывает содрать, — деревья поскучнеют, замрут в недобром предчувствии — все в природе станет другим. Варя не выдержала, поежилась:

— Скоро зима.

— В этих местах зимой дуют лютые ветры, — сказал поручик, — я знаю, попадал... С открытым ртом ходить нельзя, того гляди, ветер зубы вышибет. Вы обратили внимание, сколько в лесу гнутых, искривленных деревьев?

— Обратила.

— Это все — ветры. Они виноваты... — Павлов приподнялся на локте здоровой руки, огляделся.

— Что-нибудь не так?

— Все так, Варя. — Поручик улыбнулся подбадривающее. — А вы, Варюша, все-таки — диво. Интересно, из какой сказки вы появились, а?

Девушка улыбнулась ответно. Улыбка получилась грустная, уголки ее губ неожиданно задрожали, словно она хотела заплакать.

— Из сказки, в которой мало чего сказочного. Все в ней — реальное, грубое, материальное — ничего воздушного, привлекательного.

— Время наше такое, Варюша, — успокаивающим тоном произнес Павлов, поморщился невольно: не то он говорит, и тепла нет в словах, и живых красок нету — пережевывает что-то вареное. Тронув рукой ее пальцы, поручик произнес шепотом: — А я вас сегодня видел во сне.

Варя смутилась, отвернулась в сторону.

Минут через десять вернулся старик. Походка у него была мягкая, бесшумная, как у охотника — ни одного звука — ни шороха, ни щелчка треснувшей под ногами ветки, — дедок возник рядом с телегой спокойный, сосредоточенный.

— Набросал на повороте сучьев, веток, чтобы нашего следа не было видно, — сообщил он. — Глядишь разбойников с пути собьет.

— Собьет, — согласился поручик, — только надо ехать дальше.

И вновь заколыхалось ласковое белесое солнце над головами, оно путалось в ветках, пропадало и возникало вновь, мимо проползали замшелые, с бородатыми комлями, стволы деревьев, за которыми прятались, внимательно следя за людьми, местные страшилища — лесовики, лешие, неожиданно умолкшие в преддверии худых времен ведьмы...

Бои у Симбирска развернулись настолько жестокие, что Каппель решил все силы, имеющиеся у него, бросить под этот тихий провинциальный город. Хотя Комуч настаивал, чтобы Каппель не прерывал свой партизанский рейд, но тот решил поступить по-своему.

Двигался Каппель по левому берегу реки: разведка донесла, что по правому берегу не пробиться, слишком много там красных, много пулеметов и артиллерии, а левый — свободен. Полковник Вырыпаев получил приказ предоставить как можно быстрее несколько барж для перевозки пушек и людей, и через три часа отряд Каппеля уже сплавлялся вниз к Симбирску.

Километрах в десяти выгрузились на берег — пароходы идти дальше отказались: Волга уже кипела от рвущихся снарядов. Оба берега были завалены «бревнами» — крупными, посеченными осколками осетрами.

Воздух был густ от запаха гнили — хоть ножом его режь.

Каппель удрученно покачал головой. Сказал Вырыпаеву:

— Природа от войны страдает не меньше людей. Может быть, даже больше.

— Человеку тоже достается, Владимир Оскарович.

Убыстренным маршем двинулись на юг. Шли недолго. Очень скоро перед колонной взорвался снаряд. За ним — другой. Каппель попросил Вырыпаева:

— Василий Осипович, разверните-ка пару орудий... Накройте наглецов.

Через несколько минут громыхнули пушки Вырыпаева. Снаряды из-за Волги больше не приносились.

Хоть и спешил Каппель, а все-таки не успел — и не его в этом вина, а его беда. Ведь прими Комуч его план месяц назад — и вполне возможно, Каппель не на выручку Симбирску бы шел, а штурмовал Москву либо даже разгуливал по улицам российской столицы и любовался золотыми куполами соборов...

Чем дальше продвигался отряд Каппеля, тем громче становился грохот затяжного боя. Даже на этом берегу Волги иногда под ногами вздрагивала земля — в Симбирске то ли склады какие взрывали, то ли происходило еще что-то. Чем громче становились звуки, тем больше мрачнел Каппель, загорелое лицо его делалось жестким, скулы бледнели — он понимал, что опоздал.

Через сорок минут отряд Каппеля подошел к мосту, перекинутому через Волгу.

Город горел. Черные дымы поднимались в воздух в нескольких местах, тучами пластались по небу, загораживали солнце, и на земле делалось по-вечернему сумеречно.

Рядом с Каппелем постоянно находился подполковник Вырыпаев. Они настолько сдружились в этом походе, что когда находились одни, обращались друг к другу

на «ты», хотя Вырыпаев пользовался этим редко. Каппель, который не признавал ни панибратства, ни отношений накоротке со своими подчиненными, тянулся к Вырыпаеву. Воевал подполковник превосходно, его пушки еще ни разу не подвели Каппеля.

— Мы на этом черном пиру — лишние, — проговорил Каппель, обращаясь к подполковнику, — мы опоздали.

— И попартизанить в полную меру не удалось. Не то бы мы здорово подчистили тылы у красных. — У Вырыпаева само по себе от досады дернулось плечо, будто он подбросил висевшую на нем винтовку. Это было нервное.

Подполковник так же, как и Каппель, считал, что партизанские методы борьбы — это сугубо российские методы, и они применимы в местных условиях, но никак не в Европе, а урона партизанскими укусами можно нанести не меньше, чем глобальными сражениями. Однако в Комуче этого понимать не хотели, дергали то одну ниточку, то другую, распоряжения, приходившие из Самары, были противоречивы, словно их отдавали разные люди.

Офицеры из отряда Каппеля уже открыто начали ненавидеть Комуч — он сидел у них в печенках, в горле, будто рыбья кость. Надоели рекомендации по части обязательных обращений — таких, как, например, «гражданин командир роты», — на них уже никто не обращал внимания, большинство старалось обращаться друг к другу по званиям, надоела отставная форма без погон. Надоело все. Когда офицеры приходили к своему командующему, тот утешал их — получалось несколько неуклюже, но других слов не было:

— Терпите, братцы, терпите!

На мосту через Волгу сплошным потоком тянулись повозки, на противоположном берегу, среди домов, гуськом сползающих прямо к самой воде, раздалась стрельба.

Мимо Каппеля верхом на лошади пронесся Синюков, взлетел на мост, за ним поскакало еще несколько всад-

ников, он занимался теперь разведкой, старался наладить это дело, — через несколько минут полковник развернулся и направил коня вниз с моста.

— Владимир Оскарович, в городе уже находится красная конница, передовой отряд Гая, — доложил он, подскакав к Каппелю.— Вот-вот Гай войдет в центр.

— Разворачивайте пушки, — приказал Каппель, — ударьте всеми стволами по юго-западной части города — красные наступают оттуда.

Через несколько минут на берегу загрохотали пушки. Каппель стоял у самой кромки воды и смотрел на город; обычно спокойное лицо его нервно дергалось, он покусывал губы, иногда подносил к глазам бинокль, но тут же опускал его — все и так было хорошо видно. И хотя глаза у Каппеля были сухие, Вырыпаеву вдруг показалось, что командующий плачет, только плач этот внутренний, беззвучный, его никто не слышит, а показное спокойствие Каппеля — обычная маска, внутри же у него все кровоточит...

— Мне кажется, я сегодня последний раз в жизни вижу Волгу, — прокричал Каппель между двумя гулкими залпами пушек Вырыпаеву,— мы никогда сюда не вернемся.

— Полноте, Владимир Оскарович, откуда такие мрачные мысли?

— Мы просто не сможем сюда вернуться.

В городе действительно были красные. Гай, лихо размахивая саблей, украшенной каменьями, чертом носился по симбирским улицам, за ним грохотали подковами кони охраны, она у Гая состояла человек из двадцати, не меньше.

— Храбрецы мои! — призывно кричал Гай на скаку и вновь размахивал саблей.

Он искал, где находится городской телеграф, и не мог найти — запутался в улицах. Неожиданно под ним споткнулся конь, и Гай чуть не вылетел из седла, но удержался, резко натянул поводья, остановил коня,

спрыгнул на землю и опять лихо закрутил саблей над головой:

— Автомобиль мне!

Гай, как и многие фронтовики, верил в приметы: если под ним споткнулся конь, то на этого коня в течение дня уже не садился — могла случиться беда. Лучше всего — коня сменить.

Вот Гай и менял. Коня — на автомобиль. Автомобиль — на коня. Затем одного коня на другого...

Через пять минут он уже мчался в открытом автомобиле, стоя рядом с водителем, в роскошной белой бурке, в черкеске, с Георгиевским крестом на груди — Гай отказывался снимать старые награды — и размахивал над собой дорогой саблей.

Ему во что бы то ни стало нужно было выполнить задание Тухачевского, найти телеграф и отправить телеграмму в Москву.

За машиной галопом, громыхая, оскальзаясь на камнях, неслись два десятка всадников — охрана Гая. Зрелище было внушительное.

Наконец Гай отыскал телеграф, машина противно заскрипела тормозами, окуталась дымом, и Гай, чихая, выскочил из нее.

Перемахивая сразу через две ступеньки, влетел в теплый, почему-то пахнущий сухой травой зал телеграфа и стукнул рукоятью сабли о деревянную стойку, на которой посетители заполняли бланки телеграмм.

— Главного телеграфиста ко мне!

На крик явился почтенный старикан, похожий на железнодорожного кондуктора, с серебряным рожком, болтающимся на плече — старикан плохо слышал и прикладывал эту дудку к уху, если же ему ничего не надо было слышать, он за рожок даже не брался, пучил глаза на собеседника и, ничего не произнося в ответ, вяло размахивал руками. Славный был старикан.

Поскольку Гай был обвешан оружием с головы до ног — из-под бурки высовывалась не только диковинная, посверкивающая красными и синими каменьями

сабля, но и два маузера, — старикан немедленно приставил дудку к уху:

— Слушаю вас, ваше высокопревосходительство!

Обращение было не по чину, в Красной Армии таких слов не существовало, но Гаю понравилось, и он важно поскреб рукою щеку:

— Значит, так! Немедленно отправьте телеграмму в Москву. Товарищу Троцкому от товарища Тухачевского. Пиши, старик, текст.

Старикан пальцем позвал к себе шуструю девчушку с носом-кнопочкой — то ли помощницу, то ли уборщицу, ткнул начальственно в лист бумаги:

— Пиши!

Гай достал из кармана галифе клочок вырванного из тетради листа, на котором заранее был начертан текст, расправил его.

Через десять минут в Москву была отбита телеграмма: «Задание выполнено. Симбирск взят. *Тухачевский*».

На окраинах города еще шли бои, стрельба была сильной, пули залетали даже в центр Симбирска и, обессиленные, с чмоканьем шлепались в пыль, взбивая тугие облачка; сквозь полосы черного дыма пыталось проглянуть солнце — это светилу не удавалось.

Гай не удержался, дал телеграмму и от себя, переплюнул командарма Тухачевского — телеграмму отстучал самому Ленину. «Взятие вашего родного города — это ответ за одну вашу рану, а за другую рану будет Самара».

Любил Гай Дмитриевич эффектные ходы.

По юго-западной части города продолжали бить пушки Вырыпаева — подполковник довольно умело крошил снарядами входящие в Симбирск красные части. Вслепую, без корректировщика. Иногда, правда, получалось не очень, но иногда снаряды попадали в цель, и тогда в небо взлетали целые столбы алых брызг, воздух окрашивался в красный цвет — людей расшибало, они превращались в воду, в воздух, во что-то бесформенное, лишенное оболочки, так казалось всем, кто видел эти удары вблизи.

В Казани, которая была взята на день раньше Симбирска, стоял стон, хотя крови не было видно: Троцкий прятал ее. Но расправлялись его помощники с теми, кто не признавал советскую власть, жестоко. Чистили богатые кварталы гребенкой — красноармейцы прикладами выталкивали из домов семьи купцов, священников, «интеллихxентов вшивых», не забывая прихватить за руку иного несмышленого пацаненка — нечего, дескать, отбиваться, — толпами гнали на волжский берег и грузили в баржи. Трюмы барж набивали так, что головы тех, кто не вмещался, приходилось придавливать огромными деревянными люками.

Баржи выводили на середину реки, там прорубали им борта и пускали на дно.

Сколько человек было погублено по «инициативе» Троцкого, мстящего за выстрелы эсерки Фани Каплан, точно неведомо и по сей день. Выздоравливающий Ленин тоже был повинен в этом бессмысленном уничтожении людей. В канун взятия Казани — за день до ее падения — он прислал Троцкому телеграмму, в которой были такие слова: «По-моему, нельзя жалеть города...» и «...необходимо беспощадное истребление».

В результате, когда через несколько дней понадобилось вынести десятка три показательных приговоров и публично расстрелять врагов советской власти, такого количества врагов просто не удалось найти. Газеты писали: «Казань пуста. Ни одного попа, ни монаха, ни буржуя. Некого и расстрелять. Вынесено всего 6 приговоров».

Но вернемся в Симбирск.

Телеграмма Тухачевского, которую отбил Гай с городского телеграфа, была переслана Троцкому в штабной вагон.

Когда поток беженцев, идущих через мост, поредел, а на противоположном берегу появились разъезды Гая и по настилу защелкали пули, Каппель приказал один из пролетов моста взорвать.

Саперы в подрывной команде были умелые — быстро приладили к быкам по ящику динамита, вывели на настил несколько бикфордовых хвостов и подожгли их. Через полминуты вязкий гул покатился над затихшей, словно обратившейся в темный прозрачный камень, водой. Пролет приподнялся, в воздухе распался на несколько частей, в сторону полетели доски, кирпичи, выдранные железные крючья, листы железа, которыми были окованы истончившиеся места, сама ходовая часть, и пролет лег в воду.

У Каппеля дернулось левое плечо, он отвернулся от Волги, от горящего города и забрался на коня, которого ему поспешно подвел Бойченко. Лицо у Каппеля было спокойным, странно неподвижным — не лицо, а маска, можно было только догадываться, что творится у этого человека внутри, он поискал глазами Вырыпаева, не нашел и скомандовал тихим, внезапно сделавшимся совершенно естественным голосом:

— Отходим!

Так паршиво, как чувствовал себя Каппель сейчас, он не чувствовал давно — даже когда был ранен на фронте и болтался между небом и землей, не знал, удастся выжить или нет, — и то ему не было так плохо.

Он тронул коня за поводья. Неподалеку в землю лег снаряд — единственный ответный, пущенный с другого берега, над головой гнусаво прожужжали осколки, целая лавина, но Каппель не обратил на них никакого внимания, глаза у него от горечи сделались совсем светлыми, прозрачными, те, кто видел его глаза в эти минуты, отводил взгляд в сторону.

В Симбирске находились богатые военные склады — в основном вещевые, обувные. Гай оглядел своих конников, озадаченно поцокал языком: слишком уж оборваны, не кавалеристы, а биндюжники какие-то.

«Храбрецов» его надо было приодеть. Он прыгнул на коня и помчался к вещевым воинским складам — проводить ревизию.

Говорят, Гай въехал в главный склад на коне — так он был огромен — и ахнул от цветотья мундиров, выставленных там. На складе нашлось даже несколько тысяч комплектов такой экзотической формы, как уланская — рейтузы, кивера, мундиры с блестящим металлическим шитьем... Гай не усидел на коне, прокричал что-то возбужденно, спрыгнул с седла и примерил на себе мундир. Подошел к зеркалу.

Восхищенно поцокал языком: хорош, однако, мужчина, что смотрит на него из зеркала...

Начальник штаба не стал слезать с лошади, он теперь тихонько наблюдал за своим экспансивным начальником, поднял большой палец, проколол им воздух:

— Превосходно, товарищ комдив!

Хотя Гай был комбригом, начальник штаба упорно звал его комдивом, повышая в должности. Гай против этого не возражал.

— Сколько времени понадобится, чтобы подогнать эту форму под моих храбрецов? — спросил Гай, обвел рукой полки с сине-красной уланской формой. — Э?

Начальник штаба с ходу уловил, чего хочет Гай.

— Если в городе мобилизуем всех портных, то дня в три, думаю, управимся.

— Вах! — гортанно, на грузинский манер выкрикнул комбриг. — А в два дня не уложимся?

— Постараемся и в два дня, товарищ комдив, — вытянулся в седле начальник штаба. — Раз это нужно...

— Нужно. Нам ведь предстоит еще провести военный парад храбрецов, достойных звания великих революционеров. На нас смотрит Советская Россия. Вся!

Через пятнадцать минут из дверей штаба бригады вынеслись курьеры, большая группа, полтора десятка человек. Им необходимо было найти и мобилизовать всех симбирских портных.

Портные были спешно мобилизованы.

По всему городу щелкали ножницы, верещали ножные и ручные швейные машинки. Оборванные конники Гая наряжались в новую форму. Даже кивера понадева-

ли и похватали нашедшиеся на складе пики. Почувствовали себя казаками, въехавшими в Париж. Начальник штаба выполнил задание Гая: через два дня в Симбирске состоялся военный парад.

Наряженные в полную уланскую форму, конники лихо выделывали кренделя перед сбившейся в кучки любопытствующей публикой, пулеметчики волокли за собой тяжелые «максимы», поставленные на железные колеса, пыхтели, обливались потом, помогали себе уланскими пиками, втыкая древки в расщелины между булыжниками.

Довольны были все, кроме пулеметчиков.

Когда оркестр смолк и войска выстроились на главной площади Симбирска, Гай выехал вперед на коне, взмахнул привычно рукой.

— Храбрецы мои! — произнес он растроганно, благодарно, поправил на груди Георгиевский крест и оглядел своих конников повлажневшими глазами.

Волнение сдавило ему горло. Гай закашлялся, речь продолжил по-армянски, потом вновь перешел на русский язык, с его губ соскакивали скомканные, невнятные, картавые слова, и он снова перешел на армянский. Голос его окреп, сделался звонким, горячим. И хотя никто из собравшихся не знал армянского языка, все понимали Гая. И страстно аплодировали, когда комбриг закончил говорить.

Потом площадь взорвалась в едином ликующем крике:

— Гаю — ура!

Через два дня в городе начались грабежи: те, кто брал штурмом Симбирск, решили пощупать, какие яички несут здешние курочки. Конники Гая, которых можно было узнать за версту по красно-синей форме, также не устояли перед соблазнительной возможностью пощипать горожан.

Тухачевский немедленно издал приказ: «Отдельно шатающихся мародеров арестовывать и расстреливать

без суда; в городе должен быть водворен строжайший порядок». Среди тех, кто попал под дула расстрельной команды, были «красные уланы», протянувшие руки к чужому барахлу. Провинившиеся не верили, что их, героев штурма Симбирска, могут расстрелять. В конце концов, за них заступится сам Гай.

Но Гай заступаться за них не стал: он все хорошо понимал и к таким вещам, как мародерство, относился с брезгливостью.

В течение трех дней Тухачевский расстрелял более ста мародеров, одетых в красноармейскую форму — действовал он беспощадно.

Отдышавшись немного в Симбирске, армия Тухачевского двинулась дальше: брать приволжские города и села — Сингелей, Новодевичье, Буинск, Тетюши, Сызрань, Ставрополь-Волжский и главную здешнюю столицу, первую среди других столиц, центр Комуча — Самару.

Ленин прислал Тухачевскому благодарную телеграмму: взятие родного Симбирска было для него что манна небесная, лучшее лекарство — Ильич после этого стал стремительно поправляться; послал ли он ответную телеграмму Гаю, историки не ведают. Скорее всего, послал — Ленин был человеком вежливым.

У старика Еропкина кончились продукты.

Несколько дней они колесили на телеге по пыльным, способным укачать кого угодно дорогам, пытаясь догнать своих, но затея была тщетной, каппелевцы словно сквозь землю провалились, — трижды дед ходил на разведку в села, но там ни белых, ни красных не видели.

— Счастливые, — вздыхал старик, — ни тех, ни других не знают. Это же самое милое дело — никого не знать, никого не видеть.

— Это называется независимостью, — солидно вставила в разговор свое суждение Варя.

Поручик пошел на поправку: молодой крепкий организм взял свое.

— И бандюки перестали попадаться. — Старик Еропкин озадаченно поскреб пальцами затылок. — С ними как-то это самое...

— Что «как-то это самое»? — не поняла Варя.

— Веселее было.

У Вари невольно, словно сами по себе передернулись плечи:

— Кому как.

Видя, что продукты подходят концу, старик поугрюмел.

— Во всякое село за хлебом с картошкой ныне не войдешь, — народ стал дюже недоверчив: чуть что — и в пузо тебе уже ствол глядит. Деньги люди перестали признавать, с керенками, извините, барышня, уже в нужник ходят, царскими простынями также подтираются... — Дед не заметил, как от грубой речи его Варя покраснела, поручик тронул старика за руку:

— Поаккуратнее в словах, Игнатий Игнатьевич, пожалуйста.

Старик умолк, словно на ходу споткнулся, звонко клацнул челюстями, смутился, будто находился в гимназическом возрасте.

— Извините меня, дурака, — проговорил он неожиданно шепеляво, с присвистом — ну ровно бы невидимый столб, которого он не заметил, вышиб ему передние зубы. — Берут только монеты да цацки разные... Украшения с дамских пальчиков.

— У вас, по-моему, одна винтовка лишняя, — проговорил Павлов.

— Лишнего оружия не бывает, ваше благородие.

Павлов даже не стал комментировать эту фразу, он на нее просто не обратил внимания.

— В тревожное время оружие ценится не дешевле золота. Скорее — дороже. Надо одну винтовку обменять на еду. Дать в придачу пару запасных обойм — еды за это больше получим.

Старик Еропкин покрутил головой — терять винтовку ему не хотелось. На дне телеги, под сеном, под дерю-

гой, совершенно невидимая и неощутимая, у него лежала новенькая, в заводской смазке, хорошо обмотанная тряпками трехлинейка. Заветную винтовочку эту старик Еропкин никому не показывал... Было удивительно, что поручик ее обнаружил. Интересно, как обнаружил, чем? Хребтом своим, что ли? Либо крестцом?

— У меня есть вот что, — сказала Варя, сунула руку в карман вязаной кофты, достала оттуда крохотную железную коробочку.

Поддела ногтем крышку коробочки. На черной бархатной подстилке лежал изящный перстенек с синим блескучим камешком.

— Сапфир, — неожиданно погрустневшим голосом произнес поручик, — очень чистый, с хорошей огранкой. Держите-ка, Варюша, это кольцо при себе.

— Сапфир этот мне дядя привез с Мадагаскара, когда эскадра Рожественского в конце девятьсот четвертого года шла на выручку Порт-Артуру, то на несколько дней заходили на остров, где производят масло еланго-еланго. — Видя, как удивленно блеснули глаза старика, Варя пояснила: — Это по части дела, к мужчинам не имеющего никакого отношения — связано с парфюмом. Масло идет оттуда прямо в Париж для производства ароматизированных жидкостей... Поставляется только в Париж, и больше ни в один из городов мира. На местном рынке дядя и купил этот сапфир, а позже, в Москве, к моему шестнадцатилетию, камень огранили и поставили в это колечко.

— Видите, Варя, оказывается, камень — не просто память для вас, это целая история. Держите кольцо при себе, пожалуйста. Его нельзя менять...

— Но если у нас не будет продуктов, я готова им пожертвовать.

— Не нужно. Игнатий Игнатьевич обменяет на продукты винтовку. Этого будет достаточно. Винтовка ныне — более ценный товар, чем украшения. Я же, как поднимусь, добуду пару винтовок в запас. На всякий случай.

— Запас карман не трет. — Старик Еропкин кряк-

нул. Расставаться с винтовкой ему очень не хотелось. Но и выхода другого не было. Поручик прав — винтовку надо обменять на харчи, не голодать же. Варино колечко трогать нельзя. По лицу деда пробежала тень, глаза посветлели. Он вновь вздохнул. — Только где его взять, запас-запасец этот?

— Найдем. Война любит всякие неожиданности, иногда такие подарки преподносит — м-м-м!

— Ладно, — согласился с поручиком старик, вытащил спрятанную винтовку, стянул с нее тряпки и ловко подкинул в руке.— Не карабин, конечно, в два раза тяжелее, но зато бьет так, как карабин не бьет... Не хуже пушки.

Остановились в лесочке неподалеку от богатого, поблескивающего жестяными крышами села: раз есть такие крыши — значит, люди здесь живут в достатке. Дед Еропкин соскочил с телеги, встал за куст, вгляделся в дома.

— Тихо уж больно, — сказал он, поежился. — Даже собаки не лают.

— Сытые, потому и не лают.

— В богатых селах люди живут жадные. Ну что, будем испытывать судьбу, ваше благородие, или нет?

— А почему бы и не испытать?

— Тревожно как-то... И тишь эта странная.

— Если бы вы знали, как я не люблю тишину. Самое противное, что может быть на фронте, — это тишина.

— Ладно, — решительным тоном произнес старик, подкинул в руке винтовку, сунул в карман две запасные обоймы. — Ждите меня с куренком, картошкой и двумя караваями хлеба.

Он еще раз выглянул из-за куста, перекрестился и боковой тропкой, в обгиб леса — тропка эта была хорошо обозначена, люди ходили по ней часто — двинулся в село.

Погода испортилась, хорошие деньки с серебристой паутиной и угасающим теплом бабьего лета остались позади, в кустах оживленно тенькали синицы, эти птички обязательно оживают, делаются говорливыми, когда наступает осень. Поручик и Варя смотрели вслед стари-

ку Еропкину, тот взгляд их чувствовал, старался держаться гоголем, походка его была прямой, как у молодого, голова весело вздернута.

Машинально подняв руку, Варя перекрестила его узкую, с выступающими лопатками спину.

Синицы стаей поднялись в воздух и исчезли. Сделалось тихо. Поручик поморщился: опять эта отвратительная тишина. Он повернул голову, увидел совсем близко от себя лицо Вари, услышал, как в ключицы его больно ударило внезапно заколотившееся сердце.

— Варя, — проговорил он и умолк.

Девушка взглянула на него выжидательно. В следующий миг у нее насмешливо дрогнули губы, в глазах задвигались, заполыхали крохотные огоньки. Взгляд сделался лучистым. Но через несколько мгновений глаза затуманились, в них вспыхнуло что-то яркое и погасло...

— Варя, — вновь тихо, с просительными нотками проговорил поручик и вновь умолк.

На лице у него появилось мучительное выражение, будто у гимназиста, который, стоя у доски, силится что-то вспомнить, произнести заветные слова ответа, но не может — у него скован язык, скованы мозги, сковано все — таким беспомощным, немым ощутил себя и поручик Павлов.

— Что? — угасающим шепотом отозвалась та.

Павлов боролся с приливом щемящей нежности, схожим с теплым морем — в море этом можно было утонуть, — беззвучно шевелил губами и удивлялся тому, что с ним происходит.

— Варя! — В горле поручика возникло жжение, отяжелевший язык пристрял к нёбу, поручик с трудом пошевелил им, снова подивился собственному состоянию — такого с ним еще не случалось никогда. — Варя...

Все было понятно без слов. Варя неожиданно рассмеялась. Смех ее был легким, радостным, зовущим. Поручик улыбнулся, опустил голову. Над ближайшим деревом вновь зависла стая синиц, накрыла его желто-серым говорливым облаком, на соседнее дерево рухнула

стая снегирей, красногрудых, важных — совсем не таких, как шустрые суетливые синицы, на синиц снегири поглядывали свысока, — и Варя замерла с восхищением: в свинцовом мертвенном дне, по-настоящему уже осеннем, обозначились живые краски.

— Красиво как, — прошептала она.

Над селом разорвалось небо — грохнул выстрел. Павлов, приподнимаясь, сделал неловкое резкое движение, охнул — боль проколола его, на бинте проступило крохотное пятнышко крови.

Грохнул еще один выстрел.

— Варя, берите вожжи, — скомандовал Павлов. — Похоже, дед наш попал в беду. Надо выручать.

Варя проворно прыгнула в телегу, по-девчоночьи поджала под себя ноги, тряхнула вожжами:

— Но-о!

— Давайте в деревню, — поручик вновь поморщился, — разворачивайте телегу.

Навыков по части того, как управлять конем и телегой, у Вари не было, развернула она телегу неуклюже, плоско, под большим углом, задела за огромный дырявый комель и чуть не свалила раненого на землю.

— Простите, Саша, — прокричала она испуганно, хотела сказать что-то еще, но тут конь мотнул головой, стараясь вырвать у нее вожжи, он чувствовал чужую руку и сопротивлялся, попытка ему едва не удалась, — и испуганно прижал уши к холке, когда Павлов рявкнул из-за Вариного плеча:

— Тих-ха!

Конь присмирел — почувствовал в голосе поручика силу, гладкий волос у него на спине пошел дрожью: после таких выкриков его обычно огревали плеткой. Но на этот раз обошлось без плетки.

— Пошел, пошел быстрее! — закричала Варя; небо над селом вновь вздрогнуло от выстрела. На плоской, хорошо протоптанной дорожке, ведущей к селу, показался человек — он бежал согнувшись, едва ли не на четвереньках, шарахаясь то в одну сторону, то в дру-

гую, делал прыжки, за ним из села неслись двое дюжих мужиков, размахивая винтовками.

— Улю-лю-лю, — весело проорал один из них, на бегу вскинул винтовку и пальнул в скачущего перед ним человека.

Тот по-заячьи проворно и ловко сделал прыжок в сторону.

— А ведь это наш Игнатий Игнатьевич, — ахнула Варя.

— Он самый, — подтвердил поручик, вскинул винтовку, повел стволом чуть вбок и выстрелил.

Дюжий мужик, который только что весело улюлюкал, недоуменно остановился и задрал голову к облакам. Он так и не понял, что с ним произошло. Винтовка выпала безвольно у него из рук, некоторое время мужик стоял, задрав голову, а потом стек вниз, словно подрубленный. Его напарник, азартный, плюющийся на ходу, горластый, продолжал нестись за «дичью» — еще немного — и навалится на бедного «зайца», сомнет его, — орал самозабвенно, оглушая самого себя, небо, землю, округу, заставляя невольно вздрагивать пространство:

— Улю-лю-лю-лю!

Поручик, морщась, передернул затвор — и стрелять, и вышибать из ствола старый патрон, а на его место загонять новый было трудно, боль просаживала плечо, — извернулся, ладонью здоровой руки поставил затвор в рабочее положение. На лбу у него выступил пот; Павлов, борясь со слабостью, протестующее помотал головой.

— Сейчас это горластое «улю-лю» я загоню тебе обратно, — угрожающе пробормотал он, — чтобы оно никогда больше не вылезало наружу.

Бегущий мужик уже пластался над землей, задыхался; воздух, который он захватывал ртом, больно рвал ему грудь, красное лицо густо заливал пот; ему казалось, что он вот-вот дотянется до отчаянно удирающего от него дедка, прихлопнет его, но слишком уж был проворен этот старый верткий бегун, не настичь... На бегу преследователь выбил из винтовочного ствола стреляную гиль-

загнал новый патрон, хотел было выстрелить, но что-то сдержало его — то ли то, что он не слышал громких воплей напарника, подстегивавших его на бегу, то ли пот начал выедать ему глаза и ноздри — точно так же, как выедал и удирающему от него старику, то ли почувствовал что-то... Мужик остановился, оглянулся.

Душный ужас стиснул ему горло — он увидел напарника своего, Федьку Горластого, владельца бакалейной лавки, по-куриному дергающегося в сухой высокой траве.

— Федька! — ахнул мужик задавленно, развернулся и, выронив винтовку, понесся обратно, в село. Лицо у него, искаженное ужасом, сделалось плоским, вывернулось наизнанку, и без того мокрое, оно просто залилось едким потом: — Федька-а! Федька-а!

Он кричал, звал напарника, но уже не видел его; не останавливаясь, перемахнул через лежащее тело и понесся дальше. Потом, словно вспомнив, как бежал преследуемый им человек, какие восьмерки крутил, резко шарахнулся в сторону, перепрыгнул через валун, вросший в землю, затем шарахнулся в другую сторону...

Поручик опустил винтовку.

— Этот человек теперь две недели в погребе прятаться будет, — произнес он холодным жестким голосом.

Варя не слышала его, продолжала шлепать вожжами по крупу коня:

— Но! Но!

Старик Еропкин, бежавший к ним, неожиданно рухнул на землю, перевернулся несколько раз, вскочил и, увидев телегу, призывно замахал руками.

Варя натянула вожжи — побоялась, что конь понесет, свалит дедка с ног, но конь сам все понял, остановился около хозяина, потянулся к нему.

Дедок повис на конской морде, запричитал жалобно, потом дрожащими руками прошелся по оглобле, словно хотел проверить ее на прочность, и перевалился в телегу.

— Поехали отсюда! — просипел он.

— Где продукты? — спокойным тоном спросил поручик.

— Нет продуктов.

— Тогда куда делась винтовка?

— Отняли. А самого едва не убили.

— Э-э, так не годится. Винтовочки мы заберем. Одну в погашение долга, другую как трофей. Варюша, вон винтовочки валяются.— Павлов говорил так, будто видел валяющуюся в траве винтовку, но винтовку он не видел, — подъезжайте-ка к ней.

Варя повиновалась, винтовку она, в отличие от поручика, видела, подъехала к ней, спрыгнула с телеги.

— Барышня, погодите, это должен сделать я, — покрутив головой и вытряхнув из себя остатки звона, прочно сидевшего в ушах, просипел дед, — это мое дело. — Но сил у старика не было, он выложился весь, пока удирал от двух мордоворотов; поняв, что не сможет перевалиться сейчас даже через борт телеги, угрюмо повесил голову. Зашелся в хриплом саднящем кашле.

Не слушая деда, Варя ловко подхватила винтовку, уложила ее в телегу вдоль борта, в свалявшееся сено, накрыла рядном.

— Варя, вторую винтовку тоже надо взять, — сказал Павлов. — Не боитесь убитых?

— Не боюсь. Крови я видела больше, чем положено.

— Тогда — вперед!

Пуля разворотила крикливому мужику грудь, из рваной раны с громкими булькующими звуками выхлестывала кровь — хотя человек этот и был уже мертв, здоровое, как у быка, сердце продолжало работать. Смотреть на мужика было страшно. Но Варя не дрогнула — ловко взяла винтовку за ремень и забросила ее в телегу, произнеся буднично, словно закончила перевязывать руку:

— Все!

— А теперь отсюда — аллюр три креста! — скомандовал поручик. — Через пять минут здесь половина села будет.

Поручик знал, что говорил, — в селе громыхнули сразу два выстрела подряд, дуплетом, один выстрел слился с другим.

— Как бы они за нами конников не пустили, — неожиданно озабоченно, со знанием дела проговорила Варя.

— А толку-то? Мы нырнем в лес, и все — ищи нас, свищи! Нет, Варюша, нас они уже не найдут. А с другой стороны, даже если и найдут — мы отобьемся. Винтовочных стволов у нас стало на один больше. Давайте в лес, Варюша, в лес! В лесу, метров через двести, будет просека. Гоните до этой просеки...

Глаз у поручика оказался верный. Он заметил то, чего не заметили ни Варя, ни старик Еропкин — в глубине леса влево действительно уходила кривая замусоренная просека.

— Сворачивайте на нее, Варя!

Варя послушно дернула вожжи, поворачивая коня; старик Еропкин, уже пришедший в себя, перехватил их, проехал внутрь просеки и там свернул направо, в лес, в высокие, начавшие багрянеть кусты.

— Стоп! — тихо произнес поручик, передернул затвор винтовки, загоняя патрон в ствол. — Переждем здесь.

Старик Еропкин тоже взял винтовку в руки.

— Патроны у нас есть? — спросил поручик.

— На сегодняшнее утро в наличии было десять обойм. Две я профукал. Осталось восемь.

— С таким количеством патронов можно держаться несколько часов, — произнес Павлов с легкой, сделавшей его лицо печальным, усмешкой, — а если экономить, то, глядишь, не только день продержимся, но и ночь.

В ответ старик благодарно мотнул головой — принял эти слова за похвалу.

Над деревьями пронесся ветер, посшибал листья с веток — пестрый желто-красный дождь закружился над лесом; где-то недалеко, в густотье недобрых елей громко заорала перепуганная ворона, ей отозвалась вторая.

— Тихо! — предупредил поручик.

Неподалеку послышались голоса, смолкли, через несколько минут по дороге рысью проскакали человек пять всадников. Держались они кучно, боялись растягиваться — и правильно делали. Всадники оглядыва-

лись по сторонам, вид у них был растерянный, лица плоско белели в просветах кустов.

— Смерть наша поскакала, — сказал старик.

— Это мы еще посмотрим, чья смерть, — спокойно проговорил поручик.

Минут через двадцать всадники, ругаясь, плюясь, щелкая плетками, проехали обратно.

— Куды ж они подевались, не пойму, — громко разорялся один из преследователей, похоже, старший — рыжеусый, с широким упитанным лицом и колючими глазами мужик, — сквозь землю провалились, что ли?

— Да у них кони были, — втолковывал ему, заглядывая под локоть, белобрысый мужичонка с клочкастой редкой бородкой, росшей странными кочками — в одном месте гнездился островок, в другом островок, в третьем, в четвертом, в промежутках между островками белела чистая, без единого волоска, кожа — она словно кислотой была обработана. — Сели на коней и были таковы. Мы их в лесу ищем, а они уж давно на тракте.

— Ну, попадись мне этот старый гриб, который винтовку в обмен на картошку приволок, я ему живо рожу на задницу натяну — на пачпорт вместо рожи задницу будет фотографировать! — Старший щелкнул плеткой по голенищу сапога.

— За неимением другого будет жопу свою властям предъявлять. — Собеседник старшего угодливо засмеялся. — Главное, чтобы она не воняла.

У просеки всадники остановились, оглядели ее — собеседник старшего заметил тележный след, ткнул в него пальцем.

— Это Митька Косой за дровами вчера вечером сюда ездил, я точно знаю, — успокоил клочкобородого напарника старший, — это его телеги след.

Отряд Каппеля отступал на восток, отступал по всем правилам грамотного отхода — с охранением позади, с разведкой впереди, с конными разъездами, выставленными по бокам. Военную науку Каппель знал на

«пять». Что было плохо — его по рукам и ногам связал гражданский обоз, приставший к колонне, — с таким обозом ни о какой маневренности даже думать не приходилось. И оставлять этих людей было нельзя — их быстро обчистят, оберут до нитки.

Каппель смотрел на обоз, поигрывал желваками и молчал.

— Может, дать обозу охрану и пусть дальше следует самостоятельно? — предложил Вырыпаев Каппелю. — С охраной обоз не пропадет.

— Пропадет, — не согласился с артиллеристом Каппель. — Это — наш крест, который придется тащить на себе.

— Так всегда, — пробормотал Вырыпаев, — одни носят свои кресты в петлицах, другие на спине.

— Расхожая истина, — Каппель усмехнулся, — я ее уже от кого-то слышал. Гражданский обоз бросать нельзя. Нам Господь это не простит.

Вырыпаев покачал головой недовольно, отъехал на коне в сторону, пропуская пешую колонну. Гулко шлепали о землю сапоги, воздух поднималась едкая пыль.

Колонна шла молча. Раньше было так: чтобы поднять настроение, кто-нибудь обязательно затягивал песню, колонна дружно подхватывала ее, лица светлели, делалось легче дышать, но сейчас этого не было — лишь взметывалась из-под каблуков пыль, невесомая, серебристо поблескивающая, повисала в воздухе, превращаясь в неподвижное облако и долго не опускалась на землю.

К Вырыпаеву на коне подъехал Синюков, мрачно покосился на идущих солдат:

— Никогда не думал, что после летней кампании, когда мы с лету брали города, будем отступать.

— Отступление — штука временная, — убежденно произнес Вырыпаев. — Отступление надо познать также серьезно и глубоко, как и наступление. Это — маневр.

— Твоими устами, Василий Осипович, мед бы пить.

— Я — оптимист, Николай Сергеевич. И — верующий человек. Верю в то, что Господь нам поможет.

— Я проверил обоз, осмотрел подводы с ранеными. Нет Павлова — потерялся он. Вместе с сестрой милосердия и возницей.

— А не мог он пристрять к какому-нибудь хутору да сыграть с сестрой милосердия свадьбу? А возницу сделать посаженым отцом, а? Я этого возницу знаю.

— Насчет свадьбы — исключено.

— В таком разе поручика жалко. — Вырыпаев постучал черенком плети по луке седла. Лицо у него было усталым, в голове, в висках, появились редкие седые волосы. — Что ты предлагаешь?

— Послать кого-нибудь на лошадях в поиск. Павлов — человек дисциплинированный. Направление, по которому идет армия, может не только ноздрями — бровями ощутить. Раз отстал — значит, с ним что-то произошло.

— Не хотелось бы. — Вырыпаев поморщился. — Поручик заслуживает лучшей доли, чем гибель в тылу от пули какого-нибудь бандита в сапогах, сшитых из вонючей ворвани.

— Не будем терять время, Василий Осипович.

— Правильно, — одобрил предложение полковника Вырыпаев. — Мобилизуй небольшую группу... Это надо. Кого пошлешь?

— Просится прапорщик Ильин.

— Не знаю такого.

— Да знаешь ты его. Друг Дыховичного, который застрелился.

— Ильин — слишком распространенная фамилия. Ладно, посылай прапорщика. Дай ему двух человек и подмогу.

— Командующему будешь докладывать?

— Незачем. У него и без того голова кругом идет. Кто еще, кроме Ильина, был близок к прапорщику?

— В роте у него было много ижевцев. Легендарные люди... Но ижевцы все ушли. Жаль, нет этого... — Синюков помотал рукой, силясь вспомнить фамилию Дремова, но не вспомнил, набычился упрямо, снова помотал в воздухе рукой.

Вырыпаев невольно погрустнел: таких людей, как ижевцы, в отряде Каппеля сейчас не хватало.

— Посылай людей в поиск, — сказал он. — Только точно сориентируй их, куда, в какое место им надо возвращаться... Иначе угодят прямо в руки к Тухачевскому.

— Да. Бывший гвардии поручик будет этому очень рад.

Ижевцы продолжали держаться.

Рабочие дружины, дравшиеся в одних рядах с Каппелем, вернулись домой — на своей сходке они решили, что надо защищать родные заводы, иначе придет Троцкий со своей командой — худо будет всем, он все порушит.

На подступах к заводам по всем правилам военного искусства были отрыты окопы в полный профиль, собраны боеприпасы, города Ижевск и Воткинск обнесли тремя рядами проволочных заграждений.

Общим сигналом для немедленного сбора рабочих, которые даже у станков продолжали стоять с винтовками, были заводские гудки.

По гудкам ижевские и воткинские работяги, среди которых не последним человеком был Дремов, заполняли линии окопов, по заводским гудкам шли и в атаку.

Дремов уже несколько ночей подряд спал урывками — час-два в сутки. Лицо его от бессонницы сделалось черным, глаза провалились — маска мертвого человека. Он должен был давным-давно согнуться, рухнуть, будто подрубленное дерево, но Дремов стоял на ногах, в глубоко запавших глазах его загорались и тут же гасли, делались невидимыми некие упрямые свечечки. Напарником у него был кузнец Алямкин — рослый, под два метра человек в маленьких, с близко посаженными стеклами очочках, с пудовыми кулаками; когда под руками ничего не оказывалось, Алямкин дрался кулаками — крушил ими все подряд, как двумя кувалдами.

Алямкин считал себя коммунистом — он прочитал всего Маркса, фундаментальный труд его, «Капитал», цитировал наизусть, а вот большевиков Алямкин не лю-

бил, Ленина не признавал, называл его картавым треплом... Вот такой это был человек, Митяй Алямкин.

— Ну что, выдюжим мы или нет? — спрашивал он у Дремова, и голос его выжидательно вздрагивал, по потному круглому лицу пробегала тень, глаза за крохотными стеклами делались беспомощными. — Погонят нас отсюда или нет?

— Если бы я знал, Митяй, — лицо у Дремова было тусклым, страшным, Алямкин всякий раз, когда видел это лицо, вздрагивал, — уж слишком большая силища против нас прет — целая армия. Ар-ми-я. — Дремов в назидательном жесте поднимал указательный палец.

Дремов знал, что говорил: для того, чтобы плотно обложить Ижевск и Воткинск, была специально создана Вторая армия Шорина, солдатскую повинность в ней, так же как и в ижевских и воткинских дружинах, несли работяги — жители Пензы, Казани, Свияжска.

Одни работяги — рукастые, с отбитыми пальцами, с вечной масляной грязью, застывшей под ногтями, были молотом, другие — такие же работяги — были наковальней. В общем, из искры разгорелось пламя, и не щадило это пламя никого — ни своих, ни чужих.

— Разведчиков за окопы не посылал? — спросил Алямкин.

— Посылал. Недавно вернулись.

— И что?

Дремов пошевелил черными, в сухих скрутках кожи губами, болезненно дернул щекой:

— Враг близок.

Разговор происходил в заводском цехе, на патронной линии, налаженной еще четыре года назад, в туманном сентябре четырнадцатого года, когда царь Николай Александрович объявил в России всеобщую мобилизацию. Грохотало два станка — завод не останавливался, часть рабочих не покидала линию ни днем, ни ночью— дружинам нужны были патроны.

Конечно, им вряд ли удастся устоять против такого напора — это Дремов понимал хорошо, но держаться

они будут до последнего, и если этот неведомый Шорин считает, что возьмет Ижевск и Воткинск с нескольких тихов, то он глубоко ошибается.

Алямкин неожиданно вытянул шею, прислушался. Дремов тоже настороженно поднял голову.

— Чего, Митяй?

— Вроде бы заводской ревун включили... Слышишь?

— У меня в ушах давно уже все ревет, ничего не различаю. Да и в цеху грохот.

Заводской гудок-ревун — это сигнал тревоги.

Через минуту оба этих степенных мужика, Дремов и Алямкин, тяжело дыша, неслись к боевым позициям, к окопам, где находились их товарищи.

На ижевцев наступал красный мусульманский полк.

Неподалеку от окопов находилась приземистая, наполовину вросшая в глиняный взгорбок старая избушка, в которой хранились бочки из-под машинного масла, в избушку эту с воем врезался снаряд. Дремов и Алямкин проворно шлепнулись на землю, прикрыли головы руками. Избушку разнесло по бревнышку — они лишь покатились в разные стороны, полетели щепки, черная обвязка, матицы, исковерканная железная тара. Над людьми с воем пронеслась дырявая металлическая бочка, врезалась в станину железнодорожной платформы, пригнанной на завод для ремонта. Дремов, лежа, перекрестился — он был верующим человеком.

Алямкин же выругался:

— Вот идолы кривоногие!

Они поднялись, побежали дальше, к окопам, на участившийся винтовочный стук.

На рабочие окопы продолжал наступать красный мусульманский полк.

К вечеру от этого полка не осталось ничего — даже полевой кухни, обслуживавшей комендантскую роту и штаб полка. Кухня с весело чадившей узенькой черной трубой неожиданно вырвалась вперед, к самим око-

пам ижевцев и была захвачена вместе с поваром и содержимым котла. Полк был разбит наголову.

Дремов сидел в окопе на поставленном на попа патронном ящике, свесив между коленями тяжелые, гудящие от боли и усталости руки. Изредка он поднимал голову, упирался взглядом в неровно оплывшую стенку окопа и вновь засыпал с открытыми глазами. Голова его тут же опускалась сама по себе.

Алямкин по-крабьи, боком, обходя спящих в окопе людей, подобрался к нему, сел рядом — около Дремова валялось несколько патронных ящиков, на них было удобно сидеть, — хотел было потрясти товарища за рукав, но не стал, пожалел — слишком тот измотался, пусть поклюет малость носом.

Когда Дремов вновь поднял голову и скользнул мутным взглядом по стенке окопа, Алямкин позвал его:

— Слышь, Дремов!

— Ну! — отозвался тот, с трудом разлепив сухие, спекшиеся в неровную твердую линию губы.

— К заставе нашей, за городом, прибилась телега с тремя людьми. Каппелевцы. Старший из них, поручик, говорит, что знает тебя.

— Может быть. Кто таков?

— Павлов его фамилия.

— Павлов, Павлов... — Дремов, вновь уходя в сон, пожевал губами. — Знаю такого. –У него перед глазами возникло и тут же пропало помещение, залитое огнем, заполненное дымом, возникло и стремительно исчезло, а с ним исчезло, словно растаяло, оживленное, испачканное копотью лицо поручика с лихорадочно блестящими от горячки боя глазами и хмельной белозубой улыбкой. — Знаю такого, — повторил Дремов и опять уронил голову на грудь.

— Он — раненый. Два пулевых ранения в плечо.

— Что же ты, Митяй, об этом сразу не сказал? — произнес Дремов из глубины своего сна. — Немедленно оказать медицинскую помощь. И — напоить, накормить, обласкать... Понял?

— С ним — сестрица... С красным крестом на рукаве. Милосердная, значит. Красива-ая-я, — восхищенно протянул Алямкин.

Но Дремов уже не слышал его — спал.

— Чуешь, Дремов, — Алямкин вновь аккуратно дернул его за рукав, — ты слышал, чего я сказал?

— Накормить и оказать медицинскую помощь, — неживым голосом, будто из какой-то пещеры, с ее забитого мороком дна, произнес Дремов. — Поручика Павлова я помню. И сестру милосердия помню. Позже я повидаюсь с ними.

— Й-есть! — поняв, что Дремова ему не разбудить, послушно, по-воински проговорил Алямкин, поднялся в окопе во весь рост. — Еще убитых надо похоронить. И своих, и чужих Не то завоняют... Эхма!

Он повертел головой из стороны в сторону и кривовато, по-крабьи ступая сапогами по влажному глинянному дну окопа — разбитому, с втоптанными в рыжую мякоть гильзами, страшновато чернеющими кровяными лужицами, старательно обходя спящих, удалился. Метрах в двадцати вылез из окопа и тут же, чтобы не словить своей сутулой спиной пулю, которая могла прилететь откуда угодно, даже из заводского цеха, нырнул за деревянный сарай, используемый предприимчивым хозяином под баню, потом нырнул за будку, затем, пригнувшись низко, едва не шлепая коленями о подбородок, перебежал открытую поляну исчез за большим, сложенным из цельных бревен домом-пятистенкой.

Похоронить убитых не удалось — на месте смятого мусульманского полка возникло два новых, свеженьких, при пулеметах и орудиях, и с ходу начали атаку на позиции ижевцев.

Впереди атакующих бежал, то спотыкаясь и ныряя вниз, то вновь поднимаясь и устремляясь на окопы, невысокий крепкий усач с красным флагом в руках.

— Может, подшибить его? — спросил Алямкин

у Дремова, покрепче притискивая к плечу приклад трехлинейки. — Я его из винтовки живо сощелкну.

— Не надо. Пусть пока бежит. Нужно поближе подпустить всю цепь и ударить по ней залпом. Треть точно уложим.

— Это что же такое делается? — неожиданно жалобно проговорил Алямкин. — У них флаг красный, и у нас флаг красный, мы обращаемся друг к другу «товарищ», и они обращаются, у них воинские звания отменены, и у нас отменены... Кого же мы, Дремов, колотим? Своих?

— А ты что, не видишь, кого мы колотим?

— У них власть советская, и у нас власть советская, они в атаку идут с «Варшавянкой», и мы поем ту же песню. Может, нам не надо колошматить друг друга?

— Надо!

— Зачем? Почему? По какому такому писаному правилу?

— Писаных правил нет и не будет. А бить мы их будем до тех пор, пока они не отойдут от большевиков и не вынесут своего Ленина на помойку. И вообще, Митяй, не засоряй мне мозги перед боем, не порти настроение. Ладно?

В ответ Алямкин пробурчал что-то невнятное.

— И вообще, мотай лучше в цеха, снимай оттуда всех людей. Драка предстоит нешуточная. — Хриплый голос Дремова был просквожен насквозь.

Длинная плотная цепь красноармейцев приближалась; чувствовалось, что люди эти хорошо обучены, умеют владеть и штыком и винтовкой, если понадобится — пулеметами подстригут и ижевцев, и воткинцев, как траву. Осознание того, что более жестоких людей, чем соотечественники, нет на белом свете, рождало в Дремове далекую сосущую тоску, он лишь закусывал губы, крутил головой неверяще и делался мрачнее обычного. Не нравилось ему все это.

Было понятно, что долго они не продержатся, сейчас навалятся красные, подопрут, надавят посильнее — и придется Дремову отсюда уходить.

Думать об этом не хотелось, но и не думать тоже было нельзя.

Тем временем под боком снова возник Алямкин, отер рукой отсыревший нос.

— Так быстро? — удивился Дремов, поморщился от неприятного внутреннего холода. — На ковре-самолете, что ли, слетал?

— Ага, на ковре-самолете. Задница тут, пятки там. Послал двух гонцов в цеха, ноги у них все равно длиннее, чем у меня — они быстрее людей соберут.

Дремов недовольно пожевал губами: не любил, когда приказания его выполнялись не так, как он велел, но придираться к товарищу не стал, лишь произнес глухо, не слыша собственного голоса:

— Ладно.

Окопы молчали — ни голоса, ни шепота, ни нервного передергивания винтовочных затворов. Наступающая красноармейская цепь тоже молчала, накатывалась на окопы почти беззвучно, грозно, рты у наступающих людей были открыты — запыхались красноармейцы. Вместо ртов — черные дыры.

— Подавай команду, — прошептал Алямкин; тихий смятый шепот его прозвучал громко, будто крик, был услышан многими, как многие услышали и ответ Дремова:

— Рано еще. Надо подпустить их поближе.

Одним из наступающих полков командовал сосед поручика Павлова по Елецкому имению — Михаил Федянинов, решительный, статный, с волевым лицом, неплохо умеющий воевать. Фронт германский он, как и его сосед, прошел недаром — бил немцев там успешно — впрочем, как и немцы били его, — умел наступать и отступать, хотя выше командира роты на войне он не поднялся. Собственно, как и поручик Павлов.

Дремов, покусывая ус, приложился к винтовке и взял на мушку знаменосца, прошептал едва приметно:

— Приготовиться!

Алямкин продублировал команду, пустил ее по цепи:

— Приготовиться...

— Пли! — скомандовал Дремов.

— Пли!

В то же мгновение взорвался, раскалываясь на куски, воздух, потом взорвался еще раз...

Бой, то затихая, сходя на нет, то усиливаясь, громыхая, шел несколько суток.

Противостоять силе, навалившейся на Ижевск и Воткинск, рабочие дружины не смогли.

Вскоре по коридору, который удерживали ижевцы, на восток покатились телеги. На скарбе гнездились бабы, старики со старухами, лица — заплаканные, плоские, глаза — изожженные. Кое-кто вез в телегах мебель — то, что подороже, что было нажито непосильным трудом — шкафчики с хрустальными стеклами, кресла с резными спинками, на одном из возков стоял даже письменный стол, притянутый пеньковой веревкой к бортам телеги, чтобы не свалился. Дремов, черный, безголосый, безглазый, превратившийся в кость — на исхудалом темном лице белели только пшеничные усы, — поморщился, выдохнул запаренно:

— А мебель зачем? Все равно ее выбрасывать придется... А? Лошадям только нагрузка ненужная, из-за этих буржуйских приляндрясов ноги себе побьют... Тьфу!

Но заставить кого-либо бросить нажитое, кресло с резной спинкой или некий атласный трон с золочеными по-царски подлокотниками было невозможно — бабы немедленно поднимали вой... Дремов в конце концов махнул рукой: пусть едут!

Среди повозок затерялась и телега старика Еропкина — дед также занял место в длинной череде подвод. Вскоре начали свой отход и рабочие дружины.

Наступили холода.

И Каппель со своим отрядом, и рабочие дружины двигались на восток, к Уралу, хотя конечной точкой отступления был не Урал — была Сибирь, где к этой поре сосредоточилось мощное войско.

Многие теоретики потом — когда уже все утихло и прошло немало лет — пришли к выводу, что именно Каппель со своими товарищами дал возможность сформироваться большой воинской силе, которую вскоре возглавил Колчак.

Если бы не Каппель, красные задавили бы белогвардейское движение в Сибири в самом зародыше, ничего бы там не было — глядишь, и судьба Колчака, героя японской кампании и Великой войны, сложилась бы иначе, и имя его не было бы замарано политикой. Но получилось так, как получилось. Как всегда, в общем.

Двадцать второго сентября 1918 года объединенные силы красных начали операцию по захвату Самары. С севера наступала Первая армия, с запада — Пятая, с юга — Четвертая. Удержать Самару было невозможно.

Седьмого октября Самара пала. Еще раньше — третьего октября — пала Сызрань.

На Волге остались огромные склады, которые здорово пригодились бы любому войску, но нет — руководители Комуча сидели на них, как на золотых яйцах — никому не отдали. Одного только сукна на складах осталось на пять миллионов рублей золотом — не керенками, которыми устилали дороги и, посмеиваясь, вешали на гвоздь в нужниках, а именно — золотом. Что уж говорить о машинах, об инженерном оборудовании, винтовках и патронах — этого добра на складах также оставалось полным-полно.

Волга для белых оказалась безвозвратно утраченной — больше сюда они не вернулись.

Ижевск, в котором еще долго шли бои — отчаянные перестрелки все вспыхивали прямо на улицах, — окончательно пал седьмого ноября.

Перестал существовать коридор, по которому уходили беженцы, — его перерезали. Прорывались заводчане в сторону Уральских гор с отчаянным боем. Прорвались не все.

В задымленном, обугленном от боев городе были в первый же день расстреляны восемьсот человек.

Начинался новый этап борьбы за землю Российскую. Кто победит — красные или белые — непонятно. У тех и других была своя правда, и они за эту правду дрались.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОХОД НА ВОСТОК

Никто не видел, чтобы Каппель когда-нибудь прикреплял к мундиру ордена: носил он только знаки Николаевского кавалерийского училища и Академии Генерального штаба, а также георгиевскую ленточку, указывающую на то, что Каппель награжден орденом Святого Георгия, и все.

Когда у него спросили, почему он не носит наград, Каппель ответил суховато и очень просто:

— Я воюю не за ордена.

На фронте же Каппель не носил и серебряных знаков, словно считая их принадлежностью некой прошлой жизни, оставшейся далеко позади, — той самой жизни, которая никогда уже не вернется.

Холода обрушились на землю внезапно, стиснули, сдавили ее так, что все стежки-дорожки, насквозь промороженные, начали звенеть стеклисто; снег на землю не лег, и мороз постарался сильнее сдавить голую беззащитную плоть. Старики озадаченно чесали голые макушки:

— Беда!

Понятно, что беда, только какой она будет, что принесет? То ли скот падет от бескормицы, то ли люди от чумы

тысячами лягут вдоль дорог, то ли сама земля, по которой мы бегаем, как мошки, опрокинется, и посыпят людишки с нее, словно лишний сор... Старики на эти вопросы не знали ответа и вновь удрученно чесали лысины:

— Беда!

Отряд Каппеля оброс людьми, превратился в крупную воинскую группировку. Отступая от Симбирска, она вобрала в себя все мелкие разрозненные части, пополнилась беженцами. Обозы растянулись на несколько верст, и Каппель никому не давал обижать их. Каждый день происходили стычки.

У Мелекесса Каппель, спасая казанскую группировку белых, также отходящую на восток, к Уфе — а до Уфы было без малого четыреста километров, дал большой бой. Красные части сумели обойти Каппеля и встать между ним и казанскими, а через некоторое время вообще взять казанцев в мешок — Тухачевский воевал талантливо. Эти два противника — Каппель и Тухачевский — были достойны друг друга.

У красных и сил было больше, и вооружены они были лучше. Наступали они на Каппеля несколькими волнами, одна лава за другой, и когда уже казалось, что они смяли Каппеля, тот неожиданно поднял людей в атаку. И снес красных. В прорыв хлынули казанцы, слились с громоздким отрядом Каппеля.

Образовавшемуся соединению дали название Волжской группы.

Каппель двинулся дальше, к Уфе, отбиваясь от красных, теряя людей, с боем добывая еду и патроны, почти без снарядов. Пушки он не бросил, пушки берег как зеницу ока: сегодня снарядов нет, но завтра они будут обязательно. А без пушек армия — не армия.

Впрочем, самым большим, сильно досаждающим врагом у Каппеля был не Тухачевский, не красные, а холод. Люди замерзали без теплых вещей, а взять их было негде, и тогда Каппель послал в Омск, где разместило свою штаб-квартиру новое российское правительство, подполковника Вырыпаева.

— Василий Осипович, тряхни их основательно, — попросил Каппель, — пусть выдадут полушубки, бурки, башлыки, валенки, шапки... Ведь все это есть на складах, я знаю. Попробуй добраться до военного министра. Поезжай, пожалуйста!

И Вырыпаев поехал.

К военному министру он не попал — слишком высокого полета оказалась птица, — попал лишь к главному интенданту.

Тот водрузил на нос пенсне и колко глянул на Вырыпаева.

— Теплые вещи есть, но выдать их не могу, — сказал он. — Волжская группа у меня на учете не числится.

Вырыпаев вернулся ни с чем. Своих он нашел у реки Ин — остановились на берегу и спешно заняли оборону: мост через холодную, наполовину замерзшую реку был взорван, средний пролет лежал в воде, эшелоны — а Каппель сейчас двигался по железной дороге — остановились.

С запада наступали красные, передовые части. Их-то Каппель еще мог сдерживать, но вот когда подойдут основные силы — артиллерия, когда навалятся всей мощью, тогда конец — каппелевцы останутся лежать на этом берегу.

От того, как быстро будет восстановлена переправа, сам мост, зависела судьба всей каппелевской группировки.

Вырыпаев вошел в штабной вагон и, увидев, что в вагоне находятся двое незнаковых полковников — командиры казанских частей, вытянулся перед генералом и по всей форме доложил о поездке в Омск.

Невозмутимое лицо Каппеля дрогнуло, у губ образовались складки.

— Так ни одного полушубка и не дали? — неверяще переспросил он.

— Ни одного не дали.

Каппель неожиданно нервно помял в пальцах карандаш, которым помечал что-то на карте, рассказывая об

этих пометках казанским полковникам, швырнул карандаш на стол.

— Неужели нам и дальше придется снимать полушубки с убитых красноармейцев, тем и довольствоваться?! — воскликнул он.

— Думаю, что нет, ваше превосходительство, — вытянувшись, по-уставному ответил Вырыпаев.— Когда дойдем до Уфы — все изменится.

— Изменится или должно измениться? — резким, отвердевшим голосом спросил Каппель.

— Должно измениться, — поправился Вырыпаев.

Каппель вздохнул:

— Ладно. Будем воевать дальше.

В вагон вошел адъютант:

— Ваше превосходительство, инженеры на совещание собрались. В техническом вагоне.

— Иду!

Инженеры попросили на восстановление моста две недели.

— Раньше никак нельзя? — спросил Каппель.

— Раньше нельзя.

— Две недели — смерть не только для меня, но и для всего войска, — сказал Каппель.

— Мы и так прикидывали, господин генерал, и этак — ничего не получается: на подъем рухнувшего пролета уйдет ровно две недели.

— Можете быть свободны, — сказал инженерам Каппель.

Те, толпясь, толкая друг друга в спины, чтобы быстрее одолеть узкий проход, ушли.

Каппель задумался: что делать? Лицо у него, осунувшееся, постаревшее, словно лишилось жизни, даже глаза и те сделались неподвижными, какими-то мертвыми.

Через десять минут к Каппелю пришел прапорщик Неретник — он занимался тем, что восстанавливал перед отступавшими частями взорванные железнодорожные пути, вместе с солдатами ворочал рельсы и шпалы. Одет прапорщик был в дырявое полугражданское-полу-

военное пальто, на голове косо сидела измазанная паровозным маслом шапка, руки обмотаны какими-то черными тряпками, скулы и подбородок тоже были черными — прихватил мороз.

Прапорщик вскинул к шапке перевязанную руку.

— Завтра в двенадцать часов дня паровозы пойдут по мосту, ваше превосходительство, — неожиданно доложил он, — мост мы восстановим.

Лицо у Каппеля посветлело.

— Вот за это спасибо. — Он пожал прапорщику руку. — Огромное спасибо.

Неретник действовал без особого инженерного расчета, без формул и математических тонкостей — больше полагался на свою интуицию да на практическую хватку. Опыта ему было не занимать.

Он поставил по обе стороны рухнувшего пролета паровозы, к станинам этих тяжелых пыхтящих машин, зацепив за бамперы, привязал тросы, пропустил их концы через деревянные катки, чтобы острые закраины рухнувшего пролета не перерубили их, параллельно пропустил тросы дополнительные, страховочные — получилась целая система, довольно сложная — этакая путаница из толстых стальных нитей. Однако прапорщика этот путаный клубок нисколько не смущал, наоборот — вдохновлял.

Он попросил, чтобы ему дали кружку горячей воды — погреть руки, а заодно согреть и сильно озябшее нутро, весело подмигнул солдату, принесшему ему кипяток, и стал жадно, шумно отхлебывать кипяток из кружки.

— Вот что значит у человека остыло нутро — огня не ощущает, — сочувственно говорили солдаты, гревшиеся у костра.

— Он сам огонь — на работе горит.

Прапорщик этих разговоров не слышал — приплясывал на снегу да довольно поглядывал на мудреную путаницу тросов, так ловко им сплетенную. Только зубы прапорщика громко постукивали о горячий край кружки.

Выпив одну кружку кипятка, он потребовал вторую. Восхищенно пробормотал:

— Хорошо!

Точно такую же сложную систему тросов соорудили и на противоположном берегу, одной стороной стальные тросы прикрепили к паровозу, другую сторону подвели под рухнувшую ферму.

Вода в реке Ин была черная, дымилась, в быстром течении крутились спекшиеся куски шуги, обсосанные, будто по весне льдины, уплывали в туман, мороз никак не мог одолеть сильного течения реки.

Холодом, чем-то страшным, гибельным веяло от воды. Солдаты заглядывали в нее и спешно отступали.

— Гля, мертвяк плывет!

В воде, покрутившись немного около рухнувшей фермы, пронесся труп в красноармейской форме с широко раскинутыми отвердевшими руками и высовывавшимися из воды голыми пятками.

— Выловить бы надо, похоронить...

— Не успеем.

Труп скрылся в тумане, уплыл, будто некое судно, подгоняемое хорошим движком.

— Жаль, христианская все же душа!

От воды отрывались клочья влажного колючего пара, уносились в воздух, обжигали лица. Прапорщик тем временем добыл где-то жестяный рупор, которым пользовались боцманы на пароходах, притиснул его ко рту и выругался: железный окоем рупора не замедлил прилипнуть к влажным после очередной порции кипятка губам. Неретник покрутил головой, отер губы рукавом пальто и вновь поднес рупор ко рту, просипел жестяно:

— Начинаем! Машинисты, следите за моими командами!

Взревел, пустив струю пара, один паровоз, всколыхнул пространство лихим гудком, следом взревел паровоз на противоположном берегу:

— Натягивай трос!

Паровоз, медленно прокручивая колеса, пополз по рельсам, застучал металлом о металл. Тросы, распрямляясь, завизжали гневно, вышибли искры.

Солдаты, столпившиеся на берегу, удрученно качали головами, сморкались, сплевывали себе под ноги.

— Нет, ничего у прапора из этой затеи не выйдет. Сейчас тросы хряпнут, как гнилые нитки, и тем дело кончится.

— Надо отойти подальше. Такой трос, ежели порвется, изувечит за милую душу.

— И верно, братцы!

Прапорщик тем временем скомандовал «Стоп!» левобережному паровозу, дал отмашку машинисту, выглядывавшему из паровозной будки на противоположной стороне Ина:

— Натягивай тросы!

Вновь противно, вызывая изжогу и невольный холод в теле, заскрипела гибкая сталь, тросы натянулись, колеса паровоза заскользили по рельсам. Увидев это, прямо под колеса бесстрашно метнулся ловкий невысокий солдатик, притиснул к рельсам два громоздких башмака, отпрянул назад. Эти башмаки, склепанные из прочного металла, предстояло теперь двигать вместе с паровозом. Риск, конечно, большой — вдруг визжащее, вышибающее электрические брызги колесо наедет на живое тело, но выхода не было.

Через десять минут Неретник дал команду обеим машинам проползти одновременно по полтора метра. Скорость держать черепашью... Даже меньше, чем черепашью.

— Понятно, мужики?— прокричал он в рупор и, увидев, что оба машиниста дружно подняли руки, довольно кивнул, оторвал от обледенелой земли правый катанок, примерзший так прочно, что на ледяной корке остался валяный лохмот. — Поехали! — Прапорщик командно разрезал ладонью воздух. — Двигай!

Оба паровоза дружно взревели, словно имели одну общую глотку, тросы завизжали, затем визг перешел

в обычное натуженное кряхтенье, и обрушенная ферма медленно поползла из воды вверх.

— Давай, давай, милая! — возбужденно закричал прапорщик, потряс рупором; солдатская толпа, сгрудившаяся на берегу, возбудилась, заорала, перекрывая паровозные чихи, рявканье, шипение, рев:

— Давай, давай, давай!

Прапорщик покричал еще немного и велел одному паровозу остановиться — тот превысил скорость, получился перекос; второй, прокручивая колеса на рельсах, оскользаясь, продолжал ползти вперед — скорость у него и впрямь была черепашья (удивительная штука!), даже меньше, чем у черепахи — как у мокрицы. Прапорщик вновь махнул рукой, подавая команду остановившемуся паровозу:

— Двигай потихоньку вперед!

Паровоз окутался белым облаком, застучал сочленениями, потом бабахнул струей пара и медленно пополз вперед. Черные стальные тросы снова заскрипели. Неретник следил за ними — не высверкнет ли, не взовьется вверх какая-нибудь лопнувшая нитка... Черный рот у прапорщика провалился совсем, словно у Неретника не было зубов, ввалившиеся в череп глаза гноились.

Не оборачиваясь, он попросил:

— Братцы, принесите кто-нибудь от костра еще кружку кипятка.

Ему принесли кружку фыркающего, только что снятого с огня кипятка.

Прапорщик жадно приложился к кружке, отхлебнул и совершенно не почувствовал, что пьет кипяток; кипяток только и поддерживал его — ни хлеб, ни сахар не были нужны Неретнику, он держался только на кипятке. Выхлебав кипяток до дна, он поставил кружку на снег и отчаянно замахал обоим паровозам сразу:

— Стой!

Паровозы остановились. Вылезшая из воды ферма медленно закачалась на тросах.

Замершим людям показалось — ферма сейчас вновь рухнет в воду — слишком уж опасно она раскачивалась: скрип-скрип, скрип-скрип. Тросы, не выдерживая тяжести, опасно трещали.

Было слышно, как где-то за горизонтом громыхнули пушки; собравшиеся на берегу люди озабоченно вытянули шеи — боевое охранение, выставленное в мелком прозрачном лесочке в нескольких километрах отсюда, вступило в бой с наседающими частями Тухачевского.

В толпу солдат втиснулся поручик с перевязанным плечом и худым нездоровым лицом; поручик опирался на миловидную сестричку милосердия; приподнявшись на носки, он глянул на раскачивающуюся ферму.

Постояв несколько секунд, молвил хмуро:

— М-да, от таких вот мелочей и зависит наша жизнь.

Сестра милосердия посмотрела на него снизу вверх, в глазах ее отразилось хмурое глубокое небо, глаза сделались темными, какими-то страдальческими.

— Да, Саша, — произнесла она согласно.

Это были поручик Павлов и Варвара Дудко.

Поручик пошел на поправку, но поправлялся он медленно, словно пули, просекшие его тело, были отравлены либо заговорены. Тусклые глаза его хранили измученное выражение, будто поручику надоело жить, но это было не так.

Расталкивая солдат, к поручику бросился молодой человек в офицерской фуражке, в облезлой меховой дошке без знаков различия, только через пуговичную петельку была продета георгиевская ленточка — такие ленточки носили все каппелевцы.

— Ксан Ксаныч! — радостно закричал он, разом рождая у Павлова воспоминание: его в Самаре так звал Вырыпаев. Человек в меховой дошке охватил поручика за здоровую руку. — Вы живы? Слава Богу, вы живы...

Это был прапорщик Ильин.

— Жив, — улыбнулся Павлов, ему нравился мальчишеский напор Ильина. Собственно, сам Павлов тоже

когда-то был таким же. Он тронул пальцами желтую кожаную кобуру, высовывающуюся у Ильина из-под меховой дошки. — А вы, Саша, заморским кольтом обзавелись. Хорошее оружие, но, говорят, капризное.

— Дареному коню в зубы, Ксан Ксаныч, не смотрят — это раз. И два — если за ним следить, не швырять в песок, смазывать вовремя — будет служить честно и долго.

— Дай-то Бог, Саша.

— Мы потеряли вас, Ксан Ксаныч, совсем. Я с группой ходил специально на поиск — вернулся пустым. Куда вы подевались?

— Блудили, Саша. Стычки были. Отсиживались в лесу. Меня ранило вторично... В общем, всего хватили, пока не пробились к Ижевску. А там уж вместе со всеми — сюда.

— В каком эшелоне идете?

— В хвосте. Вместе с ранеными и обозниками.

— Ксан Ксаныч, скорее возвращайтесь в роту. Рота ждет вас!

— Я и сам соскучился по роте страшно. Как там капитан Трошин?

Улыбка на лице Ильина потускнела.

— Убит Трошин. Когда отходили от Симбирска, от взорванного моста, с того берега красные прислали снаряд. Лег в стороне. Капитана накрыло осколками. Всем вроде бы ничего, осколки прошли мимо, а в Трошина — сразу два. И оба в голову. Умер без мучений. — Ильин перекрестился. — Пусть земля будет ему пухом!

Павлов хотел спросить еще о ком-то, но не стал, махнул рукой — вдруг столкнется с той же судьбой, что и у Трошина? Лучше об этом не знать. Губы у поручика дрогнули, уголки на мгновение съехали вниз и вернулись обратно. Вместо этого он спросил:

— В каком эшелоне едет рота?

— Пока в третьем. А дальше как повезет. Могут снять с эшелона и перевести в хвост, в арьергард, в боевое охранение.

— Машинисты! Приготовились! — прозвучал в морозном воздухе дребезжащий жестяной голос прапорщика Неретника. — Вначале, Захарченко, идешь ты, — прапорщик ткнул рукой в левый край, где паровоз уже почти достиг кромки берега, попыхивал гулко, побрякивал чем-то внутри, — потом, Уткин, ты. — Прапорщик ткнул в правый край, затем поднял над головой рупор, дал им отмашку: — Начали!

Снова взревели, натужено задышали паром, забряцали, застучали сочленениями машины, заерзали колесами по рельсам; тросы, пропущенные через катки и блоки, затрещали громко, но нагрузку выдержали, и ферма моста вновь поползла вверх.

— Топает, лапонька, топает, — радостно проговорил стоявший рядом с Павловым солдат, — только пятки сверкают. Будто в ботиночки обуты.

Лицо у солдата светилось — понимал человек, что будет, если ферму не удастся поднять — половина каппелевского войска тогда останется лежать на этом берегу, многие вообще поплывут по быстрой реке Ине и не будут иметь ни могилы, ни креста над ней, обглодают их до костей хищные рыбы, прочие речные твари с большими ртами. От мысли о том, что может произойти, угрюмели, делались замкнутыми, черными лица людей; говорок, висевший над толпой, угасал, лишь слышалось хрипение паровозов, да еще канаты трещали, звенели опасно, словно предупреждали собравшихся, — но когда появлялась надежда, делались лица светлыми, обрадованными, как у этого небритого солдата.

Когда стемнело, на берегу разложили несколько больших костров, операция по подъему фермы не прерывалась ни на минуту; крикливый, с провалившимися глазами, больше похожий на черта, чем на человека, прапорщик носился по берегу, командовал нервно, ржавым голосом, взмахивал рупором, гонял людей, требовал кипятка и пил его беспрестанно, совершенно не обжигаясь — кипяток был для него, как горючее для машины: если вовремя не подавали кружку с пузырчато-фыркающей крутой жидкостью, прапорщик угасал, голос у него садился, не помогал никакой рупор, и казалось — Неретник вот-вот свалится с ног...

Но он выстоял.

Утром следующего дня, в одиннадцать тридцать — за полчаса до обещанного срока — через восстановленный мост пошли поезда. Неретник, чумазый, перепачканный машинным маслом, обмороженный, черный, с губами, превращенными в лохмотья, с облезшей кровоточащей кожей на лице еще продолжал держаться на ногах.

Красные пушки грохотали совсем близко, но они уже не были страшны. Каппелевский арьергард, огрызаясь огнем, медленно отходил.

Каппель обнял прапорщика, произнес растроганно:

— Спасибо за службу!

Он не знал, что в таких случаях надо говорить, какие слова, ощущал и благодарность, и смятение одновременно. Если бы у него имелись ордена и он имел право их вручать, то наградил бы прапорщика орденом, но ничего этого у Каппеля не было. Он обернулся к адъютанту:

— Уведите прапорщика в штабной вагон, в спальное отделение. Пусть отсыпается.

Прапорщик пробовал сопротивляться:

— Ваше превосходительство!

— Приказ: двое суток на сон!

— Не надо в штабной вагон, ваше превосходительство. Увольте, пожалуйста... Я, конечно, пойду спать. Только разрешите — пойду спать к своим. — В скрипучем просквоженном голосе прапорщика возникли просящие нотки.— Ведь я же с ними работал. Неудобно отрываться, ваше превосходительство!

— Ладно, прапорщик... Ваша воля — идите к своим, — сдался Каппель, резко повернулся и, ловко проскользив по наледи, зашагал к штабному вагону.

Чувствовал он себя неважно — глаза слезились, в горле першило, суставы болели — сказывались и фронтовые передряги, и усталость, и бессонные но-

чи — генерал-майору Каппелю так же, как и прапорщику Неретнику, следовало хорошенько выспаться.

Газеты той поры — красные газеты — писали: «Уничтожить, раздавить гидру контрреволюции, наймита Антанты, царского опричника Каппеля — наша задача!»

В Приуралье Каппеля встретили враждебно: среди рабочих вовсю сновали агитаторы, призывали к сопротивлению, к налетам на отколовшихся, отставших от своих частей каппелевских солдат, призывали к стрельбе из-за угла и к террористическим актам. Каппель к деятельности агитаторов относился спокойно; когда ему докладывали о митингах, о том, как на них беснуются «агитчики», генерал лишь брезгливо морщился да делал рукой отметающий жест:

— Язык ведь — штука бескостная... Пусть говорят.

Но вот контрразведчики сообщили ему, что на Аша-Балаковском заводе, на второй шахте, собрались на свой митинг рабочие, несколько сот человек, на митинге они решили совершить налет на штаб Каппеля, штаб разгромить, а самого генерала убить.

— Да? — Каппель усмехнулся. Лицо его было спокойным. — Митинг закончился или еще продолжается?

— Еще продолжается

— На какой шахте, вы говорите, это происходит? На второй?

— Так точно, на второй. Там из Уфы подоспели агитаторы, свеженькие, горластые, злые. — Контрразведчик, одетый в кожаную куртку, подпоясанный ремнем, косо сползшим набок под тяжестью нагана, сжал кулаки. — Если хотите, мы эти языки живо на штык насадим.

— И только хуже себе сделаем, — резко произнес Каппель. — Не надо. Вы свободны.

Контрразведчик ушел. Каппель натянул на голову старую кавалерийскую фуражку, в которой прибыл с фронта, накинул на плечи потертую куртку-шведку,

вышел в комнату, где одиноко клевал носом дежурный. На столе перед ним лежал наган.

— Кто знает дорогу на вторую шахту? — спросил он у дежурного.

— В штабе есть один местный башкир. В хозвзводе.

— Вызовите его сюда.

— Есть! — Дежурный недоуменно глянул на Каппеля. В следующий момент понял, что тот собирается делать, но перечить не посмел, выскочил из помещения.

Каппель встал у двери, задумчиво закинул руки за спину, сплел пальцы вместе, потянулся. Болело тело, болели мышцы, кости, нервы — все болело. Организм требовал отдыха. А отдыха как раз и не предвиделось.

Дежурный привел маленького кривоногого человека с жидкими висячими усами.

— Вот, ваше превосходительство, бачка, о котором я говорил.

Бачка поклонился Каппелю и сказал:

— Ага!

— Места здешние знаете? — спросил у бачки генерал.

— Ага. Знаю.

— А людей?

— И людей знаю.

— Тогда пошли!

— Ага! — сказал бачка, вновь поклонился генералу.

Дежурный поспешно протянул Каппелю наган, лежавший на столе:

— Возьмите с собой.

Каппель отрицательно качнул головой:

— Не надо! Это не поможет. — Сунул руки в карманы куртки и быстрым шагом двинулся к воротам.

— Охрану хоть возьмите, господин генерал, — выкрикнул вслед дежурный, но Каппель не услышал его, и тогда дежурный прокричал вторично, уже громче: — Охрану возьмите, ваше превосходительство!

Каппель обернулся на ходу:

— Зачем?

— Так надежнее.

— Не надо!

У ворот сидел второй бачка, очень похожий на проводника Каппеля — круглолицый, с жидкими висячими усами и тяжелыми кулаками, очень смахивающими на гири. Бачка, прикрыв глаза, тянул тоненьким голоском себе под нос заунывную песню.

По широкому, хорошо прикатанному морозом двору носилась твердая снежная крупа, свивалась в хвосты, подгребалась под забор и затихала. Неуютная погода. В такую погоду сидеть бы дома, у камина, в котором весело, со щелчком горят березовые дрова, да рассказывать жене и детям разные истории из собственной жизни.

Каппель почувствовал, как у него остро сжало виски, в лицо ударило холодом. Он невольно задержал дыхание. Где же она находится сейчас, Оля, в каком московском застенке и жива ли вообще?

После первой группы разведчиков, отправленных в Белокаменную на поиски Ольги — группа, как известно, возвратилась ни с чем, Каппель послал туда вторую группу, но она не вернулась вообще.

Виски сжало сильнее, в груди шевельнулась тоска — разбудил ее Каппель неурочными воспоминаниями. Он качнул головой недовольно: разве воспоминания о родных людях бывают неурочными?

— Куда мы идем, господин генерал? — спросил бачка-проводник.

Он проворно семенил кривоватыми ногами рядом, лицо его излучало любопытство и доброжелательность — впервые видел так близко живого генерала.

— К шахте номер два!

Проводник неожиданно остановился и отрицательно помотал головой:

— Не поведу!

— Почему?

— Вас там убьют!

Генерал успокаивающе тронул пальцами бачку за плечо:

— Слепой сказал: «Посмотрим!» Постараемся уцелеть.

Бачка вновь покачал головой:

— Убьют!

— Не убьют!

— Я вас туда не поведу!

— Тогда я пойду на шахту один. Дорогу найду.

Бачке ничего не оставалось делать, как идти с генералом дальше.

Митинг проходил во дворе шахты — огромном, страшновато-черном, способном вместить целую дивизию. Рабочие, разгоряченные ораторами, волновались, взметывали над собой кулаки; в вязком полусумраке блестели зубы и глаза.

В центре двора был установлен наспех сколоченный, уже затоптанный, в черных угольных следах помост. На нем стоял очередной оратор, рядом с ним — председательствующий. Как бывает обычно на всех митингах, так и здесь это был самый горластый человек. Одет он был в доху из собачьего меха, с широким отложным воротником, на носу председательствующего поблескивали золоченые круглые очки с длинными тонкими дужками.

Оратор вяло и очень неубедительно — не мог найти нужных слов — призывал шахтеров к вооруженному восстанию против белых. Председательствующий время от времени взметывал вверх большой мясистый кулак и вскрикивал громко, гортанно, будто кавказец, забравшийся на горную вершину:

— Смерть белобандитам!

Крик его был слышен далеко.

У помоста стояли трое красноармейцев — молодые ребята с бесхитростными крестьянскими лицами. Оратор замолчал и неспешно сошел с помоста, а председательствующий стал пытать красноармейцев:

— Расскажите нам, как вы были взяты в плен, как над вами издевались белобандиты, как вы чудом избежали расстрела...

— Да ничего такого не было, — пробовал воспротивиться один из красноармейцев — высокий парень в мятой шинели и кирзовых сапогах огромного размера — не менее сорок седьмого, но председательствующий осадил его властной рукой:

— Было, я хорошо знаю, что было... Говори, не стесняйся!

— Не было этого, а врать я не хочу.

— Но в плен ты все-таки попал? — напористо, на «ты» спросил председатель.

— Попал.

— Вот видишь! Теперь расскажи, как над вами издевался Каппель.

— Никто не издевался, не было такого... У нас просто отняли винтовки, и все. А потом пришел Каппель и отпустил нас домой.

Из толпы митингующих раздалось горластое, громкое:

— Смерть белогвардейским бандитам!

Председательствующий поправил очки на носу.

— Это был ловкий пропагандистский трюк. Каппель — мастер запудривать населению, извините, мозги. Нас не обмануть.

— Смерть белогвардейским бандитам! — вновь кто-то зло прокричал из толпы.

Каппель присмотрелся к лицам красноармейцев — лица их были нормальные, неозлобленные, некоторые вроде бы даже знакомые, — и стал пробираться поближе к помосту.

Вдруг один из красноармейцев, словно что-то почувствовав, обернулся, встретился глазами с Каппелем, побледнел, а в следующий миг его лицо как будто осветилось изнутри и тут же погасло. Красноармеец узнал Каппеля, губы его шевельнулись изумленно, немо, он хотел что-то сказать, но не сумел — что-то в нем закоротило.

Председатель проследил за взглядом красноармейца и также увидел Каппеля. Приняв генерала за одного из митингующих, он приветственно протянул к нему руку:

— Вы, товарищ, хотите рассказать о зверствах белобандитов? Пожалуйста!

Легко вскочив на помост и вытащив из карманов руки, Каппель показал их собравшимся:

— Я — генерал Каппель, я — один и пришел к вам без охраны, совершенно безоружный. Сегодня вы постановили убить меня, а штаб вверенного мне соединения — разгромить...

В сыром, темном и холодном пространстве двора установилась тишина. Такая полая и гулкая тишина, что было слышно, как над головами собравшихся пролетела маленькая яркая птичка — существо совершенно бесшумное, легкое, как воздух, но трепет ее крыльев прозвучал так же отчетливо и сильно, как если бы над головами людей пронесся большой летательный аппарат — «фарман» или «ньюпор».

— Теперь я хочу, чтобы вы послушали меня, — сказал Каппель.

Несколько ораторов, только что рьяно высказывавшихся против белых, согнув спины и вобрав головы в плечи, начали пробираться к выходу.

— Стойте! — Каппель повысил голос. — Останьтесь! Я здесь, повторяю, один и без оружия. Я хочу поговорить с вами как русский человек с русскими людьми. Мне дорога Россия, и я ощущаю боль, когда вижу, как ее унижают, как братья убивают братьев, как на нашу землю лезут чужие люди, интервенты. На территории России ныне кого только не найдешь. Тут и англичане, и французы, и японцы, и поляки, и американцы, и австрийцы, и венгры, и сербы, и чехословаки — половина народов земного шара... Все здесь! И все рвут Россию, все унижают русского мужика. Я борюсь с этим, как борюсь и с большевиками, допустившими то, что Россия стала страной национального позора. Вы только посмотрите, какой унизительный для нас мир был подписан в Брест-Литовске...

Ныне, спустя годы, можно выдвинуть предположение — и пусть оно будет — скажем так — смелым,

но оно имеет право на жизнь и подкреплено немалым количеством доказательств, — не будь этого чернушного для истории документа, вполне вероятно, Гражданской войны не было бы. Слишком многие военные — талантливые, удачливые, отмеченные Богом и которые, так сказать, хранили в ранцах маршальские жезлы, были унижены, разозлены этим миром и поднялись на большевиков. Каппель — один из этих военных. Он совершенно лояльно относился к партии большевиков, не был замечен в действиях против них, не говорил гадостей, как это делали другие, и резко изменился после февраля восемнадцатого года.

— Я не хочу такой России, какая она есть сейчас, — сказал Каппель, — я хочу, чтобы рабочие наши и их семьи жили в достатке. За это мы и боремся. Скажите, разве это плохо?

Акустика в шахтном дворе была великолепная — словно в консерваторском зале, и собравшимся было слышно не только каждое сказанное Каппелем слово — была слышна даже каждая «запятая».

— А вы собираетесь нас уничтожить... За что? — с горьким вздохом произнес оратор и замолчал.

Толпа зашевелилась, и неожиданно рабочие грохнули «Ура!».

Каппель снял с головы фуражку, провел ладонью по лбу, сбивая капельки пота. Лицо его было по-прежнему спокойным. Чувствовалось, что этот человек ничего не боится.

Председательствующий, поняв, что сейчас лучше всего исчезнуть, сдернул с носа золоченые очки, с помоста рухнул в толпу и тут же смешался с ней.

А Вырыпаев тем временем пытал дежурного и бачку, сидевшего на воротах, желая узнать, куда делся командующий Волжской группой. Бачка совсем растерялся, коверкая слова, произносил на плохом русском языке одно и то же:

— Генерал на улица гуляй!

Дежурный тоже не мог ничего толком объяснить.

— Я предлагал Владимиру Оскаровичу взять с собой каган, он отказался...

По улицам тем временем тянулись каппелевские части — усталые, продрогшие, солдат было много, очень много, одна неосторожная команда — и вся округа будет разгромлена. Вырыпаев боялся давать неосторожные команды.

— Генерал на улица гуляй!

Неожиданно он вытянул шею и передернул затвор винтовки. По улице, направляясь к штабу, двигалась большая толпа рабочих.

— Мать честная! — ахнул Вырыпаев, скомандовал дежурному: — Ставь в окно пулемет! Быстрее!

К дежурному подскочил Насморков, штабной денщик, помог взгромоздить тяжелый «максим» на подоконник. Вырыпаев поспешно распахнул окно.

В окно ворвался морозный воздух, колюче ударил в лица.

— Заправляй ленту! Скорее! — Вырыпаев прикинул сектор обстрела: много ли пространства сможет захватить короткое рыльце пулемета, кивнул удовлетворенно — сектор получался неплохой. — Кто еще есть в штабе? — зычно гаркнул он.— Ко мне!

В комнату заглянул артиллерийский поручик Булгаков, лоб которого пробороздила большая ссадина, замазанная зеленкой: в него стреляли, когда он ехал по поселку на лошади, пуля особого вреда не причинила, лишь содрала кожу на лбу.

— Василий Осипович!

— Голубчик, родной, — благодарно проговорил Вырыпаев, прилаживаясь к рукоятям пулемета, — становитесь вторым номером... Сейчас начнется такое... Не приведи Господь! Впрочем, нет, не надо вторым номером, это сделает Насморков... А вы, голубчик, попробуйте незаметно, через задние двери выбраться из штаба. Через поселок идут наши. Зовите их на подмогу. — Вырыпаев оглянулся, пожал Булгакову руку: — Действуйте!

Подмога не потребовалась. Бачка, карауливший въезд в штабной двор и вставший за дерево с винтовкой наизготове, вдруг поспешно кинулся к воротам и распахнул их.

Вырыпаев схватился руками за голову:

— Что он делает, что делает...

В ворота ввалилась толпа. Несколько дюжих темноглазых мужиков, шедших впереди, на руках внесли во двор генерала Каппеля и поставили его на ноги.

— Спасибо вам, друзья, — сконфуженно пробормотал генерал.

Темноглазые шахтеры оказались вовсе не темноглазыми, просто пыль мертво въелась в поры, в кожу, сделала глазницы очень темными, объемными. Шахтеры по очереди пожимали руку Каппелю.

— Это вам спасибо, — бормотали они смято, были сконфужены не меньше генерала, — отвели грех от наших душ. Не то ведь здесь черт знает что могло быть — такие бы искры полетели! — Дюжие мужики удрученно качали головами, шмыгали носами, будто дети, и вновь тянулись пожать Каппелю руку.

Еще минут двадцать шахтеры колготились в штабном дворе, потом ушли.

На землю навалился вечерний сумрак — рассыпчатый, колючий, способный сделать невидимым весь мир — все в таком сумраке расплывается, предметы теряют свои очертания, а мир делается загадочным и опасным. Впрочем, что может быть опаснее яви, опаснее того, что происходит...

Насморков нашел где-то здоровенный, схожий с куском мыла, огарок свечи — скорее всего церковный, зажег его. Каппель, усталый, с побледневшим худым лицом, стянул с себя куртку, повесил на гвоздь. Подошел к окну.

Бачка запер ворота на длинную деревянную слегу и стал на изготовку. На кончик штыка он, будто пропуск, насадил какой-то белый смятый листок.

— Бедные русские люди, — тихо проговорил Каппель. — Обманутые, темные, часто такие жестокие, но — русские...

Он замолчал и долго не отходил от окна, вглядывался в сумрак, будто хотел увидеть там нечто такое, чего не видят другие, найти там ответ на вопросы, которые его мучали, а найдя — хотя бы чуть погасить боль, сидевшую у него внутри. Он думал об Ольге, хотел понять, жива она или нет, хотел почувствовать это своим сердцем, душой, чем-то еще — подсознанием, что ли, а может быть, болью, что сидела в нем и глодала, глодала, рождала боль, тоску. Каппель молил, чтобы Ольга была жива, чтобы во внутреннем мраке появилось светлое пятно, чтобы наступило облегчение, но этого не было. У него немо, сами по себе, зашевелились губы, генерал быстрым движением смахнул что-то с глаз и сделал волевое усилие, чтобы вернуться на круги своя, в явь, а точнее — в одурь нынешнего времени.

— Владимир Оскарович, разве так можно себя истязать? — с укором подступил к нему Вырыпаев.

— Не можно, а нужно. Так и только так.

Наутро шахтеры пришли снова, принесли кое-какую еду — а времена наступали голодные: картошку, хлеб, несколько ощипанных кур, которых разом повеселевший денщик Насморков тут же пустил в работу, и вскоре по штабу разнесся дух вкусного куриного супа. Шахтеры попросились на разговор к Каппелю. Тот незамедлительно принял их.

Верховодил в группе шахтеров кряжистый дед с седой бородой и васильковыми, незамутненными, как у ребенка, глазами.

— Ваше благородие, — обратился дед к Каппелю, его тут же перебил напарник, крутоскулый старик-татарин, подвижный, как ртуть, с темными от навечно въевшейся в кожу угольной пыли, руками.

— Не «ваше благородие», а «ваше превосходительство», — поправил татарин, который, видно, в свое время служил в армии, познал кое-какие «ранжирные» тонкости и теперь не без гордости применял свои познания на практике.

Белобородый отмахнулся от приятеля, как от мухи.

— Я и говорю — ваше благородие, — сказал он.— Так вот... Мы вам, ваше благородие, поверили. На нас можете рассчитывать всегда, мы вас не подведем.

— Спасибо, — благодарно проговорил Каппель.

Когда шахтерская делегация уже покидала штаб, белобородый дед остановился в дверях, глянул на генерала и, неожиданно подмигнув, вздернул сучковатый, в ушибах и наростах, большой палец:— А вы, ваше благородие, молодец! Не дрогнул... Очень большое впечатление это произвело на всех нас.

Пора наступала голодная. Зерна летом засеяно было мало. С одной стороны, крестьяне присматривались к тому, как развивались события в стране, гадали, кто возьмет верх, и выходить в поле не торопились — многие поля так и остались незасеянными. Однако, с другой стороны, крестьяне всегда тянули на себе все тяготы всех войн: сотнями тысяч ушли на германский фронт, сотнями тысяч там и остались. Затеявшаяся Гражданская война тоже здорово подгребла крестьян — их также сотнями тысяч забирали к себе и красные и белые, и, вместо того чтобы заниматься землей, лупили теперь крестьяне друг дружку почем зря, тысячами загоняли в могилы, при этом вопили яростно: «Ур-ра!»

Попадались деревни, где не было ни одного килограмма хлеба — интенданты ходили по дворам, скребли в сусеках, даже землю вокруг хат копали, пробовали что-нибудь найти — ничего не находили... Чем жили крестьяне — непонятно. Воздухом, что ли, питались?

Когда к Тухачевскому на стол попадал кусок мяса, его так и тянуло спросить — откуда это? Ко всему награбленному он относился с брезгливостью, глаза белели, а если командарм видел мародера, то немедленно тянулся к пистолету.

Жена его уехала в Пензу к родителям — отец ее прихварывал, мать совершенно обезножела, родителям

требовалась помощь, и Маша, оставив мужа, ринулась домой.

Вернулась через две недели. Тухачевский со своей армией ушел уже далеко вперед, догнать его было непросто. Но Маша догнала.

Тухачевский обнял жену, расцеловал в губы, потом запечатал поцелуями щеки, прижался лбом к ее лбу:

— Ну, как там наши?

— Живут... Но очень трудно.

— Что? Не хватает продуктов?

— Хоть шаром покати. По Пензе только голодные собаки бегают. Людей не видно.

Тухачевский не сдержался, вздохнул:

— М-да-а..

Он знал, что надо делать, чтобы вырвать у врага победу на поле боя, и совершенно не знал, как сеять хлеб, как зарезать теленка, подоить корову и напоить молоком голодных детей — не знал и не умел.

— Моих не видела?

— Заходила к ним — замок. Их в городе нет. Скорее всего, сидят в деревне.

Машин лоб был холодным, Тухачевский потерся о него своим лбом, вновь поцеловал, ощутил сухими губами приятную шелковистость кожи и неожиданно сделался суетливым, непохожим на себя.

— Машенька, ведь ты голодна! — проговорил он жалобно, в глазах его возникло мальчишеское выражение, на которое Маша Игнатьева когда-то попалась и влюбилась в этого человека.

Она неопределенно приподняла плечо, глянула на мужа кротко.

Тухачевский выпрямился, выкрикнул громко, так, что его голос пронесся через весь вагон:

— Вестовой!

Вестовой появился тут же, словно ждал за шторкой, отделяющей жилую часть вагона от штабной, встал в трех метрах от командарма, впился в Тухачевского преданным взглядом.

— Все, что у нас есть, — на стол! — скомандовал Тухачевский.

— Даже НЗ, товарищ командарм?

— Не даже, а в том числе и НЗ!

Весело козырнув — любил, когда командарм сидел за столом, много ел и хвалил еду, — вестовой удалился.

— Через две недели я снова хочу отправиться в Пензу, поддержать своих, — тихо проговорила Маша. — Ты не возражаешь?

— Не возражаю. — На лице Тухачевского блуждала счастливая улыбка, глаза посветлели, он нежно глянул на жену, улыбка его сделалась еще более счастливой. — Ешь, — произнес он радостным шепотом. — Ешь!

Он сидел напротив жены, смотрел на нее влюбленно. Забылось все тяжелое, что сопровождало его в последнее время, окружало, опутывало. Самые чувствительные уколы Тухачевский продолжал получать от Каппеля.

Сейчас все это отошло в сторону, уплыло, растворилось, и ничего, никого на свете не было — никого, кроме них двоих. Тухачевский поднес к губам охолодавшие руки жены, поцеловал пальцы. От Машиных рук пахло хлебом и чем-то еще, едва уловимым, сухим — кажется, травами... А может, это был запах чистоты?

— Маша, — проговорил Тухачевский тихо, сдавленно — ощутил, что в горло ему, в самую глотку натекло что-то теплое, и командарму сделалось трудно дышать. — Ты ешь, ешь... — Он закашлялся, смутился и, чтобы справиться с собою, засуетился, стал делать много лишних движений, подложил жене в тарелку еды — большую гусиную ногу, добавил жареной картошки, которой Маша положила себе мало, как-то робко, украсил картошку несколькими зелеными полосками лука. — Ешь...

— От картошки, говорят, толстеют.

— Тебе это не грозит.

— Не хочется быть толстой.

— Ох, Маша, — вновь тихо и нежно произнес Тухачевский, перегнулся через стол и в очередной раз поцеловал ее в лоб.

Маша откинулась назад:

— Что-то ты все время целуешь меня в лоб, будто покойницу...

Тухачевский невольно смутился, помотал головой, словно хотел вытрясти из ушей фразу, только что услышанную:

— Прости!

Маша по привычке кротко улыбнулась мужу.

— Хочешь, я тебе что-то покажу? — предложил Тухачевский.

Маша, заинтересованная, поднялась из-за стола — глаза огромные, любящие, щеки атласные... Хоть и не особо высоких кровей была Маша Игнатьева, род ее давно уже обмельчал и обесцветился, отец Маши работал машинистом на Сызрано-Вяземской железной дороге, был обычным неприметным человеком, и мать у нее была неприметная, а вот Маша уродилась настоящим цветком, была красивая, яркая.

— Хочу, — сказала она.

— Пойдем. — Тухачевский поднялся, взял жену за руку, повел в жилой отсек вагона. Там, за спальней, имелся еще один отсек, прикрытый самодельной, аккуратно выструганной из сосновых досок дверью.

В этом тесном отсеке был установлен маленький токарный станок, на крючках висело несколько хитрых лобзиков, которыми можно было выпилить любое, самое сложное, с крученой конфигурацией, отверстие. Для Маши эти отверстия, что украшают всякую скрипку или виолончель, были обычными, хотя и красивыми, дырами. Отдельно на полках сушились тонкие дощечки, в пенале тесно гнездились кисточки, рядом в цветных банках стоял лак.

— Что это? — шепотом спросила Маша.

— Я делаю скрипки, — гордо произнес Тухачевский.

Большие глаза Маши сделались еще больше, округлились. Тухачевский прижался щекой к ее щеке.

— Скрипки? — не поверила Маша.

— Превосходное занятие. Очень успокаивает. Пока ковыряешься, выделывая какой-нибудь колок, столько всего обдумаешь — о-о-о! И как по Каппелю ударить, и как от лобовой атаки какого-нибудь сумасшедшего Дутова уклониться, пропустить конницу, а потом ударить по ней с двух флангов — словом, все-все-все...

Увлечение мужа Маше понравилось. Она воскликнула восторженно:

— Хорошо! — И задала вопрос, который не должна была задавать: — А они играют?

— На них играют, — поправил жену Тухачевский и с гордостью добавил: — Да, играют. У моих скрипок — очень хороший звук. Когда-нибудь они будут в цене. Поверь мне.

— А это означает — у нас будут деньги на жизнь. — Маша прижалась к Тухачевскому.

Через две недели она снова уехала в Пензу. Тухачевский дал ей вагон, несколько красноармейцев охраны и сопровождающего — усатого кривоногого дядьку, страдавшего от того, что его оставили без лошади, так сказать, списали в пехоту, а когда лошади не стало, ноги, как он считал, покривели еще больше. Фамилия его была Юрченко. Получил он от командарма строгий наказ — оберегать Машу как зеницу ока. Не дай Бог, чтобы с ее головы упал хотя бы один волос...

Слава Каппеля катилась перед ним, будто ее нес ветер. Имя его стало широко известно как среди белых, так и среди красных.

Он благополучно вывел свою группу и слился с колчаковскими частями. Офицеры-каппелевцы с удовольствием цепляли на шинели погоны колчаковской армии — им надоела комучевская вольница.

Форма Народной армии Комуча была то одной, то другой: то околыш фуражки украшала георгиевская ленточка, то ленту собирались заменить на кокарду — по непонятной причине этого не сделали, то эту многострадальную ленту пришивали к распаху гимнастерки,

к самой планке, то, наоборот, спарывали... Но самыми нелепыми были нарукавные знаки — крупные, похожие на фанерные щитки нашивки. На погонах, которые одно время были все-таки введены, проставляли цифры — номера полков, и — никаких звездочек, их комучевские шпагоглотатели велели прикреплять к нарукавным нашлепкам.

Какая-то австро-венгерская чушь... Да и у австрияков такого, кажется, не было. Погоны — это погоны, а нарукавные нашивки — это нарукавные нашивки.

Офицеры спарывали эти нашлепки с особым удовольствием. Впрочем, беззвездные погоны — тоже.

— Хватит! — нервно покрикивали они.

Павлов молча спорол с шинели и гимнастерки ядовито-зеленые погоны, прикрепленные на пуговицы от мужского пиджака — других пуговиц не было, швырнул их в старый баул.

— Пусть валяются. Когда-нибудь в старости, если жив буду, полюбуюсь ими.

Туда же, в темное нутро баула, он зашвырнул и нарукавные матерчатые щитки.

Проковырявшись с иголкой часа два — начертыхался и исколол себе пальцы вволю, — Павлов пришил к гимнастерке и шинели обычные офицерские погоны, полевые, защитного цвета, с красным кантом. На погонах у него теперь поблескивали четыре звездочки — он стал штабс-капитаном. Хорошо, что у него имелся запас звездочек — два года назад приобрел в Петрограде целый кулек, сделал это на всякий случай — тогда он словно в будущее свое заглядывал: ныне ведь этих звездочек днем с огнем не найдешь, хоть вырезай из консервной жести — нету их, не-ту... А у Павлова есть. Этим обстоятельством штабс-капитан был доволен особенно.

Волжскую группу войск отвели на переформирование в Курган.

Город утопал в снегу. Дни стояли розовые, туманные, с приятным, щекочущим ноздри морозцем, окна в магазинах были украшены разными игрушками, му-

ляжами пряников, куклами, хлопушками, еловыми ветками — до Рождества Христова оставалось еще Бог знает сколько времени, а люди уже готовились к великому празднику, ходили с просветленными лицами, ныряя из одной лавки в другую, присматривались к товарам. Женщины накидывали на круглые плечи полушалки, восхищенно цокали языками, щупали совершенно невесомые и божественно красивые оренбургские платки; особенно качественными считались платки, которые в свернутом виде можно было протащить через обручальное колечко; деды приглядывали себе лаковые калоши, парни — ткань на косоворотки, примеряли пиджаки из тонкого английского сукна.

Усталый, с неожиданно повлажневшими глазами, Каппель остановил коня на углу разъезженной, испещренной санными следами улицы. Теперь вместе с Вырыпаевым и Синюковым он вглядывался в дома, в заснеженные деревья, в людей, в золотые купола большого старого собора.

— Хорошо все-таки, когда не слышишь стрельбы, — произнес он задумчиво.

Вырыпаев с удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал.

Два часа назад Каппель получил известие, которого долго ждал: дети его живы, находятся вместе со стариками Строльманами по-прежнему в Екатеринбурге. Каппель решил: как только выдастся возможность — он отправится в Екатеринбург и заберет их оттуда.

Он будет чувствовать себя гораздо лучше, если дети окажутся радом с ним. Каппель забрался пальцами под шинель, расстегнул воротник кителя — ему сделалось тяжело дышать. Пробормотал, закашлявшись:

— Город красоты неописуемой. Такой город может сниться только во сне.

— Война вышибает из человека возможность смотреть на обычные вещи обычными глазами, Владимир Оскарович, — сказал Вырыпаев. — Мы привыкли к грохоту, к дыму, к стрельбе, к горящим домам, а тут ничто

не горит... Тут все вечное. Надеюсь, мы здесь основательно переведем дух...

— Надеюсь. — Каппель проводил взглядом трех шедших по улице парней-мастеровых, головы которых украшали не теплые шапки, а лихие, сбитые набок модные картузы. Несмотря на холод, обуты парни были в тоненькие шевровые сапоги, собранные в гармошку: скрип-скрип, скрип-скрип — поскрипывали они.

— Завидую я им, — произнес Синюков и разгладил пальцами усы.

— И я завидую, — сказал Каппель.

— Простите, чему именно завидуете, Владимир Оскарович? — спросил Вырыпаев.

— Хотя бы тому, что эти ребята молоды, не знают, что такое война, и слава Богу, что не знают.

— Все может измениться.

— Не хотелось бы.

В конце улицы появился всадник. Шел он лихо — галопом. Издали было видно — военный. В седле всадник сидел ловко, с особым форсом.

— Это к нам, — безошибочно определил Вырыпаев.

Всадник подскакал к ним, выпрыгнул из седла. Вскинул руку к папахе. Это был поручик Бржезовский, новый адъютант Каппеля, человек точный, очень исполнительный.

— Ваше превосходительство, вас вызывают в Омск, — сообщил поручик.

Каппель молча кивнул: вызова в Омск, к новому Верховному — адмиралу Колчаку — он ожидал. Адмирал, как было известно Каппелю, настроен против него. Каппель, понимая, почему это произошло, на адмирала зла не таил. Колчака окружали люди тщеславные, для которых гордость была превыше всего — Лебедев (в армии Лебедевых было двое, молодой и старый, но в кабинет адмирала был вхож один Лебедев, старый), Дитерихс, Сахаров. Их деятельность особыми воинскими успехами отмечена не была, поэтому они старались преуспеть в другом — в борьбе подковерной.

Они завидовали Каппелю: слишком блестящей была у него репутация. Завидуя — боялись. Поэтому, бывая в кабинете адмирала, нашептывали ему, что Каппель — человек несносный, завидущий, этакий маленький Бонапарт, утверждали, что правильно, дескать, пишут про него красные газеты, он любитель интриговать, и если появится в Омске, то первым делом попробует и самого Колчака лишить трона. Такой, мол, этот человек. Колчак лишь белел, слушая эти речи, сжимал пальцами подлокотники кресла и отводил взгляд в сторону. Он не верил речам, произнесенным шепотом, ему на ухо, однако одновременно ловил себя на мысли — хоть и не верит он им, а ведь не верить у него нет никаких оснований.

Войска Колчака делали успехи на фронте — ими был взят целый ряд городов, в том числе и Екатеринбург.

В конце концов он приказал генералу Лебедеву:

— Вызывайте ко мне генерала Каппеля!

Лебедев, услышав это, только потер руки, улыбнулся довольно: хоть он и не был знаком с Каппелем, не знал, что это за человек, но не любил его. Заочно.

Вечером Каппель сел в поезд, идущий в Омск.

Омск бурлил. Он больше напоминал столицу государства Российского, чем заурядный сибирский город: по улицам разъезжали конные казачьи патрули, гудели автомобильные моторы, взвизгивали клаксоны, в ресторанах играли цыганские оркестры и лихо отплясывали откатившиеся вместе с белыми войсками купцы, купали в шампанском девиц и соревновались, кто больше выпьет... Купец Кудякин, например, и глазом не моргнув, выдул три пивных кружки водки и рухнул на пол прямо в ресторане. Потом четыре дня приходил в себя, отсыпался. Богатырское здоровье его не подвело, хотя на водку после этого Кудякин уже не мог смотреть — выворачивало наизнанку.

Купцы удивлялись:

— Надо же! Как легко, оказывается, можно бросить пить.

Колчак пребывал в хорошем настроении: его войска взяли Уфу, Пермь, успешно наступали на Казань. Как всякий честный человек, он был очень доверчив — считал, что все люди, как и он — честные. Одним из самых близких людей к адмиралу считался генерал-лейтенант Лебедев — светский лев, чрезвычайно ранимый, наивно полагавший, что он не только крупный военачальник, но и большой ученый. Лебедев был членом Императорской Академии наук, у адмирала он занимал высокую должность начальника Ставки Верховного правителя — то есть, по сути, был начальником штаба Колчака.

Слыша имя Каппеля, Лебедев раздраженно взмахивал холеной белой рукой:

— Каппель? А-а, полноте... Это несерьезно.

Причесочка у Лебедева была — не придерешься, волосок к волоску, у французов генерал-лейтенант достал специальную мазь, смазывал ею голову, которая теперь всегда блестела, а к пробору можно было прикладывать штабную линейку. Усы были подстрижены, как английский газон — очень аккуратно, никаких фривольных колечек, никаких завитушек.

Очень ухоженный был человек.

Когда Каппель расквартировался в Кургане со своей группой — ее предстояло переформировать в Первый Волжский корпус, Лебедев решил: терпеть этого выскочку больше не следует, и провел соответствующую работу.

Адмирал Лебедеву поверил. Когда Колчаку доложили, что генерал-майор Каппель появился в его приемной, адмирал вздохнул, глубоко затянулся воздухом — так иногда бывает перед трудной беседой, и произнес страшноватым свистящим шепотом:

— Просите!

В следующее мгновение он не сдержался и, давая выход гневному порыву, всадил в подлокотник кресла ножницы.

Тихо открылась дверь, звякнули шпоры. Послышался негромкий, очень спокойный голос:

— Ваше высокопревосходительство, генерал Каппель по вашему повелению прибыл.

Ощущая, как в виски ему натекло что-то горячее, тяжелое, Колчак поднял глаза, увидел стоявшего в проеме двери усталого невысокого человека, глядевшего прямо перед собой. Поймав взгляд адмирала, Каппель не отвел глаз в сторону, и Колчак понял: этот человек никогда не сказал про него ни единого худого слова, а всякие нашептывания Лебедева — всего лишь нашептывания, и вздохнул облегченно.

Он вышел из-за стола и протянул Каппелю сразу обе руки:

— Владимир Оскарович, наконец-то вы здесь. Я рад, очень рад!

Колчак был прекрасным физиономистом, хорошо разбирался в человеческой психологии, если человека он видел сам, то ему можно было ничего не говорить, он очень точно угадывал характер. Адмирал провел Каппеля к креслу:

— Садитесь, пожалуйста!

Каппель сел, но тут же вскочил:

— Ваше высокопревосходительство!

Колчак вторично усадил Каппеля в кресло.

— Меня зовут Александром Васильевичем.

Проговорили они вместо запланированных пятнадцати минут полтора часа. Из кабинета в приемную вышли под руку.

Позднее Колчак написал: «Каппеля я не знал раньше, — признание адмирала, в отличие от Лебедева, было искренним, — я встретился с ним в феврале 1919 года, когда его части были выведены в резерв, а он приехал ко мне в Омск. Я долго беседовал с ним и убедился, что он один из самых выдающихся молодых начальников».

Надо с грустью заметить, что жить к той поре и тому, и другому оставалось меньше года.

В приемной адмирал сказал Каппелю:

— Владимир Оскарович, если что-то нужно будет для вашего корпуса — сообщите. Все будет исполнено.

Это слышали все. Как и все видели, что Колчак проникся к Каппелю особым уважением.

Больше ни один человек не приходил к адмиралу наушничать на Каппеля: это могло кончиться плохо.

Вечером к омскому перрону с шипением и резкими веселыми гудками подкатил пассажирский состав, ведомый мощным «микстом», не раз доставлявшим скорые поезда в Париж. Каппель, одетый в шубу, покрытую обычным солдатским сукном, ловко вспрыгнул на заснеженную ступеньку — дожидаться, когда кондуктор сметет с нее белый мусор и обколет лед, не стал, — быстро прошел в свое купе.

Там сбросил шубу. Некоторое время неподвижно сидел у окна, опершись локтями о столик, разглядывал людей, суетившихся на перроне.

Он находился под впечатлением, оставшимся после разговора с адмиралом.

По перрону с важным видом ходил старший кондуктор — степенный старик с пушистыми серыми бакенбардами и тоненькими погончиками, прилаженными к черному «романовскому» полушубку. За ним неотвязно, будто собачонка, бегал большеухий носатый паренек с фонарем в руке — ученик.

Старик втолковывал молодому человеку, как надо жить, вскидывал поочередно руки, окутывался паром, иногда тыкал пальцем в пространство. Носатый паренек внимал ему, заглядывал в рот. Выдав очередную порцию наставлений, старик умолкал и продолжал неспешное движение туда-сюда по перрону.

Каппель улыбнулся: слишком уж забавно это выглядело из купе вагона, куда с перрона не доносился ни один звук.

Мысли его снова унеслись в кабинет адмирала, в его штаб: Каппель никак не мог понять, почему Лебедев, покорно сгибая тонкий, как у девицы, стан перед адмира-

лом, поступает во вред своему шефу? Это что, глупость? Впечатление глупого человека Лебедев не производил. Вхож в высшие академические круги... Неужто все дело в обычной зависти к успехам Каппеля, в ревности, в нежелании допускать других людей к Александру Васильевичу Колчаку? Губы у Каппеля недоуменно дрогнули.

Сейчас, когда колчаковские войска ведут успешные боевые действия, берут город за городом, Лебедев ни с кем не желает делить славу победителя... Бред какой-то.

Через семь минут вагон дернулся, и омский перрон неторопливо поплыл назад, в темноту мутной холодной ночи.

Утром Каппель оказался в Екатеринбурге. Город был не столь оживлен, как, допустим, Омск или Курган, стены домов покрыты пороховой копотью — здесь шли тяжелые уличные бои. На вокзальной площади, заснеженной, с крутыми отвалами, своими макушками достигающими фонарей, прикрепленных к столбам, Каппель взял возок и поехал по адресу, по которому должны были находиться старики Стрельманы.

Увидев зятя-генерала, старик прослезился, покрутил головой, давя в себе жалобный скулеж, пытаясь сладить с собою, но не смог, это оказалось выше его сил. Плечи у Стрельмана задергались, как в припадке. Каппель обнял старика:

— Полноте... полноте.

— А Олечка... Олюшка... Ты знаешь о нашей беде, Володя?

— Знаю.

— Не уберег я ее. — Плечи у старика затряслись сильнее. — Прости меня, ради Бога.

— Я пробовал отыскать ее в Москве — бесполезно.

Спина старика была худой, костистой, лопатки углами выпирали из-под жилета.

— Надо собираться, — сказал Каппель, — у нас мало времени.

Старик перестал плакать, достал из кармана большой, как полотенце, платок, вытер им лицо.

— Куда собираться?

— Я увожу вас с собой.

— Прости, Володя, но — куда?

— В Курган. Там сейчас формируется мой корпус. Через четыре часа будет поезд из Перми, нам надо на него успеть.

Стрельман глянул на часы:

— Я не успею.

— Надо успеть.

Старик заохал, засуетился, движения его сделались бестолковыми, в них было много лишнего.

— Ох, я не успею, — горестно пробормотал он.

— Надо успеть,— повторил Каппель, прислушался к тишине, стоявшей в доме. — Дети спят?

— Спят. Они поднимаются поздно. Пусть спят. Им самая пора набираться сил, самый возраст... — В голосе Стрельмана появились ворчливые нотки, и он стал похож на дряхлую, с облезающим пером наседку.

Стрельман вновь заохал, заквохтал, заметался по квартире.

— А может, лучше поедем завтра, а, Володя?

— Лучше сегодня. Я не могу оставлять часть надолго.

В ответ раздалось квохтанье.

На сборы потребовалось всего три часа — крупных вещей не было, — все осталось там, в доме при пушечном заводе.

— Чем меньше вещей — тем лучше, — окинув имущество строгим взором, кратко произнес Каппель.

— Как же это, Володя? — жалобно проговорил Стрельман, поднял вопросительно брови. — Всю жизнь собирал, копил, обрастал имуществом, считал, что так надо, и вдруг... Нищий я стал, совершенно нищий. — Он вновь всхлипнул.

Каппель обнял его:

— Успокойтесь, пожалуйста. Прошу вас!

Через час они уже сидели в купе пермского поезда. К ним заглянул кондуктор, увидел генерала, козырнул, проговорил жалобным тоном:

— Это что же такое получается, господин генерал! Железная дорога работает все хуже и хуже. Ни один поезд уже не приходит по расписанию — все опаздывают.

Каппель сделал неопределенный жест: в делах железной дороги он не разбирался.

В Кургане штабс-капитан Павлов был счастлив. Варечка дала согласие выйти за него замуж. Павлов прижал к губам тоненькие Варины пальцы, прошептал благодарно:

— Варечка, спасибо вам. Вы никогда не пожалеете, что решили стать моей женой.

Варя была растеряна: все происходящее казалось ей неким сном. Она глядела влюбленными глазами на Павлова и спрашивала себя: счастлива ли?

Она была счастлива.

Венчание происходило в небольшой, с темной игрушечной колокольней церкви, рано утром, поскольку днем батюшка — доброжелательный, с лучистыми глазами иерей — собирался отбыть в Тобольск, в епархию. Варя была тиха и растеряна. Павлов пробовал шутить, но оттого, что сам был оглушен свалившимся на него счастьем, шутки у него не очень удавались.

Павлов сумел даже достать золотые обручальные колечки — нашлись подходящие в бывшей ювелирной лавке, хоть та и была закрыта, но штабс-капитан сумел отыскать ее хозяина — он снимал частную квартиру, прятался от всех, боялся грабежей. Ювелир и вынес из темного потайного закутка на белый свет кожаный баул с драгоценностями. Варе обручальные колечки понравились.

А потом молодожены на быстрой тройке, в кошеве, застеленной двумя хорошо выделанными медвежьими шкурами, катались по окрестностям Кургана, дышали снежным простором, морозом, останавливались у Тобола, накрытого толстым белым одеялом, целовались под соснами и удивлялись — неужели они всего полтора месяца назад находились в горячем пекле, кланялись пулям и совершенно не обращали внимания на красный от

крови снег? Тогда казалось, что так все и должно быть, сама природа снега — красная, кровянистая. А на самом деле снег, оказывается, — белый... Пушистый, нежный, толстый, лежит на земле горностаевой шубой.

— Я бы здесь осталась навсегда, — неожиданно заявила мужу Варя, обвела рукой пространство. — Мне здесь очень нравится.

— Варя, вам здесь скоро станет скучно. — Павлов никак не мог перейти на «ты», продолжал обращаться на «вы» — так было проще и привычнее.

— Саша, меня можно звать на «ты». Можно и нужно.

— Понимаю, но... — Павлов развел руки в стороны.

— А скучно мне не станет... Я в этом уверена.

— В Кургане нет даже десяти тысяч жителей, я недавно прочитал в путеводителе. По сравнению с Москвой это не город, а городок, конопляное зернышко... Нет, Варюша, жить надо в большом городе. Москва златоглавая, Санкт-Петербург — вот что надо.

— Почему этот город называется так странно — Курган?

Павлов, не отвечая на вопрос, прыгнул в кошеву, приподнял меховой полог:

— Поехали!

— Куда?

— Поехали! Это недалеко, версты четыре отсюда... Поехали!

Через четыре версты они увидели огромный заснеженный холм, ровный, как лысина какого-нибудь почтенного старца; ветер сдувал с макушки холма белые кудрявые космы, сбрасывал вниз, швырнул охапку под ноги и молодоженам. Варя прижалась к мужу.

— Это и есть тот курган, от которого пошло название города, — сказал Павлов.

— Он насыпной?

— Наверняка насыпной. Тут было становище какого-то татарского князька, какого именно, история уже не помнит — имя его не сохранилось. Князька этого, по-моему, убил Кучум.

Тихо было, таинственно в этом месте, ни стука дятлов, ни птичьих скриков, словно место это заколдовано и стало оно необитаемым, очень недобрым, лишь шумели здесь рослые неподалеку сосны, роняли с макушек сор, сдуваемый ветром.

Варя поежилась:

— Неуютно здесь как-то.

Штабс-капитан притянул жену к себе.

— Не бойся, — произнес он тихо, успокаивающе, отметил про себя, что впервые в жизни обратился к Варе на «ты».

— Саша, пора возвращаться в город. Скоро начнут съезжаться гости.

Застоявшийся конь донес их до города, до самого дома за двадцать минут.

— Автомобиль, а не конь, — одобрительно отозвался Павлов.

Гостей было много. Верховодил среди них Василий Осипович Вырыпаев. Несмотря на полученное недавно полковничье звание, он продолжал носить погоны с тремя звездами — не торопился повышать себя.

Ждали Каппеля, но он не приехал. Его вообще еще не было в городе. Как сообщил расторопный адъютант генерала, поручик-поляк, из Омска Каппель выехал не в Курган, а в Екатеринбург.

Экспресс, шедший из Перми, мало чем отличался от обычного товарняка: останавливался у каждой водокачки, свистел, пыхтел, скрежетал чугунными сочленениями, словно собирался с духом перед очередным броском в пространство, потом, подобно Змею Горынычу, пускал длинную шипучую струю пара и совершал рывок до следующей водонапорной башни.

Дочь Каппеля Таня вела себя спокойно, она оказалась взрослой не по годам, а вот Кирилл, когда засыпал, то во сне плакал и звал мать. Старик Строльман привычно склонялся над ним, успокаивал. А у Каппеля болезненно дергался рот, глаза делались влажными.

Он молчал. Иногда приподнимался и широким крестом осенял детей.

Станция проносилась за станцией, водокачка — за водокачкой.

В Курган поезд прибыл ранним утром. Было темно. Два тусклых фонаря сиротливо вглядывались в перрон. Проку от их света не было никакого.

Поезд в Кургане стоял долго, поэтому Каппель медлил до последнего, не хотел будить детей; впрочем, оказалось, что будить их и не надо было, вскоре они проснулись сами: Таня первой приподнялась на постели, отерла кулачками глаза и спросила хрипловатым шепотом:

— Где мы?

Жалость сжала Каппелю горло, он закашлялся.

— Мы дома, — проговорил он тихо.

— Мама уже здесь? — Таня обрадованно повысила голос.— Она тут?

Генерал отрицательно покачал головой:

— Нет.

Под окнами вагона прошли несколько офицеров — это Каппеля встречали штабные работники, — первым шагал Вырыпаев, свежий, подтянутый, краснолицый с мороза. Он лихо вскинул руку к папахе, едва генерал показался на ступеньках вагона.

Рядом с Вырыпаевым грузно топтался, со скрипом давя подошвами снег, полковник Барышников, начальник штаба — человек толковый и с хорошей головой, но вот ведь, как всегда, пьяный. Сейчас от Барышникова также несло какой-то застарелой сивухой: похоже, полковник пил не закусывая, дурной запах просто лез из Барышникова, противно щекотал ноздри. Каппель почувствовал, как у него разом одеревенело лицо, но вида, что он недоволен начальником штаба, не подал.

— Я не один, — тихо произнес Каппель, обращаясь только к одному Вырыпаеву,— со мной — семья. Тесть, дети...

— Квартира готова, ваше превосходительство. Еще

позавчера ее вылизали так, что ни одной пылинки не осталось.

— Хорошо, — похвалил Каппель, зная, каким придирчивым чистюлей является старик Строльман — никогда не оставляет после себя ни одной соринки.

Генерал повернулся, принял на руки закутанного в легкое, набитое невесомым птичьим пером одеяльце Кирилла.

— Лошади стоят у вокзала, — предупредительно произнес Вырыпаев, — с той стороны.

Через несколько минут они уже неслись по курганским улицам; сзади в воздух взметывалась твердая искристая пыль; кучер-татарин, перепоясанный зеленым, видным даже в темноте кушаком — он не изменял цвету своей веры, хотя русские кучера испокон веков подпоясывались красными кушаками, — нахлестывал лошадей:

— Эт-те! Эт-те!

Штаб корпуса разместился в большом деревянном доме. Половина второго этажа, выходящая окнами в тихий белый сад, была отведена генералу под жилье.

Для детей уже были приготовлены постели — горничная знала, что генерал приедет рано, дети будут сонные, поэтому, чтобы они не капризничали днем, решила — пусть они еще немного поспят. В том, что они уснут снова, горничная была уверена.

Так оно и вышло. Таня уснула, едва коснувшись подушки. Кирилл, проявляя, видимо, мужской характер, некоторое время возился, укладываясь поудобнее. Он приподнимал голову, вглядывался в отца — не мог еще свыкнуться с мыслью, что это его отец: круглое, розовое, похожее на мячик лицо его часто меняло выражение, становилось то плаксивым, то, наоборот, делалось ясным, по-взрослому озабоченным. Однако прошло минут десять, и Кирилл тоже уснул. Каппель перекрестил детей и спустился вниз, в штаб, к Вырыпаеву.

Тот терпеливо ждал генерала.

— Ну, теперь давай без титулов и всякой великосветской ерунды, по-простецки, — велел полковнику Каппель, — рассказывай, чего нового? Омск прислал чего-нибудь?

Вырыпаев отрицательно качнул головой:

— Ничего. И не пришлет. Такое сложилось у меня впечатление. Мы, Владимир Оскарович, Омску — кость в горле.

— Не торопись делать выводы, Василий Осипович. — Каппель предупреждающе поднял руку. — В девять утра я буду звонить в ставку Верховного правителя.

У Каппеля, как командующего крупным воинским соединением, имелся прямой телефонный провод с Омском.

Ровно в девять ноль-ноль он позвонил в Омск.

Связь была отличная. Голос дежурного в омском штабе хоть и был изменен расстоянием, имел какой-то металлический оттенок, словно его раскатали в некую проволоку, а слышен был превосходно.

— Генерала Лебедева на месте нет, — сообщил дежурный.— Он на докладе у Верховного правителя.

— Когда будет? — спросил Каппель.

— Не могу знать. Попробуйте позвонить вечером, часов в восемь. В это время генерал Лебедев всегда бывает на месте.

Каппель позвонил в двадцать ноль-ноль. Трубку поднял другой дежурный, утренний уже сменился. Связь по-прежнему была отличной.

— Ваше превосходительство, генерал Лебедев находится в театре.

— Скажите, ему было доложено о моем звонке?

— Так точно. Генерал Лебедев попросил позвонить ему завтра утром, часов в девять.

Каппель дал отбой, вернул трубку дежурному офицеру.

— Ладно, мы люди не гордые, позвоним завтра в девять утра.

Вечером, когда в штабе корпуса закончилось совещание, Каппель достал из книжного шкафа две бутылки шустовского коньяка, поставил на стол. Проворный Бржезовский внес в кабинет поднос с лафитниками.

Генерал разлил коньяк по стопкам, в кабинете словно солнышко проснулось, пахнуло южным жаром — старый шустовский коньяк оказался таким душистым, будто бы специально был настоян на ароматах юга. Тяжелое брыластое лицо начальника штаба оживилось, в глазах замерцала жизнь. Барышников воодушевленно потер руки.

— Выпьем за Россию, — предложил Каппель.

Начальник штаба внес поправку:

— За Россию и за вас, Владимир Оскарович! Мы — с вами, ваше превосходительство!

Каппель промолчал. Выпил коньяк. Вспомнив старое, с удовольствием растер языком несколько капель по нёбу: так они поступали в молодости, в драгунском полку, когда приезжали из глуши в блистательную Варшаву, и перед тем, как отбыть из польской столицы, забирались в какой-нибудь ресторан, чтобы промочить горло. Случалось, им подавали хороший коньяк, и тогда Каппель смаковал его, растирая языком по нёбу... Давно это было. Осталась лишь память, больше ничего. Лицо генерала посветлело, он поставил лафитник на стол, произнес коротко:

— Благодарю!

Через полчаса он, аккуратно ступая по скрипучим ступеням лестницы, морщась болезненно — лестница была старая, рассохшаяся, — поднялся к себе наверх, на цыпочках прошел в комнату к детям.

Дети спали. В окно всовывали свои пушистые, покрытые снегом ветки две старые яблони, тихо поскребывали сучьями о стекло. Рождался новый ветер. Если принесется северный, неугомонный — будет затяжная пурга. На беду тех, кто попадет в нее. Каппель вздохнул, поправил на Кирилле одеяльце; тот, не просыпаясь, поднял голову, незряче посмотрел на отца, затем вновь опустил голову на подушку и едва слышно засопел. Дыхание у детей никогда не бывает тяжелым — всегда легкое, почти неслышимое.

Кирилл не был похож ни на мать, ни на отца, ни на деда — в его лице словно слились черты обоих родов,

но все же больше было черт Каппелей, а вот Таня была Олиной копией — вылитая мать. Каппель ощутил, как у него тихо сжалось сердце, он даже услышал далекий сдавленный скулеж, тоскливый, очень болезненный, в висках раздался звон, и генерал невольно покрутил головой, освобождаясь от этого горького звона.

Следы Оли так и затерялись в Москве. Скорее всего, ее уже нет в живых...

В девять сорок пять Каппеля позвали к телефону.

— Омск, — коротко сообщил дежурный офицер.

На проводе находился сам Лебедев — неуловимый начальник Ставки Верховного правителя России.

— Поздравляю с возвращением в Курган, — пророкотал в телефонной трубке довольный густой басок. Каппель недоуменно покосился на дежурного офицера, сидевшего рядом с телефонным аппаратом: Каппель уже давно вернулся в Курган, непонятно, с чем поздравляет его генерал Лебедев. — Как у вас погода?

Всегда, когда не о чем говорить, люди начинают расспрашивать собеседников о погоде.

— Метет, — нехотя ответил генерал, — на улицу выйти невозможно.

— А у нас, слава Богу, тишь. Солнце светит, как весной. По городу барышни на санях катаются. Снег от солнца розовый. Хорошо!

— Ваше высокопревосходительство, — раздраженно проговорил Каппель, ему хотелось и раньше прервать сытый рокоток Лебедева, но он выслушал его фразу до конца. — Волжский корпус формируется только на бумаге. У меня нет ни обмундирования, ни оружия, ни людского пополнения...

— Владимир Оскарович, это все пустяки, не стоящие обсуждения, — завтра у вас будет все — и оружие, и обмундирование, и людской резерв. Завтра! Я это обещаю. А пока отдохните... Отдохните сами, дайте возможность отдохнуть людям. Недели две, а то и три у вас есть для отдыха...

«Значит, людей и оружие Ставка пришлет не раньше чем через три недели, — мелькнула в голове у Каппеля огорченная мысль, он поморщился, — тогда почему Лебедев обещает прислать пополнение завтра? Да и завтра — это поздно. Оно нужно сегодня, оно нужно было вчера. Ведь с людьми надо работать — их нужно обучить, подогнать друг к другу — ведь это же солдаты... В противном случае солдаты не будут воевать, просто не сумеют — их перебьют...»

— Идет разработка большого весеннего наступления согласно моему проекту, — продолжал тем временем рокотать прямой провод голосом генерала Лебедева. — Нужно все учесть, распределить, ничего не упустить. В первую очередь сейчас отдаем все, что у нас есть, фронту — тем, кто находится на передовой. Требует Гайда, требует Пепеляев, требуют другие командующие... Да потом, мы с Верховным за вас не беспокоимся, Владимир Оскарович, поскольку знаем — за неделю вы сделаете столько, сколько другие не сделают за месяц. — В следующий миг Лебедев сменил тему разговора, сведя его к шутке: — У меня тут половина женщин в Ставке влюблена в вас...

Каппель вновь поморщился — он хранил верность Ольге Сергеевне и на девиц, в отличие от офицеров его штаба, старался не заглядываться. Стало понятно, почему военный министр колчаковского правительства генерал Будберг называет Лебедева «младенцем от Генерального штаба». Как штабист Лебедев еще в ночной горшочек ходит — не вышел из этого возраста.

— И последнее, ваше высокопревосходительство, — проговорил Каппель сумрачно, с трудом владея собой, — у меня не хватает лошадей... Дайте мне лошадей!

— Не могу, — пророкотал Лебедев, сытый басок его уже вызывал у Каппеля изжогу. — Обходитесь своими силами, научитесь этому... Проведите лошадиную мобилизацию... Где-нибудь в деревнях, — добавил он и поспешил распрощаться с Каппелем — этот колючий, неудобный в общении генерал также раздражал его.

Каппель отдал телефонную трубку дежурному офицеру, прошел к себе в кабинет. В приемной его ждал Вырыпаев. Увидев полковника, Каппель устало махнул рукой:

— Насчет Омска ты был прав. Генерал Лебедев не ведает, на каком свете живет. Но без Омска нам не обойтись.

— Что предлагает Лебедев?

— Провести конскую мобилизацию.

— А ведь придется.

— Придется, — согласился помрачневший Каппель, — другого выхода у нас нет.

Мобилизация была проведена в окрестных селах. Каппель провел ее, что называется, в щадящем режиме, аккуратно — хозяйств, где оставалась одна лошадь-кормилица, не трогал.

Лошадей набралось только на один эскадрон — больше мобилизовать не удалось. Сбруя, седла были старыми, взять эту амуницию было негде — только как получить на складе в Омске.

Каппель отправился к прямому проводу, довольно быстро соединился с Омском, с самим начальником Ставки — на этот раз повезло; голос Лебедева вознесся театрально, загремел искренне, с пониманием, даже сочувствием:

— Владимир Оскарович, не извольте ни о чем беспокоиться — все у вас будет, все поступит, дайте только немного времени. Может быть, даже подкинем вам сотни две лошадей. Я рассмотрю этот вопрос. Потерпите чуть-чуть.

И вновь Омск затаился, заглох, ни ответа от него, ни привета, ни продолжения диалога, словно Лебедев забыл о своем обещании.

В корпусе не хватало даже обычных винтовок, не говоря уже обо всем остальном. Количество пулеметов можно было пересчитать по пальцам, патронов тоже не было.

Каппель снова позвонил Лебедеву и опять получил вежливый, очень доброжелательный ответ:

— Потерпите еще денька два, Владимир Оскарович, после этого я все, что вы требуете, пошлю в Курган. И проконтролирую это лично. Лич-чно!

Но ни через два, ни через три, даже ни через неделю из Омска так ничего и не поступило.

Каппель вновь позвонил в Омск, Лебедеву — с начальником Ставки его не соединили.

Позвонил вторично — тот же результат. Позвонил в третий раз — то же самое. Каппель — человек проницательный, способный по жестам, по интонациям, по паузам в голосе понять очень многое, — на этот раз понял, что Лебедев разговаривать с ним просто-напросто не желает.

Сделалось противно. Можно было, конечно, через голову Лебедева позвонить прямо Верховному правителю, но Каппель не хотел делать этого. Во-первых, через голову начальника Ставки нельзя, во-вторых, не хотел выглядеть жалобщиком. Полагал: если адмирал посчитает нужным, то сам вызовет Лебедева и поинтересуется, как идут дела у Каппеля.

Самое интересное, что адмирал действительно дважды вызывал к себе Лебедева и задавал ему один и тот же вопрос:

— Как формируется корпус Каппеля? Все ли у него есть? Не нуждается ли он в чем?

Лебедев, согнувшись в почтительном поклоне, отвечал бодрым голосом, не запинаясь ни на миг, словно сам верил тому, что говорит:

— Генерал Каппель как сыр в масле катается, ваше высокопревосходительство. Отказа ему нет ни в чем. Что он просит, то и даем.

Генерал Лебедев беззастенчиво врал; адмирал, веря ему, успокоенно кивал, произносил благожелательно:

— Это хорошо. Каппель в нашей армии — лучший командующий корпусом.

А Каппель не то чтобы ничего не получал с омских воинских складов, он даже дозвониться до генерал-лейтенанта Лебедева не мог. Тот был упоен победами, которые

одерживали колчаковские части. Еще бы — пройдет пара недель — и прямая дорога на Москву будет открыта.

Душа Лебедева светилась от предвкушения золотого дождя наград, который должен был пролиться на него. И уж, конечно, никак нельзя было допустить до этого дождя выскочку Каппеля, чьи заслуги перед Россией, по мнению генерал-лейтенанта, слишком преувеличены. Непонятно, чего хорошего нашел в нем Верховный правитель. Обыкновенный хвастливый генерал. Таких Лебедев на своем веку видел сотни — и старых, и молодых.

Утро выдалось затяжное, хмурое, неопрятные полупрелые облака прогибались, иногда слышалось гнилое храпянье, и тогда с верхотуры сыпался мелкий, колючий, схожий с песком снег. Барышников, усевшись за стол, неожиданно побледнел, губы у него сделались синими. Он схватился за грудь, с трудом шевельнул ртом:

— Сердце останавливается.

Прибежал лекарь, дежуривший в штабе, дал полковнику выпить две столовые ложки микстуры. Барышников упрямо сжимал зубы — не любил горькую микстуру, но лекарь все-таки всадил ложку прямо в сжим челюстей.

— Ваше высокоблагородие, примите... Полегчает.

Каппель разбирал почту, поступившую к нему из канцелярии, хмуро поглядывал в окно, видел то же, что видели и его дети, находившиеся на втором этаже: украшенные шапками снега яблони, растворяющиеся в нездоровом сером сумраке, высокий забор зеленого защитного цвета — явно красочка была взята с армейского склада, неровные сугробы. Вдруг среди бумаг он увидел одну, со знакомым почерком.

Это был почерк Вырыпаева. Каппель хорошо знал его. Генерал вгляделся в бумагу. Лицо его дрогнуло, сделалось чужим. Каппель отодвинул бумагу от себя, потом вновь прочитал ее.

Вырыпаев как командир батареи написал на имя генерала рапорт с предложением присвоить его батарее

имя Каппеля. Резким движением подцепив на палец валдайский колокольчик, стоявший на столе, Каппель позвонил.

На пороге появился дежурный офицер.

— Пошлите вестового за полковником Вырыпаевым, — приказал ему генерал.

Дежурный лихо щелкнул каблуками и исчез. Разыскал Насморкова.

— Скачи аллюр три креста за Василием Осиповичем. Предупреди — генерал зело сердит.

Через двадцать минут запыхавшийся Вырыпаев появился в штабе.

— Это ваш рапорт? — не глядя на полковника, довольно враждебно, на «вы», спросил Каппель, тряхнул листом бумаги, который держал в руке.

— Мой.

Каппель бросил рапорт на стол:

— Порвите! Я не принадлежу к особам царской фамилии, чтобы моим именем называть батареи и полки.

Вырыпаев вздохнул, махнул рукой огорченно, понимая, что спорить бесполезно, и молча порвал рапорт.

— Спасибо! — смягчившись, поблагодарил Каппель. — Что там из Омска?

— Из Омска ничего. Будто умерли.

Звонить Лебедеву не хотелось, да и звонки эти были унизительными — каждый раз, звоня, генерал переступал через самого себя, ему казалось, что дежурные в Ставке, снимая трубку, посмеиваются над ним.

И тем не менее Третий Волжский корпус (он получил номер три) продолжал формироваться. В корпус по мобилизационному плану входили Самарская пехотная дивизия, которой командовал заслуженный генерал Мшенецкий, Симбирская пехотная дивизия под началом молодого генерала Сахарова, Казанская пехотная дивизия во главе с полковником Пехтуровым, кавалерийская бригада — начальником ее был генерал Нечаев, и Отдельная Волжская артиллерийская батарея, которой с самой Самары командовал полковник Вырыпаев.

Формирование шло медленно, со скрипом, это раздражало Каппеля, он подумывал, а не напроситься ли, наплевав на армейский политес, на прием к адмиралу, но тут же отгонял эту мысль прочь — адмиралу сейчас было не до него...

В марте запахло весной. Она в Сибири приходит в апреле, часто в самом конце месяца, и это считается нормой, а тут пожаловала в марте... Не слишком ли рано?

Весь город высыпал на улицы. Каппель приказал вывести из конюшни гнедого и в сопровождении ординарца неспешной рысью поскакал в казармы самарцев — дивизии, прошедшей вместе с генералом все огни и воды — он любил бывать в ней.

Иногда гнедой переключался на галоп, иногда осаживал сам себя и переходил на шаг — генерал не понукал коня. В седле, во время езды, хорошо думается, мысли в голову приходят разные, и светлые, и печальные, и тех, и других, к сожалению, равное количество, хотя очень хотелось, чтобы светлых мыслей было больше.

На перекрестке Каппель увидел нарядную девушку, стройную, в утепленных ладных сапожках и дымчатой беличьей дошке, с рыжей лисьей муфтой, в которой красавица прятала свои маленькие руки.

Лицо девушки показалось Каппелю знакомым. Он вгляделся в этот нежный лик, и у него тихо сжалось сердце, в горле что-то задрожало: эта девушка была очень похожа на юную Олю Строльман. Девушка смотрела на него неотрывно, хотела что-то спросить или прислать привет из некого чистого легкого девичьего мира, в который генералу не было входа. Каппель грустно улыбнулся и приложил руку к папахе.

Девушка ответила легким поклоном.

Подъехав к казармам самарцев, Каппель спрыгнул с коня и двинулся дальше пешком, ведя своего гнедого в поводу. Навстречу ему из караулки бегом выметнулся дежурный:

— Ваше превосходительство, звонили из штаба корпуса — пришло пополнение.

Генерал посветлел лицом:

— Наконец-то! Наконец-то они вспомнили о нас.

Он поспешно вскочил в седло, приказал ординарцу, чтобы тот не отставал, и с места взял в галоп.

В штабе корпуса его ожидал Вырыпаев со странно перекошенным лицом и нервным булькающим смешком, то вырывающимся у него из груди, то застревающим где-то в горле. Увидев генерала, Вырыпаев отер платком влажные глаза:

— Ваше превосходительство, принимать пополнение будем в Екатеринбурге. Надо ехать.

— В чем же дело, Василий Осипович! Поедем. Мы — люди негордые, ради такого дела съездим и в Екатеринбург. — Каппель оживленно потер руки.— А?

— Вы еще не знаете главную новость, ваше превосходительство... Пополнение — из пленных красноармейцев.

Лицо у Каппеля угасло, подглазья потемнели.

— И сколько же их?

— Более тысячи человек.

— М-да-а. — Генерал взялся было за аппарат прямой связи с Омском, поглядел на трубку как на существо, способное приносить только недобрые вести, и отдал ее дежурному. — Что бы там ни было, Василий Осипович, а ехать а Екатеринбург все равно надо.

Для Павлова с Варей наступило счастливое время. На службе, в роте, Павлов старался освободиться пораньше, мчался домой, оставляя роту на своего помощника прапорщика Ильина — тот хоть и молодой был, но «борозды» никогда не портил. Ильин хорошо понимал командира и, поскольку ни родных, ни друзей у него в Кургане не было, охотно оставался в роте, случалось, и ночевал здесь — в каптерке, положив под голову пару валенок, постелив на топчан ватное азиатское одеяло и таким же одеялом накрывшись.

Варя тоже старалась пораньше исчезнуть с работы — не было еще случая, чтобы доктор Никонов не пошел ей навстречу. Более того, он махал на нее руками, будто большой мотыль, попавший в свет фонаря, и говорил, добродушно щуря глаза:

— Варечка, идите-ка вы, голубушка, домой... Вас там ждут, у вас счастливая пора — медовый месяц.

— Уже кончается, Виталий Евгеньевич!

— У молодых, Варечка, половина жизни — медовый месяц. — Лицо доктора делалось торжественным и одновременно грустным. Врач знал, что говорил, — все это у него осталось позади, он об этом жалел и еще больше жалел о другом, что это никогда больше не повторится.

Жена доктора, как и жена Каппеля, исчезла в огненном водовороте, не видно ее, и ничего о ней не слышно. Ничего не знал доктор и о судьбе своего единственного ребенка.

— Берегите себя, милая, — наказывал он, помогая Варе натянуть на плечи старую шубейку, купленную здесь же, в Кургане, чтобы не звенеть костями в морозные дни, — и мужа своего берегите, он у вас славный человек... Это главное. Все остальное — ерунда. И вообще, у вас все будет, абсолютно все, — доктор осенял ее крестом, — вы — молодые...

Через несколько минут Варя уже неслась по улице домой — надо было приготовить к приходу мужа что-нибудь вкусное.

За Уралом, как слышала Варя, народ голодает — там едят собак, кошек, воробьев — все, что пахнет мясом и дает навар... Всю эту живность подвели в голодную снежную зиму восемнадцатого—девятнадцатого годов под топор и пустили в суп. Говорят, что даже люди едят людей. В Кургане на этот счет разразилась большой статьей местная газета — весь тираж ее продали прямо со станка, с непросохшей краской, но Варя этой печатной говорильне не верила: как это человек может есть человека?

Она брала маленький, со сточенным лезвием ножик и садилась чистить картошку. Саша Павлов любил кар-

тошку, тушенную с мясом. С лавровым листом, с дольками морковки и чеснока, с крупными черными горошинами перца — в одиночку муж мог умять целый чугунок, и Варя спешила побаловать его. Они снимали маленькую, с подслеповатым оконцем глухую комнату, полную таинственных звуков, шорохов, словно в комнате этой, кроме молодоженов, жил еще кто-то... И все равно это кривобокое слепое жилище казалось Варе лучшим из всего, что она видела.

Каждый раз она боялась, что не успеет к приходу мужа приготовить ужин, и все-таки каждый раз успевала — Павлов, заснеженный, в обмахренной инеем папахе появлялся на пороге и восхищенно втягивал в себя вкусный дух:

— Какой восхитительный запах! Такой еды я еще никогда не ел.

— Ты вначале попробуй, а потом хвали.

— Я это без всякой пробы знаю. М-м-м! — Павлов, демонстрируя восхищение, крутил головой и в ту же минуту словно погружался в какое-то дремотно-сладкое состояние, в котором совершенно не было тревог, отступали все заботы, и только одно занимало его мысли — Варя!

Павлов был счастлив, настолько счастлив, что иногда, целуя Варю в прохладный висок, вдруг ощущал, что он не чувствует биения своего сердца. Павлову делалось страшно, хотя чувство это — чувство страха — на фронте он никогда не испытывал. А вот сейчас он боялся не за себя — за Варю. Вдруг с ней что-то случится и он не сумеет ее защитить?

Продолжая пребывать в оглушающей гулкой тиши, он ждал, когда сердце заработает вновь — оно должно заработать, оно вообще не имеет права останавливаться — хотя бы ради Вари, — и вздыхал облегченно, когда в полую тишь проникал далекий негромкий звук: это к штабс-капитану возвращалась его жизнь.

— Варя, — шептал он, едва шевеля чужими, слипающимися губами, — ох, Варя!

— Что? — шепотом спрашивала она.

— Я боюсь за тебя.

— И я боюсь за тебя.

Тревожно было в этом мире, и хотя войной в Кургане вроде бы не пахло, она вяло протекала где-то на западе, далеко отсюда, пороховые хвосты иногда проносились и над Курганом: то одна нехорошая новость, что наступление колчаковских войск захлебнулось, приходила, то другая — столько-то колчаковцев угодило в плен к красноармейцам, столько-то было ранено, столько поморозилось, и лица людей делались озабоченными.

И вдвойне озабоченными становились лица у тех, кто старался копнуть поглубже, кто понимал, что убитые, раненые, помороженные — они есть и с той, и с другой стороны — это все свои люди, несчастные соотечественники, рожденные не где-нибудь в Англии или во Франции — рожденные здесь, под этим небом, на этой земле, и, убивая друг друга, они ложатся в одну землю.

Народа в России становилось все меньше и меньше, красные бьют белых, белые — красных, мутузят друг дружку, рычат, плюются кровью, радуются смерти человеческой... Никогда такого в России не было... И кто знает, когда все это кончится?

Глаза Павлова встревоженно темнели, он затихал, прижимал к себе Варину голову. Варя также затихала, слушая, как стучит сердце ее собственное и как стучит сердце мужа...

Хорошо им было вдвоем. И очень хотелось, чтобы счастье это, одно на двоих, никогда не кончалось.

Но желания с хотениями и действительность — вещи совершенно разные.

В той части России, что находилась под большевиками, царил голод. Вши, брюшной тиф, разруха, разбитые села, сожженные дома, расстрелы, трупы на улицах, мешочники, мертвые составы на железной дороге, холодные, в снегу, паровозы — страшно...

Маша Игнатьева видела, как на окраине одного голодного пустого городка прямо на большом обледенелом

камне, примерзнув к нему спиной, лежал бородатый, со страшной изъязвленной пастью мужик и стонал:

— Мама, роди меня обратно!

С каждым словом у него изо рта выбрызгивали капельки крови.

Люди умирали как мухи — без счета.

Машу передернуло, лицо ее сделалось белым, и она поспешно полезла в автомобиль Тухачевского.

В автомобиле всплакнула:

— Как там мои? Небось тоже голодают?

Она представила себе отца, слабого, полувысохшего, с серыми куделями волос и трясущимся подбородком, и у нее, будто в припадке, задрожали плечи:

— Надо срочно ехать в Пензу! Срочно к отцу с матерью...

Тухачевский, выслушав жену, сказал:

— Бери вновь, как и в прошлые разы, спальный вагон, двух человек для охраны и поезжай. Проведать отца с матерью — дело святое. К моим обязательно загляни... Узнай, как они там.

На его лице возникла широкая зубастая улыбка, серые глаза были задумчивы. С Тухачевскими в одном вагоне жил старший брат командарма, Александр Тухачевский, такой же рослый, сероглазый, красивый, с атлетической фигурой и, как слышала Маша, очень талантливый математик. В чем состоял его талант, Маша не понимала — в чудных значках, в буковках, в геометрических фигурках, которые Саша, морща лоб, рисовал на бумаге, или в чем-то другом? Нет, Маше это было неведомо.

Саша Тухачевский боялся, что его расстреляют. Либо свои — по ошибке, либо чужие — за то, что он брат красного командарма. Лишь с Мишей, в его вагоне, под охраной, он чувствовал себя спокойно. Иногда он наблюдал, как брат работает над очередной скрипкой.

— Ну ты и гений! — восхищенно комментировал он увиденное.

Тухачевский довольно улыбался.

Маша Игнатьева никогда не приезжала в Пензу с пустыми руками, обязательно привозила с собой продукты, старалась захватить их как можно больше — не на себе же, в конце концов, она тащит, есть персональный вагон, есть паровоз, есть дюжие мужики-охранники, поэтому чем больше она набьет еды в вагон — тем лучше.

И Маша старалась: то три мешка муки с собой привезет, а к ним — шесть мешков картошки и пару ящиков трофейных английских консервов и большую упаковку пресного французского печенья, то достанет три ящика дорогой лущеной гречихи и половину коровьей туши... Все это — в дом, в дом, к дорогим родителям.

Была Маша бесхитростной доброй душой, она и ведать не ведала, что жена командарма должна быть святой, как римская императрица, и не имеет права заниматься сомнительной добычей провианта. Ее заметили сначала в одном месте — дюжие охранники, согнувшись в три погибели, волокли в вагон мешки с ядреной орловской картошкой, потом в другом — на этот раз Маруся добывала родителям мясо, и вскоре о продовольственных закупках жены Тухачевского стало известно в Реввоенсовете фронта. Командарма вызвали в Реввоенсовет, на неприятное заседание.

Вернулся он оттуда мрачный, прошел к себе в спальную половину вагона, где Саша Тухачевский лежал на высокой мягкой постели и, мусоля химический карандаш, решал очередную математическую задачу.

Глянув на брата, Саша обеспокоенно свесил ноги с кровати:

— Что-то случилось?

Михаил кивнул:

— Случилось.

— От всех невзгод есть хорошее средство. — Саша подошел к шкафу, открыл его, достал две стопки, поставил их на узкий откидной столик. Рядом, словно флаг на некую захваченную высоту, водрузил бутылку, старую, тяжелого ручного литья, чуть кособокую. — Вот это лекарство. Будешь?

Командарм, который презирал слабость и вдвойне презирал внутреннюю мягкотелость, сдобренную спиртным, решительно тряхнул головой:

— Буду.

— Так что же случилось? — аккуратно, тихо, словно охотник, который, боясь спугнуть птицу, беззвучно подбирался к ней, морщился, ожидая, что под ногой вот-вот хряпнет какой-нибудь сучок, спросил Саша, спросил так невнятно, что Михаил даже не разобрал вопроса, приподнял широкую атласную бровь.

Саша повторил вопрос.

— Пустяки, — махнул рукой Тухачевский, — по сравнению с мировой революцией сущие пустяки. Но, замечу, — неприятные...

— «Все пройдет», — говорил царь Соломон. Пройдет и это.

— По-моему, он говорил «Все проходит», а не «Все пройдет»...

— Какая разница! От перестановки мест слагаемых сумма не меняется: что в прошедшем времени, что в настоящем, что в будущем — один хрен. — Саша разлил водку, поднял свою стопку: — За то, брат, чтобы ты почаще улыбался.

— А я — за мировую революцию,— Тухачевский поднял свою стопку, — и не меньше.

— Одно другому не мешает, Миша, — мягко произнес Саша, — революцию должны делать люди со счастливыми лицами.

— Хорошие слова, — похвалил Тухачевский.

Выпили.

— Ну, что там у тебя случилось, скажи хоть, — вновь повторил вопрос Саша, он был обеспокоен состоянием брата, — не скрывай.

Тухачевский опять махнул рукой, подбородок у него вначале двинулся в одну сторону, будто у боксера, пропустившего удар в челюсть, потом в другую, большие глаза жестко сжались.

— Налей еще, — попросил он.

Саша налил. Поднял стопку, чокнулся с Тухачевским, вид у него сделался расстроенным — состояние, в котором пребывал брат, ему не нравилось, к тому же и его собственное благополучие целиком зависело от командарма.

— Пью за то, Миша, чтобы твое имя осталось в российской истории, — сказал он.

Тухачевский кивнул, вновь махнул рукой, потянулся своей стопкой к стопке брата, но тот поспешно отвел свою посудину в сторону, предупреждающе поднял палец:

— Два раза чокаться нельзя — плохая примета.

Тухачевский не удержался, усмехнулся:

— Прелестный пассаж. — Глаза у него сжались жестко, словно Тухачевский смотрел в прорезь винтовочного прицела.

Он думал в этот момент о жене, прикидывал, когда же она должна вернуться. Обычно у родителей она долго не задерживалась — день, два, максимум три — и тут же устремлялась обратно, к мужу... Значит, дней через пять-шесть она будет здесь. У Тухачевского недобро сомкнулись губы, он молча протянул пустую стопку брату.

Маша вернулась через четыре дня — Тухачевский рассчитал довольно точно, — сияющая, белозубая, она едва ли не бегом направилась к штабному вагону. Она соскучилась по мужу, по его глазам, по его улыбке, рядом с ним она ощущала себя защищенной, как в крепости, ей не была страшна любая беда...

Вагон Тухачевского стоял на старом месте — в тупичке недалеко от игрушечно красивой водонапорной башенки; густо заснеженные деревья сонно склонили свои головы к крыше вагона. Сердце у Маши забилось гулко — через полминуты она увидит мужа.

Она птицей взлетела по лесенке в вагон, и первый человек, которого увидела, был Тухачевский. Ничто не дрогнуло на его напряженном жестком лице: как не было ни одной радостной черточки, ни одного штриха, так и не появилось при виде жены.

Машина улыбка погасла, она недоуменно, как-то беспомощно оглянулась и потянулась к Тухачевскому, словно ища защиты. Но он отвернулся от нее, потыкал пальцем в карту, указывая на что-то важное собеседнику — командиру одной из дивизий, которого Маша не раз встречала здесь, вагоне, — проговорил негромко, с начальственными нотками в голосе:

— С этой высоты все видно на девять километров. А уж сектор обстрела какой... Круговой! Взять ее — главная ваша задача. Возьмем высоту — город сам сдастся. Ключи принесут на фарфоровой тарелке. Понятно?

— Так точно! — по-солдатски грубо рявкнул комдив.

— Миша, — тоненьким обиженным голосом позвала мужа Маша, протянула ему руку.

Тухачевский вскинул голову, произнес резко, незнакомым, со скрипучими злыми нотками тоном:

— Я сейчас занят!

Понурившись, Маша прошла на жилую половину вагона. Она не понимала, не могла понять, что происходит, села на стул, подперла кулаком подбородок.

Мнут через пятнадцать пришел муж, глянул на нее тяжело.

— Ты подвела меня, — произнес он холодно, в голосе его не было ни одной теплой нотки.

— Подвела? Чем же? — Маша запоздало всплеснула руками. — Упаси Господь, даже не думала тебя подводить.

— Думала или не думала — это дело десятое, только вот я с головы до ног оказался вымазанным грязью.

— Из-за меня? — неверяще спросила Маша.

— Из-за тебя! — Тухачевский, как в конной атаке, рубанул рукою воздух, по лицу его пробежала судорога, в серые светлые глаза натекла хмарь, они потемнели, сделались гневными. — Меня обвинили в том, что жена моя — мешочница. Шастает по вокзалам, по барахолкам, по толкучкам, скупает крупу, консервы и возит их в Пензу... Это так?

— Но, Миша...

— Я тебе не Миша, — резко перебил ее Тухачевский.

Маша побледнела, произнесла беспомощно:

— Миша!

— Ты опозорила меня, — повысив голос, произнес Тухачевский. — Мне было стыдно смотреть в глаза товарищам на заседании Реввоенсовета фронта. — Тухачевский, едва сдерживая себя, выпрямился. — А, да ты все равно ничего не понимаешь! — Он вновь наотмашь рубанул рукою воздух. — Мы живем в свободной России — в советской... Чтобы разойтись, нам не надо ни обрядов, ни записей в церковной книге. Ты свободна!

Тухачевский сделал ладонью этакий выметающий жест, будто дворник, скребущий метлой по тротуару.

Она почувствовала, что некий внутренний вскрик, возникший у нее в груди, где-то в глубине, готов вырваться наружу, но сумела сдержаться, прижала к губам пальцы и прошептала потрясенно:

— Как?

Тухачевский рявкнул зло:

— А вот так!

Это было грубо. Тухачевский и сам понимал, что грубо, но сдержаться не смог.

Машины глаза наполнились слезами — ведь не для себя же она возила эти тяжеленные мешки с продуктами — для голодных слабых родителей. Они уже старенькие, лишний раз на улицу выйти не могут, кто же их обеспечит едой? Только родная дочь, больше никто... Маша потрясенно приподняла плечи, словно моллюск втягивая в них голову, прижала руки к волосам, которые Тухачевский еще несколько дней назад называл «шелковыми»...

— Только не надо слез, — жестко проговорил Тухачевский, — не люблю соленую воду.

— Слез не будет. — Маша вздохнула.

С собой в поездки она брала револьвер — старый, тусклый, с затемнениями на стволе. Хоть револьвер и не особо был нужен ей — охрана, выделяемая мужем, мог-

ла кого угодно завалить и завалила бы, не задумываясь, — но тем не менее Маша держала револьвер в сумке вместе со всякими дамскими принадлежностями, способными некрасивую женщину превращать в привлекательную особу... Впрочем, Маше никакие ухищрения не требовались, она и без того была женщиной броской, красивой без всяких склянок с кремами, коробочек с пудрой. Маша это знала.

Нетвердыми шагами она подошла к тумбочке, на которой лежала сумка, расстегнула ее и в следующий миг обрела решительность, сдвинула в сторону несколько коробочек, достала из сумки револьвер. Сунула его под отворот дошки, которую так и не успела снять.

Когда Маша выпрямилась, глаза ее были сухи, только походка давала сбой, была нетвердой, будто по невесть какой причине эта красивая женщина хватила стакан водки и злое зелье теперь крутило ее, мешало передвигаться.

Пошатываясь, она обошла Тухачевского — даже не посмотрела на него, он для нее перестал существовать, — направилась к выходу.

— Вещи свои забери, — крикнул вслед Тухачевский.

— Не надо, — сухо, едва слышно проговорила Маша, вышла в тамбур.

Проворно спустилась по ступенькам на снег. С макушек деревьев на нее выжидательно смотрели большие черные птицы. Маша глянула на них, ей показалось, что это грачи — предвестники весны, но вряд ли это были они, ведь до весны еще далеко. При виде черных грузных птиц в горле у Маши что-то задергалось, забулькало, будто внутри у нее лопнула некая жила и сейчас изо рта выбрызнет кровь. Она тоскливо отвела взгляд в сторону — смотреть на этих могильных птиц не было сил — и, торопливо забежав за вагон, выдернула из-за отворота дошки револьвер.

Снег за вагоном был испятнан желтыми сусличьими норками — тут с удовольствием опорожняли свои мочевые пузыри бойцы охраны — ведь далеко от вагона отходить нельзя, начальник караула голову свернет за такие дела, поэтому и приходилось мочиться рядом с вагоном командарма.

Маша лишь секунду помешкала, подумав, что нехорошо будет лежать в моче красных бойцов, — но не все ли равно это ей теперь, большим пальцем правой руки она смахнула вниз флажок предохранителя, взвела курок и поднесла ствол к виску.

В последний момент Маша подумала, что пуля обезобразит ей лицо, вывернет наизнанку, но опускать ствол револьвера не стала — поняла: если опустит, то потом у нее не хватит сил вновь поднять ствол, и она поспешно нажала на курок.

Грохнул выстрел.

Тяжелые черные птицы с трудом поднялись с ветвей, обрушили вниз снег и испуганной тучей отвалили в сторону. Маша всхлипнула прощально — какие-то краткие миги жизнь еще теплилась в ней, хотя она была уже мертва, ничего не видела, ничего не слышала, — опустилась на колени, рука с револьвером повисла вдоль тела, палец судорожно надавил на курок, раздался второй выстрел. В землю.

Маша ткнулась головой в испачканный снег, дернулась дважды и затихла.

Каппель поехал знакомиться с пополнением в Екатеринбург.

Разместили пленных в огромном гулком помещении с полукруглой крышей, с которой снег скатывался, как с горы — не задерживаясь ни на секунду, и оттого, что на крыше не было снега, в самом помещении было особенно холодно, в углу белел иней.

На улице было много теплее, чем в этом дурацком, не приспособленном для жизни планетарии, на улице светило солнце, небо было чистым, безмятежно голубым, на крышах оглашенно орали соскучившиеся по солнечному свету и теплу воробьи.

Пополнение вывалило из помещения на улицу. Люди стояли с открытыми ртами, подставляли лица солнцу. Слышались откровенные вздохи:

— Домой бы!

На всякий такой вздох, как на некий пароль, звучал отклик:

— Домой бы!

— Жди, когда рак на горе свистнет — он тебе личную отпускную бумагу в зубы вставит и литер на проезд домой выдаст...

— И ручкой вслед помашет.

Старенький автомобиль, на котором ехал Каппель, чихал, дымил, находиться в таком автомобиле было противно, хотелось пересесть на лошадь, но Каппель терпел.

Во дворе «планетария» тем временем столпилось не менее тысячи человек. Автомобиль генерала, громко заскрипев тормозами, въехал во двор.

Один из солдат, в драной шинели, стоявший у самого входа, у ворот, неверяще ахнул:

— Каппель!

— Ты чего, знаком с ним, что ли? — спросил у солдата его сосед, худой, с плохо выбритыми щеками, в шинели с оторванными пуговицами.

— Более чем знаком, я к нему под деревней Васьевкой в плен попал, так он меня пальцем не тронул, велел отпустить. Сказал только, чтобы я винтовку кинул в телегу и шел на все четыре стороны. Душевный мужик! Душу нашу понимает.

Этот солдат был опытным — уже во второй раз угодил в плен. Бог даст — в третий не попадет.

Автомобиль уперся радиатором в спекшуюся толпу. Фыркнул, выпуская из выхлопной трубы сизую вонючую струю дыма, и остановился. Солдаты стихли, воробьи загалдели сильнее.

К автомобилю подскочил поручик с белой повязкой на рукаве шинели. Генерал неспешно выбрался наружу, козырнул в ответ на приветствие поручика и жестко сощурился:

— Извольте спросить, к кому приставлен караул?

Поручик вытянулся в струнку — лихой был офицер, знал, как приветствовать генералов, — отчеканил на одном дыхании:

— К пленным красноармейцам, ваше превосходительство!

На лице Каппеля удивленно приподнялась бровь.

— К пленным красноармейцам? К каким?

— К тем, что находятся во дворе и в казарме.

— К моим солдатам я не разрешаю ставить караулы. Немедленно снимите часовых. Ясно, поручик?

Разговор этот происходил прилюдно, все слышали его и одобрительно кивали. Каппель повернулся к собравшимся, вскинул руку к папахе:

— Здравствуйте, русские солдаты!

В ответ прозвучало нечто нечленораздельное, похожее на нестройный рев. Каппель удрученно покачал головой: в отличие от поручика, солдаты не знали, как отвечать на приветствие, пробежался взглядом по лицам — ни одного приметного лица, ни единого. Подумал, что же сказать этим людям, и произнес:

— Ничего, приветствовать вы научитесь, не это главное. Это вообще дело десятое. Главное для нас — взять Москву.

— Дак это далеко! — выкрикнул кто-то из толпы.

— Это только кажется, что далеко, на самом же деле — не очень. Об этом мы сейчас и поговорим.

Каппель прошел в холодное гулкое помещение. Там дежурили фронтовики, сидели у железной печушки, швыряли в гудящее нутро мелко порубленные поленья, протягивали руки к огню.

Они-то, люди знающие, приветствовали Каппеля уже так, как надо, по всей форме:

— Встать! Смирно!

Каппель провел среди людей, которым предстояло пополнить ряды его армии, несколько часов, вышел от них удрученным: солдаты эти не были ни белыми, ни красными, ни зелеными, ни желтыми — они вообще

не были солдатами. Никакими. В большинстве своем — несчастные, оторванные от дома, голодные, бледные, даже синюшные от забот и неопределенности, они не знали, то ли их расстреляют здесь, в этом гулком помещении, то ли пошлют в бой и уже там погонят в атаку, на пули, а если они не пойдут, то польют их спины горячим дождем, то ли будет еще что-то... В угрюмые глаза их, в голодные лица даже не хотелось смотреть.

Начальник каппелевского штаба Барышников позвонил в Омск, спросил:

— И это все? Другого пополнения не будет?

— Не будет. Работайте с теми людьми, что есть, — ответили на том конце провода и повесили трубку. Омск не захотел далее разговаривать с полковником. Каппель был готов к такому повороту событий, сдернул с рук перчатки, сунул их в карман.

— Нам надо хотя бы четыре месяца, чтобы из этих людей сделать солдат. Не очень подготовленных, не очень сильных... Но все-таки это будут солдаты. Вызывайте командиров подразделений на совещание.

Во все концы города устремились посыльные с белыми, утяжеленными толстыми сургучными нашлепками-печатями пакетами.

Потянулись дни, один похожий на другой, спрессованные, занятые муштрой, учебными стрельбами, занятиями: «Выпад — коли! Второй выпад — бей прикладом!» Мало того, что солдаты не умели ничего делать, но больше удручало другое: все дивизии формирующегося корпуса на восемьдесят процентов состояли из пленных красноармейцев. Это убивало Каппеля более всего остального.

Тех, кто пришел с ним сюда с Волги, было мало. Вот таких бы ему солдат — и можно бросаться в любой бой. А с людьми неподготовленными, думающими о том, что дома осталась недоеная корова, выиграть сражение трудно.

С оружием тоже было плохо. Все, что Омск имел, — бросал на фронт, корпус же Каппеля в число действующей армии не входил, к тому же эшелоны, которые шли с военными грузами по «колесухе» — железной дороге с Дальнего Востока, в пути беспощадно опустошались. Больше всех в этом преуспевали вчерашние друзья чехословаки и различные придорожные атаманы, которых развелось видимо-невидимо. Иногда случалось, что в Омск приходили совершенно пустые составы: в вагонах ломами были пробиты огромные дыры...

Все звонки из штаба Каппеля в Омск никаких результатов не давали. Ответ следовал один:

— Ждите! Ваш черед пока не наступил.

И Каппель терпеливо ждал.

Положение не менялось. Лебедев был упоен успехами на фронте и на телефонные сигналы из Кургана внимания не обращал, более того, они его раздражали все сильнее и сильнее. Лебедев уже давно прикидывал на себя одеяние великого полководца, спасителя России, и теперь ждал, когда «придворный» портной сошьет ему новый парадный мундир. Но противостояли Лебедеву очень опытные солдаты, гораздо более талантливые, чем он сам, — бывший поручик Тухачевский, бывший прапорщик Блюхер. Все чаще и чаще стали произносить фамилию человека, которую раньше он никогда не слышал, — Фрунзе... Очень странная, надо заметить, фамилия. Лебедев морщился.

Тем временем на фронте попятился чех Гайда, слал отчаянные телеграммы измотанный тяжелыми боями Пепеляев, обстановка начала меняться. Белые побежали со своих позиций.

Накануне Пасхи, ночью, в Курган из Омска пришла следующая телеграмма: «Комкору-три генералу Каппелю. По велению Верховного правителя России вверенному Вам корпусу надлежит быть готовым к немедленной отправке на фронт. Подробности утром. Начальник Ставки Верховного правителя России генерал *Лебедев*».

Каппель, усталый, вернувшийся домой очень поздно — около двенадцати ночи — от генерала Имшенецкого, уже спал. Дежурный поспешно поднялся на второй

этаж, постучал в дверь, поежился невольно — боялся разбудить детей генерала, произнес свистящим шепотом:

— Ваше превосходительство!

Каппель проснулся тут же, словно ожидал этого робкого стука, через несколько секунд уже стоял в дверях в накинутой на плечи куртке, в которой ходил когда-то уговаривать шахтеров. Глянул спокойно на дежурного:

— Что случилось?

Тот отдал телеграмму:

— Вот, ваше превосходительство!

— Пусть телефонист начинает вызывать Омск, — сказал Каппель, с мрачным видом прочитав текст. — Я сейчас буду в штабе.

— Кого конкретно вызывать, ваше превосходительство?

— Лучше всего генерала Лебедева.

— Да он наверняка уже спит.

— Ничего, разбудим... Тут дело такое.

Через три минуты Каппель уже находился в штабе. За окном шел снег — тяжелый, плотный, весенний, хлопья крупные, в ладонь, — шлепались такие лепешки на землю с шумом, сочно, будто тесто, вылетевшее из квашни.

Генерал сел на стул рядом с телефонистом. Тот меланхолично крутил рукоятку вызова и произносил ровным сонным голосом, способным вызвать зуд на коже:

— Омск! Омск! Омск! Омск!

Так прошло минут пять. Телефонист беспомощно глянул на генерала:

— Сигнал не проходит!

Генерал произнес грубовато, жестко:

— Продолжайте вызывать Омск!

Тот вновь закрутил ручку телефонного аппарата:

— Омск! Омск! Омск!

Омск не отвечал — то ли линия была загружена, то ли мокрый снег оборвал телефонные провода, то ли произошло что-то еще. Телефонист вновь глянул на генерала, глаза его поблескивали вопросительно.

— Вызывай!

Голос у Каппеля был таким, что ясно было — с генералом лучше не спорить, но телефонист этого не заметил — видимо, очень хотелось спать в это не самое лучшее ночное дежурство, — сделал жалобное лицо:

— Так ведь все равно не дозвонимся...

— А не дозвонишься — пойдешь в окопы, — раздраженно ответил Каппель. Обычно ровный, спокойный, он никогда не был таким раздраженным и никогда не обращался к подчиненным на «ты». Нынешний случай был исключением из правил.

Щеки у телефониста испуганно подобрались, посерели, он поспешно завращал железную бобышку рукояти.

За окном продолжал падать тяжелый угрюмый снег, крупные светлые хлопья перечеркивали черные квадраты окон, в рассохшейся деревянной поперечине, прибитой к потолку, потренькивал сверчок.

Омск по-прежнему молчал. Иногда телефонист вздрагивал, вытягивал голову, вслушиваясь в шорох, раздающийся в телефонной трубке, и обмякал, опускался на стул.

— Молчит, зараза.

Каппель сидел рядом.

До Омска все-таки дозвонились. Молодец телефонист! Каппель, поглядывая в черное окно, которое продолжало перечеркивать белые хлопья снега, перехватил теплую, согретую рукой телефониста, трубку.

— Соедините меня с квартирой генерала Лебедева, — попросил он.

— Кто говорит?

— Генерал Каппель.

— Это невозможно, ваше превосходительство. Генерал Лебедев разговаривает по прямому проводу с генералом Пепеляевым.

Тьфу! Каппель отплюнулся и стал ждать, когда Лебедев освободится. Но тот не захотел говорить с Каппелем: дежурный с виноватыми нотками в голосе — этот голос едва был слышен в телефонной трубке, этакий шорох

в шорохе, невнятное скрипение кузнечиковых лапок в шумном пространстве — сообщил:

— Генерал Лебедев выехал из Омска.

Еще раз тьфу! У Каппеля побелело лицо. Тем не менее он сдержал себя, приказал дежурному по штабу спокойным голосом:

— На шесть ноль-ноль вызовите командиров частей.

В назначенное время явились генералы Имшенецкий, Сахаров, Нечаев, полковники Пехтуров и Вырыпаев. Не было только начальника штаба.

— Где Барышников?

Дежурный виновато приподнял плечи:

— Спит. Не можем добудиться.

— Вылейте на него ведро воды, — велел Каппель, — он быстро придет в себя.

В половине седьмого Барышников появился в штабе. Краснолицый, с мокрыми волосами и хмурым взглядом. Каппель положил перед ним омскую телеграмму.

Барышников дрожащей рукой пригладил волосы, поднес листок с расшифрованным текстом к глазам. Прочитал один раз, другой. Губы у него неожиданно задрожали:

— Владимир Оскарович, корпус не готов выступить на фронт. Он еще не сформирован... Это гибель.

В семь тридцать утра поступила новая телеграмма:

«Комкору-три генералу Каппелю. С получением сего вверенному Вам корпусу надлежит немедленно отправиться в распоряжение командарма-три». Барышников схватился за голову:

— Это конец!

Каппель оглядел собравшихся. Произнес спокойным твердым голосом:

— Командиры частей, доложите, в каком состоянии находятся вверенные вам войска.

Первым поднялся генерал Имшенецкий — командир самой боевой дивизии: дело у самарцев обстояло лучше всех. Вид у Имшенецкого был растерянным.

— Дивизия не укомплектована, — сказал он. — У меня не хватает оружия, амуниции. Мало толковых

солдат. Толковые — только старики. Учеба не завершена. Численный состав надо увеличивать по меньшей мере на тысячу двести — тысячу пятьсот человек. И это должны быть солдаты. Солдаты, а не та пленная глина, которая попадала к нам в последнее время. — Имшенецкий не удержался, красноречиво развел руки в стороны.

То же самое сказал и молодой генерал Николай Сахаров — однофамилец командарма-три, в чье распоряжение должен был поступить корпус, — даже слова те же самые использовал.

— Полковник Пехтуров!

И полковник не произнес ничего нового — рад бы, да увы, и Нечаев с Вырыпаевым — они тоже не сообщили ничего обнадеживающего.

Каппель задумчиво помял пальцами бородку и произнес тихим бесцветным голосом:

— Та-ак. — Снова помял пальцами бородку. — Теперь, господа, вопрос в лоб: вы верите своим солдатам? Генерал Имшенецкий!

Лицо начальника Самарской пехотной дивизии дернулось:

— Нет!

— Генерал Сахаров!

Тот поднялся со стула, одернул френч, перетянутый двойной портупеей:

— Нет!

— Полковник Пехтуров!

Полковник Пехтуров, как и Сахаров, был одет в новенький, под Колчака, песочный френч с отложным воротником — в армии стало модным шить такие френчи.

— Нет!

— Генерал Нечаев!

Кавалерист Нечаев, клешнястый, кривоногий, ловкий, лишь махнул рукой и выдавил из себя глухо:

— Нет.

У Вырыпаева дело обстояло немного лучше, чем у других, все-таки недаром артиллерию считали «богом войны». Это актуальное в последующие годы определе-

ние тогда только что родилось, но и у Вырыпаева положение было далеким от того, что хотелось. Каппель поморщился, как от зубной боли, подглазья у него невольно высветлились.

— Какое же это все-таки страшное слово — «нет», — промолвил он вроде бы для самого себя; наверное, так оно и было, но фразу эту услышали все собравшиеся.

Он нажал на кнопку звонка, вызывая дежурного офицера. Тот незамедлительно возник на пороге кабинета.

— Вызывайте Омск! — приказал Каппель.

На этот раз соединиться с генералом Лебедевым удалось на удивление быстро: тот оказался на месте,— у Каппеля вообще создалось впечатление, что тот ждал его звонка.

Каппель стал рассказывать о ситуации, в которой оказался корпус — причем не бросил ни одного слова упрека в том, что виноват в этой прискорбной ситуации Лебедев. Тот слушал генерала не перебивая, когда же Каппель начал говорить о том, что в его частях обнаружены красные агитаторы, неожиданно взорвался:

— Генерал Каппель, вы получили приказ? — И, не ожидая ответа, отчеканил свинцовым голосом: — Завтра корпус в полном составе должен явиться в распоряжение командарма-три.

Не дожидаясь, что Каппель скажет в ответ, начальник Ставки повесил трубку.

Едва корпус Каппеля прибыл на фронт, как от командарма Сахарова поступил приказ передать кавалерийскую бригаду Нечаева и батарею Вырыпаева генералу Волкову. Каппель остался с красноармейцами, ждущими удобного случая, чтобы улизнуть с передовой, да с немногими стариками, идущими с ним еще с Волги.

И тем не менее Каппель воевал...

Маленькая деревенька на реке Белой несколько раз переходила из рук в руки. Донельзя измордованная,

со спаленными хатами, испохабленная снарядами, она была еще жива.

Штабс-капитан Павлов с красными от бессонницы глазами, с повязкой на голове, сделанной из старого, прозрачного от ветхости полотенца, прикрываясь камнями, буграми дымящейся земли, полз вдоль залегшей цепи и считал, сколько у него осталось людей. Почти ничего — десятая часть от того, что было.

— Держитесь, ребята, — бормотал он хрипло, плюясь землей, попавшей в рот, поправляя повязку, сквозь которую проступила кровь, крупное пятно. Раз, два... шесть... двенадцать... двадцать пять... тридцать три... пятьдесят два... От батальона осталось совсем немного — восемьдесят два человека. Испачканных кровью и грязью, надсаженно хрипящих.

— Держитесь, — продолжал бормотать Павлов. Он не знал, что нужно говорить в таких случаях, какие существуют слова, и раз за разом тупо произносил одно и то же: — Держитесь!

Следом за Павловым полз прапорщик Ильин, прикрывая командира.

Огонь стих. Над разбитой деревушкой струились сизые вонючие дымы, растворялись в небе; за черной, перепаханной снарядами полосой земли поблескивала река.

Неожиданно за взгорбком, на котором вповалку будто бы лежали люди — срубленные снарядами сосны, послышался конский топот. Павлов невольно приподнял голову:

— Кого это несет к нам нелегкая?

Через минуту на взгорбок взлетел Каппель, легко спрыгнул с коня, кинул повод ординарцу. Не пригибаясь, в полный рост пошел вдоль лежащей цепи. Павлов поднялся, кинулся к генералу:

— Ваше превосходительство, все простреливается...

Каппель отмахнулся от этих слов, он будто их и не слышал.

— Ваше превосходительство! Стреляют...

Генерал продолжал неторопливо идти вдоль цепи солдат. Он говорил негромко:

— Сейчас будем наступать, братцы... Мы возьмем эту деревню, обязательно возьмем.

Прошел цепь до конца, вернулся, не замечая пуль, начавших роиться вокруг, расстегнул кобуру и произнес, по-прежнему не повышая голоса:

— Ну, братцы, с Богом! — Выдернув пистолет, вскинул его над головой: — Вперед, братцы!

Ловко перемахнул он через воронку, затем — через лежавшие вповалку трупы — солдаты схватились в рукопашной и полегли все — и красные, и белые — и побежал.

Несколько мгновений Каппелю казалось, что бежит он один, никто за ним не поднялся, — но нет, вот сзади послышался чей-то хрип, потом кто-то закашлялся на бегу — цепь поднялась следом за генералом.

Бежали молча, хрипели, плевались на ходу, огибали воронки, валом накатывались на деревню. Деревня молчала. Красные, засевшие в ней — бойцы раскуроченной, размятой в боях дивизии, тоже измотанные, израненные, охрипшие, ослепшие от усталости и пота, заливавшего глаза,— ждали. Белых им надо было подпустить поближе, чтобы уж стрелять наверняка, а потом — бить.

Каппель бежал и ощущал на бегу, как в грудь ему целятся стволы винтовок, — если прозвучит команда «Пли!», то его насквозь просадит несколько пуль, — ему до боли, до крика хотелось увернуться от пуль, отпрыгнуть в сторону, но он продолжал бежать, никуда не сворачивая.

Сзади раздался громоздкий вздох, родивший в груди Каппеля изумление. Казалось, что это дышит сама земля. Израненная, изуродованная, печальная — ей непонятно, за что люди бьют друг друга, стараются уничтожить, неужели они совершенно лишены жалости: люди перестали жалеть людей...

Вздох усилился, и неожиданно за спиной Каппеля грянуло хриплое, протяжное, перебиваемое стуком са-

пог о землю «Ура-а!». Вначале крик был слабеньким, едва звучал, но потом усилился, окреп, стал звучать мощно.

Из деревни грохнул залп. Несколько пуль просвистели над головой генерала, одна сбила фуражку, но он не остановился, чтобы поднять ее — это все потом, потом, лишь взмахнул пистолетом и побежал дальше.

Через двадцать минут деревня была взята. В плен попали и полсотни красноармейцев в изодранной одежде.

Каппель построил их, прошел вдоль неровной шеренги.

— Вы молодцы, — произнес он спокойно и хмуро. — Вы великолепно дрались. — Генерал стряхнул с головы несколько приставших комочков земли. — Раньше я таких солдат отпускал домой, полагая, что негоже русским людям сходиться в смертельной схватке с русскими людьми, но сейчас не могу. Простите меня.

Было тихо. От остатков сгоревшего дома несло вонькой гарью.

Запыхавшийся ординарец принес генералу фуражку. Верх, самый край, был продырявлен пулей.

Генерал взял фуражку в руки, вогнал в дырку палец.

— Крупный калибр! — усмехнулся он и натянул фуражку на голову и неожиданно услышал за своей спиной:

— Петька-а?.. Осмолов? Это ты? — Голос раздался из шеренги красных. Шеренга шевельнулась и затихла.

— Я, — послышался неуверенный отклик.

— Эх, Петька... Вот так встреча! Помнишь, как в детстве в барский сад за яблоками лазили?

— Помню.

Такого братания красных с белыми Каппель побаивался. От этих объятий можно было ожидать чего угодно. Генерал резко повернулся, смерил взглядом невысокого, заляпанного грязью юношу, стоявшего в шеренге белогвардейцев, затем оглядел такого же невысокого, как две капли воды похожего на своего приятеля, паренька, переминающегося с ноги на ногу в неровной цепи красных.

И красноармеец и его односельчанин невольно вытянулись.

Каппель скомандовал ординарцу:

— Коня!

Тот подвел коня. Каппель легко, словно не было ни трудной атаки, ни разговора с пленными, который для него был тяжелее атаки, вскочил в седло и шлепнул коня ладонью по крупу. Тот с места взял галопом и в несколько секунд вынес генерала на взгорбок, заваленный недавно срубленными, остро пахнущими смолой соснами.

Батальон, которым командовал Трошин-два — Егор — родной брат погибшего Евгения Трошина, как две капли воды похожий на него, с такими же пушкинскими баками — держал оборону в пятнадцати километрах от села, которое только что взяли остатки батальона Павлова. Место было неудачное, низинное, простреливалось с двух сторон. Фланги капитану надо было усилить, но усиливать их было нечем — людей не хватало.

Пушкинские баки у Трошина обвисли уныло, сам он обвял, постарел, лицо после контузии дергалось, однако батальон свой капитан не покидал, прикладывал к глазам какую-то грязную тряпицу, сипел дыряво и продолжал командовать солдатами.

Высоту, на которой у красных стояли пулеметы, надо было взять во что бы то ни стало, иначе «максимы» выкосят без остатка всех людей, что еще имелись у капитана.

И другое тревожило капитана: в батальоне у него активно работали большевистские агитаторы, несколько человек. Это Трошин-два знал точно — доложили проверенные люди, только вот все попытки обнаружить агитаторов оканчивались неудачей. Батальон не выдавал их.

Трошина это коробило, он матерился, хотя по натуре был человеком незлобивым и до фронта мата не знал совсем — совершенно не умел материться, — захватывал в кулак горсть земли и давил, давил, давил ее, словно хотел выжать сок. И сок этот наверняка будет иметь красный цвет — это Трошин знал точно.

Из солдат своих, перекрашенных в белый цвет — бывших красных, Трошин выбрал проворного цепкого Юрченко, хорошо знавшего штаб Тухачевского. Юрченко верой и правдой служил красному командарму, сопровождал Машу Игнатьеву в ее «продуктовых» поездках, но потом оплошал и угодил в плен, стал теперь служить верой и правдой белым. Так, во всяком случае, казалось Трошину.

Вечером, в сизом задымленном сумраке в деревню прискакал полковник Синюков, пронесся низами мимо заскорузлых старых домов, слепо пялившихся на него крохотные окна, чуть не угодил под пулеметную очередь. Слава Богу, она прошла в нескольких сантиметрах выше головы, полковник лишь почувствовал опасный жар ее и спрыгнул с коня около землянки, которую занимал командир батальона.

Следом принесся конь с упавшим поводом, без всадника.

— Николай Сергеевич, а где же ординарец? — удивленно спросил Трошин.

— Убило по дороге. Это его конь. Поймайте, привяжите. Не то попадет под шальную пулю... Жалко будет.

Коня поймали, завели за стену баньки, куда не доставали пули, повод привязали к скобе, вбитой в бревно.

— Хорошо научились красные воевать,— похвалил Синюков противника, отер платком лоб, — раньше они были менее напористыми.

Трошин молчал: это он знал не хуже полковника.

— Надо выбивать красных с этой выгодной позиции, с высоты, — сказал Синюков, — иначе они весь батальон выкосят.

— Силы нужны, Николай Сергеевич, — прохрипел Трошин, — а сил нету. Выдохлись.

— Все равно надо выбивать. Скоро сделается темно, под прикрытием темноты и надо будет взять высоту.

В вышине над их головами прогудела пулеметная очередь. Синюков мельком глянул вверх, умолк.

— Осторожнее, Николай Сергеевич, — предупредил Трошин, будто Синюков сам ничего не видел.

— Патронов не жалеют, — пробормотал Синюков, — бьют без счета. Будьте готовы к атаке, капитан.

Атаковать красных не удалось. Едва Трошин отозвался на команду ржавым сипением «Есть», как в спину ему уперся штык винтовки.

Трошин-два удивленно оглянулся. Сзади стоял Юрченко, острием штыка щекотал капитану спину и, поймав его взгляд, нажал штыком посильнее, разрезал гимнастерку.

За спиной полковника тоже стояли солдаты — двое, с винтовками на изготовку.

— Ну что, белые суки, попались? — довольно прокашлял Юрченко, расставил пошире ноги, словно собирался нанести удар, и вновь кольнул Трошина штыком. Изношенное лицо Юрченко расплылось в улыбке, под глазами появились гусиные лапки.

Из-за избы вынырнул еще один солдат с винтовкой, тщедушный, разбитной, приблизившись к полковнику, выдернул у него из кобуры револьвер, потом сдернул с мундира эмалевый Георгиевский крест:

— Хватит царские цацки носить.

Полковник угрюмо молчал.

— Что же вы делаете, мужики? — горько и тихо проговорил Трошин. — Мы же ведь с вами делили все... — Усталое лицо его, грязное, с коричневой вокруг глаз, задергалось.

— Все, да не все. — Юрченко коротко хохотнул.— У вас своя кубышка, господа хорошие, у нас своя. Вам охота воевать, а нам неохота. — Он вытащил у Трошина из кобуры револьвер. — Все, Юдин, подавай на гору сигнал — господ взяли... Боя не будет.

— Боя не будет, — эхом повторил Трошин-два, согнулся старчески и сплюнул себе под ноги.

Из-за черной, обваренной огнем избы показался еще

один человек, здоровенный, под самый конек крыши, в маленьких железных очках, смешно выглядевших на его длинном лошадином лице, спросил, подозрительно сощурившись:

— Что тут происходит?

— Да вот, Митяй, их благородий решили арестовать, а они сопротивляются...

— Кто велел арестовать? Каппель?

— Пожалуй, совсем наоборот.

Митяй Алямкин все понял, сморщился жалобно и, неожиданно сделав широкий шаг, вырвал винтовку из рук тщедушного мужичка, который любовался эмалевым крестом полковника — крест нравился ему, он уже намеревался положить чужую награду себе в карман — вдруг где-нибудь удастся выменять на хлеб, — но не успел этого сделать, Митяй с силой опустил приклад ему на голову.

Внутри мужичка что-то булькнуло, и голова по уши въехала в грудную клетку.

Сделать второй замах Митяй Алямкин не успел — в него выстрелил проворный Юрченко, следом в Митяя постарался всадить пулю напарник Юрченко, державший на мушке полковника, но промахнулся.

Митяй поник головой, с его носа сорвались и шлепнулись на землю крохотные железные очочки, он с тоской посмотрел на людей, стоявших рядом с ним, перевел взгляд на рыжее закатное солнце и, вымолвив горестно «Ох!», рухнул на землю.

Трошин дернулся, попытался ухватиться за ствол винтовки, которую держал Юрченко, но тот поспешно отскочил назад, лязгнул затвором, загоняя в ствол новый патрон, проорал яростно, чужим голосом:

— Стоять на месте!

Капитан сощурился, поймал глазами красный солнечный отсвет, плавающий в воздухе, попросил неожиданно молящее, с надрывом в голосе:

— Застрели меня, Юрченко, а?!

Юрченко отрицательно мотнул головой:

— Нет, господин капитан, застрелят тебя по решению революционного суда.

— За что же?

— За все! — безжалостно произнес Юрченко.

С господствующей высоты, которую батальон Трошина так и не взял, в низину, в деревню с криками скатывались красноармейцы.

Половина пополнения, которое генерал Лебедев засунул в корпус Каппеля, вернулась назад, к красным. Все происходило точно так же, как в батальоне Трошина: доведенные до бешенства агитаторами мужики хватали за воротники своих офицеров, сдирали с них погоны и ордена, волокли через линию фронта в красные штабы — сдавали там своих командиров, будто ненужные вещи:

— Вот, чтобы претензиев к нам не было.

Мало кто из офицеров потом оставался в живых: и красные, и белые стали одинаково беспощадны, друг друга не жалели.

Каппель, узнав, что Синюков уведен к красным солдатами трошинского батальона, сжал кулаки, потом достал из объемистой сумки фляжку коньяка, налил немного в стакан:

— Жаль. Хороший был офицер. Что же касается капитана Трошина, то я его не знал.

— А если послать к красным разведку, Владимир Оскарович? Как вы на это смотрите? — предложил Вырыпаев, на некоторое время вернувшийся в корпус Каппеля — поддержать артиллерийским огнем намечавшееся на этом участке фронта наступление, — правда, генерал Волков был против этого приказа, на Волкова самого давили так, что ему нечем уже было дышать, но отдать батарею все же пришлось. — Пусть пошарит разведка по красным тылам, — добавил Вырыпаев, который был рад встрече с Каппелем.

— А толку-то?

— В расчете на «вдруг» — вдруг наткнутся на Синюкова.

Каппель отрицательно покачал головой:

— И Синюкова не выручим, и разведчиков потеряем.

— Жаль, — с огорчением произнес Вырыпаев. — Самарских становится все меньше и меньше.

— Ладно, будь по-твоему, — сказал Каппель, — посылаем разведчиков. Хоть я и не склонен действовать по принципу «вдруг», но Синюкова жалко. Далеко его увезти не могли, он наверняка где-то здесь, на реке Белой.— Лицо у Каппеля неожиданно дернулось: генерал вспомнил совещание, которое проводил черным морозным утром в Кургане, тогда ни один командир на вопрос, верит ли он своим солдатам, не ответил «да». В то далекое утро у него впервые в жизни по хребту пополз неприятный холодок. Он пополз и сейчас. — Жаль Синюкова, — повторил генерал.

На следующий день батальон Павлова — вернее, те остатки людей, что еще находились в строю, — выбили красных из деревушки, где были взяты в плен Синюков и Трошин. Бой был коротким и жестоким. В плен захватили двести человек красноармейцев и двадцать семь пулеметов.

Подобрали и Митяя Алямина. Целые сутки он пролежал в куче убитых солдат и выполз к своим, когда те появились в селе.

Но этот успех был едва ли не единственным среди целой череды поражений — белые начали откатываться на восток. Генерал Лебедев потерял инициативу. Ставка Верховного правителя никак не могла свести концы с концами, собраться, образовать кулак, чтобы дать отпор. Белые терпели поражение за поражением — красные били так, что от противника только перья летели. Города переходили к красным, как костяшки на счетах: р-раз! — и город, который только что держали белые, перескакивал к красным, д-два! — и второй город оказывался у кого-нибудь из талантливых красных военачальников.

Генерал Лебедев, видя такое дело, лишь мослаки на пальцах кусал да часами простаивал перед оперативной картой — пытался сообразить, что надо делать.

Именно в это тяжелое время Каппель и подумал: почему бы не пройтись опустошающим рейдом по тылам красных?

Взять да посадить на коней тысячи две человек — из старой, еще самарской гвардии либо из тех, что еще старее — солдат и офицеров, которые ходили с ним в атаки в составе корниловских батальонов, досаждали немцам на Западном фронте, — и малость попартизанить. Точно так же, как красные партизанят в белых тылах.

Население на красной территории, насколько было известно Каппелю, недовольно политикой военного коммунизма, так что две тысячи сабель запросто могут превратиться в шесть тысяч — к ним обязательно примкнут опытные рубаки, которые ныне отсиживаются в красном тылу на печках.

Вырыпаев, преданный друг, идею генерала поддержал:

— Очень хорошая может получиться акция.

Слово «акция» тогда было модным.

Генерал же произнес грустно, тихо, словно говорил только для самого себя:

— Может быть, нам суждено погибнуть...

Он понимал, что партизанские рейды не панацея, которая поможет победить красных, но в том, что их нажим на фронте здорово ослабеет и белые перестанут пятиться, был уверен твердо. Красные будут вынуждены часть своих сил оттянуть для борьбы с летучим отрядом...

Словом, предложение это было дельным.

Лебедев ответил, по обыкновению, бестолково, и в словах его звучали нотки непозволительной иронии, уместной лишь в трактире: «Ставка не располагает такими ресурсами, чтобы рисковать двумя тысячами всадников».

Каппель с досадой бросил шифрограмму на стол:

— Дурак!

Позже инспектор артиллерии фронта генерал Прибылович признался Вырыпаеву, что главную роль в этом отказе сыграли личные мотивы: Лебедев завидовал Каппелю, не мог простить генералу не только его по-

беды, а даже то, что Каппель вообще существует на белом свете.

Ах, эти дрязги, эти шуры-муры, интриги и толкотня под пыльным омским ковром! Уже гибелью пахло, а Лебедев все будто играл в игрушки, изображал из себя лощеного, нравящегося дамам чиновника. Для укрепления солдатского духа в окопах Лебедев послал на фронт генерала Дитерихса. Тот объехал армии Пепеляева, Лохвицкого, Сахарова и вернулся в Омск удрученный, черный, как туча.

Будучи человеком честным, он не стал ничего скрывать и доложил Верховному правителю все как есть.

— Ни Пепеляев, ни Лохвицкий, ни Сахаров сдержать красных не смогут, — сказал он и, понимая, что адмирал ждал от него совсем других вестей, виновато понурил голову.

Лебедев, находившийся в кабинете адмирала, театрально заломил руки и прошептал совершенно не слышно, без всякого звука — просто «поработал губами»:

— Вы убили Александра Васильевича!

Адмирал помрачнел, насупился, спросил, нервно дернув левой щекой:

— Что предлагаете делать?

— Эвакуировать Ставку на восток.

— Дайте мне день на размышления, — попросил Колчак, — я подумаю.

Вечером того же дня в Омске появился командующий Третьей армией Сахаров, старый генерал.

— Омск нельзя ни в коем случае оставлять, — заявил он Верховному правителю, время от времени смахивая большими красными пальцами с глаз мелкие мутные слезки, — надо защищаться. Собраться в кулак, вот в такой вот, — он показал Колчаку потный багровый кулак — в помещении было душно, — и звездануть им красным между глаз... Чтобы искры посыпались далеко-далеко...

Идея Колчаку понравилась.

В тот же вечер была подписана бумага о смещении Дитерихса с поста главнокомандующего всеми колча-

ковскими силами (он занимал этот пост формально, все дела за него вершил Лебедев), на его место был назначен командарм-три — Сахаров — серый генерал, которому не армией бы командовать, а максимум — батальоном.

Командармом-три стал Каппель. Адмирал не забыл его и, несмотря на протестующие телодвижения Лебедева, подписал такое распоряжение.

В окно проскользнул вечерний солнечный лучик, пробежался по адмиральскому столу. Колчак не удержался, улыбнулся. Это была первая его улыбка за последние полторы недели.

Начальник Ставки не отрывал взгляда от документа о новом назначении Каппеля, под которым адмирал поставил свою подпись.

— Напрасно, выше высокопревосходительство, — пасмурнея лицом, произнес Лебедев, — вы допустили ошибку.

— Я допустил ошибку в другом — в том, что слишком поздно подписал это распоряжение, — сказал Колчак, захлопывая папку с приказами. — Я вас не задерживаю.

Лебедев ушел. За окнами летали белые мухи, мело, зима в этом году пришла ранняя. Чувствовалось, что она будет жестокой. По пустынной улице, задирая голову, храпя и раздувая широкие ноздри, промчалась неоседланная лошадь — сорвалась где-то с привязи и теперь стремилась удрать подальше от людей. Следом за лошадью пронесся кудрявый снежный столб — это черт проехал на своей персональной карете.

Пахло разорением, бедой, слезами, кровью.

Белые продолжали отступать, смена главнокомандующего ничего не дала: Сахаров был еще более слабым генералом, чем Дитерихс. Правда, умел лихо носить мундир — с этаким юнкерским пижонством — и ловко подхватывать золоченую саблю, чтобы забраться в автомобиль. Обстановка на фронте становилась все хуже

и накаленнее. Не успел Каппель вступить в командование частями Третьей армии, как армия оказалась прижатой к дымящемуся черному Иртышу — еще немного, и люди будут опрокинуты в воду.

Пришлось срочно организовывать оборону. Из подручных, что называется, средств. Без окопов. Мерзлую крепкую землю можно было взять только ломами. Ножами, штыками рыли норы, переворачивали телеги, обкладываясь колесами, бревнами, камнями, разворачивали пушки. По чугунно-темной воде Иртыша стремительно плыли льдины. Слишком уж быстрая, слишком страшная и своенравная эта река — нет на нее окорота. Отступающие части едва сдерживали напор красных.

Переправ не было. С низких, по-гнилому вспученных небес валил пышный снег. Нужен был хороший мороз, а им пока и не пахло, под ногами что-то противно хлюпало, окостеневшая мерзлая земля словно была полита из ведра чем-то противным, похожим на помои. Люди матерились: было невмоготу. Один из офицеров — артиллерийский прапорщик, у которого не выдержали нервы, притиснул снизу к подбородку браунинг и снес себе половину лица. Когда к нему подбежали, прапорщик сидел, прислонившись к телеге, без головы, в левой руке он сжимал записку: «Закопайте меня здесь, на берегу Иртыша. Я буду оберегать души тех, кто тут погибнет».

Пришлось взяться за ломы, чтобы расковырять землю и похоронить артиллериста.

А река не хотела уходить под железный прозрачный панцирь — по ней целыми охапками, громоздясь, плыла шуга, иногда рядом с берегом проскальзывала перевернутая вверх брюхом рыба.

Несколько солдат плюхнулись на берегу на колени, вздернули вверх бородатые лица:

— Господи, помоги! Не дай сгинуть!

Крестились они истово, широко.

Помогло — к ночи небо вызвездило, затрещал морозец, деревья от него тоже затрещали; в кромешной тем-

ноте, вязкой, колдовской, убого освещенной кострами, Иртыш встал, уже утром по нему побежали повозки, поначалу легкие, потом потихоньку потянулись люди, а вечером стали переправлять «товар» потяжелее, хотя до артиллерии дело пока не дошло.

Последним через Иртыш переправился штаб Каппеля.

Новый главнокомандующий очень скоро отказался от мысли сделать Омск неприступной крепостью (весь город был оклеен листовками, хвастливо объявляющими, что Омск неприступен, бумагу на листовки отпустили качественную, омичи ее очень любили, ею хорошо было подтирать задницу, не было общественного сортира, где бы на гвозде не красовалась стопка этих листовок); придя к адмиралу, генерал Сахаров заявил, что Омск не удержать — наступила пора оставить город.

Надо было видеть лицо адмирала, поверившего этому суетливому краснолицему старику, — впрочем, на адмирала в этот момент лучше было не смотреть. Зрелище было печальным. Колчак готов был заскрежетать зубами, только зубов у него почти не осталось — потерял на севере, во время полярных походов.

— Вон отсюда! — только и выдохнул он.

Сахаров исчез.

Омск напоминал город, который был подвергнут артиллерийскому обстрелу: улицы, засыпанные штабными бумагами — канцелярия Верховного правителя забрала с собой только самые необходимые документы, убитые лошади, трупы которых никто не думал убирать, сломанные повозки, бревна, вывернутые из развороченных пятистенок, люди с заплаканными лицами — надо было срочно эвакуироваться, а на железной дороге не оставалось ни одного свободного вагона — все вагоны ушли под литерные эшелоны адмирала. Впрочем, ради справедливости надо заметить, что далеко не все лица были заплаканными. По всему городу неслись крики, визг; торжествующие мародеры, пользуясь неразбери-

хой, опустошали лавки, вовсю гуляла пьяная матросня с несуществующей Иртышской флотилии...

Страшно было находиться в таком городе, сердце сжималось в тоске... Всякое отступление бывает похоже на конец света.

С реки налетал морозный ветер, выбивал из глаз слезы. Каппель отворачивался от ветра, прикрывал лицо перчаткой.

Рядом с ним ехал, кривовато держась в седле — прострелило спину, — полковник Вырыпаев (уже полковник), чуть поодаль держался адъютант Бржезовский — поручик, не растерявший в походных условиях ни светского лоска, ни стати, ни жажды жизни, ни благоразумия. Настоящий военный, белая кость.

Вырыпаев, держась за луку седла, шептал обреченно:

— Все смешалось, абсолютно все... Светопреставление. Кто поможет нам?

Каппель молчал. Бржезовский настороженно поглядывал по сторонам: как бы из-за угла какого-нибудь толстостенного особняка не высунулся обрез красного налетчика. Поручик Бржезовский ощущал ответственность за жизнь генерала Каппеля.

На гулу улицы, украшенном перевернутой повозкой, будто памятником — две сломанные оглобли слепо глядели в небо и походили на стволы орудий, — к Каппелю кинулась простоволосая женщина в мужской поддевке:

— Господин генерал! Ваше превосходительство, помогите! Последнюю лошадь забрали!

Глаза женщины были залиты слезами, они сыпались из-под век будто горох. Женщина умоляюще протянула к Каппелю руки. Тот остановил лошадь.

— Помогите! — Слезы из глаз женщины посыпались еще сильнее.

Каппель опустил голову — ему было стыдно перед женщиной, хотя он ни в чем не был виноват. Произнес тихо, едва слышно:

— Простите нас! — повернул голову к Бржезовскому: — Поручик, разберитесь!

Поручик ни в чем не сумел помочь женщине — лошадь у нее забрали три дня назад. Супостата, который это сделал, теперь не найти с огнем.

На следующем перекрестке Каппеля презрительно смерил с головы до ног интеллигент в добротном пальто, при пенсне с золоченым зажимом и бородкой «буланже», в которой застряли крошки недавно съеденного хлеба.

— Генерал! — брезгливо произнес интеллигент. — Догенералились!

На заборах болтались приказы Сахарова, извещающие о том, что город превращен в неприступную крепость, — пустые бумажки... Каппель направлялся на станцию — там имелась надежная телефонная связь, генералу надо было срочно связаться со своим тылом — он не знал, что там происходит: Сахаров как вышестоящий начальник не передал ему никаких дел.

— Безумие какое-то, — пробормотал Вырыпаев, оглядев очередной забор, оклеенный сахаровскими бумажками.

Из-за забора неожиданно высунулся работяга в замызганной телогрейке, в рваной шапке с вольно болтающимися ушами, лишенными завязок, всунул в рот два пальца и оглушительно свистнул.

Бржезовский немедленно схватился за кобуру. Работяга поспешно нырнул за забор.

На угрюмой станционной площади ветер крутил снеговые хвосты; жесткая крупа с металлическим шорохом всаживалась в стены домов, гремела о водосточные трубы, сползала вниз, подхватывалась и неслась дальше.

Едва подъехали к вокзалу, как на ступенях возник всклокоченный телефонист, прижимающий к лицу большой серый платок — у телефониста была инфлюэнца, и он оглушительно чихал.

— Генерала Каппеля к телефону! — прокричал телефонист зычно — в его щуплом теле жил громовой голос.— Требует Верховный!

Колчак поздравил Каппеля с присвоением ему звания генерал-лейтенанта — извинился, что сделал это с опозданием, затем сказал, что через несколько минут подпишет указ о назначении Каппеля главнокомандующим всеми вооруженными силами.

— Генерал Сахаров не оправдал надежд, — с горечью произнес Колчак.

— Ваше высокопревосходительство, есть много командиров старше и опытнее меня, — сказал Каппель. — Я же не подготовлен к такой роли. Почему вы предлагаете этот пост именно мне?

— Потому что только вам, Владимир Оскарович, я могу доверять, — сказал Колчак.— Больше некому.

Через час Каппелю прямо там же, на станции, был вручен пришедший по телефону приказ о назначении его главнокомандующим. Каппель оказался в арьергарде отступления, в последних рядах тех, кто покидал Омск.

Опасное это дело — последним покидать город, так и в плен угодить недолго.

В первых рядах отступающих находился штаб главнокомандующего — ушел так далеко, что сразу и не догнать. Железнодорожные пути были забиты, пробка на пробке, места в вагонах люди брали со стрельбой. Генерал Сахаров дела новому главнокомандующему не сдал и, спасая себя, поспешно устремился на восток.

Единственное, что передали Каппелю от Сахарова — вздорный план в тощей картонной папочке, разработанный неряшливо, второпях. Автор плана наивно полагал, что под Ново-Николаевском можно успешно заманить в ловушку и разбить все красные партизанские силы.

Каппель, познакомившись с планом, отодвинул папочку от себя. Попросил Вырыпаева:

— Спрячь это куда-нибудь подальше. Бред какой-то!

— Что, совсем сдал генерал Сахаров?

— Не все у него в прошлом было плохо, Василий Осипович. Но... наступил предел. Сработался человек.

Без штаба, не имея под руками управленческих рычагов — да что там рычагов, даже простых нитей, которые хоть и рвутся, но все равно с их помощью, худо-бедно, можно управлять, — Каппель не мог командовать вооруженными силами Колчака. Хорошо хоть управление Третьей армией успел перехватить до этого повального отступления.

В вагон Каппеля принесли телеграмму от Верховного — адмирал просил срочно прибыть в Ново-Николаевск для встречи с ним. Каппель поспешил в Ново-Николаевск. По дороге сделал несколько попыток растолкать заторы на железнодорожных путях, но не преуспел в этом: дорога была забита так, что и ужу не проскользнуть. Поезда, сумевшие вырваться из заторов и двинувшиеся в путь, оказывались настолько переполнены, что люди срывались с подножек, грохались прямо под колеса, на рельсы... Когда Каппель прибыл в Ново-Николаевский вокзал, оказалось, что Верховного там нет.

Отбыл. Не дождался. Куда отбыл — неведомо.

Через час Каппелю принесли телеграмму: Верховный правитель остановился в Тайге, ждет главнокомандующего там.

Каппель прибыл в Тайгу и вновь не застал Колчака — адмирал отбыл в Судженку, это в тридцати километрах от Тайги.

В Тайге остановился эшелон генерала Сахарова. Все вагоны эшелона — все до единого — были оцеплены солдатами. К винтовкам примкнуты штыки, на кончиках штыков играют кровавые отсветы морозного солнца. Каппель повернулся к Бржезовскому:

— Поручик, узнайте, чьи это солдаты?

Тот вернулся через две минуты:

— Генерал-лейтенанта Пепеляева.

Каппель недовольно поморщился:

— И этот туда же... Решил стать революционным генералом. Где сейчас находится Пепеляев?

— У себя в вагоне, ваше высокопревосходительство.

Любимец солдат, двадцатичетырехлетний Анатолий Пепеляев, награжденный в германскую войну двумя офицерскими Георгиями, несколько потерял голову, когда его родной брат Виктор стал премьером в колчаковском правительстве. Надо было спешно остудить молодого генерала. Иначе тот мог нагородить такого, что в результатах этой городьбы не только современники не разберутся — но и даже историки.

У вагона генерала Пепеляева стоял усиленный караул. В вагоне находились оба брата — Анатолий и Виктор. Генерал-лейтенант Пепеляев сидел, расстегнув китель — в вагоне было хорошо натоплено — пепеляевский денщик старался, сутками не отходил от печки. Увидев Каппеля, Анатолий Пепеляев поспешно поднялся, застегнул китель.

— По чьему приказу арестован генерал Сахаров? — резким голосом, не здороваясь, спросил Каппель.

Пепеляев, путаясь в словах, начал объяснять:

— Понимаете, ваше высокопревосходительство, вся Сибирь возмущена сдачей Омска, бегством наших войск... Это ведь все — Сахаров. Посмотрите, что творится на железной дороге! Поэтому мы решили увезти Сахарова в Томск и передать его суду.

Анатолий Пепеляев говорил «мы» — за себя и своего брата.

В Томске находился штаб Первой армии, которой командовал Пепеляев.

— Вы понимаете, что сделали? Вы, подчиненный, арестовали своего главнокомандующего! Вы подаете очень плохой пример своим солдатам! — Каппель продолжал говорить резко и не боялся этой резкости. — Завтра они арестуют вас и сочтут, что так и надо! — Каппель рубанул воздух рукой. Генерал Пепеляев покраснел. Брат его, полный, с плохо выбритыми щеками, сидел, безучастный ко всему происходящему. — У нас есть Верховный главнокомандующий, он же — Верховный правитель России, арестовать Сахарова можно только по его приказу. Вы поняли меня? — проговорил

Каппель, будто выстрелил, в упор глянул на Пепеляева, резко развернулся и покинул вагон командующего Первой армией.

Каппель находился в своем вагоне, когда в дверь к нему тихонько, словно боясь потревожить, постучал ординарец:

— Ваше высокопревосходительство, генерал Пепеляев просит принять его.

— Пусть войдет!

Генерал Пепеляев вошел, виновато понурив голову, доложил, что оцепление с эшелона генерала Сахарова снято, проштрафившийся командующий из-под стражи освобожден.

— Верное решение, — одобрительно кивнул Каппель. — Думаю, что Александр Васильевич Колчак и без нашей подсказки отдаст приказ о его аресте.

Так оно и случилось.

Вагон потряхивало на стыках, в подстаканнике позвякивал тонкостенный хрустальный стакан, за окном проползали заснеженные — один похожий на другой — пейзажи. Поезд шел на Судженку.

Мысли Каппеля были печальны.

«Как все-таки военные люди далеки от политики — политика противна им, поскольку замешена она на грязи, на черноте, на неприятии друг друга. Многие из нас, будучи незнакомы с этой кухней, попали впросак. Разобраться в том, что происходит, очень трудно. Что такое революция? Вещь очень неприятная. Но это — данность. Она есть, ее не обойти. Революция — это мощный неудержимый поток, попытки остановить который — безумие, они легко могут закончиться гибелью. Поток этот снесет любую преграду, очутившуюся на его пути. Поэтому и не надо становиться на его дороге: поступать надо по-другому — дать этому потоку нужное направление. Желаемое направление... Это, кстати, не так уж и трудно сделать. Сделать нетрудно, а понять трудно...»

Под насыпью, обратив к вагону жалобную морду с широко открытыми глазами, лежала убитая лошадь. Каппель проводил ее взглядом. Вспомнил женщину, бросившуюся к нему на омской улице с моляще протянутыми руками: «Господин генерал!.. Помогите! Последнюю лошадь забрали!» Не та ли это лошадь?

«Россия, Россия, несчастная страна, похожая на убитую лошадь. Ныне мы имеем дело с тяжело больной страной. И вместо того чтобы ее лечить, пытаемся позаботиться о ее наряде: к лицу ли подобран цвет, та ли ткань, достаточно ли в костюме оборок и рюшечек? Учить же, как можно и что нужно, — поздно, тех, кто не понимает всего, что происходит с Россией, уже ничему не научишь. Мы сами не заметили, как переступили невидимый порог, который нельзя переступать, но мы его переступили — и началась страшная Гражданская война...»

На станцию Судженка поезд, к которому был прикреплен вагон генерал-лейтенанта Каппеля, прибыл ранним утром третьего декабря. Воздух от холода, казалось, остекленел, тайга, подступавшая к станции, была угрюмой, гнетущей, человек перед ней ощущал себя мелкой мошкой — слишком уж она давила. Снега навалило много: сосны огрузли в нем по нижние ветки, кое-где из сугробов высовывались хрупкие островерхие макушки подлеска — молоденькие сосенки, хоть и застыли, омертвели в промерзлом воздухе, а все-таки тянулись к жизни, высовывали макушки из снега — в спрессованной морозной бели им нечем было дышать.

Низко над головами людей, цепляясь за крыши вагонов, полз туман. Полз по-военному, крадучись, хвостами — проплывет длинная неряшливая скирда, небо малость приподнимется — становится виден лес с крупными мрачными соснами, с опасной чернотой между стволами, в которой рождаются красные подвижные огоньки — то ли волки это, то ли партизаны — не разобрать, а потом все опять скрывается в очередной тяжело и неряшливо надвинувшейся на землю скирде тумана.

На станции Судженка стояло три эшелона, все под парами, готовые в любой момент отправиться дальше, около одного эшелона толпились офицеры.

Каппель, перепрыгивая через рельсы, направился к ним. Вырыпаев — следом. Каппель намеревался спросить, где находится Колчак, где его вагон, наверняка эти люди знают, — и неожиданно услышал высокий, напряженно звеневший голос:

— Скажите, а скоро приедет генерал Каппель?

Недаром говорят, что на ловца и зверь бежит — это был сам адмирал. Каппель подошел к Колчаку, доложил по всей форме.

Адмирал обнял Каппеля:

— Слава Богу, наконец-то! — В следующий миг спросил обеспокоенно: — А где ваш конвой, Владимир Оскарович?

— Я считаю лишним иметь конвой в тылу армии и загромождать им пути, ваше высокопревосходительство, — ведь конвою как минимум нужна пара вагонов... Железная дорога и без того забита. — Каппель, не поворачиваясь, сделал жест в сторону составов.

Колчак помолчал немного, словно переваривая слова Каппеля и желая понять, в упрек ему они были сказаны или нет, проговорил неожиданно тихо:

— Да, вы совершенно не похожи на других... Пойдемте-ка ко мне в вагон.

Вырыпаев остался ждать генерала на улице, на железнодорожных путях. Чувствовал он себя плохо. Полковник недавно перенес тиф, голова у него кружилась, земля под ногами плыла. Хотелось есть. Не ели они с Каппелем почти сутки — попили в вагоне пустого кипяточку из стаканов, поставленных в роскошные серебряные подстаканники, и все. Рассчитывали, что перехватят немного еды по дороге — не получилось: похоже, на Сибирь наваливался голод. Тот самый страшный голод, что давно уже успешно трепал центральную часть России.

Тем временем скирды тяжелого неприятного тумана оттянулись, отползли в тайгу, сделалось легче дышать.

Покинул Каппель адмиральский вагон через три часа. Колчак сам вышел провожать его — показался на ступеньках вагона во френче, не накинув даже шинели на плечи, прямой, расслабленно улыбающийся, с белым крестом под отложными углами воротника.

— Только на вас вся надежда, — сказал адмирал Каппелю, тряхнул его руку. — Постарайтесь регулярно выходить на связь, Владимир Оскарович.

В ответ Каппель козырнул.

На прощание обнялись. Вырыпаев смотрел на эту сцену со стороны, и у него невольно защемило сердце.

— Удивительный человек, — сказал про адмирала Каппель, когда они с Вырыпаевым возвращались в свой вагон. Снег арбузно хрустел под ногами. Тайга, подступившая вплотную к станции, обелесела, сделалась мелкой, сумрачное утреннее колдовство ее пропало. Каппель вздохнул.

— Я посоветовал адмиралу держаться поближе к армии, чем ближе — тем лучше; армия, ежели что, его никогда не выдаст, но он в ответ лишь махнул рукой, заявил, что находится под надежной защитой союзников и их флагов. — Каппель с досадой вздохнул.

— Я бы не верил ни союзникам, ни их флагам, — осторожно вставил Вырыпаев.

— Я так и сказал Колчаку, но он даже разговаривать на эту тему не захотел.

— Святой человек!

— Предложил взять несколько ящиков с золотом для нужд штаба. Я отказался. Золото, Василий Осипович, стеснит нас.

— Во-первых, оно потребует дополнительной охраны...

— Это и во-первых, и во-вторых, и в-третьих, а в-четвертых, охрана эта — не дополнительная, а особая, усиленная, а в-пятых, из-за этих нескольких ящиков за нами начнут специально охотиться. В общем, я отказался. Не люблю золотого тельца!

Каппель перепрыгнул через длинный сугроб, кото-

рый перерезали черные, уходящие в бесконечность рельсы — сметать снег с путей у железнодорожников не хватало сил: только соскребут его, как принесшаяся метель вновь мигом забивает пути и останавливает поезда, — азартно, будто мальчишка, гикнул и потер себе уши.

— Мороз-то совсем распоясался! — В следующий миг Каппель неожиданно проговорил: — А знаете, чего мне сейчас хочется больше всего, Василий Осипович?

— Чего?

— Жареного гуся.

Через два часа они вернулись на станцию Тайга.

Первый, кто встретил их, был штабной денщик Насморков, подпрыгивающий от нетерпения в задубевших холодных катанках.

— Ваше высокопревосходительство, гусь! — выкрикнул он громко, окутываясь, словно паровоз, белым облаком дыхания. — Жареный гусь!

Каппель невольно переглянулся с Вырыпаевым: это было похоже на мистику.

— Какой гусь, Насморков? — спросил полковник. — Ты не пьян случаем?

— Да баба тут одна продает жареного гуся, сто рублей просит, бумажкой. Я ее задержал до вашего приезда.

Генерал немедленно полез в карман брюк, следом полез и Вырыпаев. Но ста рублей на двоих они так и не нашли.

Небогатые оказались люди...

Остались голодными. Единственное, что Насморков нашел им на двоих, — немного чая и небольшой кусок синего, спекшегося до мраморной крепости сахара. Тем они и довольствовались в тот день. Хотя сам Каппель регулярно раздавал свою зарплату всем страждущим — заработок у него как у главнокомандующего был неплохой.

Каппелю приходило много писем — иногда их набиралось так много, что требовалось потратить не менее половины дня, чтобы только прочитать их. Не говоря уже о том, чтобы ответить. Смущаясь, отводя взгляд

в сторону — просить об этом он считал неудобным, Каппель все же обратился к Вырыпаеву: — Василий Осипович, помогите мне, если можно, разобраться с личной перепиской.

В ответ тот согласно кивнул — он и раньше был доверенным лицом Каппеля.

В груде писем Вырыпаев отыскал конверт, пришедший из Иркутска — прислала его тещa генерала, старая «пушечная начальница» Строльманиха: вместе с внуком и внучкой она переехала теперь на Байкал. Денег не было. Семья Каппеля бедствовала.

Вырыпаев немедленно составил телеграмму командующему Иркутским военным округом с просьбой выдать на руки теще Каппеля десять тысяч рублей в счет зарплат главнокомандующего, понес телеграмму на подпись генералу.

Тот отодвинул бумагу от себя.

— Что обо мне подумают люди, а? Скажут — крохобор какой-то... Не могу. Я же воюю не за деньги... Нет, не могу, Василий Осипович. Поймите меня правильно. — Вид Каппеля выдавал его душевное смятение.

Вырыпаев сократил сумму в два раза и только тогда Каппель подписал телеграмму. Сделал это очень неохотно, буквально через силу.

В этом был весь Каппель.

Сахаровский беспорядок постепенно изживался — а был он не менее страшен, чем паника, позорное бегство с поля боя, стрельба по своим.

Белая армия продолжала откатываться на восток. Прибыли в Ачинск — занюханный стрелецкий городишко, который, наверное, и заглох бы, если б не железнодорожная станция — этакий оживленно работающий организм, поддерживающий город.

В Ачинске эшелон Каппеля поставили в самом центре станционных путей. Вырыпаев обеспокоенно обошел весь состав, вернулся в штабной вагон.

— Мы тут будто голые на снегу, — пожаловался он

Каппелю, — наш поезд и особенно наш вагон со всех сторон обстрелять можно, ни одного прикрытия нет.

Генерал сидел за картой. Непонимающе глянул на полковника, махнул рукой машинально, давая понять, что слышит его. В следующую минуту, оторвавшись от своих размышлений, он выглянул в окно, увидел совсем рядом — дотянуться можно — часового в промороженном башлыке и с сахарной от инея щеткой усов. Часовой был похож на моржа и усами шевелил как морж. Каппель не удержался: губы его тронула улыбка.

— Чуть сзади нас, — от нашего вагона отделяет, наверное, метров двадцать — стоят три цистерны с бензином, — продолжал ворчать Вырыпаев. Он словно начал ощущать свой возраст, из него, будто из старика, поперло наружу что-то нудное, придирчивое, хотя Вырыпаев был далеко еще не старым. Каппель все понял, все заметил и улыбнулся вновь — улыбка его была виноватой: нехорошо подсматривать за близкими людьми. А выходило так, что Каппель подсмотрел. — Какой-то уж очень подозрительный состав стоит, целых двадцать вагонов... Надо проверить, не то ведь... — Вырыпаев развел руки в стороны. — В общем, как бы чего не вышло.

Тут в Вырыпаеве конечно же проснулся обычный русский мужик с его извечными «если бы да кабы».

— Охо-хо, — проворчал напоследок полковник и сел за стол шифровать телеграммы.

На улице было морозно, тихо. Над кривыми проулками Ачинска стояли высокие пушистые дымы; узенькая, похожая на ствол пулемета труба штабного вагона тоже источала дым, Насморков старался как мог — не отходил от печки, на каждой станции, где стояли больше пяти минут, старался разжиться дровами, а если везло, то разживался и угольком. Уголь горел особенно весело, в воздухе колко потрескивало приятное сухое тепло, озабоченные лица людей разглаживались.

Пока отступающим армиям негде было зацепиться — откатывались на восток без остановок, — а зацепиться надо было обязательно. Чтобы перевести дух, переформироваться. Каппель помял пальцами виски. Было отчего болеть голове, и лекарств от этой боли не существовало никаких.

Много приходило жалоб на бесчинства чехословаков. Поезда их шли, украшенные зелеными ветками — этакие наряды мира, под которыми были спрятаны кулаки. Чехи нагло требовали, чтобы их поезда нигде не задерживали, везли с собою награбленное русское добро. Несметь добра. Отбирали паровозы у санитарных эшелонов, на станциях насиловали баб, из вагонов на мороз выбрасывали детей, гоготали по-гусиному. Странными людьми оказались братья-славяне.

Каппель ничего не мог поделать с чехословаками: слишком хорошо были вооружены бывшие военнопленные. До зубов.

На одной из станций он увидел три открытые платформы, доверху нагруженные замерзшими трупами людей. Мученически искаженные лица, открытые рты, забитые снегом, остекленевшие глаза, скрюченные руки. Это были раненые, скончавшиеся в эшелонах, которых чехословаки лишили паровозов, да несчастные беженцы, ограбленные в дороге, оставшиеся без денег и еды. Чтобы вся эта страшная спекшаяся масса трупов не расползалась при перевозке, платформы перетянули крестнакрест веревками, стиснули мертвых. Их надо было хоронить, но похоронить по-человечески, по-христиански не было возможности, и трупы везли куда-то на восток... Куда?

По дороге вдоль пути часто встречались мешки с завязанными горлышками, встающие из снега, будто грибы-обабки, мешки также были все, как один, перепоясаны веревками — и чем дальше на восток, тем больше попадалось этих «грибов»... И Каппель и Вырыпаев знали, что это за «грибы».

В мешках этих находились несчастные женщины, связавшие свою судьбу с чехословаками — как правило, в легких платьях, в нижнем белье... Они надоели воинам в австрийских шапчонках, и те — побаловались,

и хватит — засовывали несчастных баб в мешки, завязывали верхушки, чтобы «мадамы» не трепыхались, и прямо на ходу вышвыривали из поездов под откос. В снег.

Каппель послал несколько телеграмм чешским командирам с требованием прекратить бесчинства, но те на телеграммы не ответили. Чувствовали свою силу, понимали, что Каппель не сможет выступить против них.

Положение было удивительным. Чехословаки вели себя на чужой земле не просто нагло — вели преступно.

Прочитав еще одну бумагу — доклад командира батальона штабс-капитана Павлова об очередных бесчинствах чехословаков, Каппель не выдержал, резко хлобыстнул ладонью по столу, выругался. Вырыпаев, потеющий над шифровкой, поднял голову.

Неожиданно снаружи, у самого станционного здания, прочно вросшего в огромный обледенелый сугроб, что-то пыхнуло, послышался легкий влажный хлопок, будто казак мокрой рукой шлепнул лошадь по крупу, затем раздался второй хлопок, посильнее, и откуда-то из-под земли, из темной таинственной глуби выкатился вязкий оглушающий гул.

Под штабным вагоном дрогнула земля; он, заскрипев железными суставами, отплюнулся несколькими железками, сорвавшимися со своих мест, приподнялся и что было силы хлобыстнулся колесами о промороженную твердь земли.

Толстые стекла мигом превратились в брызги, с жалобным звяканьем осыпались внутрь, в вагон. Вырыпаева больно вдавило лицом в стол. Он возмущенно вскрикнул, уперся обеими руками в плоскость стола, оттолкнулся от него, но вторая волна опять вдавила полковника в лакированную деревянную поверхность. Он закричал вновь. Стул, на котором он сидел, опрокинулся, и Вырыпаев полетел на пол. Осколки стекла захрустели под ним.

Каппеля тоже сбило с ног, он покатился по засыпанному стеклянным крошевом полу, но в следующий миг

вскочил на ноги, прижался спиной к стенке вагона, ожидая новых взрывов.

Взрывов больше не последовало. Вырыпаев зашевелился на полу.

— Василий Осипович, ты жив? — послышался спокойный — пожалуй, даже слишком спокойный голос Каппеля. — Дай-ка мне мою винтовку.

Полковник поспешно поднялся с пола, подал генералу его трехлинейку. Каппель передернул затвор, загнал патрон в ствол и, подав сигнал полковнику, поспешил к выходу из вагона.

Станция полыхала. В штабной вагон углом врезалась тяжелая железная дверь, оторванная с товарного пульмана, прошибла стенку насквозь, следом прилетела согнутая в штопор металлическая балка, нависла над выходом. Каппель глянул на нее и проворно соскочил с перекошенной подножки вагона, сделал это вовремя — железный штопор снес всю лесенку.

За полыхающими цистернами, среди вагонов товарняка, хлопнуло еще что-то, под составом поднялась длинная рыжая простынь, потянулась к штабному вагону.

Сверху, упершись ногою в наполовину выдранный кронштейн, спрыгнул Вырыпаев. Прохрипел:

— Это партизаны, Владимир Оскарович!

— Может быть.

Полковник также загнал в ствол винтовки патрон. Под ноги к нему подкатился обожженный, пусто сипящий солдат, задергался. Вместо лица у него была кровяная мешанина, за которой торчали чистые, неестественно белые зубы. Шинель у солдата на спине выгорела, из-под лопатки торчал крупный ржавый осколок.

Вырыпаев сморщился:

— Ох, солдат!

Рядом горели вагоны, из них вываливались люди, катались по снегу, сбивая с себя пламя, снег шипел пронзительно, по-змеиному, стрелял брызгами. Из окна соседнего вагона вывалился огромный осколок стекла,

ребром воткнулся в человека, неподвижно лежавшего внизу. Это был один из офицеров конвоя, что сопровождали Каппеля во время выездов на фронт. Вырыпаев кинулся было на помощь к этому человеку, но остановился — офицер был мертв.

Над эшелоном, стоявшим позади горевших цистерн, вновь поднялось пламя, послышались два спаренных взрыва. К генералу, прихрамывая сразу на обе ноги, подковылял Насморков. Пробормотал жалобно:

— Ваше высокопревосходительство, это что же такое творится?! Неужели это все партизаны?

— Не думаю, Насморков. Если бы налетели партизаны, был бы бой. Боя нет. — Каппель не выпускал из рук винтовку.

Вокзал, еще недавно заваленный снегом по самые трубы, теперь почернел, снег растаял до земли, обнажив ободранный фундамент и голые страшные стены. Неожиданно появилась большая крикливая стая ворон. Птицы кричали несмазанными резкими голосами, крутились рядом с горящими цистернами, словно хотели погреться. Вот одна, не выдержав близости огня, закувыркалась, шлепнулась на землю, захлопала крыльями, подкатываясь к самым колесам, за первой вороной закувыркалась вторая — хоть и считались эти птицы умными, но почему-то они не ощущали опасности — что-то в птицах не срабатывало, отказывало, вскоре и третья ворона опалила себе крылья и закувыркалась по снегу.

Когда все утихло, стали подсчитывать потери. Из длинного штабного эшелона уцелело лишь семнадцать вагонов, остальные сгорели. Погиб едва ли не весь штабной конвой — семьдесят человек.

Похоронили погибших там же, в Ачинске. Наспех починили раскуроченные вагоны, в том числе и вагон главнокомандующего: вставили новые стекла, навесили оторванную лесенку, заделали пробоины в боку, и эшелон двинулся дальше на восток.

Белая армия продолжала отступать.

Отношения с чехословаками испортились вконец. Но обострять эти отношения дальше, до драки было нельзя — сразу бы образовался новый фронт — Восточный, чешский, и тогда вся Сибирская армия, которой командовал Каппель, оказалась бы между молотом и наковальней. Этого допускать было нельзя.

Ночью в Ачинск пришла телеграмма от Колчака. Тот жаловался, что чехословаки силой, угрожая пулеметами, отняли у него два паровоза. Колчаковский литерный эшелон остановился.

Каппель бессильно сжал кулаки.

Утром он отстучал чехословацкому главкому следующую телеграмму:

«Генералу Сыровому[25], копии — Верховному правителю, председателю Совета министров, генералам Жанену и Ноксу. Владивосток — главнокомандующему японскими войсками генералу Оой, командирам 1-й Сибирской, 2-й и 3-й армий, командующим военных округов — Иркутского генералу Артемьеву, Приамурского генералу Розанову и Забайкальского атаману Семенову.

Сейчас мною получено извещение, что вашим распоряжением об остановке всех русских поездов задержан на станции Нижнеудинск поезд Верховного правителя и Верховного главнокомандующего всех русских армий с попыткой силой отобрать паровоз, причем у одного из его составов даже арестован начальник эшелона, Верховному правителю и Верховному главнокомандующему нанесен ряд оскорблений и угроз, и этим нанесено оскорбление всей Русской Армии. Ваше распоряжение о непропуске русских эшелонов есть не что иное, как игнорирование интересов Русской Армии, в силу чего она уже потеряла 120 составов с эвакуированными ранеными, больными, женами и детьми сражающихся на фронте офицеров и солдат. Русская армия хоть и переживает в настоящее время испытания боевыми неудачами, но в ее рядах много честных и благородных офицеров, никогда не поступавшихся своей совестью, стоя не раз перед лицом смерти от большевистских пыток.

Эти люди заслуживают общего уважения, и такую армию и ее представителя оскорблять нельзя. Я как главнокомандующий армиями Восточного фронта требую от вас немедленного извинения перед Верховным правителем и армией за нанесенное вами оскорбление и немедленного пропуска эшелонов Верховного правителя и председателя Совета министров по назначению, а также отмены распоряжения об остановке русских эшелонов. Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новые испытания, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы вместе выступали и, уважая друг друга, дрались в одних рядах во имя общей цели, решили нанести оскорбление Русской Армии и ее Верховному главнокомандующему, то я, как главнокомандующий Русской Армией в защиту ее чести и достоинства, требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной. №333. Главнокомандующий армиями Восточного фронта Генерального штаба генерал-лейтенант Каппель».

Кто-то из штабных офицеров засомневался в том, что такая дуэль может состояться:

— Сыровой вряд ли примет этот вызов.

Реакция Каппеля была мгновенной — он взорвался:

— Сыровой — офицер, генерал, он трусом быть не может!

Каппель вспомнил одноглазого круглолицего Яна Сырового, похожего на простодырного сибирского мужичка, перетянувшего себе физиономию черной тряпицей, чтобы в выбитый глаз не дуло, и сжал до хруста кулаки.

Ошибался главнокомандующий. Сыровой попал в русский плен не генералом, а поручиком и, по сути, так поручиком он и остался. На вызов Каппеля не ответил.

Следом за Каппелем вызов на дуэль Сыровому послал дальневосточный атаман Григорий Михайлович Семенов. В своей телеграмме Семенов недвусмысленно дал понять, что заменит Каппеля у барьера, если исход дуэли окажется трагическим.

Сыровой не ответил и на эту телеграмму. Понятие чести для него не существовало.

В штаб Каппеля пришла ошеломляющая новость: командующий Красноярским гарнизоном генерал Зеневич перешел на сторону красных. Эта новость подействовала на штабистов также оглушающе, как взрыв трех цистерн с бензином на Ачинской железнодорожной станции.

В Красноярске отступающая Белая армия намеревалась остановиться — в городе этом можно было держаться долго, он очень выгодно расположен, на складах имелось не только много боеприпасов, но фураж и продовольствие. Красноярск вполне мог стать той точкой, где можно было остановить откат белых на восток.

Это очень хорошо понимали красные, и они соответственно поработали...

В который уже раз Каппель подумал о Тухачевском, о тех, кто находился рядом с этим человеком — прозорливые это были люди, решительные в действиях, быстрые... Позавидовать можно.

Впрочем, Каппель не знал, что Тухачевского на этом участке фронта уже нет — его вызвали в Москву, и он сейчас сидел в холодном нетопленом номере гостиницы, из окон которой были видны кремлевские стены, и с тревогой ждал вызова к Ленину.

С Каппелем воевали уже другие красные командиры.

Чего угодно мог ожидать Каппель, но только не предательства своих. Выходило, что он угодил в капкан: сзади находились красные с мощной артиллерией и бронепоездами, впереди — Зеневич со своим многочисленным гарнизоном и партизанскими отрядами бывшего штабс-капитана Щетинкина. На железной дороге по всей линии до самого Хабаровска бесчинствовали чехословаки, вооруженные пулеметами, — ни одного человека не подпускали к «колесухе», отвечали стрельбой на любой подозрительный звук, оберегая награбленное добро.

С телеграфа маленькой проходной станции — вроде бы там ничего не было, кроме убогого кособокого сортира, просевшего на одну сторону, и водокачки, около которой иногда останавливались паровозы, чтобы заправиться водицей, но все-таки оказалось, есть и начальник станции, и телеграфист, — принесли «летучку», переданную из Красноярска.

Каппель взял ленту в руки, торопливо перебирая ее, стал читать.

«Братья, протянем друг другу руки, кончим кровопролитие, заживем мирной жизнью. Отдайте нам для справедливого народного суда проклятого тирана Колчака, приведите к нам ваших белобандитов, царских генералов, и советская власть не только забудет ваши невольные заблуждения, но и сумеет отблагодарить вас».

Каппель усмехнулся, бросил ленту на стол.

— Если кому интересно — можете прочитать.

К ленте потянулся Вырыпаев, проворно перебрал ее пальцами, покачал головой и также швырнул на стол.

— Ну что? — спросил Каппель.— Они разговаривают с нами как с покойниками...

— И — глубоко ошибаются. Думают, что долбанут нас сзади красным молотком по голове и расплющат о предателя Зеневича. Идти вперед мы должны и идти будем. Красноярск — не гибель наша, а одна из страниц борьбы за жизнь. Скажу больше, Василий Осипович, это — тяжелейший экзамен, выдержат который только сильные и верные. И они продолжат борьбу. Слабые отпадут, да они нам и не нужны, пусть уходят, а крепкие двинутся дальше — с нами, с тобой, со мной... Я их либо спасу, либо погибну вместе с ними, другого пути нет. Если же придется умереть... — Каппель замолчал, прошелся по вагону, вернулся к столу, шаги его были легкими, бесшумными, как у охотника, подкрадывающегося к зверю, — то я буду со своими солдатами до конца и своей смертью среди них докажу им свою преданность.

Вырыпаев молчал. Он был подавлен. Каппель подошел к окну вагона, глянул в него. К кособокому сортиру, оглядываясь, приблизился солдат, посмотрел в одну сторону, потом в другую и стремительно присел на корточки. Его с головой скрыл сугроб.

— Сегодня я подпишу приказ, в котором в реальных красках обрисую обстановку, создавшуюся из-за измены генерала Зеневича, — сказал Каппель.— Этим приказом, кроме того, я разрешу всем колеблющимся и слабым оставить ряды армии и уйти в Красноярск, когда мы к нему приблизимся... Бог с ними, с этими людьми... — Каппель махнул рукой, — и Бог им судья. А мы... — Он не договорил, глядя в окно. Солдат, справив нужду, стремительно, как зверь, поднялся, обеспокоенно повертел головой — не заметил ли кто его, и неторопливо, с чувством собственного достоинства застегнул штаны. Каппель улыбнулся. — А мы... Мы прорвемся.

— Прорвемся, — торопливо повторил за ним поручик Бржезовский, лихо взмахнул кулаком. Каппель посмотрел на него удивленно и одновременно понимающе — рядом с Бржезовским он словно почувствовал себя молодым, но в следующий миг подавил в себе это ощущение и произнес, улыбнувшись печально:

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но о Красноярск они нас не расплющат, это я знаю точно... Что бы там они ни предпринимали.

За кромкой леса, на западе, громыхнул гром. Но грома посреди такого мороза не бывает. Это били орудия красных. Вырыпаев вытянул голову, лицо у него страдальчески дернулось — собственной артиллерии у каппелевцев уже не осталось.

— Да, мы прорвемся, — твердым голосом повторил Каппель, — чего бы нам это ни стоило.

Гром раздался снова, потряс землю, с макушек деревьев посыпался снег, испуганные птицы сбились в одну жидкую стаю, общую — вороны, воробьи, снегири, синицы, — и унеслись в тайгу, подальше от страха Божьего.

На станции Минино, уже под самым Красноярском,

в штабном вагоне неожиданно заверещал телефон прямого провода. Каппель, словно что-то почувствовав, усмехнулся:

— Однако! — Повернулся к Вырыпаеву: — Узнай, в чем дело?

Тот взял трубку. В трубке будто бы шмель загудел. Вырыпаев не сразу разобрал, кто говорит, а когда разобрал, то лицо у него сделалось плоским, подбородок утяжелился, как у боксера перед боем, а в глазах заплясали, заискрились мелкие светлые точки.

— Это генерал Зеневич, — сказал он, прикрыв трубку ладонью.

— Бывший генерал Зеневич, — спокойно и одновременно яростно поправил Каппель.

— Когда же вы наберетесь мужества и решитесь бросить эту никчемную войну, — бился тем временем басовитый шмель в телефонной трубке, — давно пора выслать делегацию к революционному советскому командованию для переговоров о мире...

Вырыпаев слово в слово передал Каппелю то, что услышал от Зеневича.

— В гробу я видел это революционное командование, в похоронной обуви, — произнес Каппель резко, хлопнул кулаком по столу. Вверх взлетела тяжелая чернильница-непроливашка.

— Может, поговорите с Зеневичем? — Вырыпаев протянул Каппелю трубку.

Тот схватился за кобуру пистолета.

— С изменниками Родины не разговариваю!

Вырыпаев передал трубку телефонисту:

— Дайте отбой. С предателем Зеневичем разговора не будет.

Телефонист поспешно закрутил рукоять телефона, ставя ее в положение «нуль» — аппарат в вагоне стоял старый, видавший виды, обращаться с ним надо было на «вы».

— Выстраивай войска, — приказал Каппель Вырыпаеву, — людям надо объяснить ситуацию.

Через час те, кто не захотел оставаться с Каппелем, ушли по железной дороге в Красноярск — ушли нестройной толпой, оскользаясь на обледенелых шпалах, прижимая к лицам кулаки, согревая их дыханием. Над головами уходящих людей долго висело, покачивалось из стороны в сторону, белесое облачко пара.

Штабистов Каппель поставил в строй. Винтовки для них искать не пришлось — винтовки были у всех, в том числе и у самого главнокомандующего.

Одна часть людей, по плану Каппеля, должна была обойти с юга, другая — с севера и километрах в десяти за Красноярском соединиться. В бой они должны были стараться не вступать, чтобы сохранить силы для дальнейших драк. Будущее было темно и беспокойно — ничего хорошего в нем не виделось...

Когда едва ли не все колонны ушли в тайгу — оставался только арьергард, отплевывающийся огнем от невидимого противника, на станцию Минино вылетело несколько платформ, которые сзади толкал плюгавый маневровый паровозишко. Он едва вращал колесами, но тем не менее у этого чадящего механизма хватило дыма и пара, чтобы притолкать сюда платформы с людьми.

Платформы были полны красногвардейцев, а на передней поплевывало желтым тусклым огнем орудие с длинным тонким стволом, рядом с ним стояли два ящика со снарядами.

Один снаряд всадился с снег недалеко от штабного вагона, поднял мерзлую землю вместе с комками льда; несколько крупных комков, выбив стекло, дружно ввалились в окно вагона.

— Красные! — закричал кто-то заполошно, крик тут же оборвался, кричавший ткнулся лицом в снег, его сняли выстрелом с платформы.

Каппелевцы дали ответный залп, и красногвардейцев мигом смело с открытых платформ, они горохом попадали в сугробы. У орудия остались лежать два длинноруких красноармейца в островерхих шапках — повалились на станину с обеих сторон и свесили вниз руки.

Станция Минино заполыхала, из окон полетели стекла, в одном доме взрывом сорвало крышу, в другом снесло печную трубу. Поручик Бржезовский, заскочивший в штабной вагон, чтобы забрать баул генерала с документами и личными вещами, там же и был схвачен — следом за ним в вагон влетели пятеро красноармейцев с винтовками и наставили на побледневшего поручика штыки.

— Руки к горлу, парень! — скомандовали ему. — Давай-давай, не стесняйся, подымай лапы!

Все документы Каппеля попали к красным. Конечно, тогда ни «трудовых книжек», ни толстых личных дел не было, имелись только послужные списки, и вполне возможно, извлеченный из того баула послужной список, если, конечно, он не уничтожен, валяется ныне где-нибудь в дырявой архивной папке и вряд ли будет в ближайшие годы извлечен на свет Божий, хотя взглянуть на него было бы чрезвычайно интересно.

Сослуживцы Каппеля, осевшие после Гражданской войны в Китае, в Австралии, в Штатах, пытались восстановить этот список, но из благой попытки их ничего не получилось — смогли восстановить только хронологию последних двух лет его жизни, и все. А голая хронология — штука сухая, скучная, читать ее неинтересно.

Штабс-капитан Павлов вместе с Дремовым, который командовал в его батальоне взводом, попытался отбить Бржезовского, но к красноармейцам подоспела помощь, загрохотали выстрелы, и солдат, прикрывавших отход каппелевцев, оттеснили в тайгу.

Утопая в снегу по грудь, Павлов добрался до кряжистой, с расколотым комлем сосны, встал за ее стволом и выдернул из патронника винтовки опустевшую обойму, сунул ее в карман шинели — потом набьет патронами, если, конечно, жив останется, — вогнал в примерзающий к пальцам патронник новую обойму.

По снегу к нему, размахивая одной рукой, свободной, — в другой этот человек держал винтовку, стараясь поднять ее как можно выше, чтобы в ствол не наползло твердое льдистое крошево, — плыл человек.

Штабс-капитан передернул затвор, вложил в канал свежий патрон, шестой — помимо пяти, имевшихся в обойме, и загнал его в ствол.

— Давай, давай, ближе, ближе, — подбодрил он барахтающегося в снеговой лаве красноармейца.

Следом за первым красноармейцем плыл второй. Дальше виднелась голова и третьего — в островерхом богатырском шлеме, застегнутом под подбородком на пуговицу.

— Ого, сколько вас! — удивился штабс-капитан, подул на озябшие красные пальцы — от мороза пальцы не слушались, сделались деревянными. — Что ж, если вы не против, то я всех вас внесу в скорбный список. Либо вы меня...

Он ждал. Снова подул на пальцы. Прозрачное тепловатое дыхание поднялось над его головой облачком, зазвенело.

Станция хоть и находилась рядом — было слышно, как на путях попыхивает, стучит железными внутренностями маневровый паровозишко, — а сюда, в тайгу мало кто из прибывших красноармейцев решился сунуться, только эти трое.

— Ну-ну, — вновь подбодрил их Павлов, — давайте еще ближе, чтобы игра была беспроигрышной. Либо в одну сторону, либо в другую... Ближе, ближе!

Красноармеец, шедший первым, бородатый, с мелкими сосульками, пристрявшими к усам, с черным запаренным ртом, засек штабс-капитана и, присев на ходу, ловко выдвинул перед собой винтовку и, нажав на спусковой крючок, саданул по Павлову. Выстрелил он метко, Павлов едва успел прикрыться, уйти за комель, пуля всадилась в сосновый ствол рядом с его головой, вызвала звон в ушах.

Чтобы перезарядить винтовку, бородатому требовалось несколько секунд, а в такой ситуации, в бою, не только несколько секунд, даже одно мгновение, десятая доля секунды может оказаться едва ли не вечностью, и в вечность эту с прощальным криком ныряет че-

ловек. Пока бородач передергивал затвор, Павлов выстрелил в него. Снег окрасился неземной голубизной, внутри огромного, с закаменевшей макушкой сугроба что-то ярко вспыхнуло и тут же погасло.

Красноармеец нырнул головой в сугроб и тут же затих — словно спрятался там, но Павлов хорошо знал, что означают такие игры в прятки — человек этот из сугроба уже не поднимется. Идущие следом как будто и не заметили потери своего товарища — грохнули из винтовок, вначале выстрелил один, потом — второй.

— Бомбу бы вам под ноги — не стали бы так шустрить. — Павлов не выдержал, усмехнулся, выстрелил ответно, почти не целясь — бил на взбрыкнувший султан снега, — не попал и, щелкнув затвором, выбросил в снег горячую гильзу.

Снег вяло зашипел, пропуская металлический цилиндрик в свое нутро.

Штабс-капитану очень захотелось покинуть это место, уйти — даже глотку сдавило чем-то тугим, а виски обожгло морозом, но уходить было нельзя: ему будут стрелять в спину. До тех пор будут стрелять, пока не убьют.

— Ну, ближе, ближе, — морщась надсаженно, покусывая крепкими зубами нижнюю губу, пригласил штабс-капитан, — чем ближе — тем лучше.

На станции, посреди вагонов хлопнул взрыв — кто-то кинул гранату: вполне возможно, что от наседавших красноармейцев отбивался какой-нибудь каппелевец.

Очередного выстрела Павлов почему-то не услышал, и это было плохо: такие выстрелы обычно бывают последними, пуля попадает в цель. И эта пуля чуть не попала в цель — лицо Павлову обожгло горячим воздухом, из глаз словно сами по себе брызнули слезы, ноздри забило вонью. Штабс-капитан присел, тряхнул головой и всадил две пули подряд в сугроб, за которым скрылся красноармеец в богатырском шлеме.

В ответ раздался крик — значит, попал. Он послал третью пулю — сориентировался на звук, накрыл его

винтовочным хлопком — крика больше не было, вышиб гильзу из патронника, стал загонять новый патрон, последний в обойме, — затвор уперся во что-то твердое — ни туда, ни сюда.

Внутри, где-то в самом низу груди родился неприятный холод; Павлов дернул рукоятку затвора на себя, пытаясь выбить перекосившийся патрон из ствола — не тут-то было: патрон сидел прочно, его только клещами вытаскивать. Штабс-капитан застонал от досады, выглянул из-за комля — на него, будто корабль, пер обросший снежными сосульками по самую макушку, с широкими плечами и широким расставом глаз человек.

Что-то в этих широко расставленных серых упрямых глазах было знакомое.

Штабс-капитан вновь резко дернул затвор, рука сорвалась со стальной бобышки, Павлов больно всадил себе кулаком в живот, затем послал рукоять затвора вперед, пытаясь захватами уцепить патрон за пятку, опять дернул затвор назад, на себя, стараясь вытянуть застрявшую гильзу из ствола, но, увы, бесполезно: патрон этот словно вмерз в ствол, металл спаялся с металлом. Павлов снова застонал от досады, сделал еще одно резкое движение, всаживая патрон поглубже в ствол, потом дернул бобышку рукояти на себя — тщетно!

А над сугробом тем временем взнялся крупный, как медведь, красноармеец в сшитом из сукна богатырском шлеме, очень даже ладно сидевшем на его голове, в руках у красноармейца была винтовка.

— Ну что, беляк, попался? — хрипло проговорил красноармеец, рассмеялся торжествующе. — Молись, гад! Ты двух моих людей уложил, один из них еще пацан был, это его первый бой... Молись!

Он не требовал, чтобы штабс-капитан поднял руки, а раз не требовал — значит, решил уничтожить... Сейчас выстрелит. У Павлова дрогнул рот: не думал, не гадал штабс-капитан, что жизнь его оборвется так просто и бесславно. Вот она какая, смерть, вполне прилично выглядит, совсем нестрашная... И кто там лепетал раз-

ные фальшивые слова про костлявую пустоглазую бабу с проваленным носом?

Павлов отшвырнул трехлинейку в сторону, больше она ему никогда не понадобится, в маузере у него ни одного патрона, и, глядя в глаза красноармейца, проговорил спокойно — голос у него даже не дрогнул:

— Стреляй!

Красноармеец оскалил белые зубы, сжал их, со свистом выдавил наружу воздух и проговорил неверяще:

— Сашка!

Павлов вгляделся в серые глаза, в нем шевельнулось что-то радостное и печальное одновременно.

— Мишка? Неужто ты?

— Я!

— Мишка Федяинов?

— Я! — Бывший сосед и компаньон по набегам на елецкие сады не опускал винтовку, держал ее в руках наперевес, черным опасным зрачком ствола целил в Павлова: в любую секунду мог нажать на курок и выбить из Павлова душу. Пальца со спускового крючка Федяинов не снимал. — За что ты моих людей уложил, Сашка?

— А ты за что хочешь уложить меня?

Федяинов потряс головой, словно не верил в то, что видел живого Павлова, и промолчал.

— А? — повысил голос Павлов.

— Хорошо стреляешь, сукин сын, — тихо и горько проговорил Федяинов. — Гад ты!

— Стреляй, и мы квиты! — Павлов сделал движение вперед, Федяинов предостерегающе приподнял ствол винтовки, целил теперь штабс-капитану точно в переносицу, в центр черепушки — с такого расстояния пуля легко вынесет мозги и развесит их по мерзлым веткам.

Штабс-капитан сморщился, выпрямился, повторил тихо, давя в себе все чувства, все ощущения:

— Стреляй!

По лицу Федяинова пробежала тень, заиндевелые брови сдвинулись, обратились в белую, присыпанную снегом мохнатую гусеницу.

— Уходи, Сашка, — сказал он, повел стволом винтовки вверх. Павлов, поняв, что Федяинов стрелять не будет, просто не сможет, оттолкнулся плечом от комля и сделал стремительный длинный шаг к Федяинову, резким движением отвел ствол трехлинейки в сторону, затем рванул винтовку на себя.

Вырвать винтовку не удалось — Федяинов держал ее крепко, штабс-капитан напрягся, сделал еще одну попытку вырвать трехлинейку из крепких рук, попытка снова не удалась, и Павлов просипел сквозь зубы, окутавшись паром, словно паровоз:

— Что же ты продался красным?

— Запомни, гад белый, я никогда никому не продавался, натура моя не из тех... Ты меня знаешь.

— Продался, продался... — упрямо повторил Павлов, в нем что-то заколодило, он не мог владеть собою.

Другой на его месте давно бы исчез в лесу — прикрываясь стволами деревьев, ушел бы, но со штабс-капитаном этого не произошло, из горла у него выпростался задавленный стон, и он выпустил винтовку.

Федяинов вновь направил ствол трехлинейки на него.

— И запомни, Сашка, — сказал он, — если еще раз попадешься — я тебя уже не отпущу.

— Я тебя тоже, — пообещал Павлов, рукавом шинели вытер лицо. — Кем ты хоть служишь у красных?

— Командиром полка.

Федяинов не сводил со своего бывшего дружка настороженного взгляда — он все понял, никаких иллюзий насчет Павлова не питал: теплые воспоминания о беззаботном детстве сгинули здесь, в завалах снега, среди мерзлых стволов, под шапками сосен, ронявших в сугробы сухие, срубленные морозом шишки. И вообще, если уж на то пошло, теперь уже кажется, что никакого детства не было — плавает в голове какая-то муть, схожая с туманом, в ней мелькают какие-то то ли пятна, то ли лица, и больше ничего нет, лишь в глотке, под самым кадыком сидит холодный соленый комок — это смерзлись слезы.

Штабс-капитан сделал шаг назад, взмахнул обеими руками, неосторожно споткнувшись обо что-то невидимое под снегом, выматерился тоскливо, зло и, повернувшись к Федяинову спиной, шагнул в мерзлый сыпучий снег. Идти ему было немного легче, чем тем, кто прошел здесь до него, дорога в снегу оставлена ими широкая, но очень уж сыпучая. Павлов проваливался в хрустящее белое крошево по пояс, хрипел, кашлял на ходу, вышибал изо рта и ноздрей твердые ледяные затычки.

Ему очень хотелось оглянуться, ему надо было бы оглянуться, но он не мог этого сделать, словно у него окаменела, не поворачивалась шея, — шел и шел вперед, раздвигая ногами, телом, руками завалы снега.

В голове мелькнула мысль, что Мишка стрелять побоялся, когда глядел ему в глаза, — это очень тяжело — стрелять в человека, чьи глаза смотрят на тебя, а в спину пошлет пулю, даже не поморщившись... Павлов устало отогнал эту мысль от себя: никчемная она. Хотелось плакать. Давно он не ощущал себя так подавленно, так мерзко, как сейчас. Он выругался.

Неожиданно сбоку, из разъема заснеженных стволов на него вывалилась дюжая серая фигура.

— Ваше благородие! — услышал он.

Это был Дремов — по макушку в белой намерзи, в сосульках, в ломкой заиндевелой одежде, будто Дед Мороз, и с красными слезящимися глазами.

— Это я, Дремов.

— Вижу.

— Я вернулся вас искать... Батальон вышел целиком, а вас нету.

— Потери большие?

— Я видел трех убитых, волокли на ветках, а чего там еще — не знаю. С моей кочки не видно.

— Ладно, Дремов. — Штабс-капитан оперся на ижевца рукой, услышал, как в горле заскрипело что-то слезное, как у коростеля, попавшего под косу, руками отер лицо, глаза и, не слыша самого себя, повторил: — Ладно, Дремов...

— Жить будем, ваше благородие, — пробормотал тот, настороженно глянул в одну сторону, потом в другую, озабоченно наморщил лоб: — Вам не помочь, ваше благородие?

— Не надо.

— А чего краснюки нас не преследуют?

— Зачем им соваться в тайгу? Они нас загнали сюда, в бурелом, а сами пошли по дороге.

— С чехословаками спелись, значит? — Дремов сплюнул.

— Спелись.

— Теперь они нас к железной дороге ни за что не подпустят. Отвратительный народец. Даже не думал, что братья-славяне, свои люди, могут быть такими гадкими, — сказал Дремов и снова сплюнул себе под ноги.

За спиной, за сыпучими увалами, за сосновой чащей, в глубине пространства задавленно пискнул паровоз, прогрохотал колесами, пустил в ближайший сугроб свистящую струю пара. В душе штабс-капитана шевельнулась тревога. Он остановился, оглянулся с подавленным видом, слушая, что же происходит там, на железнодорожных путях, и, выругавшись, заскреб ногами дальше, гадая, почему же Мишка Федяинов его не застрелил?

Ответ находился на поверхности, готов был соскочить с языка, но Павлов придерживал его, он словно запечатал рот на прочный замок, лишь лицо у него подергивалось нервно да брови опускались низко, наползали на глаза, делая штабс-капитана похожим на старика.

Дорога расширилась, к одной колонне, ушедшей со станции, присоединилась другая, по целине был пробит целый тракт. По самой середке этого тракта крутился злой колючий ветер, поднимал мусор, бумажки, выпавшие из солдатских карманов, птичьи перья, невесть откуда прилетевшие сюда, сухие листья, до последнего державшиеся на ветках и наконец-то сорванные ветром, щипал зло живое тело. Рождала эта дорога ощущение неприкаянности, тоски, пустоты.

— Прибавим шагу, ваше благородие, — предложил Дремов, — наши уже далеко ушли.

На Дремова ни потери, ни встречи, ни удары судьбы не действовали, он прочно держался на своих кривоватых, обутых в валенки ногах, был уверен в себе, и этой мрачной уверенности штабс-капитан Павлов невольно позавидовал...

Догонять своих им пришлось часа три — так скоро двигалась северная колонна. По снежнику, будто распаханному гигантским плугом, спустились в широкий плоский лог, в котором росли чахлые, тощие, как спички, изувеченные то ли ветрами, то ли какой-то неведомой подагрой деревья, — по логу этому протекала вредная, с гнилой водой речонка, глушила все живое, давила, не давала вырасти, — поднялись на крутой обледенелый берег.

На закраине остановились, глянули назад, на потрескивающую стеклисто, брызжущую голубым морозным искорьем дорогу.

— По этой речушке, по руслу, красные спокойно могли бы зайти к нам в тыл и очень быстро догнать арьергард, — резковатым, с раздраженными нотками голосом проговорил Павлов. — Красные — большие мастера по части преследования.

— Если бы они считали, что мы все вынесем и останемся живы, ваше благородие, — Дремов отогнал ото рта зазвеневший, на глазах пропадающий парок, — то хрен бы они нас отсюда выпустили. Или если бы мы были генералы... А так... — Он махнул рукой.

— При чем тут мы? — раздраженно проговорил Павлов.— Я имею в виду всю северную группу. Это же полторы дивизии, несколько тысяч человек.

— Поспешим лучше, ваше благородие, — рассудительно произнес Дремов. — Целее будем.

Они прошли километра полтора, может быть, чуть больше, и услышали задушенный стон. Дремов, передернув затвор винтовки, метнулся вбок, занял одну сторону дороги, Павлов отпрыгнул в другую, прижался к стволу дерева. Стон повторился. Обреченный, одинокий, замерзающий. Дремов подал знак Павлову, вышел на дорогу.

Под деревом, прикрытый еловыми лапами, сидел паренек и, зажав между ногами винтовку, плакал. Щеки от мороза сделались у него восковыми, на них намерзли слезы.

— Ах ты Господи! — воскликнул Дремов, кинулся к пареньку. — Что ж с тобой произошло? Ты откуда? Отстал, что ли?

— Отстал, — паренек застучал зубами, — теперь мне не догнать. — Изо рта у него вымахнул взрыд, паренек задрожал и захлопнул рот.

— Откуда ты?

— Из хозяйственной команды.

Содрав с усов сосульки, поморщившись — было больно, Дремов сделал понимающий кивок: хозяйственники — не окопники, с ними вечно что-нибудь приключается.

— Ладно, поднимайся, парень, помирать позже будешь. — Дремов выдернул бедолагу из-под елки вместе с винтовкой. — И кто только тебя, такого юного, на войну отпустил?

— Никто, я сам.

Дальше они двинулись втроем. Шли, спотыкаясь, помогая друг дружке. Видны они были долго, их провожали взглядами вороны, а потом три черные точки пропали.

Через полчаса станцию Минино запрудили красные.

Подтаявшие сугробы были темными от крови, всюду валялись убитые...

Было тихо. Так тихо, что люди слышали, как в глотках у них что-то скапливается, булькает, а в ушах начинают греметь погребальные колокола. Из стволов раскуроченных сосен, несмотря на мороз, текла чистая, прозрачная смола, очень похожая на слезы.

А может, действительно это были слезы?

Красноярск обошли благополучно — ни Зеневич, ни красные из города даже носа не высунули, чтобы прижать отступающих белых.

В деревне со звучным названием Чистоостровская Каппель собрал командиров частей.

Валил снег. Крупный, тяжелый, неприятный. Снег обычно, бывает, веселит душу, на землю приносит чистоту, прикрывает мусорные места, в душе рождает надежду — все должно быть хорошо, в конце концов, но этот снег был иной, он давил, звучно шлепался на землю, а приземлившись, шевелился, как живой, никак не мог успокоиться.

Неприятный снег.

Каппель, усталый, с посеревшим лицом, оглядел командиров частей. Командиры выглядели не лучше его — тоже усталые, тоже серые. Никто не ожидал, что Красноярск, где рассчитывали задержаться, укрепиться, отдохнуть, перегруппироваться и дать отпор противнику, встретит их так, как встретил — уговорами генерала Зеневича бросить оружие...

— Прошу доложить о состоянии вверенных вам воинских соединений, — глухим, почти лишенным выражения голосом предложил Каппель. — О потерях — прошу подробно...

Армия обросла и продолжала обрастать обозом — длинным, неповоротливым, галдящим — в обозе находилось много детей; это был тот самый хвост, который нельзя было обрубать: слишком больно, слишком много крови, а главное — последствия у такой операции будут непредсказуемые.

Под окнами избы, где происходило совещание, носились сани, мелькали туда-сюда, словно напоминали о существовании обоза. Каппель изредка поглядывал в оконце, долго там свой мрачный взгляд не задерживал, отводил глаза в сторону. Двигаться дальше по железной дороге, как двигались до станции Минино, больше не придется — бывшие союзники чехословаки к дороге их ни за что не подпустят, отношения натянулись

так, что только звон идет, связь лишь пулеметная: одна очередь туда — шесть очередей оттуда...

Решили идти по целине, по бездорожью, сквозь снега — вначале по льду Енисея, а потом через тайгу.

Будут, конечно, стычки с партизанами, но партизаны — не чехословаки: и вооружены хуже, и воинского умения меньше.

Следующее совещание командиров частей Каппель провел в Подпорожной — деревне, как две капли воды похожей на Чистоостровскую и вольно раскидавшей свои избы на каменных взлобках, заснеженной. Изба, в которой собрались командиры, также, как две капли воды, походила на чистоостровскую — те же небольшие оконца — стекло-то дорогое, да и большие дворцовые рамы мигом выдавит мороз, тепла в жилье с большими окнами никогда не будет, — такой же низкий, пропахший дымом потолок, такие же деревянные, почерневшие от времени, отполированные задами лавки...

Вопрос стоял один: как, каким маршрутом двигаться дальше? Путей отступления было два. Первый — уйти вниз по Енисею почти до самого Енисейска — на реке снег все-таки не такой, как в тайге, идти по реке много легче, — внизу переместиться на Ангару и по ней уже выйти на Байкал. Места, по которым проходил этот маршрут — гибельные, пустые, деревень почти нет, и главное — дорога эта на тысячу километров длиннее, чем второй путь, предложенный Каппелем.

Второй путь — это маршрут по Кану, опасной быстрой реке, которая в некоторых местах не замерзает даже в сорокаградусный мороз, есть участки с огромными черными порогами, где вода хрипит, обращается прямо на глазах в ледяную дробь, шлепается в стремнину. Люди боятся таких мест, обходят их стороной, хотя не всегда это получается, бывает, что срываются в черную дымящуюся воду, столбенеют, становясь камнями — вынырнуть им уже не дано, вот почему на берегах таких порогов стоят деревянные кресты...

Этот путь — короче первого. Короче — это раз, и два — места тут более обжитые, богатая тайга исхожена вдоль и поперек, освоена переселенцами, на берегах есть несколько деревенек, к которым всегда можно приткнуться, перевести дыхание...

Каким путем идти — первым или вторым? Каппель предложил командирам высказаться. Как на флоте: вначале слово — младшим, затем — по нарастающей, до старших командиров.

Перед оконцами горницы, где происходил сбор, так же, как и в Чистоостровской, шмыгали туда-сюда сани, запряженные бойкими сибирскими лошадками: на этот раз резвились местные мужики, ошалевшие от того, что к ним прибыло столько гостей.

Мнения выступавших разделились. Одни считали, что лишняя тысяча километров — а разница в протяженности маршрутов составляла по примерным прикидкам именно тысячу километров — погубит людей. Другие возражали им, говоря, что части сохранят силы, поскольку будут идти по прочному и ровному речному льду — это ведь не по заснеженным буреломам пробираться — да и в тех безлюдных краях нет ни партизан, ни бандитов — никого, кроме ворон и соболей. По дороге можно будет соболей нащелкать — на шубы женам...

— Да уж, собольков нащелкаешь, — мрачно отплевывались сторонники канского варианта, — сожрут вас соболя, таких красивеньких, будто котлеты с луком, и не поморщатся.

А он сидел неподвижно, сведя брови в одну напряженную линию, положив руки на стол, — главнокомандующий слушал. Когда высказались все и наступила какая-то полая гнетущая тишина, Каппель поднялся, перекрестился.

— Благослови нас, Господи...

Люди, сидевшие за столом, также поднялись и таже перекрестились, выдохнули дружно:

— Благослови нас, Господи...

— И спаси нас, — произнес Каппель.

— И спаси нас.

— Неволить никого не могу, спорить также не буду: одним более близок путь по Енисею, другим близок путь второй. Оба пути — приемлемые. Что же касается меня лично, то я не могу идти долгим путем, я — главнокомандующий, я должен находиться в непосредственной близости от Верховного правителя, с его штабом, с золотым запасом России, который также идет в литерном эшелоне, — Каппель говорил негромко, но очень четко — он хотел, чтобы все слышали его речь, — поэтому, судя по всему, мы разобьемся на две части: одна часть пойдет со мною по Кану, вторая — по Енисею. Маршрут вы должны определить себе сами, добровольно, принуждать я никого не буду... — Каппель замолчал, оглядел каждого, кто находился в избе, и, устало потерев руки, сел.

Было тихо. Снаружи, из-под окон избы начали доноситься крики: похоже, местные мужики сцепились с пришедшими солдатами. Дело это было обычное, молодое, кулачные потасовки происходили, как правило, из-за девок. Неожиданно грохнул винтовочный выстрел.

Каппель поднял голову, поискал глазами Вырыпаева:

— Василий Осипович, разберись!

Вырыпаев поспешно выскочил за дверь.

— Прошу, господа, высказывайтесь, — предложил Каппель. — И определяйтесь.

Собравшиеся молчали. С одной стороны, они не представляли себе поход без Каппеля, с другой — Кан был слишком опасной рекой. Плюс партизаны. Эти-то уж точно отыграются на все сто: будут нападать на усталые колонны и днем и ночью, будут устраивать засады, выкрадывать людей, ставить на тропках капканы. Всего этого придется хватить в полной мере.

Сидевший рядом с Каппелем генерал-лейтенант Войцеховский опустил голову.

Муторно было.

— Ладно, поступим так, — вздохнув, произнес Каппель, достал лист бумаги, разделил его пополам, слева написал «Енисейский маршрут», справа «Канский мар-

шрут». В «Канском маршруте» сделал приписку: «Штаб главнокомандующего», положил на лист карандаш и передвинул на середину стола. Проговорил прежним глухим голосом:

— Прошу!

Лист одиноко застыл на хорошо оскобленной поверхности стола. Здесь, в тайге, столы не мыли — после еды добела скоблили ножами, так было удобно — и скатертей никаких не нужно, и чисто. Люди молчали, никто из них не протянул руку к располовиненному карандашной линией листу бумаги — люди размышляли.

В сенцах затопал ногами, отряхивая снег, Вырыпаев, в дом он, ощущая важность момента, вошел беззвучно, как охотник. Каппель глянул на него устало:

— Что там случилось, Василий Осипович?

— Красного лазутчика поймали. Хотел застрелиться — не дали. Скрутили и отправили в контрразведку.

Было понятно: лазутчиков этих станет теперь все больше и больше, каждый шаг отступающих будет обязательно прощупываться. И так продолжится до конца пути, до Байкала, куда должна выйти армия.

Первым придвинул себе лист бумаги Богословский — молчаливый полковник, командовавший Барнаульским пехотным полком, вписал свой полк и самого себя в «Енисейский маршрут».

— Помилуйте, полковник, — не выдержал Войцеховский, — это же тысяча лишних километров. Голод, холод, безлюдье...

— У меня в полку народ привычный, ваше высокопревосходительство, — ответил Богословский, — все таежники. В лесу себя чувствуют лучше, чем в постели с пуховой периной. Мы все переможем и выйдем к Байкалу.

— Но и по Кану вы тоже выйдете к Байкалу.

— На Кане — слишком много приключений, — Богословский так и сказал — «приключений», — их надо обойти, ваше высокопревосходительство. — Голос у полковника был вежлив и упрям.— А дорога по Енисею

твердая, ровная, снег везде — одинаковой глубины. Пойдем мы споро, широким шагом. Ждите нас на Байкале.

Лист бумаги зашевелился, словно угодил в течение, которое подхватило его, и лист поплыл, сделал заход в одну невидимую бухту, затем во вторую, потом в третью...

Большинство собравшихся предпочло идти с Каппелем.

На север, по Енисею, ушли лишь барнаульцы во главе с Богословским, отряд томской милиции, которым командовал поручик Труханович, и разрозненная группа солдат, выделившаяся из разных полков.

Прощались с уходившими едва ли не со слезами — так прощаются с теми, кого видят в последний раз, кто уходит навсегда — ну, будто бы уходит из жизни...

Над деревней с типичным речным названием Подпорожная летали большие жирные вороны.

Кан — река мрачная, с крутыми черными берегами, с которых постоянно сыплется вниз снег, шуршит противно, злобно, рождает в душе холод, от холода этого даже зубы спекаются, не разжать их, голова перестает соображать, в ней словно свистит ветер, на черных камнях бугрится намерзь, она видна далеко, похожа на пещерные наплывы, над намерзями висит стеклистый парок — это из каменных колдовских глубин на поверхность пробивается соленая горячая вода, стремительно остывает, стреляет теплом, остатками его, обращается в какое-нибудь несуразное изображение — то в ведьмин лик, то в мужика нехорошего, сердитого, кривоглазого, то в зверя лютого.

Мороз застыл на одной отметке, он не поднимался и не опускался, держался на минус тридцати пяти. Лед гулко поухивал под ногами, в нем обнаруживались гнилости, пустоты, потому звук и был таким слоистым, гулким, будто рождался в глуби гигантского барабана, выплескивался наверх, оглушал людей.

Сверху, с каменных закраин, на лед сползал курумник — снег, перемешанный с дробленой каменной поро-

дой, с крошкой, способной, когда ее много, перемолоть кого угодно. Он образовывал на Кане целые горы. Иногда лед проседал, и снизу просачивалась парящая вода, на морозе мигом превращалась в корку, прочно стискивала горы породы.

Хоть и камень был всюду, камень·да камень — все стиснуто льдом, а иногда встречались чистые дымящиеся окна, в которых трепетала, дрожала, будто подогреваемая на огне, неспокойная черная вода. Кан даже зимой, когда все реки спали, бодрствовал, подтачивал берега, валил толстенные деревья; те, промерзшие насквозь, опрокинувшись с высоты, врубались шапками в лед, раскалывались на несколько частей, и здоровенные обобки, по нескольку центнеров весом, прыгали по льду, как городошные рюхи.

Длинная серая колонна двигалась по реке.

Впереди — разведчики, самые сильные люди, которые привыкли рисковать. А риск в этом движении был сокрыт немалый: под толстым, иногда в полтора человеческих роста слоем снега попадались скрытые промоины — их не разглядишь, не прощупаешь палкой, невидимые глубинные струи точат лед, растекаются; единственное, что выдает их, — снег, он на таких промоинах горбится угловатым выступом, поблескивает гладкой, хорошо обдутой макушкой, других примет нет.

Пробовали пускать перед людьми лошадей, чтобы они торили хотя бы первый, начальный след, но ноги у коней быстро обмерзали, превращались в такие ледяные обрубки, в бревна, лошади падали... Внизу, под слоем снега все время гуляла, сочилась, растекалась во все стороны вода.

Пришлось лошадей оттянуть назад.

Генерал Каппель старался быть в первых рядах, среди разведчиков, сердился, если его оттирали либо просто выдавливали из шеренги идущих впереди. Вырыпаев подскакивал к нему, успокаивал, старался найти нужные слова, чтобы убедить генерала, и если находил, то Каппель отставал немного...

Иногда главнокомандующий останавливался, доставал из сумки карту, пробовал определить, как много они прошли, но карта ничем не радовала генерала: счет их борьбы со снегом, с рекою, со льдом, с расстоянием шел не на километры, а на метры.

Иногда на лед впереди выскакивала какая-нибудь шустрая зверушка, изумленно вглядывалась в нескончаемую вереницу людей, хвост которой терялся где-то вдалеке, и, пискнув испуганно, исчезала.

Часто выходили соболи — гибкие, круглоухие, с веселыми смышлеными мордочками. Каппель щурился озабоченно, глядя на зверушек, и, не веря, что видит соболя, спрашивал у проводника:

— Это соболь?

Тот отвечал не глядя — он давно уже засек зверя:

— Соболь, соболь, ваша милость.

Попадалось много волчьих следов — серые, не боясь, выходили на лед, простреливали глазами пространство, потом наметом вымахивали на закраину берега и исчезали в тайге.

Если передняя шеренга идущих — разведчики — врубалась в снег грудью, проваливалась в него с головой, то в хвост колонны, за людьми с обозом тянулась широкая, хорошо накатанная дорога. Насколько тяжело было двигаться головной колонне, измотанным людям, каждые пятнадцать минут сменявшим друг друга, настолько легко шел хвост, сам обоз.

Чтобы передвинуться из головной колонны в хвост, требовалось не менее полутора часов — так плотен был людской поток.

Кто только не двигался в обозе — и бабы, укутанные в шали; и дети, странно молчаливые, в многочисленных одежках, похожие на огромные вилки капусты; и купцы с запасными конями в поводу — в Чистоостровской, да и в Подпорожной платили за них огромные деньги, — с коваными сундуками, высовывающими свои обмахренные инеем углы из кошевок; раненые, которые не согласились остаться в деревнях, умоляли взять их

с собой, хотя у людей было больше шансов умереть, чем выжить, они были рады, что их все-таки решили взять... Были здесь и молоденькие гимназистки с печальными глазами, и скорбные женщины с клюками, и монашенки, следовал с обозом и батюшка, который вез церковный скарб на двух телегах — саней священник не достал, — и, моля, чтобы все закончилось благополучно, вставал в телеге, поднимал над головой икону и, держа ее обеими руками, рисовал в воздухе большой крест, осеняя идущее войско.

Колонна двигалась на восток, в обход крупных железнодорожных станций.

Не заметить такую гигантскую колонну было невозможно, она была видна отовсюду, с любой горы. Огромная извивающаяся змея бросалась в глаза, и красные партизаны, естественно, не упускали своего шанса.

В тыл колонны хотели пустить полк, которым командовал Федяинов. Комполка вызвали в штаб армии, но Федяинов, закаменев лицом, отвел взгляд в сторону.

— Я считаю, что полк не готов к выполнению такой задачи, — заявил он.

Помощник начальника штаба, усатый, с бледным лицом, похожий на легендарного комдива Чапаева, сжал глаза в щелки, зрачки у него сделались острыми, как укусы.

— Это как прикажете понимать, товарищ Федяинов? — жестким свистящим шепотом спросил он, недовольно приподнимаясь на стуле.

— Полк на треть выбит, треть из тех, что осталась, не имеет лошадей — из кавалерийского полка мы давным-давно превратились в пехотный, в атаку на станцию Минино ходили в пешем строю. Фуража тоже нет. С пополнением жидко. Из тех, кто приходит к нам с пополнением, проще сделать астрономов, а не солдат. Бросить полк за обученными каппелевцами — значит окончательно погубить его. — Федяинов вновь отвел взгляд в сторону.

— Та-ак, — прежним свистящим шепотом протянул помощник начальника штаба армии — ни шепот его, ни поза ничего хорошего Федяинову не сулили. — Та-ак...

Конечно, не это было причиной отказа Федяинова — в революционном огне сгорали не только полки — целые дивизии, корпуса и армии, полк — это тьфу, спичка, маковое зернышко, потерять полк — только доблести себе прибавить, это знал и Федяинов, это знал и помощник начальника штаба армии.

Вечером Федяинов был отстранен от командования полком и взят под арест как человек, нарушивший революционную дисциплину.

Но полк от позорного дела — добивать лежачих — он уберег.

Преследовать отступающих, щипать колонну белых, откусывать от нее ломти пожирнее поручили партизанам. Но партизаны — это не регулярное войско, партизанская вольница допускала все, в том числе и побеги с поля боя, партизаны и залп из винтовок не всегда могли толком дать — били вразнобой, горохом, пули их летели куда угодно, только не в цель.

Партизан каппелевцы особо не опасались.

В том месте Кан делал крутой поворот — река даже наклонялась в одну сторону, как телега, которую, разогнав, заставили нырнуть в боковой проулок. Черные скалы тянулись друг к другу, сжимались, с них ссыпалась ледяная крупка, на ветру пронзительно гудели сосны, звук их был зловещим, трепетным — души людские сжимались, слыша его... Когда под скалами прошла головная шеренга солдат, пробивавших дорогу в высоком, шевелящемся на морозе снегу, на скалах, и слева и справа, появились люди.

Люди эти были крошечными, как тараканы — не больше прусака среднего размера. Хоть и не казались канские скалы высоченными, не купались в жесткой небесной бели, а люди на них выглядели очень маленькими.

Хлопнул выстрел. Он прозвучал так громко, что у одного солдата в ухе лопнула барабанная перепонка, он завопил жалобно, как вопит заяц, угодивший в силок, под эти вопли вниз полетели гранаты.

Колонна мигом ощетинилась штыками, преображение произошло стремительно, по скалам грохнул дружный залп.

Вслед за гранатами вниз понеслись люди — каппелевцы били метко, четыре человека шлепнулись на лед, прямо на собственные гранаты, три человека с одного берега и один, тяжело раскорячившись в полете, — с другого.

Следом за первым залпом ударил второй. Со скалы сорвался еще один партизан, наряженный в новенький романовский полушубок.

Гранаты, по-козлиному скакавшие по льду, рвались, будто шрапнель, — с треском, проделывали во льду ямы, секли людей крошевом, но ни в одном месте не пробили лед до нижнего края — слишком прочный был покров на этом участке реки.

— Может, послать людей на скалы, чтобы проверили их и, если там будут партизаны, выкурили бы. — Вырыпаев отодрал от лица башлык, примерзший к живой коже.

— Не надо. Партизан там уже нет, — сказал Каппель. — Они ушли. Тактика их известная: мгновенный налет, мгновенный укус и — побыстрее за огороды, в вольную степь. Мы же с тобою, Василий Осипович, собирались точно так же действовать, когда писали бумагу в Ставку Верховного правителя.

— Так, — голос у Вырыпаева сделался ворчливым, — только толкового ответа не получили. Генерал Лебедев постарался... Будто мы ничего не писали. — Вырыпаев удрученно качнул головой, снова натянул на нос башлык. — Зато в условиях фронта какой курицей оказался этот Лебедев, а?

Каппель никак не отреагировал на эти слова.

Каждый день, пока эшелоны двигались по железной дороге, Каппель обязательно покидал штабной вагон,

пересаживался в автомобиль, который по деревянным слегам спускали с открытой платформы, и отправлялся на фронт. Там, где машина не могла пройти, приходилось пересаживаться на коня.

Становилось все яснее, что сдержать свой бег откатывающаяся армия сможет только в Красноярске либо еще дальше — в Забайкалье. В Забайкалье и власть была крепкая — атамана Семенова Григория Михайловича, человека с железными кулаками.

Как-то Каппель выехал на участок Степной группы, руководимой Лебедевым — тем самым светским блестящим генералом Лебедевым, который, судя по всему, умел хорошо танцевать на паркете, покрытом скользкой мастикой, и ощущал себя совершенно по-иному в условиях фронта, боя, стрельбы.

Во всяком случае там, где должен был находиться командующий группой, Каппель генерала не нашел.

Автомобиль Каппеля — громоздкий, с широкими колесами «Руссо-Балт», на радиаторе которого болтался полосатый георгиевский флажок — отличительный знак главнокомандующего, был виден издали, по нему со стороны красных несколько раз стреляли, но пули не долетали до машины — слышались только далекие хлопки выстрелов да снег с шипением прожигали горячие свинцовые плошки. Если автомобиль застревал, то из снега ему помогал выбраться конвой.

Штаб Степной группы по плану должен был находиться в небольшом сельце, вольно расположившемся посреди двух густых таежных гряд, — у селян были огромные огороды, амбары, которые не взять орудиям, бани, клети, сараи; жили люди здесь богато, ко всякой власти, независимо от ее цвета, относились подозрительно, шапки перед генералами не ломали. Не стали ломать и перед Каппелем. Каппель обратил на это внимание, усмехнулся:

— Хорошо живет здешняя публика!

Конвой остановил какого-то поручика с перевязанной рукой, в шинели с прожженной полой, — видно, недоглядел служивый, притомился, уснул подле костра.

— Где находится штаб генерала Лебедева?

Поручик вытянулся, как на плацу, от напряжения у него даже лицо обузилось:

— Не могу знать!

— Штаб что, в этом селе не появлялся? Тогда кто же отдает приказы? Откуда они приходят?

— Не могу знать! — заведенно повторил поручик. — Приказы я получаю от своего полкового командира.

Ничего не смог сообщить о штабе Лебедева и артиллерийский капитан — начальник передвижной мастерской.

— Но Лебедев должен быть здесь, здесь, — Каппель поддел ногой твердый комок снега, тот заюзил по накатанному санному снегу, — в этом селе. Нам что, по домам, по дворам идти, искать генерала?

Усы, борода у Каппеля — белые, морозы не спадают, держатся около отметки сорок, в машине холодно, обогрев в «Руссо-Балте» не предусмотрен.

Наконец навстречу попался полковник — седой от изморози, в башлыке.

— Полковник знает больше капитана, — сказал Каппель. — Остановите!

Увидев на радиаторе машины георгиевский флажок, полковник мигом сообразил, кто наведался в эту богатую деревню, вытянулся браво.

Он-то и объяснил, что штаб находится в восьмидесяти километрах от фронта, все приказы приходят оттуда.

— В восьмидесяти километрах от фронта? — Лицо у Каппеля приняло неверящее выражение.

— Да, ваше высокопревосходительство!

— В первый раз сталкиваюсь с такими методами руководства боевыми действиями, — удрученно произнес Каппель и полез обратно в машину. Приказал шоферу: — Возвращаемся в штаб фронта.

Пятерка казаков — конвой, взбивая снег, поспешно поскакала следом за «Руссо-Балтом».

Из штаба фронта Лебедеву был послан приказ немедленно явиться к главнокомандующему.

Прошло три дня. Каппель находился в штабном вагоне, чувствовал себя неважно, в груди у него появились сухие хрипы, что вызвало беспокойство у доктора Никонова, который немедленно прописал главнокомандующему порошки. Генерал зашел к себе в купе, чтобы выпить лекарство, как вдруг в дверь раздался стук:

— Ваше высокопревосходительство!

Это был денщик, голос его генерал хорошо знал.

— Что случилось?

— С востока движется какая-то крупная часть. Не менее полка.

— Час от часу не легче... Что за часть?

— Не ведаю, ваше высокопревосходительство. Уж не партизаны ли?

Но это были не партизаны — на вызов главнокомандующего явился генерал Лебедев. А полк — это всегонавсего охрана командующего Степной группой. Не много ли? Такой охраны даже у царя не было. Каппель удрученно качнул головой, под правым глазом у него дернулась и тут же затихла мелкая жилка.

Через несколько минут в вагон вошел Лебедев — как всегда, лощеный, пахнущий одеколоном, в отутюженной одежде. Увидев Каппеля, Лебедев лихо щелкнул каблуками:

— Владимир Оскарович, вызывали?

Лицо у Каппеля побелело, глаза сделались жесткими, темными, страшными. Он с грохотом опустил кулак на стол — никогда не позволял себе срываться, держал все внутри в сцепе, в сборе, а тут сорвался:

— Генерал Лебедев, вас вызвал к себе не Владимир Оскарович, а главнокомандующий.

Лицо у Лебедева так же, как и у Каппеля, побледнело. Он вытянулся. Попытался что-то сказать, но не смог — губы у него задрожали, сдвинулись в сторону и застыли. Командующий Степной группой мигом растерял свой гусарский вид, поблек.

— И откуда же вы, позвольте вас спросить, прибыли? — поинтересовался Каппель таким тоном, что Лебе-

дев невольно вобрал голову в плечи. — Из своей группы прибыли или же находились от нее в ста верстах, а? Приказ явиться был выслан вам три дня назад, прибыли вы только сегодня... Где вы находились все это время? — Каппель хлестал словами Лебедева, будто плетью, был беспощаден. Лицо у Лебедева сделалось не просто белым, оно даже попрозрачнело, постарело, генерал сейчас не был похож на себя. Губы у него дрожали.

За стенкой вагона раздался задавленный хлопок — кто-то выстрелил из пистолета, но Каппель даже головы не повернул на этот звук.

— Вы знаете, в каком положении находится Степная группа? Вообще, имеете представление, где точно сейчас она располагается? Можете показать на карте? Знаете, в чем нуждаются ваши офицеры и солдаты? Почему вы не делите с ними боевую страду, почему оторвались от группы?

Губы у Лебедева задрожали еще сильнее, на него жалко было смотреть.

А на Каппеля смотреть было страшно — лицо будто металлом налилось, глаза беспощадно посверкивали.

— Я, главнокомандующий, каждый день провожу на передовой линии, выезжаю в части, а вы? Или вам легче управлять группой, находясь от нее в ста верстах? Изволите бежать перед своими солдатами и офицерами, как заяц перед паровозом? Считаете, что так безопаснее? А, генерал Лебедев?

Дергающиеся губы Лебедева сдвинулись в сторону, генерал попытался что-то сказать, но сквозь губы протиснулось лишь несколько жалких, смятых, совершенно нечленораздельных звуков, вызвавших у Каппеля раздражение, и он резко взмахнул рукой:

— Приказываю вам немедленно со своим конвоем отправиться в группу. Конвой включить в состав действующих частей, там эти солдаты нужнее. Оставлять группу без моего особого распоряжения категорически запрещаю. О прибытии в группу немедленно мне донести.

Лебедев мелко, как-то по-птичьи покивал головой и, неуклюже развернувшись на нетвердых ногах, покинул вагон.

Каппель обхватил голову обеими руками и несколько минут сидел неподвижно. Вырыпаев боялся к нему приблизиться — он никогда еще не видел Каппеля таким: генерал за время их знакомства ни разу не позволил себе такого убийственного тона в разговоре. С другой стороны, Вырыпаев хорошо понимал генерала и не осуждал его — более того, на месте Каппеля Вырыпаев повел бы себя еще резче.

Неожиданно плечи генерала задрожали, Вырыпаев услышал глубокий задавленный звук — то ли стон, то ли взрыд — и кинулся к графину с водой. Выдернул из узкого точеного горлышка пробку, налил в стакан воды. Каппель предупреждающе помотал головой:

— Не надо! — Выпрямился, глянул незряче в окно вагона, на заснеженную площадь, примыкавшую к небольшому каменному зданию станции, где какой-то поручик с перебинтованной рукой пытался выстроить полуроту солдат, что-то у поручика не ладилось, что-то его раздражало, и он возбужденно размахивал здоровой рукой. — Мне стыдно, Василий Осипович, — тихо произнес Каппель,— за Лебедева стыдно... Пойми меня, пожалуйста, правильно. И за себя стыдно, за то, что не доглядел, не сумел это предупредить. — Он поморщился, будто в рот ему попала горчица, покрутил головой, выдохнул резко, разом — словно выбил из себя боль и повторил горько: — Не доглядел...

Вырыпаев молчал — сказать было нечего.

Собственно, из-за таких паркетных генералов, как Лебедев, Белое движение и терпело поражение, откатывалось все дальше и дальше, в нети... Так, глядишь, и до самого края земли докатятся. Впрочем, Каппель в это не верил, он считал, что последним рубежом будет если не Красноярск, то Байкал. Там удастся и выровняться, и голову поднять. Мысли об этом придавали силы.

...Налет партизан оказался болезненным: двоих каппелевцев посекло осколками, они скончались на руках товарищей.

— Все, партизаны теперь будут совершать свои налеты каждый день, — сказал Каппель Вырыпаеву, — особого вреда они причинить не сумеют, но кусать по мелочи будут. Будет больно...

К Каппелю на коне подъехал генерал-лейтенант Войцеховский[26], в шинели с меховым воротником, седым от мороза, в папахе, на которую был натянут башлык; глаза у Войцеховского от холода слезились.

— Передайте приказ по идущим частям, — велел ему Каппель, — каждому командиру надобно создать подвижную группу для борьбы с партизанами. Эти люди будут вываливаться из тайги каждый день и клевать нас, словно вороны. С воронами надо бороться.

Каппель как в воду глядел: с тех пор не проходило и дня, чтобы не было стычек с партизанами.

Белая армия продолжала двигаться по ломкому опасному льду Кана на восток, за армией тянулся длинный, на полтора километра обоз.

— На севере народ по снегу ездит на собачьих упряжках, — проговорил Вырыпаев словно для самого себя, ни кому не обращаясь, — сюда бы пару сотен упряжек — мы бы живо набрали скоростенку.

— Василий Осипович, парой сотен упряжек не обойдешься, нужно тысяч пять, не менее, — над головой Каппеля вспухло прозрачное, стеклянно зазвеневшее облачко, — но собак, сами понимаете, нет и не будет. Пока есть то, что есть...

Пошел снег. Тяжелый, плотный, мягкий, каждая снежина похожа на ошметок — не менее детской ладошки, хлопалась на землю смачно, с сырым неприятным звуком. Со снегом, казалось бы, должен был сбавить свой напор мороз, так бывает всегда, когда падает снег, но мороз держался на прежней своей отметке — минус тридцать пять и калил, давил, пережигал землю, валил деревья, расщеплял стволы, перерубал пополам огромные гранитные валуны.

Мягкий снег и жесткий мороз, одно с другим никак не должно было совмещаться, но, увы — совмещалось.

Странный был климат на реке Кан.

Варя Дудко простудилась — моталась по снегу от одних саней к другим, от одного раненого к другому, провалилась в снег, под которым оказалась теплая промоина, закричала испуганно, выдернули ее оттуда с катанками, полными воды, воду из катанок вытряхнули быстро, с ног стянули носки, выжали их — носки тут же превратились в две неряшливо скрученные деревяшки, на ноги навернули портянки — настоящие, байковые, мягкие — заботливый муж подарил их Варе еще на подъезде к станции Минино. Варя посмеялась над таким странным подарком, а вышло, что он как нельзя кстати.

Рядом оказался старик Еропкин, запрыгал воробьем вокруг Вари, завзмахивал руками:

— Ах, мать честная, чего же, голубушка, тебя туда понесло? — Бороденка на лице старика криво сдвинулась набок, глаза потемнели от досады. — Ах, мать честная!

Старик не отстал от каппелевских частей, не потерялся, так он и проделал весь путь с каппелевцами — люди, знающие коней, умеющие подправить сбрую и упряжь, нужны в любом воинском соединении, поэтому Еропкин был зачислен, в конце концов, на котловое довольствие в хозяйственную команду и ныне получал там жалованье — худое, правда, вызывающее нервный смешок, но все равно это было жалованье, единственное, что погоны только не носил, но их носить ему было уже поздно, да и не интересны они были дедку.

На одной из станций, когда двигались из Омска к Красноярску, старик добыл несколько нужных сухих лесин, притащил к себе в теплушку, покрякал довольно. Инструмент кое-какой — топор, молоток с гвоздями, клещи, веревки, рубанок, долото с зубилом, пробойник — у него всегда имелся, поэтому Еропкин, пока двигались по железной дороге, сколотил сани. Не бог

весть какие кра̀сивые, без особого шика, но вместительные и, главное, — прочные. К полозьям прикрутил железные шины — получились сани на «коньковом» ходу.

В санях у Еропкина лежал раненый ижевец Дремов, старый знакомый: во время атаки партизан, пытавшихся зажать отступающих каппелевцев в речной теснине среди черных скал, ему сильно посекло осколками обе ноги — одна из гранат взорвалась у него едва ли не в валенках. Дремов попробовал отбить ее ногой, но не успел...

Доктор Никонов на первой же стоянке, поставив на льду палатку и нагрев ее котелком с углями, сделал Дремову операцию, но ноги у того были настолько нашпигованы металлом и буквально превращены в фарш, что спасти их не удалось: через два дня началась газовая гангрена и ноги Дремову пришлось отнять по колено.

Никаких обезболивающих средств не было, максимум, что мог сделать доктор Никонов, он сделал: дал Дремову выпить стакан спирта, тот выпил и забылся: слишком оглушающе подействовала на него крепкая жидкость.

Когда Дремов пришел в себя, то ног у него уже не было.

Он попросил пристрелить его, но старик Еропкин обиженно насупил брови:

— Ты с ума сошел, мужик! Я тебе из деревяшек такие протезы выстругаю — лучше ног будут. Летом, на Троицу, мы с тобой обязательно спляшем. Бьюсь об заклад — ты меня обпляшешь.

Дремов отвернул от глупого деда голову в сторону, на глазах его заблестели слезы.

— Держись, держись, мужик! — бодрым голосом произнес Еропкин, глаза у него также повлажнели, но старик не дал им одолеть себя. — Это Господь специально тебя за прошлые грехи решил испытать... Переможешь все — святым будешь.

— Да уж, — выбил из себя комок слез Дремов, — из меня святой...

— Все солдаты — святые, поскольку сражались не только за свое Отечество, но и за веру, за Господа Бога... Понятно, несмышленый?

— Тогда об одном прошу — не бросьте меня!

— А вот это я тебе обещаю — не бросим. Что могу — то могу... Мы дотелепаем до Байкала.

— Если подопрет и придется все-таки бросить — застрелите меня, — униженно попросил Дремов.

— И чего это ты ко мне все на «вы» да на «вы», как к барину обращаешься? — недовольно прогудел Еропкин. — Я не барин.

— Я не тебя лично прошу, я всех прошу...

— Надо будет — застрелим, — Еропкин поправил сползший с Дремова тулуп, — ты у меня не раскрывайся, прекрати это делать... Накройся с головой и дыши в тулуп, как в кастрюльку. Теплее будет.

Сейчас к Дремову пришлось подселить Варю. Хорошо, что место было.

Дремов находился в забытьи. Ему становилось все хуже, лицо осунулось, побледнело, скулы выперли, черный жаркий рот был распахнут. Еропкин накрыл Варю тулупом с головой, она подтянула коленки — почувствовала себя этакой девчонкой-гимназисткой — и уснула.

Когда проснулась — увидела: рядом с санями шагает муж, устало мнет мягкий, вкусно хрустящий снег меховыми пимами — выменял знатную местную обувь на пистолет еще в Черноостровской. Этот пистолет валялся у него в бауле — был взят как трофей в бою два месяца назад, изящный, точеный, с затейливым рисунком на стволе и щечках; штабс-капитан считал его обычной забавой: калибр у оружия был редкий, патроны доставать трудно, хотя сам пистолет мог украсить любую коллекцию... Но Павлову он не был нужен, штабс-капитан не увлекался коллекционированием оружия, поэтому он с легким сердцем выменял его на теплые пимы.

Увидев рядом мужа, Варя улыбнулась чуть приметно:

— Саша!

Штабс-капитан нагнулся к ней, подхватил на ходу тонкую, наливающуюся прозрачной бледностью руку, его наполнила секущая горячая нежность к этой худенькой, испуганной, ставшей не похожей на себя женщине.

— Варюша! — пробормотал он задавленно, прижав Варины пальцы к своим губам.

— Саша!

— Как же это ты, а, Варя? Как угораздило тебя?

— Не повезло, Саша.

Сейчас главное было добраться до ближайшей деревни, до тепла, до печи: два дня, проведенные на печке, под тулупом — и от простуды даже следа не останется. У штабс-капитана в английской кожаной сумке имелась карта, надо было взглянуть на нее, понять, где они находятся, он расстегнул сумку, покосился на худую сгорбленную спину старика Еропкина:

— Ах, Игнатий Игнатьевич, не уберег ты мне Варю.

— Да разве я могу, ваше благородие? Она же как ртуть — то к одной подводе метнется, то к другой, то к третьей — раненых-то вон сколько, всех ведь с собой везем, кроме безнадежных, и больных полно — я насчитал только сто сорок шесть саней с больными брюшным тифом. Это же — тьма татарская.

— Бросать-то людей нельзя, — произнес Павлов машинально, и эти слова — в общем-то правильные, но такие жалкие, такие затертые, что невольно начинаешь сомневаться не только в их искренности, но и в смысле, — показались ему чужими. Будто произнес их другой человек — тот самый, которому Павлов не верит, кому при случае может и не подать руки... Что за чушь? Штабс-капитан невольно поморщился.

— И я о том говорю, ваше благородие, — сказал старик Еропкин. Добавил огорченно: — Но ты прав, ваше благородие, не уследил я. Мне бы, дураку, бегать за Варюшей, как кошка за бантиком — все было бы в порядке. И-эх! — Старик махнул рукой, не оборачиваясь, лошадь, заметив этот взмах, потянула сильнее, оглобли заскрипели — казалось, напрягся весь возок.

— Это тебе, — сказал Павлов и, достав из шинели что-то яркое, круглое, вкусно пахнущее, сунул в руку Варе. — Тебе.

Та удивилась:

— Яблоко! Откуда, Саша?

— Это тебе от генерала.

— От Владимира Оскаровича? — обрадованно изумилась Варя.

— Да, — солгал Павлов.

Варя прижала яблоко к лицу, втянула тонкими ноздрями сладкий спелый дух, исходящий от плода, прошептала растроганно:

— Господи, как здорово пахнет летом... Я уже совсем забыла, как пахнет лето. — В уголках Вариных глаз сверкнули слезы.

Павлов наклонился к жене, поцеловал ее в холодную соленую щеку, жалость остро располосовала ему сердце: он не знал, как защитить эту женщину от бед, от хвори, от несчастий, покрутил головой от боли и собственной беспомощности. Он умел толково воевать, умел командовать ротой, батальоном и, может быть, даже полком, умел посылать людей на смерть, и сам был готов умереть, но не ведал, как можно оградить от тягот похода, от лишений, от холода такое хрупкое существо, как его жена...

Некоторое время он шел рядом с санями, косясь на мертвеющее на глазах, с остро выступившим носом лицо Дремова, потом перевел взгляд на Варю.

— Хочу чаю, — неожиданно попросила она.

— Г-господи, да я сейчас, — заторопился Павлов, метнулся вперед, обгоняя медленно ползущие сани, затем обогнал еще одни сани, потом еще и еще — во всех возках лежали раненые. Штабс-капитан торопился к своему поредевшему батальону, где водились разные умельцы — умирающий Дремов, кстати, тоже был из их числа, — эти умельцы могли и одежду чинить без ниток, и обувь подшивать без иголок и дратвы, жарить антрекоты без мяса, как и уху варить без рыбы, а выздоровевший после ранения Митяй Алямкин настропалился прямо на ходу кипятить чай, заваривать его целебными травами. Случалось, Алямкин совал на ходу Павлову алюминиевую кружку, заправленную какой-нибудь пахучей травкой и кислыми пушистыми ягодами:

— Ваше благородие, подкрепитесь.

— Да я не голоден, Митяй, я пить не хочу...

Алямкин виновато моргал добрыми серыми глазами, прикрытыми крохотными очочками, будто стрекозьими крылышками:

— А это не для того, чтобы голод утолить или жажду, это для другого — чтобы сил на весь поход хватило.

Хоть и была трава с ягодами заварена крутым кипятком — фыркающим, круче не бывает, с пузырями, но он рук не обжигал, совсем наоборот. Павлов лепился к кружке ладонями, вбирал тепло...

Длинная, по-змеиному извивающаяся, разношерстная колонна, ощетинившаяся штыками, медленно ползла между черными, в серых наледях скалами, колыхалась, скрипела мерзлым снегом; в движении этом, казалось бы неостановимом, ясно просматривалась обреченность.

Зимние дни — короткие, у вороны и то больше шаг, чем день в этих краях в декабре: посереет, высветлится малость утром небо, прольет на землю сукровицу, рождающую ощущение боли, тоски, одиночества, в плотном небе образуется дырка, в которую люди будут поглядывать с надеждой — вдруг там покажется обсосок солнца. Но солнца все не было, оно, кажется, вообще забыло о людях, и плелись дальше — без сна, без отдыха, усталые, измотанные морозом и дорогой, подсвечивая себе дорогу факелами, чтобы в темноте сослепу не угодить в какую-нибудь гибельную промоину...

Иногда люди поворачивали к берегу и разжигали там костры, чтобы немного согреться, высушить задубевшую одежду, выпить чаю и малость поспать. Трудно было людям.

От батальона у Павлова осталось всего ничего, рожки да ножки, батальон не пополнялся людьми еще с боев на Тоболе, — а бои там были такие, что иногда в атаку поднимались пятьдесят человек, назад возвращались только двое, — но все равно батальон существовал, жил, по-ежиному ощетинивался штыками...

Недавно солдат Демкин метким выстрелом снял с каменного клыка партизанского разведчика — тот поднялся на скале, ладонь к глазам приложил и, не удержавшись, даже сделал картинный жест, полагая, что ни для кого недосягаем. Однако худенький, в длинной шинели, густо заросший волосом Демкин до него дотянулся, снял из винтовки. Далеко было до партизана, не должна была пуля достать, но отечественная трехлинеечка не подвела — разведчик сложился птичкой и рухнул с камней.

— Демкин, а где Алямкин? — спросил штабс-капитан у заморенного, со светящимся лицом солдата.

Тот улыбнулся устало:

— Чайник под полой кипятит. Прямо на ходу... Где же еще ему быть?

Алямкин, отлежавшись после тяжелого ранения, на одной из станций в обозе у красных прихватил крохотную американскую керосинку — агрегат хоть и неудобный и капризный, но для походов очень нужный. Митяй живо сообразил, что надо было брать в том обозе не золото, не связку собольих шкурок, запрятанную в брезентовый куль, а керосинку. Бесценные шкурки он вытряхнул из мешка, в мешок сунул керосинку и, поскольку красногвардейцы напирали и вот-вот должны были взять станцию, проворно сиганул в кусты. Драгоценную керосинку свою Митяй Алямкин вез на батальонной фуре, поставленной на полозья.

Возов, возков, подвод, фур, розвальней, фургонов, саней, телег — по снегу на колесах — выстроилось в колонне столько, что глазу не охватить, шевелящаяся серая змея, надсадно хрипящая, погромыхивающая металлом, стонущая, позванивающая стекленеющим на ходу дыханием, вытянулась уже не на полтора километра, а на все два.

На каждой стоянке в снегу вырывали могилы, оставляли там умерших людей — колонну накрывали не только партизаны — людей косил сыпной тиф, он двигался вместе с колонной.

Пока искал Алямкина, Павлов почувствовал, что у него неожиданно устало подогнулись ноги, он поспешно сорвал с плеча винтовку, подставил ее под себя: что угодно, но только не это... Только не слабость. Если он свалится, то в походе этом и сам погибнет, и Варю сгубит: ей без него не выжить.

Чтобы отыскать Митяя Алямкина, штабс-капитану понадобилось минут двадцать — слишком длинным был обоз, а при таких обстоятельствах свои сани находишь обычно в последнюю очередь, — Павлов начал нервничать, кусать губы, но когда нашел Митяя, успокоился.

Получил от него кружку с душистым, заваренным черникой и сухим смородиновым листом чаем, отправился поскорее обратно и — вот повезло, так повезло — сразу же нашел еропкинский возок, обрадовался ему, расплылся в неосторожной улыбке — нижняя губа лопнула, в трещине показалась кровь и тут же застыла — прихватил мороз.

— Саша, Дремов кончается, — огорошила его сообщением Варя, — до вечера не доживет.

Дремов дожил до вечера. Душа словно не хотела уходить из его могучего тела, и умирал он долго, не приходя в сознание, купаясь в медленно текущей мимо пустых красных берегов кровяной реке, стиснув зубы. Дремов даже в одури не стонал, держался, будто чувствовал: рядом находится женщина, которую нельзя пугать, лишь кадык на его короткой шее делал резкие пульсирующие движения вверх-вниз, вверх-вниз, как поршень. Иногда веки его чуть разжимались, и в узкой щели, в сжиме виднелось что-то живое, влажное; казалось, Дремов хотел увидеть низкое тяжелое небо, удостовериться в том, что оно еще есть, не шлепнулось на землю громоздким пологом, выжаренное морозом, затем веки смыкались вновь.

Идти ночью было опасно. Впереди дымили паром пороги, которые не мог одолеть мороз, плевались в небо

целыми столбами густой изморози, схожими с выбросами вулкана. Колонна остановилась на ночь в полутора километрах от порогов.

Заполыхали костры. Тревожные, с красным мятущимся пламенем, делающим лица людей незнакомыми — не узнать ни Каппеля, ни Войцеховского, ни Вырыпаева — никого. Варя смотрела на Павлова и не узнавала его — муж был постаревший, с черными впадинами глаз, какой-то чужой.

Она не выдержала, всхлипнула:

— Саша!

Штабс-капитан приник к ней, взял Варины ладони в свою руку, погрел их, ощутил на своей щеке Варины слезы — вытекли неосторожно; секущая жалость полоснула его по сердцу с такой силой, что он едва не задохнулся.

Рядом в санях лежал Дремов, около него хлопотал старик Еропкин. Неожиданно старик выпрямился, огляделся озабоченно:

— Священника бы! — Хлопнул себя ладонями по бокам: — Вот мать честная! — Он снова огляделся, в следующую секунду обогнул сидевших у костра людей исчез вознобном красноватом сумраке.

Ночью мороз, как правило, прижимал здорово: если днем он не поднимался, а точнее, не опускался за отметки «тридцать три» — «тридать пять», то ночью из-под земли вдруг накатывал тяжелый далекий гул, воздух делался крепким и горьким, как спирт, обретал такую плотность, что его, казалось, можно было резать ножом, гул исчезал, и делалось нечем дышать.

Прижал мороз и сейчас. Павлов нагрел у костра тулуп, накрыл им Варю:

— Погрейся!

Сверху натянул плотную меховую полость.

— А ты? — тихо спросила Варя. — Чем накроешься ты? Холодно же — видишь, как земля гудит.

— Это не земля гудит, а нечистая сила, спрятанная в ней, пытается одолеть нас, у нее ничего не получается, вот она и воет от досады.

— Сказочник. — Варя улыбается.

Старик Еропкин вернулся с сутуловатым прихрамывающим человеком — священником одного из ижевских полков, подвел его к возку.

Священник опустился на колени перед Дремовым, тот словно почувствовал его, просипел что-то невнятно. Священник перекрестил Дремова, произнес несколько слов шепотом. Слышал он их, вероятно, сам да еще Дремов; штабс-капитан, например, ничего не услышал, но слова возымели действие — Дремов открыл глаза.

Густые пшеничные усы его дрогнули, взгляд сделался осмысленным, влажным.

— Грешен, батюшка, — отчетливо, стараясь выговаривать каждую букву, произнес он.

— Все мы грешны... Бог простит. — Батюшка перекрестился сам, перекрестил Дремова.

Дремов раздвинул губы в покойной улыбке: как всякий православный человек, он не хотел умирать без покаяния, плохо это — представать перед Господом в грязи грехов; внутри у него снова раздалось сипение, задавило его, лицо у Дремова сделалось синюшным, в следующий миг в горле словно образовалась дырка:

— Сы-ы, сы-ы... — выбило из горла воздух. Дремов выгнулся на возке большой слабеющей рыбиной, не сводя глаз с батюшки, тот все понял и поспешно поднес к губам Дремова крест.

— Сы-ы-ы-ы, — просипел Дремов вновь, губы у него задрожали, он потянулся к кресту, коснулся его ртом, и в ту же секунду дыхание в Дремове угасло.

— Все, отмучался, родимец, — произнес кто-то из темноты, голос был знакомый, но Павлов его не узнал.

Батюшка положил ладонь на глаза Дремова, прикрыл ему веки, глухим сострадающим голосом прочитал молитву.

— И покаяться не успел наш Дремов, — горько проговорил старик Еропкин, хватил распахнутым ртом чересчур много холодного воздуха, закашлялся.

Священник поднял на него строгий взгляд:

— Успел. Да потом, солдату, умершему на поле боя, покаяния не надо. Господь принимает солдат такими, какие они есть, — без покаяния. — Священник снова перекрестил Дремова.

Старик Еропкин последовал его примеру. Штабс-капитан тоже перекрестился.

Слишком тонка перегородка, которая отделяет бытие от небытия, слишком легко, оказывается, можно проломиться через нее либо просто переступить через порожек и очутиться по ту сторону бытия, в небытии, в мире, о котором человек только догадывается, но ничего толком не знает.

Штабс-капитан ощутил, как у него расстроенно задергалась щека, прижал к ней пальцы. Вгляделся в лицо Дремова. Тот был старше его всего на несколько лет — года на четыре, кажется, но и этой малости оказалось достаточно для того, чтобы голову у Дремова обильно запорошила седина. На глаза Павлову налипло что-то невидимое, мешавшее смотреть, он протянул руку к Дремову, коснулся пальцем его щеки — попрощался.

Есть поверие: чтобы покойник не приходил во сне, его надо обязательно коснуться пальцами. Варя, лежавшая рядом с Дремовым, закрыла глаза.

Штабс-капитан взял в руку ее пальцы, холодные, тонкие, поднес к губам. Варя глаз не открыла — то ли забылась, то ли заснула.

На каменном взгорбке громыхнул орудийный выстрел, всколыхнул угрюмое черное пространство — это лопнуло от мороза дерево, повисшее над самой крутизной, вниз посыпались ветки.

— Берегись! — крикнул кто-то. Вовремя крикнул — с откоса тяжелым снарядом принесся огромный обабок — половина рухнувшего ствола, — всадился в самую середину жаркого костра.

Вверх ярким севом брызнули жгучие искры, накрыли людей.

— Варя, — тихо позвал Павлов, приблизил свое лицо к ее лицу. — Варя.

Никакой реакции. Варино лицо оставалось неподвижным. Павлов ощутил, как внутри у него родился страх. Душный цепкий ужас подполз к горлу, сдавил его, штабс-капитан захрипел задушенно, замотал головой, сопротивляясь внезапной страшной мысли, сопротивляясь самому себе, вновь позвал жену.

— Варя! — едва услышал он собственный шепот.

Варино лицо оставалось неподвижным. Варя была без сознания. Штабс-капитан поморщился жалобно, глянул вверх, в черное низкое небо, и вновь поморщился, закричал что было силы, но крика собственного не услышал — крик также обратился в шепот:

— Варя!

Варя не отзывалась. Павлов, ощущая, как в горле у него собираются слезы, ткнулся своей головой в ее голову, замер на несколько мгновений, словно хотел передать ей свои силы, оживить Варю, но она была неподвижна.

К возку подошел Алямкин, с ним еще несколько человек, они легко выдернули из-под мехового полога Дремова. Митяй не удержался, всхлипнул едва слышно, отер глаза рукой:

— Может, это и хорошо, что ты, Дремов, умер... Калекой ты бы вряд ли стал жить.

Митяй был по-своему прав: ну куда податься рабочему человеку без ног? Только головой в петлю. А это — грех для православного, для христианина неискупаемый. И главное — отмолить его будет некому: Дремов был одинок — ни жены, ни детей, все рассчитывал, что наступят лучшие времена, и будут тогда у него и жена и дети, дай только срок, но времена эти так и не наступили, и счастье Дремову не выпало.

Над землей струился, позванивал сухой воздух, снег ежился, шевелился, как живой, словно под ним лежали люди, спеленутые, обреченные, безмолвные, и они никак не могли выбраться из-под снега, пытались барахтаться, молили о спасении, но все было тщетно: кто попадал под снег, выбраться из-под его толщи уже не мог.

Штабс-капитан прижал свои губы к губам Вари, пытался уловить тепло, исходящее от них, потом прижал ухо — если уже не огрубевшими от мороза губами, то ухом, чутким слухом своим уловит ниточку теплого Вариного дыхания...

Варя дышала, и это было главное.

— Где Никонов? — Штабс-капитан резко вскинул голову. — Где доктор Никонов?

Ему казалось, что сейчас только измученный, шатающийся от усталости доктор Никонов может привести Варю в чувство, он кинулся искать доктора, перебегая от одного костра к другому, пытаясь увидеть Никонова, но того не было, вместо доктора он наткнулся на прапорщика Ильина, жарившего на костре хлеб. Ильин извлек из «сидора» старую зачерствевшую горбушку, разделил ее на несколько ровных кубиков, насадил на прут и теперь вертел свой «шашлык» над пламенем. Запах от него поднимался ошеломляющий, домашний. У окружающих только слюнки текли.

— Где доктор, прапорщик, не знаете? Не попадался он вам?

— Попадался, — спокойно, очень тихо ответил Ильин.

— Где он?

— В обозе. Где-то в самых дальних рядах.

— Что с ним?

— Сыпной тиф.

— Ка-ак? У доктора — сыпняк?

— Не знаю. То ли сам заболел, толи кого-то лечит... Сейчас все перемешалось, не поймешь.

У штабс-капитана даже руки задрожали, он стиснул пальцы, сунул в карман шинели. Сыпной тиф следовал с колонной Каппеля на восток, был таким же полноправным участником Великого ледового похода — а этот поход историки назовут именно так, — как и мороз, и голод, и ежедневные стычки с партизанами. Последние два дня шли по торосам — много попадалось вздыбленных, поставленных на попа пластов льда, к этим пластам примерзали новые куски, получались

марсианские нагромождения. Кольчуга у реки была рваной, трудной, проходить такие нагромождения было тяжело, почти невозможно, надо было обходить их по берегу либо прорубаться сквозь завалы, карабкаться на скалы... Но если на скалы может вскарабкаться человек — даже ослабленный, выдохшийся, то как туда поднять сани с лошадью либо, того хуже — телегу? А в обозе Каппеля до сих пор шли и телеги — десятков шесть, семь, их так и не смогли поставить на полозья...

Людей добивали холод, голод, болезни, усталость.

— И тут сыпняк! Хоть бы доктора он не трогал. — Штабс-капитан присел к костру, так вкусно пахнущему жареным хлебом, протянул к огню руки. В усталом замутненном мозгу как-то не укладывалось, что врач, призванный лечить людей, сам может заболеть.

— Шел, шел рядом с генералом и упал, — сказал Ильин,— на моих глазах это произошло. К нему подскочили, подняли — без сознания.

— Дремов умер, — запоздало сообщил новость штабс-капитан.

— Мне уже сказали.

Штабс-капитан поднялся с корточек и, шатаясь, двинулся назад, к возку, в котором лежала Варя.

— Александр Александрович, — услышал он за спиной голос Ильина, остановился, недоуменно повернул голову. Ильин выдернул из костра прут с хлебом, стянул с него несколько квадратных, вкусно пахнущих кусков, протянул их Павлову: — Возьмите для Варвары Петровны. Ей это должно понравиться.

— Варвара Петровна очень неважно себя чувствует, — сухо произнес штабс-капитан.

— Как?

— Заболела сегодня. И дай Бог, чтобы это было обычное недомогание, простуда, а не тиф.

Прапорщик побледнел.

— Дай Бог... Хлеб все-таки возьмите, — он вновь протянул Павлову помягчевшие от жара, обуглившиеся на углях куски,— все, что могу...

— Спасибо, Саша, — благодарным шепотом произнес штабс-капитан, — только, право, не обделяйте себя.

— Скоро будем в селе, что за порогами, там еды, говорят, много.

— Говорят, Саша, что кур доят, а коровы яйца несут. До села еще надо дойти. А за хлеб — спасибо.

Ильин понимающе улыбнулся в ответ.

Когда штабс-капитан вернулся к возку, Варя все еще находилась без сознания. Нахохлившийся, сложившийся тощим кулем дед Еропкин сидел рядом, перетирал пальцами солому и сбрасывал ее в мешок, сверху посыпал отрубями — готовил корм для лошади. Хорошо, отруби у него еще оставались, с полкуля, но этого надолго не хватит. Одна надежда — деревня, расположенная за порогами.

Штабс-капитан навис над Варей, приблизил свое лицо к ее лицу. Замер, стараясь уловить ее дыхание, ощутить тепло, исходящее от лица жены, но лицо было холодным — никакого тепла. Павлов всхлипнул неверяще и помотал головой.

— Она без сознания, ваше благородие, — подал голос Еропкин, — и хорошо, что без сознания, это означает — организм Варвары Петровны оберегает себя. Главное сейчас — не заморозить ее, — старик навесил обрадованному коню на морду мешок, тот громко захрустел соломой, — холодюка выдался вон какой...

Воздух загустел уже так, что было трудно открывать рот, холод поселился не только под одеждой людей, он поселился внутри, в костях, в жилах, в мышцах, от него стискивало виски и клонило в сон.

А старик Еропкин, проворный, цепкий, уже успел сбегать к соседнему костру, теперь нес оттуда две кружки с кипятком, одну себе, другую штабс-капитану.

— Пожалуйте... У меня и сахарок есть.

— Сахар у меня тоже есть,— проговорил Павлов глухо, как-то потерянно, болезнь жены вышелушила из него что-то важное, он перестал быть самим собой. —

Что там с Дремовым? — неожиданно вскинулся он. — Дремова надо похоронить по-христиански.

— Сейчас попью чаю, схожу к Митяю Алямкину, узнаю, что к чему да почем. Дремова мы похороним так, как надо, не беспокойтесь, ваше благородие... Дремов — наш человек. Одно плохо — могилу нормальную сейчас не выдолбишь.

— А в мелкой могиле оставлять нельзя — звери разроют и попортят тело.

— И в мелкой могиле оставлять нельзя, — согласился старик Еропкин, звучно отхлебнул от кружки кипятка, лицо его сделалось морщинистым, дряхлым, он вытянул голову, прислушался к далекому грохоту, донесшемуся до них, неодобрительно покачал головой: — Надо же! Мороз вон какой, птицу на лету сшибает, а с рекой совладать не может — пороги все громыхают и громыхают. У нас на Волге такого нету.

При упоминании о Волге лицо у старика подобрело, расплылось в мелких расстроенных морщинах, он мотнул головой, словно хотел отогнать от себя мысли, способные расслабить, зашлепал слезно задрожавшими губами и, чтобы совладать с собою, притиснул ко рту край кружки.

Штабс-капитан вновь склонился над Варей, позвал едва слышно — в воздухе шевельнулся воздух, больше ничего не раздалось:

— Варя!

Хоть и невесом, неслышен был звук, а на этот раз Варя услышала мужа, выплыла из забытья.

— Не пойму, то ли я сознание потеряла, то ли это был сон... — прошептала она.

— Лучше, если бы это был сон, — пробормотал Павлов, поплотнее укутывая Варю меховой полостью, потом аккуратно, стараясь не помять, извлек из кармана несколько квадратиков хлеба, уже остывших. — Это тебе Саша Ильин прислал. Шашлык по-кански...

Варя взяла хлеб, улыбнулась слабо:

— Славный мальчик.

Ночью на лагерь навалились красные партизаны под предводительством Щетинкина. Говорят, на этот раз он лично принимал участие в операции, пробовал даже совершить прорыв к генеральской палатке, разбитой среди торосов — очень ему хотелось познакомиться с самим Каппелем. Завязалась драка.

Выстрелы бухали так громко, что от промороженных скал даже откалывались камни и ядрами летели вниз, на людей, а по пологим кулуарам съехали два потока курумника, накрыли несколько возков вместе с живыми душами.

Бой длился минут сорок, и партизаны, оставив валяться на льду несколько убитых товарищей, стремительно исчезли — будто духи какие: только что они были, яростно бросались на каппелевцев, беспорядочно палили из берданок и трехлинеек, несколько человек ловко орудовали ножами — и вдруг исчезли. Словно в отвесных скалах, в кулуарах, коридорах, забитых курумником, в которых любой зверь ломает себе ноги, даже мягколапый задастый медведь, у них были проложены свои тропы.

Основной удар Щетинкина пришелся на сильно поредевший батальон Павлова.

В ночном бою этом были тяжело ранены Митяй Алямкин и прапорщик Ильин — на них из темноты свалились похожие на медведей партизаны с ножами, сцепились в схватке, — и у одного, и у другого оказались глубокие ранения в живот.

Утро высветилось жидкое, серое, робкое, задавленное стужей, из небесных прорех сыпал сухой противный снег, мелкий, как пыль, лагерь зашевелился побито, заохал, застонал — надо было двигаться дальше.

Беспамятного, жалобно, по-ребячьи стонущего Ильина уложили на возок рядом с Варей, старик Еропкин бережно накрыл его меховой полостью — отдал свою, в которую кутался ночью.

Прапорщика надо бы немедленно определить на операционный стол, почистить продырявленные кишки,

выскрести из залитого черной кровью живота всю грязь, спекшиеся сукровичные ошмотья, но вместо этого Сашу Ильина кинули в возок — ни один врач ничего не сможет сделать на этом морозе, в пути — нет ни условий, ни сил... Генерал Каппель отдал свою палатку под лазарет, санитары поставили туда несколько ведер с мелко наколотыми чурками, подожгли их, пробуя нагреть палатку, но мороз оказался сильнее — первый же раненый, которого попытались прооперировать, скончался от переохлаждения.

Надо было тянуть до деревни — той, что находилась за порогами и о которой как о земле обетованной говорили отступающие. Но до порогов следовало еще дойти — они хоть и рядом, хоть и слышен их звук, но то ли это пороги, которые облизывает кипящая вода, сдирает с камней куски льда, шумит, то ли в небе образовался некий проран, огромная дыра, и из нее доносится грохот иных планет, плющится о бедную землю, то ли происходит что-то еще — не понять.

Как не понять, кто бродит сейчас среди торосов, шатаясь, падая, сипя — то ли люди, то ли призраки.

Наверное, все-таки призраки.

Едва старик Еропкин тронул возок с места, а штабс-капитан покорно зашагал рядом, как дед неожиданно натянул вожжи:

— Тпр-р-ру!

Павлов, с трудом держась за край возка, покачнулся, вскинул голову. За ночь щетина на его лице из черной превратилась в серую — штабс-капитан поседел. Варя опять находилась в забытьи.

— Чего? — выдохнул он.

— А вон. — Старик Еропкин ткнул кнутовищем в продолговатый снеговой холмик.

— Чего вон?

— Дремов наш лежит... Не похоронил его Митяй, не успел — партизаны навалились. Хотел дождаться утра, чтобы посветлу место получше выбрать да яму выдолбить — не получилось. Вот мать честная! — Старик

беспомощно покрутил головой.— Ваше благородие, ведь русского человека, не похороненного, в волчьем месте оставляем. Надо похоронить.

— Надо, — согласился Павлов. — Только с могилой нам без инструмента не справиться — земля тут крепкая, как камень, мерзлая. Лом нужен.

— Лом у меня, ежели что, есть. И лопата есть. Но земля тут не везде каленая, не везде камень. Есть такие места, где она не промерзает совсем. Теплые воды подогревают ее снизу, не дают замерзнуть. Нам такое местечко надо бы отыскать, и тогда мы — кум королю, быстро справимся... А, ваше благородие?

В воздухе струилась колючая мерзлая пороша, поднималась столбом вверх, повисала там неприятным, наждачно дерущим лицо облаком, потом опускалась под ноги, хрустела стеклисто; когда из тайги налетал очередной порыв ветра — слабый, едва приметный, алмазная пыль вновь взметывалась в воздух.

— А, ваше благородие?

Штабс-капитан молчал. Наклонившись над Варей, он смотрел на ее лицо. Серые губы Вари были плотно сжаты, правая щека подергивалась.

Мимо один за другим проходили возки — гигантская колонна стронулась с места, скрипел снег, возницы ругались на лошадей, хотя их не ругать надо было, а говорить им ласковые слова, скармливать им последний кусок хлеба, беречь, ибо для многих в колонне, обезножевших, занемогших, эти разбитые, кое-как стянутые веревками возки, как и эти заморенные клячи, были единственной возможностью выбраться отсюда.

— А если мы похороним Дремова в деревне? — наконец отозвался на квохтанье деда штабс-капитан.

— Как мы его туда довезем, ваше благородие? Как?

— На возке. Как и всех.

— Кто нам даст место? У нас места нет, а на другую подводу устроить не удастся, я даю голову на отсечение.

— Ах, Игнатий Игнатьевич, храните лучше свою голову при себе. Пригодится.

— Я тоже так думаю.

— Значит, остается одно: копать могилу?

— Не оставлять же Дремова здесь на съедение волкам. — Голос деда сделался сердитым. — Бог нам этого не простит, ваше благородие.

— Что же. — Павлов, глянув на Варю, накрыл ее полостью и отступил от возка. — Копать так копать. Иначе и наши тела останутся где-нибудь незакопанными.

Старик проворно выдернул лом, привязанный веревкой к стойкам полозьев, воткнул его снег у ног штабс-капитана, следом извлек совковую лопату, насаженную на прочный, до блеска отполированный черенок.

— Погоди, ваше благородие, сейчас я определю, где лучше могилу рыть. — Старик подхватил лом, отошел метров на пять, ткнул им в землю; под тупым краем лома чугунно ухнула земля; старик Еропкин мотнул головой отрицательно, отошел метров на десять вправо, снова ткнул ломом в землю. Опять отрицательно мотнул головой.

Мимо продолжали тянуться подводы — возки, накрытые и меховыми полостями, добытыми в деревнях, в которые по пути заворачивала отступающая колонна, и брезентовыми пологами, и с кузовами, сделанными из досок и одеял. Вот проскрипела мерзлыми колесами телега, ее тянула несчастная лошадь, которая выбивалась из сил, стараясь поспеть за общим потоком, понимала — отставать нельзя, дергалась, хрипела, ее нещадно лупил кнутом чернобородый бровастый мужик. Старик Еропкин перестал стучать ломом в землю и крикнул чернобородому:

— Эй, малый, у тебя лошадь через двести метров свалится, дальше будешь тащить телегу сам.

Чернобородый втянул голову в плечи:

— Да она ленится!

— Не ленится, а силенок у нее нету, чтобы такого борова, как ты, вместе со скарбом волочь... Лучше сойди с телеги, помоги лошадке. А в ближайшей деревне, за порогами, купи сани. Не жмись, малый, деньгу в одежду не зашивай!

Чернобородый выругался, взмахнул было кнутом, но тут же сунул кнут под себя и проворно соскочил с телеги. Старик Еропкин застучал ломом дальше, будто дятел: стук-стук-стук...

Павлов вновь вернулся к Варе, приложил ладонь к ее лбу. Лоб был горячим. Штабс-капитан вновь накрыл лицо Вари полостью, оставил только небольшую щелку для дыхания.

Ильин лежал рядом и стонал. Штабс-капитан подошел к нему, склонился над прапорщиком. Тот находился в сознании, мелкое звенящее облачко поднялось над ним — прапорщик шевельнул губами, позвал Павлова.

— Что, Саша? — спросил тот.

— Я очень скоро умру, — донесся до Павлова едва различимый шепот, — осталось совсем немного...

— Саша, на эту тему я с вами даже говорить не буду, — грубовато, с напором произнес Павлов, — не буду и не хочу.

— Я это чувствую, — прошелестел Ильин, — ощущения мои меня еще никогда не обманывали. Обещайте мне сделать одно...

— Что, Саша?

— Матери моей напишите... Расскажите, где я похоронен. Кончится война — она приедет ко мне... на мою могилу... Я этого очень хочу. — Ильин слабо шевельнул головой, захрипел и смолк.

По мелко трепещущим ресницам, которые словно пытались склеиться друг с другом, но никак не могли — что-то не получалось, было понятно: прапорщик еще жив.

— Саша, Саша, — глухо и тяжело, с болью, зримо шевелившейся в нем, пробормотал штабс-капитан и умолк.

А старик Еропкин продолжал гулко ухать ломом в промороженную твердь берега, окутывался паром, топотал ногами — на одном месте стоять было нельзя, катанки примерзали, и снова взметывал над головой торец лома, всаживал «струмент» в землю.

Наконец удары его сделались мягкими, влажными, чавкающими, и старик обрадованно провозгласил:

— Нашел! Нашел место для Дремова!

Копать совковой лопатой было трудно — ею хорошо только землю выгребать из ямы да отшвыривать в сторону, что для такой лопаты в самый раз, а вот втыкаться в твердь, рубить — сто потов сойдет, прежде чем отвалишь какой-нибудь тяжелый ломоть. Павлов работал ожесточенно, стиснув зубы, косился в сторону — на берегу Кана, среди беспорядочного нагромождения льда обнажилось буйное течение; с визгом съехав со скользких камней, оно ломало, кромсало спрессованную шугу, припечатывало ее к берегу, склеивало огромные куски — получались целые горы, обойти которые можно было только по узкой кромке; сани там выстроились в длинную череду, шмыгали одни за другими мимо людей и растворялись в сером утреннем мареве.

Люди продолжали рыть могилу умершему солдату, такому же христианину, как и они, — сочувствовали Дремову и одновременно завидовали ему: отмаялся человек, больше не будет мучаться.

Последним мимо Павлова с дедком прошмыгнул возок с дырявым верхом, заткнутым желтым пуком соломы, возком управлял редкозубый малый в волчьем малахае. Зубы у возницы торчали в разные стороны, были крупные, их никак не могла прикрыть мелкая верхняя губа, и малый этот выглядел сущим людоедом, все время державшим наготове свою страшную пасть.

Берег опустел. Старик Еропкин оставил лом, выпрямился, хватил запаренным ртом морозного воздуха:

— Ух-ху-у! Совсем ушомкался. Передохни, ваше благородие!

Штабс-капитан протестующее мотнул головой: от колонны отрываться нельзя, можно безнадежно отстать, батальон его также не должен оставаться без командира — хоть там и имеются офицеры, но все равно командир есть командир... Павлов подцепил лопатой неувертливый валун, тот проворно соскочил с лопаты, шлепнул-

ся в желтую мякоть, которую не брал мороз, штабс-капитан подцепил его снова, стиснул зубы, поволок из ямы по стенке наверх, но тот снова сорвался. Павлов выругался, разогнул спину. Глянул в сторону ушедшей колонны.

Последний возок, которым управлял людоед в волчьем малахае, был уже едва виден — только кажется, что колонна движется медленно, на самом деле это не так.

— Поднавалимся, Игнатий Игнатьевич, — подогнал он старика Еропкина, вновь подцепил валун лопатой, поволок его наверх, подтащил к краю, засипел, не в силах сделать последнее движение. Старик потуги штабс-капитана засек, подпер снизу лопату ломом, закряхтел, подтолкнул — так вдвоем они и выволокли тяжелый камень наружу.

— Были бы силы — поднавалились бы, ваше благородие, да сил нету, — тихо проговорил старик. — Все силы остались там, за Уралом, на реке Волге.

— И у меня сил нет, — признался штабс-капитан, всосал сквозь зубы воздух, — но поспешать надо, Игнатий Игнатьевич. Мы здесь, — он обернулся, обвел глазами изломанное, присыпанное трескучим снегом пространство, — как голенькие на чьей-то ладони, со вех сторон открыты. Надо хоронить Дремова и — быстрее за колонной.

— Все равно перед порогами колонна остановится, — рассудительно произнес старик, — место там, я разумею, не в пример этому, — он потыкал перед собой рукой, — тут танцевать можно, а там особо не растанцуешься. А с другой стороны... С другой стороны, все может быть, и окажется, что там места в три раза больше, чем тут. Но пока разведают дорогу через пороги, пока прорубятся сквозь торосы — часа два пройдет, не менее. Мы к самой раздаче каши поспеем.

Павлов глянул на возок, где лежали Варя и Ильин, губы у него дернулись, старик Еропкин взгляд его засек и проговорил успокаивающе:

— Все в руках Божьих. Все равно их благородие Ильин на операционный стол не попадет раньше, чем мы одолеем пороги.

Штабс-капитан не ответил, вновь всадил лопату в проволглую, не поддающуюся ни морозу, ни лопате землю, изнутри она словно была пропитана каким-то маслом. Павлов даже смахнул пальцами с тускло поблескивающего острия комочек земли, поднес его к ноздрям — от комочка действительно доносился едва уловимый дух масла. Старик рядом зачавкал ломом.

Болели суставы, болели мышцы, в голове раздавался тупой усталый звон, за ушами плескалась боль. Штабс-капитан пытался сглотнуть твердый клейкий комок, застрявший у него в горле, и никак не мог этого сделать — комок не двигался, мешал дышать. Серое пространство перед глазами сделалось розовым, поплыло в сторону... Штабс-капитан обессиленно опустил руки.

— Я и говорю, ваше благородие, надо отдохнуть, — раздался рядом голос старика.

В ответ штабс-капитан упрямо мотнул головой:

— Нет! — Ухватил лопату за черенок и вновь всадил ее в землю. Даже воздух зазвенел противно, тонко, будто в него набили толченого стекла, стекло это склеилось в пространстве, отвердело, и в нем, словно мираж некий, скрылся последний возок колонны, управляемый редкозубым людоедом... Издалека донесся слабый призыв — полузадохнувшееся ржание напрягшегося коня, старающегося выволочь воз из промоины, ржание перекрыл едва слышимый, стертый расстоянием мат, и все стихло.

Минут через двадцать они закончили рыть могилу, положили в нее окаменевшего, завернутого в дырявую холстину с приставшим к ней снегом Дремова, поспешно закопали.

Павлов осенил могилу крестом.

— Погоди, ваше благородие, я сейчас. — Дедок метнулся к возку, выдернул из-под облучка ровную, оструганную палку — хранил ее на всякий случай, если надо будет отойти от возка, прощупать снег, потом достал еще одну палку, покороче — это была планка, оторванная от ящика, приладил к длинной палке, получился крест. — На могиле, ваше благородие, надо метку ста-

вить, кто здесь лежит... Иначе, ваше благородие, Дремов нас не поймет... И не простит.

С этим штабс-капитан был согласен. Проговорил коротко:

— Да!

Старик Еропкин вогнал крест в холмик, пробормотал удовлетворенно — сорвался, засипел, в промороженном воздухе было мало кислорода, нечем было дышать:

— Прости, друг Дремов, что впопыхах тебя похоронили. Видишь, что творится? — Он умял ногою землю, озабоченно глянул в пустое пространство, в котором уже ничего не было видно, и заторопился: — Ну все, друг Дремов, прощай!

Павлов, ощущая, как у него нехорошо подрагивают, трясутся ослабшие руки, а ноги едва держат тело, разъезжаются на наледях, проступивших сквозь снег, подошел к возку, опустился перед ним на корточки, но не удержался, упал на колени. Застонал огорченно — в этой слабости он сам себе был противен, потом отогнул край мехового полога и прошептал виновато, не слыша самого себя, будто он оглох:

— Варя!

У Вари шевельнулись ресницы, но глаз она не открыла.

Павлов, ощущая, как у него сами по себе смыкаются, склеиваются глаза, склонился над женой и неожиданно увидел то, что больше всего боялся увидеть, — на лбу у Вари проступила мелкая желтоватая сыпь. Штабс-капитан неверящее мотнул головой, покусал зубами губы. Варино лицо дрогнуло перед ним, сжалось, на него наполз туман, в тумане возникли страшноватые, пугающе кровянистые пятна, смешались с серым студнем пространства, и Павлов, всхлипнув, вновь неверящее помотал головой:

— Нет!

Сыпь на лбу — это тиф. Самое опасное, что может быть в таком походе, это пострашнее красных партизан, от тех хоть отбиться можно, взвалить на руки пулемет и выйти навстречу пропахшим дымом волосанам, выныриваю-

щим из тайги, — тремя очередями их запросто можно загнать назад, в лес, а вот сыпной тиф не загонишь...

Очнулся штабс-капитан оттого, что над ним стоял старик Еропкин.

— Ваше благородие, пора, — одышливо произнес он.

— Ты видишь — сыпняк... Тиф.

— Я это знал еще вчера, — сказал Еропкин. — Мы все тут останемся, ваше благородие, такая судьба нам выпала. Тиф мы не одолеем. — Старик переступил с ноги на ногу; стеклистый визг снега, раздавшийся у него под подошвами, резанул Павлова по ушам. Он вяло, будто это и не с ним происходило, ответил, что у него что-то происходит со слухом: то он все слышит хорошо, отчетливо, даже резко, то все вдруг погружается в некую плотную вату, и обволакивает эта вата, обволакивает... Старик вздохнул, забираясь в возок. — Поехали, ваше благородие. Покуда живы — жить надо и сохранять наших близких надо. Варюшу вон... Прапорщика...

Павлов ощутил, как у него подпрыгнул кадык, потом с хлюпающим звуком сполз вниз. Во рту было солоно — то ли кровь натекла, то ли пот попал, то ли слезы...

Недалеко от порогов — по карте до них от места ночевки было километра полтора, а на деле оказались все четыре — Каппель сошел с коня, глянул назад, на растянувшуюся колонну, подпирающую переднюю шеренгу «ходоков», — «ходоки» прокладывали дорогу, рубили лед, вгрызались в снег, генерал, исхудавший, ставший совсем невесомым, как мальчишка, и сам часто вставал в их ряды, также торил дорогу, — удрученно качнул головой:

— Хвост какой выстроился... И повозки. А вдруг мы не пройдем пороги и придется искать обходной путь? А, Василий Осипович?

— Может, послать в обоз посыльного, придержать малость подводы? Хотя бы задние ряды?

— Задними рядами мы не обойдемся. Останавливать надо весь обоз. — Каппель отогнул край башлыка. —

А с другой стороны, это делать уже поздно — обоз весь здесь. — Он освободил ухо, прислушался к шуму, приносящемуся от порогов. — Течение здесь, похоже, никогда не замерзает. Надо послать разведку.

Каппель посмотрел в серый пар, поднимающийся над рекой, — хоть и рядом находилась каменная гряда порогов, и Кан дымил совсем рядом, а достичь порогов они никак не могли, те словно уходили от людей, заколдованные были.

— А в обоз, Василий Осипович, не надо никаких посыльных гонять. Они всполошат людей, а нам это совсем ни к чему, — сказал Каппель, поправив на голове башлык.

— Слушаюсь никого не посылать в обоз! — привычно, по-уставному, ответил Вырыпаев.

— А вот разведчиков — побыстрее вперед. — Генерал отдал повод Насморкову. — Я тоже пойду с ними.

— Владимир Оскарович, поберегите себя! — взмолился Вырыпаев.

— Я должен пойти с разведчиками, — упрямо проговорил Каппель. — Это обязательно.

Заиндевелая бородка придавала генералу вид святого старца, молящегося под открытым небом, пред иконами, развешанными на березах.

Когда он начинал упрямиться, переубедить его было невозможно. Одет Каппель был в шубу, покрытую солдатским сукном, которую ему справили интенданты еще в Кургане, эта шуба ему нравилась, она роднила его солдатами — такие шубы имелись не только у офицеров, но и у солдат, а вот на ногах у генерала было нечто форсистое, модное — бурочные сапоги, которые тогда попросту звали бурками.

Бурки — это сапоги из плотной валяной ткани, схожей с фетром, расшитые полосками кожи, укрепляющими швы, — обувь городская, годится больше для походов в мороз в гости, но никак не для тайги.

— Я пойду с вами, Владимир Оскарович, — заикнулся было Вырыпаев, энергично потопал по земле тол-

стыми сибирскими катанками, как тут называли валенки, скатанные до такой толщины и прочности, что они не гнулись.

— Ни в коем разе, Василий Осипович, — генерал протестующее приподнял руки, придавил ладонями воздух, словно прижал Вырыпаева к снегу, — вы останетесь с колонной. Для оперативного управления.

— Помилуйте, Владимир Оскарович, здесь же генерал-лейтенант Войцеховский есть... Есть генерал-майор Имшенский... Они остаются с колонной.

— Вы тоже должны остаться.

Перечить Каппелю было бесполезно.

На разведку к порогам пошли пятнадцать человек, в том числе и Каппель, вытянулись цепочкой, держа на изготовку винтовки — вдруг к порогам по каменным вершинам-кулуарам ссыпятся красные партизаны?

Чем ближе они подходили к порогам, тем сильнее грохотала река, выплевывала в морозный воздух тонны воды, разбивала на мелкие брызги, те околевали прямо на ходу, превращались в ледяной горох, иногда на черные, покрытые седой коркой камни шлепались целые льдины, спекшиеся в воздухе, разбивались в брызги, а вверх вновь с ревом взметывалась вода.

Стужа воевала с рекой: пыталась придавить ее, и так пробовала взять верх, и этак, и силой, и измором, и хитростью, и еще чем-то, человеку неведомым, но все попытки были тщетными, ничего не получалось. Пороги, способные загнать взрослого мужика в оторопь, а то и вообще в припадке свалить с ног, так и остались страшным явлением, напоминающим человеку о конце света.

Из черной пенящейся воды наверх выметывались искры, длинные огненные стрелы с грохотом всаживались в камни, в ушах что-то лопалось, в камнях тоже что-то лопалось, от ударов испуганно вздрагивали обледенелые, все в осклизе скалы, замирали, зажав в себе дыхание, из страшенной глуби вновь выметывались огненные стрелы, всаживались в твердь, в воздух взлетала огромная, в несколько тонн весом охапка воды — не

охапка, а целый стог, скирда, разваливалась на несколько частей и со стоном, с вязким орудийным грохотом, будто била целая батарея, рушилась вниз.

Каппель зачарованно смотрел на пороги.

— Ну и силища! Апокалипсис! — прокричал он на ухо бородатому плечистому казаку, стоявшему рядом, и голоса своего не услышал. И казак того, что молвил генерал, тоже не услышал, виновато развел руки — извините, мол...

Под этими порогами, наверное, столько народа нашло свое успокоение — не сосчитать, недаром земля тут кренится то в одну сторону, то в другую, дышит задавленно, стонет, на высоких скалах над порогами ничего не растет, видны лишь разведенные вкривь-вкось мертвые стволы, и больше ничего — ни елка не порадует глаз своей пушистой зеленью, ни сосна, обладающая, как известно, целебными свойствами, — ничего нет, только скрюченные, обугленные, как после пожара, деревяшки. Каждое такое сухое дерево, похоже, крест, памятник в честь успокоившейся здесь, погубленной Каном души... И сколько крестов еще будет!

В лицо генералу ударило моросью, с усов и бородки поспешно стаяла снежная бель, в то же мгновение кто-то натянул кожу на скулах, сделал это резко, словно собирался содрать ее с костяшек. Это была уже работа мороза, стужа склеила морось и причинила генералу боль. Каппель улыбнулся — он умел терпеть боль.

Пороги обошли правой стороной, узкой, опасной, сплошь в ломе, в нагромождениях камней и льда, с влажными проталинами, странно выглядевшими в морозном кипении, в нескольких местах землю даже попробовали прощупать штыком винтовки, и штык не упирался в твердь, входил в землю, как в масло... Колдовство какое-то, в это даже поверить было трудно.

— Здесь, по этому краю, обоз не пройдет, ваше высокопревосходительство, — приблизился к Каппелю казак, шевельнул плечищами, сбивая с них наледь. — Слишком узко.

— А если кое-где подровнять дорогу?

— На это уйдет не менее двух суток.

— Но не бросать же обоз!

— Бросить обоз нельзя, — рассудительно произнес казак, стер с носа мутную каплю. — Там люди.

Здесь, в двух сотнях метров от порогов говорить можно было, орудийный грохот воды не заталкивал слова назад в горло.

— Вот именно, там люди. — Каппель посмотрел на противоположный берег реки. — Теперь попробуем пройти по той стороне. Может, там лучше?

— Может, — проговорил казак согласно, — хотя я лично в этом очень сомневаюсь, ваше высокопревосходительство.

— Все равно надо проверить, — упрямо произнес Каппель, спрыгнул с заснеженного камня, на котором стоял, погрузился в сугроб едва ли не по пояс, качнул головой удрученно — снег был глубоким, но ничего не сказал.

Казак поспешно прыгнул в сугроб следом за генералом и, широко размахивая руками — снег он раздвигал, будто плугом-отвалом в обе стороны, — догнал Каппеля, обошел его, что-то бормоча себе под нос, и дальше двинулся впереди генерала.

— Нельзя же так, ваше высокопревосходительство, — укоризненно проговорил он, — не царское это дело — торить дорогу.

Фраза насчет «не царского дела» понравилась Каппелю, он улыбнулся.

Винтовку казак закинул за спину, дорогу перед собой он ощупывал жердиной, делал это тщательно, окутывался слабым дыханием, сипел — идти было трудно, на обнаженной шее у него надувались жилы, и минут через десять генерал предложил ему:

— Может быть, вас сменить?

— Не надо, ваше высокопревосходительство, — казак в подтверждение своих слов упрямо мотнул головой, — я еще не устал.

Прежде чем сделать шаг, он тыкал жердью вначале в одно место, потом в другое, затем в третье, чтобы определить, не пробивается ли вдруг где-нибудь сквозь лед струйка теплой воды, — вляпаться в промоину очень не хотелось, засекал глухой стук жерди и, убедившись, что все в порядке, двигался дальше. Только тогда двигался...

Каппель в который уже раз подумал о группе, которая ушла вниз по Енисею — как она идет, ей так же трудно или же все-таки легче? Наверное, она идет все-таки легче. Генерал часто думал об этой группе, ощущал ответственность за нее, в нем возникала некая глухая досада — не промахнулся ли он, избрав такой путь для частей, продемонстрировавших ему преданность, но в следующий миг эту досаду решительно давил в себе. Каждый путь имел свои плюсы и свои минусы.

Находясь уже на середине реки, казак привычно ткнул перед собой жердью, и она неожиданно ухнула вниз — казак едва удержал ее. Если бы припозднился на мгновение, жердина ушла бы в бездонную промоину. Казак перекрестился.

— Свят, свят! Место, где черти зимуют. — Потыкал жердиной слева — та же бездонь, промоина, у которой нет ни конца, ни края, потыкал справа — обнаружилось то же самое, и казак перекрестился вновь. — Свят-свят-свят!

Огромная промоина была сверху плотно прикрыта снегом, и ничто ее не выдавало. Гибельное место. Казак резко взял вправо, потыкал слегой снег там — жердина снова ушла в проран. Казак отклонился еще на десять шагов вправо.

— Сюда может ухнуть вся наша колонна, целиком. Вместе с лошадьми и возами. Никто не выплывет. — Махнул рукой, прося кого-нибудь в помощь.

Где-то вдалеке, за пределами серого пространства, ударил далекий задавленный выстрел, за ним еще один, потом еще. Каппель прислушался.

— Это на месте нашей ночной стоянки,— сказал он. — Мы никого там не забыли?

— Если только кто-нибудь от обоза отстал...

Генерал с досадою поморщился:

— Если это так, то надо посылать кого-нибудь на выручку. Надеюсь, Василий Осипович сообразит...

Следом прозвучали еще несколько выстрелов, неестественно зажатых, едва приметных, пачкой, хотя для уха военного человека не бывает выстрелов неприметных или неслышимых — слышен бывает даже беззвучный выстрел, это для человека гражданского, «штатского шпака» всякая далекая стрельба проходит мимо слуха, военный же услышит ее обязательно.

— Кто-то попал в передрягу, ваше высокопревосходительство, — послушав выстрелы, сказал казак, — но мы подсобить этим людям не сумеем. — Он снова перекрестился. — Подсоби им, Господи!

Старик Еропкин отъехал от могилы Дремова с полверсты, не больше, как вдруг впереди, прямо из снега, поднялись несколько серых, забусенных инеем фигур.

— Партизаны! — неверящее ахнул дед, поспешно вытянул из-под себя винтовку. — Ваше благородие, партизаны!

— Где? — вскинулся Павлов, приложил руку к глазам. — Не вижу. Где они?

— Да вон, перед нами, метров тридцать до них... Видите?

— Не вижу, — прохрипел осевшим голосом штабс-капитан, и старик Еропкин понял: у Павлова, как и у Вари, сыпной тиф, потому он и не видит.

— Мать честная! — воскликнул дед потрясенно, губы у него побелели — не ожидал, что штабс-капитан так быстро поддастся тифу.

Штабс-капитан соскользнул с возка, расстегнул кобуру маузера. Покрутил головой. Он не мог понять, что с ним происходит, почему перед глазами вдруг опустилась темная шевелящаяся сетка. Будто идет тяжелый плотный снег.

Внутри что-то заныло обреченно, он вновь покрутил головой.

— Эй, беляки, — послышался впереди громкий, какой-то булькающий голос, словно рот человека был наполнен кедровыми орешками, — поднимайте лапки в гору, поход ваш закончился.

Штабс-капитан мотнул головой — жест был протестующим — и, вскинув маузер, выстрелил на голос, на звук. Следом еще раз нажал на спусковой крючок. Маузер дважды дернулся у него в руке.

Фронт научил Павлова стрелять из любого положения и в любой ситуации — сидя, лежа, раскачиваясь на какой-нибудь веревке, на бегу, в прыжке, стрелять на голос или шорох, в промельк тени, в лучик света, в слабенький, расплывающийся силуэт, и это умение не раз спасало штабс-капитана.

Обе пули, выпущенные из маузера, попали в крикуна, он заорал громко, горласто и повалился лицом в снег — было слышно, как заскрипело это перемерзлое одеяло.

— Эх, ваше благородие, — укоризненно проговорил старик Еропкин, — может, оно и пронесло бы, а сейчас вряд ли...

Он вскинул винтовку, выстрелил в темнолицего, схожего с негром, партизана — здорово прокоптился у лесных костров товарищ, сбил с него дырявый облезлый малахай, партизан выстрелил ответно — не попал ни в деда, ни в штабс-капитана. Выругался громко. Вот тут он допустил неосторожность. Павлов не замедлил ею воспользоваться — голос засек, совместил его с выстрелами и ударил из маузера. Пуля сочно рассадила пространство у самого уха партизана, будто отвалила от арбуза ломоть. Партизан испуганно дернулся и пополз к своему малахаю.

Штабс-капитан выстрелил вторично. Выстрел прозвучал раскатисто, гулко, будто Павлов пальнул из трехлинейки.

— Ах, мать честная! — звонко, с надрывом воскликнул старик Еропкин, бабахнул из своей винтовки. — Вот каты! Откуда вы только вывалились?

Со стороны партизан ударило сразу несколько винтовок. Дедок и штабс-капитан ответили — выстрелили в унисон, два выстрела слились в один.

— Главное, не подпустить их близко, — просипел Павлов, — и малость продержаться. Из колонны к нам придет помощь.

— Придет ли, ваше благородие? — усомнился старик.

— Обязательно придет.

Старик передернул затвор винтовки, снова выстрелил. Он знал, что если на отставшие повозки нападали партизаны, то на помощь редко кто приходил — отбивались сами, потому и усомнился в словах Павлова.

Головной отряд, случалось, вообще удалялся километров на двенадцать, и никакой стрельбы, естественно, никто не слышал.

— Откуда вы взялись, печеные картошки, кто вас принес сюда? — Старик Еропкин поспешными движениями выдернул из магазина трехлинейки пустую, остро пованивающую горелым металлом обойму, вставил новую, над его головой опасно вжикнула пуля, он поспешно пригнулся.

В небе тем временем что-то переместилось, громыхнуло, в бездонном пространстве образовалось дно, словно кто-то с небес решил заглянуть вниз, узнать, что тут происходит, увиденному не удивился, лишь опечалился.

— Лошадь ведь убьют, головешки костерные, — обеспокоенно пробормотал дед, приподнялся в снегу, — сейчас завалят. — В неровных вскриках его послышались злобные нотки, но партизанам лошадь была нужна не меньше, чем старику, они боялись попасть в нее, дед это в конце концов уразумел и малость успокоился.

Штабс-капитан упал рядом с санями на колени, выставил перед собой ствол маузера, сторожко ощупал им пространство, прислушиваясь к движениям впереди, к скрипу, к шорохам, но ничего не услышал, его небритое лицо дернулось жалобно — он виноват в том, что они угодили в эту передрягу...

Дед — человек не военный, он не мог всего предугадать, когда начал рыть могилу Дремову, а штабс-капитан мог... В конце концов, Дремов простил бы их, узнав, что тут такое дело стряслось... По берегам этой угрюмой реки такое количество народа непохороненного лежит, что им и счета, наверное, нет... Обратились человеки в травы, в кусты, в камни, сгнили и высохли, тела затащило за камни, и там их сжевали рыбы, и никому до этого дела нету. Бог принял их души без соблюдения всяких ритуалов. Принял бы и Дремова, русского солдата...

Один из партизан, разлегшихся в снегу — прижался человек животом к мерзлому подбою, со всех сторон мерзлым брусом обложен, не виден и не слышен, — взял фигуру штабс-капитана на мушку, поспешно дернул спусковую собачку.

Не был охотником этот человек, никогда не ходил белковать в тайгу — так стрелки лупят белок одной дробинкой в глаз: чик — и белка, вытянув лапки и распушив хвост, мертвая, летит в сугроб, — пуля прошла в стороне от Павлова, звук штабс-капитан засек точно, проворно шевельнул стволом маузера и всадил в выстрел, в сам грохот, сразу три пули.

Попал! Вот что значит фронтовик, вот что значит охотник. Партизан вскинулся в снегу, задирая красное, залитое кровью лицо, и завалился на спину.

Штабс-капитан протер рукою глаза:

— Боже, что со мною происходит? Ничего не вижу!

— Попятились, ваше благородие,— совсем рядом с ним раздался радостный шепоток старика, — попятились, костерные головешки... Бог даст, мы прорвемся!

Павлов поднес к лицу пальцы, пошевелил ими, сжал воспаленные, неожиданно ставшие непокорными, толстыми, веки, по лицу его пробежала судорога — вместо пальцев он видел далекие, очень слабые, по-медузьи шевелящиеся тени. Партизаны молчали. Было слышно, как с неба струится сухой льдистый песок, мелкий, словно пыль, оседает на одежде, на санях, на меховом пологе, на лошадиной спине.

По темным голым откосам скал также струился льдистый песок, переливался неожиданно нарядно, по-рождественски. Павлов не видел его, но хорошо слышал, и этот вкрадчивый струящийся звук рождал в его душе ощущение тоски, близкого конца, чего-то гнетущего. Он пошарил рукой по меховой полости, под которой лежала Варя, и услышал далекий, словно пробившийся к нему через огромное пространство, шепот:

— Саша!

— Я здесь, Варюша, — заволновался он, засуетился, поправляя пальцами полость, подтыкая ее под Варино тело.

— Почему стоим, Саша, никуда не едем?

Павлову показалось, что шепот этот был все-таки не Варин, чей-то чужой, появилось в нем что-то скрипучее, незнакомое, отмершее, вселяющее в душу страх — вдруг все около этих пустынных каменных берегов и кончится? — и одновременно это был шепот его жены, который он часто слышал ночами в Кургане, где они снимали уютное теплое жилье и были счастливы.

Неужели то время никогда больше не вернется?

— Впереди партизаны, Варюша... Не пускают.

— Я очнулась от выстрелов.

— Да, был маленький обмен любезностями. — Штабс-капитан усмехнулся, вновь провел перед глазами пальцами.

— Это опасно?

— Не очень. Ты спи, Варя, спи. — Павлов заторопился, зачастил, ему важно было, чтобы в эти опасные минуты Варя снова нырнула в забытье, спряталась в нем, как в неком спасительном закутке, не видела того, что происходит, что может произойти...

— Саша! — вновь прошелестел слабый Варин шепот, полный нежности, боли, чего-то такого, что заставило Павлова вскинуться; у него тревожно и горько сжалось сердце, штабс-капитан сморщился обреченно, ощутил, как в висках застучало, стук был едва слышен — далекий, пропадающий, погладил своими пальцами ее пальцы, словно хотел передать жене часть своего тепла.

Выстрела, который оборвал его жизнь, штабс-капитан не услышал. На скалах появилась группа партизан, один из них — опытный охотник, в отличие от стрелков, засевших на дороге, — присел, выставил перед собой удлиненный ствол американской винтовки, с которой ходил на медведя, и через несколько секунд ствол «американки» окрасился блеклым рыжим пламенем. Штабс-капитан, у которого на подведших в тяжелую минуту, будто бы чужих глазах неожиданно проступили слезы, продолжал гладить маленькую руку жены, вдруг он резко приподнялся на коленях, в голове у него взорвался огненный шар, и Павлов медленно повалился набок.

В углах рта у него появилась кровь, протекла на щетину.

— Варя, — прошептал он прощально, выпустил из пальцев руку жены и тихо закрыл глаза. Больше он ничего не слышал, не видел, не ощущал — жизнь ушла из него стремительно, вместе с короткой, в несколько слов молитвой.

— Ваше благородие, — кинулся к нему старик Еропкин, но дотянуться не успел: второй меткий выстрел подсек и его. Дед выронил из рук винтовку и сел на снег. — Как же так? — прошептал он, едва шевеля влажными, сделавшимися совсем чужими губами, он не верил в то, что жизнь может вот так просто кончиться... Все слишком просто. Лучше было бы, если бы он вывез людей из беды, сдал их на руки другим людям — выполнил бы перед ними свой долг, но он умирает, так и не выполнив этого долга. — Как же так? — повторил он, лицо у него задрожало, и в следующее мгновение голова обессиленно уткнулась подбородком в грудь.

Когда повозку окружили партизаны, один из них ткнул старика Еропкина ногой в плечо, и дед распластался рядом со штабс-капитаном.

— Отбегались, белые сволочи, — сказал партизан, равнодушно извлек винтовку старика из снега, второй

выломал из пальцев Павлова маузер — оружие штабс-капитан держал и мертвый, побелевшие пальцы у него словно окаменели.

— Отдай, кому сказали! — Партизан рассмеялся хрипло, освобождая маузер, потом расстегнул ремень с висевшей на нем кобурой. — Метко стрелял, сука! Все, отстрелялся... Отдай! — Он стянул с Павлова ремень. — А накидочка-то ничего. — Партизан помял пальцами край полости, которой была накрыта Варя, вгляделся в ее лицо, отшатнулся. — Тифозная! — выкрикнул он испуганно.

— Так что, Бабак, накидочкой этой ты хрен воспользуешься. Она для одного только годится — в костер.

— Рядом офицерик юный лежит, — произнес Бабак удивленно. — Сосунок еще, такой молодой. Но, несмотря на то что сосунок, кровушки нашей, пролетарской и крестьянской, наверняка попил вволю.

— Живой?

— Живой.

— Приколи его штыком — и дело с концом.

— Так и сделаем. — На поясе у Бабака в самодельных меховых ножнах висел плоский австрийский штык, он медленным, каким-то торжествующим движением вытащил штык из ножен и секанул Ильина острием по горлу.

— Сваливай офицерика на снег! — закричал напарник Бабака. — Все сани кровью запачкаешь!

Бабак проворно ухватил Ильина за воротник шинели и выволок из саней.

— И барыньку эту, сыпняшную, тоже сваливай на снег. Еще не хватало нам тифозных вшей.

В следующую секунду на снегу очутилась и беспамятная Варя.

Партизаны попрыгали в сани, развернули коня и по накатанной широкой дороге устремились назад, в места, ведомые только им одним.

— Ййех-хе! Но-о! — Громогласный Бабак взметнул над лошадиным крупом кнут, огрел коня, тот, взбив копытами серое сеево снега, пронесся с полкилометра по отутюженному тракту и неожиданно захрипел. — Но, сволочь белая! — заорал на него Бабак, хлестнул кнутом один раз, другой, третий, но конь уже не чувствовал боли, не реагировал на нее, он тоскливо заржал и опустился на колени.

— Бабак, ты же загнал лошадь! — изумленно воскликнул напарник партизана. — Что ты сделал?

— Ты же видишь— конь сам скапустился.

— Командир тебе за это дело пупок на правый глаз натянет.

— Я-то тут при чем? — разъярился Бабак. — Ты же видел — я коня пальцем не тронул. — Бабак покосился на молчаливых мрачных партизан, сидевших в санях. — Вот и товарищи подтвердят.

— Сволочь ты, Бабак!

— Да потом-то, конь — белый. А я — красный! — Бабак ткнул себя кулаком в грудь. — А раз конь белый — значит, он враг. В конце концов, в котел пустим. Сожрем!

— Лучше бы мы тебя сожрали, не коня. — Напарник Бабака поглядел на партизан. — Выгружайтесь! Или вам отдельное приглашение на выгрузку нужно?

Кряхтя, поругиваясь, партизаны выгрузились из саней. Бабак загнал патрон в ствол дедовой винтовки и, подойдя коню, выстрелил ему в ухо. Сноп красных брызг высыпал из раскроенного черепа коня, окропил снег, конь издал стон и застыл.

Обледенелые серые и черные камни, омертвелые сосны, в угрюмом молчании свешивающие свои головы в бездну, ознобное небо, в котором можно утонуть, — всасывает небо в себя свет, людей, лед, снег, лошадей, присыпает уродства земли серой крупкой, бездна над головой урчит недовольно, разбуженно, мучается чем-то, трясет лохмотьями облаков, сбивая с себя сор, потом умолкает, словно засыпает на некоторое время, в воздухе повисает переливающаяся сыпь, прилипает к живой коже, набива-

ется в ноздри, слепит глаза, причиняет боль, заставляет людей шептать про себя молитвы... Нет покоя живым душам на этой земле. Нет покоя и душам мертвым.

Тишина иногда наваливается такая страшная, что в ней лопаются барабанные перепонки, а сердце сжимается до размеров воробьиного яичка, боль в нем поселяется оглушающая, хоть криком кричи. Но люди не кричат, они идут молча, месят валенками, сапогами, пимами, бурками, чесанками снег, проваливаются в ямы, с надорванным сипением выбираются оттуда, если же не могут выбраться сами, им помогают товарищи — швыряют в яму конец ремня, отстегнутый от винтовки, и вытягивают.

Над головами людей, прямо в сером, прокаленном морозом мороке висит беда, она имеет свой запах, свой вкус, льдистым приставучим крошевом, сыпью опускается на плечи людей и вместе с серой снежной крупкой давит, давит, давит, — нужно иметь много сил, чтобы не согнуться, не поддаться беде, не озвереть.

На морозе рвалось, осекалось дыхание, воздух дыряво хлюпал в пустых легких — сколько ни захватывай его ртом, сколько ни всасывай сквозь зубы, все равно его не будет хватать, он пустой, в нем почти нет кислорода.

В этих лютых, выхолощенных студью широтах кислорода нет совсем, он спален морозом. Иногда над чьей-нибудь головой в воздухе вспыхивает странное оранжевое облачко и исчезает, и непонятно народу, что это было — то ли мираж, то ли морок, то ли еще что-то, потустороннее, из миров, человеку неведомых, и сразу становится еще труднее дышать.

Смерзаются глаза, склеиваются веки, ресницы бывает невозможно разлепить, под лопатками чвыкает застрявший в теле, глубоко внутри воздух. Нет сил двигаться дальше, мышцы, жилы, кости — все одрябло от усталости, охота ткнуться головой в снег и затихнуть, но идти надо.

В муках, в тяжести, в воплях надо продвигаться вперед... Откуда, из каких глубин приходили к людям си-

лы, где они их брали — неведомо, но они их находили в себе и шли дальше.

Великий ледовый поход продолжался.

Оказалось, что возам, саням, всему, что было поставлено на полозья, по левому берегу пройти пороги было удобнее, чем по правому. На левой стороне была шире береговая полоса, из-под снега меньше выступало торосов и ледяных глыб — попадались, правда, заструги, но их легко было сбить топорами либо ломами. И ломы, и топоры в обозе имелись.

А люди могут обойти пороги справа, по пробитой разведчиками в снегу колее — тут и короче будет, и мучаться придется меньше.

Так и поступили.

Хотя, если честно, сомнения были — слишком уж много страхов понарассказывали о порогах жители деревень, в которых каппелевцы останавливались на отдых, — целые лекции читали о том, как пороги в пятидесятиградусный мороз стреляют горячим паром, как сбивают с ног людей и вместе с ледяной сыпучей крупкой втягивают в реку — сладу, мол, с порогами этими нету, оттого и погибло такое количество людей...

Но и природа здешняя малость притомилась от собственного буйства, подобрела и решила на этот раз особо не издеваться над людьми, пропустить их.

Пешая колонна каппелевцев прошла справа от порогов, санная, возковая — слева. Потерь не было.

Хоть эта-то поблажка была дана природой людям, хоть тут-то не пришлось надрываться и терять товарищей, как это было уже не раз.

Полковник Вырыпаев, которому не чуждо было сочинительство — он умел складно и грамотно писать, — иногда заносил на бумагу обрывки фраз, случайно услышанные, описания, детали, факты, совал эту бумагу в карман и поспешно натягивал на руки плотные, двойной вязки деревенские варежки, дышал на них, но передавленное морозом дыхание тепла не давало, от него во-

обще ничего не было, ни тепла, ни холода, только вспухало над головой крохотное прозрачное облачко и рассыпалось со звоном.

Рядом с Вырыпаевым шагал доктор Никонов — тревога насчет тифа была ложной, болезнь обошла его — и что-то жевал: опускал руку в карман своей дырявой шинели — в поле у него зияло две больших дырки, прожженные костром, врач нечаянно уснул у огня, — захватывал там что-то в щепоть и поспешно засовывал в рот.

Вырыпаев завистливо покосился на доктора. Наконец не выдержал и спросил, давясь собственным голосом, кашлем, холодным дыханием, стараясь изгнать из глаз серое, поблескивающее слабым нездоровым светом облако, бредущее вместе с ним, — он боялся угодить в это облако головой, сравнивал его с нечистой силой, понимал, что это глупость, но никак не мог от этой глупости отделаться:

— Вы чего едите, доктор?

Никонов вновь молча запустил руку в карман, подцепил там что-то и, вытащив, показал полковнику. В щепоти у него было зажато немного серой, противной на вид пыли.

— Что это? — спросил полковник, он не понял, зачем доктор ест землю, пыль, грязь... Может быть, это что-то целебное?

— Мука, — ответил Никонов.

Он выпросил в обозе у одного купца три горсти муки, ссыпал в карман и теперь питался ею на ходу.

Глянув на обслюнявленную, клейкую от приставшей к пальцам серую пыль, Никонов сглотнул слюну и протянул щепоть Вырыпаеву:

— Хотите, господин полковник?

Тот поспешно дернул головой:

— Нет-нет, спасибо.

— Напрасно,— тихо и равнодушно произнес доктор.— Это очень вкусно.

— Скоро будет деревня, — медленно, с трудом одолевая собственное дыхание, проговорил полковник. — Барга называется, — там поедим вволю.

— Сколько до Барги, господин полковник? — разжевав очередную щепоть муки и с трудом проглотив ее, спросил Никонов.

— Примерно сто двадцать километров.

— Далеко, — без всякого сожаления проговорил доктор. — Можем не дойти.

К возможной своей смерти Никонов относился спокойно, словно это было делом решенным, да и по лицу его, по косым складкам, пролегшим у рта и скорбно опустившим концы губ, по посветлевшим, будто покрытым слепой белью глазам было понятно, что он устал жить. Однако доктор не думал сдаваться, он жил одним часом, одним днем, упрямо месил разбитыми, насквозь промерзшими, тяжелыми, как дубовые колоды, катанками снег, аккуратно извлекал из кармана шинели очередную щепоть муки и ел ее.

— Дойдем, — тихо пробормотал Вырыпаев, отогнал рукой тусклое облачко, наседавшее на него, — обязательно дойдем.

— Дай Бог, — проговорил Никонов прежним равнодушным тоном и полез в карман за очередной щепотью муки.

— Вы знаете, доктор, я стал путать день с ночью, — пожаловался Вырыпаев, — просыпаюсь ночью, а у меня над головой висит светящееся серое облако, дышит, будто днем, давит, даже горлу делается больно — ну как будто дух какой летает над головой, не отстает, — слова полковнику давались тяжело, он говорил медленно, старался следить за тем, что говорит, обвядшее, с черными скулами — следы обморожения — лицо его было почти неподвижно, — поднимаюсь, думая, что наступил день, а оказывается, что еще длится ночь...

Доктор равнодушно разжевал очередную щепоть муки, с трудом проглотил взболток, собравшийся у него во рту, и сказал:

— Это от усталости, господин полковник. Половина людей, идущих вместе с нами, чувствует себя точно так же. — Никонов перестал жевать, глянул в низкое, на-

полненное нехорошим искристым пухом небо: — Скорее бы снег пошел, что ли.

— Зачем вам снег?

— Мороз тогда отпустит. Не так жестко будет.

— Не скажите... Хотя мне, честно говоря, уже все равно. — Вырыпаев обреченно опустил голову. — Скорее бы все кончилось. Нет-нет, я не сдаюсь, — добавил он поспешно, — я ни за что не сдамся и буду идти до конца, но предел моих возможностей — вот он, совсем рядом. Знаете, как ложится на землю загнанная лошадь?

— Еще бы.

— Так могу лечь и я. Загнанный, затравленный организм сам положит душу на снег, на мороз, — неприкрытую голую душу... И она ничего не сумеет сделать.

Доктор, словно стараясь понять, каков запас прочности в Вырыпаеве, покосился на полковника. Серое лицо у того усохло, сделалось незнакомым, глаза погасли — это был совсем не тот Вырыпаев, какого он видел, скажем, в Кургане... На плече полковник тащил винтовку — оружие, совсем не обязательное для офицера, рядом полно солдат с винтовками, в карманах у них брякают патроны, а подсумки набиты заряженными обоймами, прикажи любому снять выстрелом ворога — тут же кто-нибудь сдернет трехлинейку с плеча... Но Вырыпаев тащил свою винтовку. Маленькая деталь, а очень показательная. Вызывает уважение.

Никонов вздохнул, снова извлек из кармана шинели крошечную щепоть муки и отправил ее в рот. В суете дней, в беготне — особенно в мирную пору,— человек забывает о смерти, отмахивается досадливо, когда ему напоминают о болячках, и изумляется, если вдруг узнает: умер Иван Иванович, гимназический приятель, или почила в бозе Софья Петровна, которую он дергал за косички, стоя в церкви на венчании своего старшего брата...

О смерти забывать нельзя — лишь одно осознание, что она существует, делает людей выше, ответственнее, они начинают бросать встревоженные взгляды назад, стараясь определить — что же останется после них?

И вносят коррективы, что-то подправляют, добавляют в кривую стенку собственной жизни несколько кирпичей поровнее, поизящнее, чтобы они хотя бы немного сгладили неровности.

Эх, люди, люди! Слишком поздно мы начинаем этим заниматься.

Доктор перевел взгляд на небо и прошептал молящее:

— Снегу бы!

К вечеру пошел снег, но он мало что изменил — мороз как облюбовал отметку «минус тридцать пять градусов», так и не хотел с нее соскальзывать.

Снег падал серый, густой, каждая снежина — величиной не менее ладони — такая же увесистая. В десяти метрах ничего не видно, копошится, полощется что-то в шевелящейся густотье, в опасном шорохе падающих ломтей. Звук этот выбивал на коже дрожь, рождал в душе тихие слезы и невольный скулеж, думы о доме, о родных местах, оставшихся далеко отсюда, от этой страшной, с иссосанными стужей каменными берегами реки, — остался там, на западе, куда уходит солнце, в другой России...

Там все другое. И снег другой, и воздух — не плавает в нем эта обрыдшая наждачная пыль, мертво пристающая к щекам, — и природа другая, и небо... Небо над Каном схоже с гибельным прораном, готово проглотить землю, и тогда земля, как и небо, сама сделается бездной, и не останется на ней места для несчастных людей.

Снизу веяло холодом, сверху давил холод, все это было приправлено снегом, перемешано...

Доктор Никонов поймал в ладонь здоровенную лепешку, принесшуюся из бездны, и, морщась от боли — лепешка не замедлила прикипеть к живой плоти, — понюхал ее. Лицо у него передернулось: от снега пахнуло мертвечиной. Доктор хорошо знал этот запах... Он швырнул лепешку под ноги, растер ее подошвой.

Двигаться дальше в хороводе снега было нельзя — ничего не видно. Люди затоптались на месте, послышался мат — кто-то сослепу, усталый, вымотанный изнурительным маршем, на кого-то налетел, случайно уколол неотомкнутым штыком, в ответ услышал мат, сам ругнулся — больше ругнулся на себя, чем на человека, который подставился под штык, послышался протяжный, очень желанный во всяком мучительном пути крик: «Прива-ал!» — и люди повалились прямо на снег.

Полковник Вырыпаев двинулся вдоль берега, поднимая солдат со снега:

— Замерзнете, братцы! Вставайте! Иначе замерзнете... Может, кому-нибудь удастся разжечь костер? А, братцы? Кто умеет в снегопад разжигать костер?

Люди нехотя поднимались, отряхивали шинели, вскоре по берегу пополз едкий сизый дым — сколько костров ни пробовали запалить — все впустую, тяжелый крупный снег давил любой огонь: как шлепнется в пламень лепешка, так все — сучья летят в разные стороны, будто в них угодила граната.

Такого снега, как здесь, в России не бывает. Там снег — ласковый, нежный, когда он беззвучно валится из небесных прорех — тешит душу... Но здесь ведь тоже Россия. Все это — русская земля, даже бездна небесная, готовая проглотить землю, и та — русская.

Одна рота, натянув на колья брезент, сумела разжечь огонь, за ней — вторая, обе роты были из Самарской дивизии генерала Имшенецкого, и вскоре на огне забулькали котелки: каждый человек должен был получить хотя бы полкружки кипятка, согреть себе нутро, в котором, казалось, уже скрипит лед.

— Слишком коротко светлое время, — со вздохом пожаловался Вырыпаев Каппелю, сидя под натянутым пологом у слабого синюшного костерка, который пытался безуспешно раздуть денщик Насморков.

Насморков постарел, обвядшие морщинистые щеки его сделались водянистыми, ослабшие руки тряслись — от голода, от усталости, от того, что он которую уж ночь

не мог уснуть на морозе, боялся, что трескотун прихватит, и тогда ему что-нибудь ампутируют, руку или ногу — это с одной стороны, а с другой — сон в поле, в мороз, на промерзлой, прошибающей до костей земле, не приходил... Каппель, глядя на Насморкова, подумал, что прежний денщик Бойченко был проворнее, сноровистее и вообще умел огонь зажигать пальцем — настоящий денщик, будто из сказки Салтыкова-Щедрина. И фамилия у него была подходящая, соответствовала сути — Бойченко.

Но попросился Бойченко из штаба в роту, ушел... Он где-то здесь, в колонне находится, живой. Бредет вместе со всеми.

— Да, очень коротко светлое время, — отозвался Каппель на реплику Вырыпаева, — но что есть, то есть, другого времени не имеем. И сил идти в темноте нет. Достань-ка карту, Василий Осипович!

Вырыпаев подул на пальцы, погрел их, с трудом выдернул ремешок из пряжки, расстегивая полевую сумку — в негнущихся, словно чужих руках ничего не держалось, все выскальзывало. Вырыпаев поморщился от досады, закряхтел и минуты через три достал из сумки карту.

Под полог, на огонек всунулся Бойченко, бывший личный ординарец генерала. Каппель удивился: надо же — легок на помине, только что думал о нем, и вот он, Бойченко, материализовался.

Почерневшие скулы Бойченко были смазаны густым желтоватым жиром.

— Что это, Бойченко? — заинтересованно спросил генерал.

— Топленое медвежье сало, — Бойченко аккуратно потрогал пальцами скулы, — первейшее средство от обморожения, в Сибири лучше снадобья нету, все таежники пользуются. — Бойченко всплеснул руками, выругал Насморкова: — Криворукий ты, однако, парень! Ну кто же столько сырья кладет в костер? Ты сушнячок, сушнячок клади, а потом уж, когда огонь разгорится, добавляй сырья.

— Да где его взять, сушняк-то?

— А где хочешь! В кармане у себя суши, в шинели таскай растопку... Понял? Но сушняк у тебя для разжега костра должен быть обязательно.

— Можно подумать, что ты сам сушняк в шинели, в кармане таскаешь, — обиженно проговорил Насморков.

— А как же, — спокойно ответил Бойченко. — В кармане и таскаю. — Он порылся в кармане шинели, извлек оттуда несколько сухих смолистых сучков, завернутых в тряпицу, подсунул их под трескучие сырые ветки, на которых никак не мог расправить крылья огонь, трепетал робко, дергался, фыркал, и огонь, разом успокоившись, забормотал, залопотал довольно, сделался ярким, под натянутым брезентом разом стало веселее. Вот что значит руки растут из того самого места, из которого им положено расти!

— Понял? — спросил Бойченко у Насморкова.

— Колдун ты! — произнес Насморков неожиданно завистливо, трескучим голосом, вызвал сочувственную улыбку у Бойченко, который умел многое делать из того, чего не умел Насморков.

— А это вам, ваше высокоблагородие. — Бойченко сунул Каппелю в руку небольшую железную коробочку из-под лакричных лепешек.

— Что это?

— Топленое медвежье сало. Я же сказал. От морозных ожогов.

Напоследок Бойченко отвесил шутливый подзатыльник Насморкову:

— Лови ноздрями воздух, паря, лаптями шевели попроворнее — и сам сыт будешь, и генералов не заморозишь.

Под брезентовое полотно, к огню протиснулся генерал Войцеховский, протянул к костру руки, пошевелил пальцами.

— Потери большие? — спросил у него Каппель.

— Каждый день уносит примерно двадцать человек. Не считая обоза.

Каппель опустил голову: он чувствовал себя виноватым перед этими людьми — они поверили ему, пошли за ним не раздумывая, хотя кто знает — может, те, кто присоединился к Барнаульскому полку, находятся куда в более худших условиях, чем те, кто пошел с Каппелем.

Каппелевцам тяжело, беда витает над головами людей, смерть выклевывает из рядов по одному...

И все-таки это были потери небольшие.

— Похоже, занемог генерал Имшенецкий, — сказал Войцеховский, продолжая ловить пальцами пламя.

— Что с ним?

— Пока неведомо... Еще держится на ногах. Но вы знаете, что это такое, Владимир Оскарович, через силу держаться на ногах?

— Знаю. — И без того худое лицо Каппеля сделалось еще худее. — Правильно делает. Я бы тоже так поступил и постарался до конца держаться на ногах.

Войцеховский неопределенно качнул головой — было понятно, что он, напротив, не одобряет, когда занемогший человек пытается до конца держаться на ногах — так больной никогда не выздоровеет.

В истории Гражданской войны было два Ледовых похода, их иногда называют Ледяными походами, иногда Великими ледовыми или Великими ледяными: один совершил генерал Корнилов по донским и кубанским степям в тяжелую зиму восемнадцатого года, второй — Ледовый поход генерала Каппеля, такой же изнурительный, с потерями... Впрочем, у Корнилова в степи остались лежать тысячи людей, у Каппеля тоже гибли люди, но много меньше, чем у Корнилова, — там, в обледенелых степях юга, шли тяжелые бои.

Однако те испытания, что остались у каппелевцев позади — лишь крохотная часть того, что им придется еще испытать... Это хорошо ощущал Каппель, это ощущал Войцеховский, ощущал Вырыпаев, ощущали все.

Уцелевшие участники этого похода потом писали: люди забыли, что такое тепло, изба, еда, они путали

день с ночью, ели сырое мясо, отрубленное от изнемогших, упавших лошадей, жевали муку, лица у большинства из них — почти поголовно — были черными, в пятнах — доставал мороз...

Каппель страдал, как и все, — был худой, промерзший насквозь, до хребта, голодный, усталый. Иногда он говорил — повторял это раз за разом,— что цель у него одна: спасти тех, кто пошел с ним. Если он приказывал что-то сделать, эти приказания бросались немедленно выполнять: Каппелю верили, авторитет его был безграничен.

За днем следовала ночь, за ночью день, за днем снова ночь. Все смешалось, обратилось в одну тусклую длинную дорогу, в ленту, в которой не было ни одного светлого участка, ни одного светлого пятна, ни одного радостного промелька — все только гнетущее, тяжелое, болью вгрызшееся в живое тело.

Снег шел два дня не переставая. Морозы не отпускали. Иногда в пути серые и черные скалы сдвигались, едва не соприкасаясь шапками друг с другом, потом расползались, оставляя вверху небольшой просвет, в который заглядывало равнодушное, начиненное холодом и снегом небо. Временами казалось, что Кан уходит вверх, в гору, ноги оскользаются на ходу, не в силах тащить тело на верхотуру, но люди хорошо поняли, что это — обман, мираж, галлюцинация, от которой лечиться надо молитвами: не может река уходить стеной к облакам...

Полно было осыпей, и, если колонна сворачивала в глубину берега, в скалы, в лес, поскольку там было сподручнее одолеть очередные километры, стоило только берегу чуть приподняться над местностью, нависнуть над торосами ледовой одежды Кана, как кто-нибудь из зазевавшихся, ослабших солдат обязательно попадал ногой в капкан — подошва влипала в край осыпи и человек с криком устремлялся вниз, на далекий серый лед.

Извлекали бедолагу уже покалечившимся, размятым и чаще всего бездыханным.

Колонна спускалась на реку, на лед, и ее опять сдавливали с обеих сторон трескучие скалы, с которых ссыпался не только курумник, но падали целые деревья, расщепленные морозом, многотонные обломки скал, даже звери — на что уж ловкие, но и они падали как люди, преследовавшие каппелевцев в этом походе — партизаны бывшего штабс-капитана Щетинкина.

Впрочем, чем дальше в тайгу, тем меньше было партизан: они тоже не любили отрываться от жилых мест, где и хлебом можно было запастись, и занемогшего коня определить в теплое стойло, и человеку отдышаться, если у него, замерзшего у сдавленных морозом костров, вдруг начинало что-то сопливиться в легких — чуфыркало там мокро, вызывало боль и тревогу.

В последние два дня, когда валил сильный снег, партизаны совсем перестали тревожить отступающую колонну белых.

А вот снег, тот доставлял много хлопот — его выпало столько, что в некоторых местах человек на льду Кана уходил в белое мерзлое одеяло с головой, даже руками над собой, как веселый ныряльщик, хлопал, и рук этих не было видно...

И тем не менее по снегу шли люди, разгребали его, прорубали коридоры, и по ним двигались полки со своим хозяйством, двигались повозки, сани, подводы с ранеными, санки, на которых стояли пулеметы — их волокли расчеты, — словом, двигалось все, что составляло жизнь и быт несломленного воинского соединения.

Каппель каждый раз устремлялся в первые ряды ходоков — тех, кто пробивал коридоры. Вырыпаев, почерневший, усталый, с ног валился, но старался находиться рядом, он обязательно хватал Каппеля цепкими пальцами за рукав шинели:

— Ваше высокопревосходительство, оттянитесь в тыл! Эта работа не для вас!

— Как это не для меня? — возмущался Каппель. — Еще как для меня!

Одежда на Каппеле истрепалась, обувь была, что называется, барская, но он не хотел менять ее. Вырыпаев, видя бурки генерала, каждый раз любовался ими — очень уж ладно они стачаны — и каждый раз досадливо морщился: не для этих условий обувь. Бурки у Каппеля скособочились, потемнели, покрылись рыжеватыми, схожими с кровью, пятнами.

Вырыпаев вздыхал, давился мерзлым воздухом, застревающим внутри, вскидывал голову встревоженно — ему все чаще и чаще мнилось, что их заманивают в ловушку коварные партизаны, — прислушивался к глухому стуку, раздающемуся впереди — то ли это деревья там лопались, то ли мороз рассаживал камни, будто колуном.

Морозный воздух слепил людей, затыкал ноздри пробками, заставлял на ходу сворачиваться в коконы, прошибал до костей, стремясь выдавить из тела последнее тепло, ткнуть двуногого головой куда-нибудь под торос, в снеговую выбоину и сверху присыпать снегом — вот могила и готова.

— Долго нет деревень, — трескуче выкашлял из себя Вырыпаев, — наврала карта. — Он взял генерала, который вел в поводу коня, за рукав, тряхнул: — Оттянулись бы вы назад, Владимир Оскарович.

— Нет! — упрямо мотнул головой Каппель.

Вырыпаев убито покачал головой.

За порогами, которые они одолели уже довольно давно, должна была находиться деревня, но она существовала только на карте, люди из нее ушли, несколько холодных брошенных домов были занесены снегом по самые трубы.

Впереди послышался далекий задавленный грохот — возник словно из ничего, вытаял из тиши и снова погрузился в тишь. Вырыпаев отогнул край папахи, прислушался — ничего. Тишь да тишь.

— Не пойму, Владимир Оскарович, что это — то ли канонада, то ли гром зимний, то ли еще что-то совершенно неведомое.

— Какой же может быть зимой гром? Это порог... Новые пороги. Морозы не дожали их, вот они и гремят. Эти пороги, Василий Осипович, даже на карте не обозначены. Видите, воздух как искрится? — Каппель провел перед собой ладонью, словно протер невидимое стекло. В сером воздухе шевелилось что-то серое, почти невидимое — возникало шевеление и тут же пропадало — это рождались и исчезали мелкие крохотули-капельки влаги, иногда их рождение сопровождалось странным синичьим теньканьем. — Это указывает, что влажность здесь повышенная, — сказал Каппель, вновь провел рукой по воздуху.

Впереди, между скалами, обозначилась слабая розовина, будто по небу кто-то мазнул живительной краской, сделал отметку, рукотворный свет этот ласкал глаз недолго, вскоре исчез.

— Что это? — спросил Вырыпаев, увидев, что генерал тоже смотрит вперед, в игру пространства — обмахренные инеем ресницы подрагивали у него от напряжения.

— Похоже на северное сияние.

— Северное сияние? Днем?

— Я не утверждаю, что это северное сияние, Василий Осипович, я только сказал, что похоже на северное сияние...

Через три часа подошли к порогам.

Во всю ширину реки из черной дымной воды высовывались камни с прилипшими к ним кусками льда, на лед также напластовывался лед, получалась громоздкая марсианская лепнина, рождавшая в душе пугающие образы, — и колдуны из этой лепнины, из серой окаменелой глуби выглядывали, мрачно сводили глаза к носу, угрожали, но замерзшие колдуны эти были не так страшны, как колдуны живые, и ведьмы скакали, — было их много, и черти, застывшие в отчаянной пляске, — вон как их скрючило морозом, сколько они ни пытались согреться, так и не согрелись, подохли в пляске,— измученность сквозила во всем, что попада-

ло на глаза. Сама природа была здесь донельзя измучена. Самою собой и измучена, доведена до крайности.

— Ну и картинка, — проговорил Вырыпаев убито, перекрестился.

Колонна остановилась.

Каппель первым двинулся к порогам — предстояла очередная разведка — без разведки к порогам подступаться было нельзя. Рядом с генералом шел двухметровый плечистый казак — лучшего для подстраховки не сыскать, он замешкался, отстал — в груди у него взбух давящий кашель, казак сложился пополам, ударил кашлем себе в колени, будто ядро из себя выбил, потом ударил еще раз; Каппель тем временем сделал несколько шагов вперед, двигая в обе стороны локтями, словно отталкиваясь ими от снега, и неожиданно исчез — ухнул вниз, скрывшись с головой в снегу.

Снег только зашевелился, ссыпаясь в колодец, пробитый телом генерала, зашуршал шустро, стараясь поскорее замаскировать, скрыть место погребения человека. Замешкавшийся казак задвигал плечищами, разламывая отвалы серой крупы.

— Ваше высокопревосходительство! — отчаянно закричал он. — Ваше высокопревосходительство! Вы чего, погодить не могли? Так ведь и сгинуть можно.

Над рекой пронесся колючий вихрь, обварил лица людей, содрал снег с половины Кана, скрутил в хвосты, обнажил в нескольких местах лед, проскреб когтями по торосам, но, не довольствовавшись тем, что сделал, поднял в воздух несколько тонн снега и обрушил их на остановившуюся колонну. Над Каном повис стон.

Дюжий казак помог тем временем Каппелю выбраться из ямы.

Бурки Каппеля были полны воды — под снегом оказалась обычная для этой капризной реки ловушка — снизу шел теплый подмыв. Генерал не успел стянуть с себя бурки, чтоб выжать их, как они мертво примерзли к ногам, к живому телу, обварили кожу болью — лицо генерала дернулось, скашиваясь, но в следующее

мгновение Каппель взял себя в руки, его лицо сделалось спокойным, появилась в нем даже некая обреченность — дескать, чему быть, того не миновать.

Опасную промоину, в которую провалился генерал, обошли стороной, двинулись дальше — трое самых опытных, самых сильных ходоков во главе с двухметровым казаком — у него была странная украинская фамилия — то ли Выбейглаз, то ли Откусиязык, то ли Оторвинога, Каппель слышал ее, пытался вспомнить — на фамилию эту обязательно обратишь внимание, но запомнить ее — не запомнишь, генерал ворошил-ворошил в памяти разные словечки-фамилии, но так и не вспомнил... Надо было хоть как-то отвлечься от боли в ногах.

— Ваше высокопревосходительство, — подсунулся к нему под локоть Насморков, — надо бы костерчик сгородить, отогреться... А?

— Нет, — решительно отстранил его Каппель, — никаких костров. В ходьбе ноги сами отойдут.

— Да вы полную обувку воды нахлебали...

— Ну, не совсем полную. — Каппель через силу улыбнулся, ему не хотелось на виду у сотен людей показывать свою слабость, стягивать бурки у костра, переобуваться — тем более что никакой другой сменной обуви не было, он стеснялся этого, считал дурным примером всякие поблажки для командиров — для других, кто так же, как и Каппель, проваливались в снеговую ловушку, этих поблажек не было, не будет поблажек и для него. — Так, промок малость. — Каппель вновь виновато, через силу, улыбнулся. — Надо идти дальше.

Он сделал несколько решительных шагов вслед за ходоками, прокладывавшими дорогу в обгиб порогов.

— Куда? — отчаянно выкрикнул Насморков.

— Доберемся до Барги — там погреемся, — сказал Каппель.

Но до Барги, которая у всех уже вертелась на языке, надо было еще идти да идти — до нее по карте оставалось не менее семидесяти километров. Точного же рас-

стояния не мог определить никто, имевшиеся карты были приблизительными.

С накренившихся, косо потянувшихся друг к другу скал, будто они, как родные братья, хотели обняться, осыпалась наждачная крупка, ее подхватил ветер, хлестнул по лицам людей — крупка секла кожу в кровь, щеки солдат на мгновение стали бурыми от крови, словно их красной ягодой измазали. Здешняя природа была жестока, человеку ее не одолеть.

Бурки у Каппеля тем временем сделались железными — молотком не расшибить, примерзнув к ногам генерала окончательно, стали плотью. Каппель старался делать энергичные движения, размять обувь, ощутить ступнями, кончиками пальцев тепло, родить хотя бы малую толику тепла, почувствовать, что в жилах у него течет кровь, а не сукровица, смешанная с водой, но ничего у него не выходило: ноги, которыми он так старательно месил снег, были чужими — две бесчувственные деревяшки. Он, бредя по сыпучей серой траншее, с трудом переставлял их с места на место, хрипел, всасывая сквозь зубы промерзлый воздух, кашлял, задыхался, кренился из стороны в сторону и, боясь упасть — это было бы самым худшим примером для тех, кто находился рядом, — упрямо двигался дальше.

Ему казалось, что в нем все вымерзло — нет ни крика, ни слез, ни кашля, — он даже собственный кашель уже не слышал, уши были словно забиты пробками, в груди шумел какой-то странный механизм — то ли насос неведомый работал, откачивал разную дрянь, то ли прохудившийся паровозный котелок сипел, но Каппель не обращал на это внимания, все худые мысли он отгонял от себя, разгребал и разгребал тяжелыми чужими ногами снег, хрипел и упрямо шел за казаками, прокладывавшими дорогу. Ног он по-прежнему не чувствовал.

Через несколько часов, уже в темноте, под разбойную стрельбу лопающихся камней колонна остановилась на отдых.

Пороги одолели благополучно.

Насморков поспешно вырыл в снегу квадратное углубление, расшвырял в разные стороны осколки льда, куски наста, охапки жесткой снеговой крупки и, бормоча про себя что-то бессвязное, бранное, развел на дне ямы костер.

Сверху яму накрыли брезентовым полотном.

— Сейчас тут жарко будет, как в Африке, — пообещал Насморков.— Мы живо приведем Владимира Оскаровича в себя.

Каппель с трудом забрался в яму, сел на подставленную Насморковым табуретку. Лицо генерала было бледным, на скулах проступили темные пятна, завтра на месте пятен будут струпья. Вся колонна идет в струпьях, никого мороз не пощадил, лица у людей будто бы окаменевшие, покрытые этим страшным грибком, усталые...

Если бы морозы немного отпустили, можно было бы устроить привал на сутки, отдохнуть, привести себя в порядок, но морозы все жали и жали, не давали людям продыха, гнали в Баргу — только там удастся остановиться и перевести дыхание.

Опять Барга. Усть-Барга, если точнее.

Каппель пробовал сам стянуть с себя бурки, уперся, как обычно, носком в пятку, напрягся, побледнел потным, нехорошо исхудавшим лицом, Насморков кинулся было к нему на помощь, сделал это, по обыкновению, неуклюже, да и яма была тесной, и генерал остановил денщика:

— Я сам!

Насморков тихо вылез из ямы, почувствовал, как у него тоскливо сжалось сердце — на лице генерала проступило нечто такое, что не должно было проступать — нездешнее, словно внутри у него родился некий загадочный свет, и Насморков понял: генерал — не жилец.

От острой тоски, оттого, что в груди появилась тупая боль, Насморков сморщился жалобно, зашевелил белыми губами. Приподнял полотно, поглядел, как генерал пытается справиться с непокорными бурками.

А Каппель и так пробовал поддеть их, и этак — бесполезно, только носок бурки, когда он упирался им в пятку другой бурки, с хрустом соскальзывал вниз, всаживался в снежный край ямы.

Наконец Каппель откинулся спиной назад, виновато посмотрел на денщика:

— Я переоценил свои силы.

Насморков проворно кинулся к генералу.

— Счас мы сообразим, как лучше быть, счас сообразим, — забормотал он, начал легонько, рывками, дергать с ноги Каппеля одну бурку, потом вторую, собрал голенища в гармошку, затем, аккуратно вертя из стороны в сторону, кряхтя, пришептывая что-то про себя, стянул одну бурку, с левой ноги. Каппель облегченно вздохнул.

— А я думал, что эти бурки уже навсегда стали моими ногами.

Денщик поплевал через плечо:

— Тьфу, тьфу, тьфу, ваше высокопревосходительство, лучше не надо. Убереги, Господь! — Он взялся за вторую бурку, пробормотал с досадою: — Эх, ваше высокопревосходительство, ваше высокопревосходительство... Ну что бы вам переобуться днем?! Ну чего вам это стоило, а? А ведь уперся, не переобулся...

— Не во что было переобуваться, Насморков. У меня ни смены портянок, ни смены обуви — ничего нет.

— Неужто в нашем большом войске не нашлось бы для вас портянок с обувкой? Да вы что, ваше высокопревосходительство! Нашлось бы, нашлось!

— Нет. — Каппель отрицательно покачал головой. — Чего же я других обирать буду? Об этом я должен был сам побеспокоиться.

— Й-йэх! — Насморков хлопнул себя ладонями по бокам, покрутил головой, снова хлопнул ладонями по бокам. — Да для вас любой бы расстарался...

Через несколько минут он снял наконец бурку и с правой ноги генерала, пристроил обе бурки около огня. От промерзлого фетра повалил пар.

— Обувка должна хорошо просохнуть, — пробормотал Насморков, мясистый пористый нос его покрылся потом. — А сейчас мы сделаем то же самое с портяночками-с, с портяночками-с...

В речи Насморкова, в его повторах, в заботливости проглядывало что-то трогательное, отзывающееся в душе благодарностью — только мать, наверное, мола так заботливо и трогательно возиться со своим ребенком, как Насморков возился с генералом, — денщик бормотал, ползал по снегу, шумно схлебывал что-то с губ, хлюпал носом, а когда портянки были сняты, принялся растирать холодные ноги генерала.

Утро вновь выдалось морочное, морозное. Над Каном висел тяжелый седой туман, покорные черные сосны, чуть тронутые этой белью, затихли обреченно, опустив в снег лапы, будто руки, утопив в окостеневшей льдистой каше по самые локти, не боясь отморозить.

От холода ломило уши, в висках стоял звон, воздух, пространство, все предметы перед глазами дергались, подпрыгивали, раскаленный снег скрипел под ногами, скрипел так, что хотелось заткнуть уши. Гулко гудели глотки у людей — пар вырывался изо ртов с грохотом, стекленел в воздухе.

Люди покорно выстроились, вперед, как и положено, выдвинулись самые сильные, и через несколько минут колонна двинулась дальше.

Перекаленный морозом снег шевелился недобро, иногда из него выскакивала пара испуганных озябших куропаток, уносилась в сторону — белые куропатки были единственной приметой того, что места здешние живые и тут много чего имеется. Мужики, идущие в колонне, поговаривали, что неплохо бы отыскать медвежью берлогу и сдернуть с хозяина зимовья штанцы — тогда горячего целебного варева на всю колонну хватит... Но как отыскать берлогу? Медвежьи места надо знать, за косолапым нужно следить с осени — только тогда можно найти берлогу, а так, по ходу колонны, как бы

между прочим, медведя ни за что не обнаружить и не завалить: не тот это зверь, чтобы спать на виду у всех.

Бывший штабной денщик Бойченко, легконогий, шустрый, не привыкший сидеть на месте — то он с разведкой, чтобы пощупать красных партизан, на высокие скалы напросится, то самостоятельно, один-одинешенек, параллельно колонне проброс по тайге сделает — он для этого даже специально две лыжины выстругал, чтобы по снегу ходить, не проваливаясь, иногда из таких походов приносил глухаря с изувеченным телом. Глухаря надо бить из ружья, тогда товар попадет в руки что надо, хоть чучело из него делай, а винтовочная пуля — убойная, глухариное тело разносит в брызги, хотя глухарь — птица немалая, на половину барана тянет, но тем не менее трехлинейки уродуют его неузнаваемо.

Глухарей Бойченко отдавал Насморкову.

— Свари генералу бульон. Все организм подкрепление получит.

В ответ Насморков молча кивал: Каппеля надо было поддерживать, он угасал на глазах. А ведь он должен еще вывести колонну к Байкалу, к Мысовской. Люди верили ему, только ему и больше никому. Впрочем, хоть и угасал телом генерал, а духом был по-прежнему тверд.

Глухарей, крупных птиц этих, Бойченко удавалось добыть, а вот зверя — ни разу. Ни разу он не наткнулся ни на медвежью берлогу, ни на сохатого, ни на кабана — пуля здесь как раз была бы к месту... Но если бы да кабы, тогда бы Бойченко не только медведя добыл — добыл бы целый пароход с мясными консервами и в придачу к нему десяток каких-нибудь съедобных зверюг, приготовил из них шашлык, наперченный, проложенный лучком, сдобренный водочкой-монополькой для душистости, — но нет, как ни вглядывался Бойченко в лес, как ни прокалывал взглядом сугробы, стараясь понять, что находится в них внутри, сколько ни обследовал заваленные снегом выворотни, а все без толку...

Утром Каппель почувствовал себя легче, чем вечером, — ему показалось, что мороз сдал, стало теплее, он даже полы своей суконной шубы распахнул:

— Хорошо сегодня-то как! — Голос у Каппеля был тихим, ослабшим, генерал глянул вверх, на тяжелое серое небо.

А в небе проран нарисовался, в нем серое кривоватое пятнецо засветлело. То ли само солнце это было — решило глянуть на землю, то ли отсвет солнца... Каппель улыбнулся этой светлой точке-пятнецу, увидел в нем добрый знак, вздохнул глубоко, сделал три шага, и земля неожиданно накренилась под ним, сделалась скользкой — не удержаться. Каппель застонал от досады и повалился в снег.

Стоять на ногах он не мог — земля уползала из-под него, кренилась то в одну сторону, то в другую, будто гигантское судно, угодившее в лютый шторм, что-то с землей случилось, и с человеком, прежде прочно стоявшем на ней, тоже что-то случилось.

К Каппелю кинулся Насморков, подсунулся под генерала, трепыхавшегося в снегу, под другую руку подсунулся полковник Вырыпаев, вдвоем они быстро подняли главнокомандующего...

Генерал покрутил головой обескураженно и потребовал хриплым голосом:

— Коня!

Насморков заботливо промокнул Каппелю потный горячий лоб. У генерала был жар.

— Коня! — вторично, прежним хриплым голосом потребовал Каппель.

— Ваше высокопревосходительство, может, лучше подводу? — предложил Насморков. — Сани с меховой полостью?

— Коня! — упрямо мотнул головой Каппель.

Насморков поджал губы, стал соображать, как же сказать генералу поаккуратнее, что тот болен, и от напряжения так же, как и Каппель, покрылся потом. Тем временем Бойченко подвел коня. В последние дни бывший

штабной денщик старался быть рядом, подсоблял Насморкову, который был благодарен помощи, хотя и понимал, что у Бойченко своих забот полно, и главная из них — как сохранить себя, как не обморозиться, не оголодать, не растерять последние силы, а с другой стороны, может, тот наказ от своих товарищей получил — поддерживать генерала, вот и выполняет наказ, старается...

Генерал перехватил у Бойченко поводья; обычно легкий, на этот раз он с трудом взгромоздился в седло, оглядел неровную, с тупым остервенением мнущую ногами жесткий снег колонну, губы у него шевельнулись немо — Каппелю было жаль этих людей, как жаль самого себя... Если бы не предательство генерала Зеневича, они не терпели бы этих мук — все сложилось бы иначе.

Но нет, сложилось все так, как сложилось.

Предательства сопровождали Каппеля на каждом шагу. Везде. Всюду. Он пытался сопротивляться им.

Когда отступление еще только началось, Каппель прибыл в город Мариинск. Нарядная, недавно отстроенная железнодорожная станция — целый выводок зданий — располагалась в трех километрах от города. Мариинск был крупной вещевой базой — здесь на воинских складах скопилось много нужного имущества, в том числе и теплая одежда, так теперь необходимая армии Каппеля.

Конечно, Каппель мог вскрыть склады, никого не спрашивая, но тем не менее он посчитал нужным поинтересоваться у начальника здешней дистанции:

— Какая власть в городе?

— Земская, — ответил тот. Увидев, что взгляд Каппеля сделался недоуменным, пояснил: — Земцы взяли бразды правления в свои руки, ждут красных...

— Красных, значит. — Каппель усмехнулся, подал знак Вырыпаеву: — Поехали!

Вдвоем они прыгнули в кошеву.

Через пятнадцать минут она с лихим скрипом и храпом буйного коня, взбивая столбы снега, подлетела к двухэтажному каменному дому, к которому было прилажено новенькое широкое крыльцо. Дом был знатным

даже по здешним меркам — люди в Мариинске строились широко, не жалея материала.

— Это и есть земская власть, — ткнув кнутом в крыльцо, провозгласил лихач-возница, средних лет дядек с серебром, густо искрящемся в небольшой бородке.

— Подожди нас, отец, — попросил Вырыпаев, — мы скоро.

— Давайте, давайте, — произнес лихач благожелательно, он словно благословил своих седоков, — мне спешить некуда. — Оглядел их оценивающим взглядом. — Вам бы оружие какое-никакое надо бы с собой прихватить. Пулемет ручной, английский, неплохо бы с собой иметь, поскольку тут вы, как я понимаю, окажетесь гостями незваными.

Гости незваные были вооружены лишь пистолетами. А что такое пистолет — только хлопать может... Сигнальное оружие. Хлопками пистолетными удобно поднимать солдат в атаку.

— Ничего, — произнес в ответ Каппель, — обойдемся тем, что есть.

Он вспомнил, как с прутинкой ходил на митинг к шахтерам Аша-Балашевского завода. Куда страшнее ситуация была, и то обошлось.

— Ну, смотрите, господа, — произнес лихач, черенком кнута приподнимая шапку, плотно натянутую на голову.— Мое дело — предупредить, ваше — начихать на предупреждение.

Каппель и Вырыпаев поднялись на крыльцо — вдвоем, идя рядом, почти безоружные, открыли дверь в дом, в котором в просторной прихожей сидели человек пятнадцать дюжих земцев. В углу стояли винтовки.

А вот и английский ручной пулемет, о котором только что говорил возница-лихач: «люська» с насаженной на ствол плоской тарелкой магазина. Стоит пулемет в сторонке, на конторке с бумагами.

Увидев пришедших, земцы удивленно вытянули головы. Каппель вежливо поздоровался с ними, представился:

— Я — генерал Каппель.

Часть вытянутых голов поспешно нырнула в плечи: кого-кого, а генерала Каппеля они не ожидали увидеть здесь. Один из земцев — горбоносый парень с черными буйными волосами тоскливо покосился на пулемет — неплохо бы эту штуку иметь сейчас в руках, а не на конторке, да вот только никак он не успеет добраться до «люськи» — пришедшие раньше свалят его. Вздохнул зажато:

— Ййы-ыхы-ы!

Генерал этот грустный вздох заметил, парня раскусил, но вида, что раскусил его, не подал.

— Я благодарен вам за то, что вы сохранили армейское добро, — сказал земцам Каппель, — не дали его растащить. Власть в Мариинске временно переходит к военным, в городе несколько дней будет стоять армия. Должны подтянуться обозы, отставшие... Люди в армии — голодные, холодные, неодетые, необутые, обозленные неудачами, больные — всяких полно, словом. Нужна теплая одежда. Очень нужна, — Каппель обвел глазами сытые лица земцев, — без теплого обмундирования армия погибнет. Вы — русские люди, и те, кто находится в армии, — тоже русские. Я вам все изложил, как на духу... А дальше думайте сами.

Земцы молчали. Каппель натянул на руки перчатки, щелкнул кнопками — в установившейся тиши звук этот был особенно громким, — и, поклонившись земцам, вышел.

Вырыпаев молча последовал за ним, на крыльце сквозь зубы всосал в себя воздух, глянул на широкую, заваленную ранним снегом улицу.

— А я думал, вас отсюда не выпустят, господа, — простодушно удивился лихач, увидев своих седоков живыми и невредимыми.

— Это почему же?

— Да уж больно народ в земской управе собрался серьезный... Всех чужаками считает, даже собственных баб.

— Завтра будет видно, серьезный здесь собрался народ или нет, — спокойно проговорил Каппель.

— Но, милый! — Лихач хлестнул коня, и тот, легко сдернув кошевку, с места взял крупной рысью — только снег стеклисто захрустел под полозьями. — Давай, милый, застаиваться тебе вредно.

Конь прибавил ходу.

— Может, действительно, проще было забрать ключи от складов силой? — проговорил вопросительно Вырыпаев, подтыкая под себя край меховой полости, которой была накрыта кошевка.

— Зачем? Земцы ключи сами принесут.

Утром около станционного здания, где расположился штаб Каппеля, появилась делегация земцев — приехали на нескольких кошевках, с шумом и шутками выбрались из них, извлекли широкий блестящий поднос, застелили его полотенцем, сверху водрузили свой, пропеченный до румяной корки каравай, рядом поставили солонку и положили толстую связку ключей — от всех складских запоров. Выстроившись в цепочку, земцы неспешно двинулись к штабу.

Вырыпаев, наблюдавший за этой картиной из окна, сказал генералу:

— Вы были правы, Владимир Оскарович. Ничего не надо брать силой.

Генерал промолчал.

...В принципе земцы тоже были предателями, но предатель предателю — рознь. С земцами он, например, стал разговаривать, с генералом Зеневичем — нет. Губы у Каппеля брезгливо шевельнулись, он подтянул к себе повод, глянул на черные задымленные скалы канских берегов и тронул коня с места.

Рот у Каппеля снова искривился брезгливо: ведь Зеневич давал присягу — не только царю давал, но и России и предал их, пресмыкается перед разными местечковыми начальниками, вершителями судеб, которым от России нужно только одно — чтоб кошелек у них никогда не был тощим и чтобы бабы их ходили наряженные, как на свадьбу, поблескивая золотыми зубами и разными дамскими цацками — сережками, кулона-

ми, перстнями, камеями, подвесками да цепочками всякими, — чем больше у них будет этого металла, тем лучше.

Каппель неожиданно застонал и ткнулся головой в холку коня.

Бойченко стремительно, будто птица, метнулся к нему. Генерал был без сознания.

— Насморков! Насморков! Ко мне! — выкрикнул Бойченко громко, неосторожно хватил холодного воздуха, захлебнулся им, окутался паром, замахал отчаянно на малорасторопного денщика: генерал без сознания, а тот по-налимьи губами шлепает, окрестностями любуется.

Насморков запоздало подоспел к приятелю. Рядом оказался и генерал Войцеховский, исхудавший, заросший щетиной — Каппель приказал подчиненным не бриться, чтобы было поменьше обморожений — все-таки какая-никакая, а защита есть, бывает, и маленькая щетина от большого волдыря спасает.

Втроем они сняли Каппеля с коня, кинули на снег несколько шинелей, имевшихся в хозяйстве у Насморкова, проворный Бойченко ринулся в обоз пошерстить какого-нибудь купца, излишне вольно чувствовавшего себя.

Минут через десять Бойченко пригнал из обоза сани вместе с возницей — редкобородым, похожим на татарина мужиком. Каппеля уложили на сани, сверху прикрыли двойной меховой полостью — она была сшита с умом, специально, чтобы держать здешние морозы, и Войцеховский скомандовал хриплым, надсаженным морозом голосом:

— Вперед!

Мимо уже тянулись сани обоза — колонна проследовала мимо, не останавливаясь.

— Поспевай, любезный! — подогнал Войцеховский редкобородого возницу.

Тот с интересом глянул на беспамятного генерала и щелкнул кнутом.

Гнедой конь — по всему видно, находился не на голодном пайке, у хозяина имелся припас овса, — резво

рванул вперед, взбил синеватую ледяную пыль, прогрохотал полозьями по проступившей сквозь снег наледи и вскоре обогнал обоз.

Войцеховский, забравшись в седло, догнал сани верхом, а Бойченко с Насморковым повели коня генерала в поводу.

— Проклятая зима! — угрюмо просипел Насморков. — Сколько же она еще возьмет своего, сколько людей погубит! — Он потрепал коня за заиндевелую морду, на ходу проверил ноздри — не забиты ли ледяными пробками?

Конь ответно толкнул мордой денщика.

— Тихо! — воскликнул тот, получив хороший тычок в спину. — Обрадовался, что седока нет. Ну и тварь же ты безголосая, — проговорил Насморков сварливо. — А еще лошадью называешься!

Поймав взгляд Бойченко, денщик замолчал, но молчал он недолго — глянул вверх, на задымленное небо, выставил перед собой палец:

— Сегодня теплее, чем вчера.

— Вряд ли, — усомнился Бойченко.

— Снег визжит меньше.

— Это еще ничего не значит. Из земли пробиваются теплые пары, они и делают снег мягким.

Словно в подтверждение этих слов впереди вдруг зашевелилась огромная, тускло поблескивающая ледяными наростами скала, вверх взметнулось упругое снежное облако, рассыпалось с грохотом, и от скалы начал медленно отваливаться гигантский кусок. Кусок этот дрогнул, пошатнулся, замер на мгновение, пытаясь удержаться в гнезде, но не удержался и пошел к земле...

— Берегись! — закричал кто-то отчаянно, но крик запоздал — скала опрокинулась прямо на повозку, везшую купеческий скарб. Из-под огромного расколовшегося камня с пушечной силой выбило расплющенную конскую голову с раздавленными, размазанными по окровавленной шкуре глазами. Размозженные ноги, кости, спутанные кишки, еще что-то, что осталось от двух

человек, сидевших в санях, смешало с конскими внутренностями... Солдат, оказавшихся неподалеку, с головы до ног обдало кровяными брызгами.

Все произошло настолько стремительно, что никто ничего не успел предпринять, лишь раздался слезный звериный вой, прозвучал, как корабельная сирена, и стих.

— Вот и все, — печально молвил Насморков, — были люди — и нету их. Не стало.

— А ты говоришь — потеплело.

Каппель все еще не пришел в себя, пребывал без сознания, когда запряженные резвым конем сани, в которых он находился, проехав километра два, угодили в промоину, скрытую плотным снеговым одеялом. Солдаты спешно вытащили сани из промоины, и тут же деревянные полозья немедленно примерзли ко льду.

Пришлось полозья отбивать прикладами винтовок. Удары прикладов были резкими, встряхивали сани. Каппель открыл замутненные, блестящие от жара глаза, обвел ими лица людей, склонившихся над ним, губы у него шевельнулись, над ним всплыло легкое облачко пара.

— В Баргу, — отчетливо произнес Каппель, — только в Баргу! Там всем нам будет лучше... — Он помолчал немного и добавил: — Лучше, чем здесь. — Генерал заворочался, пытаясь выбраться из-под полости. — Коня мне!

Бойченко, который теперь не отходил от генерала ни на минуту — словно чувствовал перед ним свою вину, беспомощно оглянулся — ослушаться Каппеля он не мог, надо было кого-то призывать в помощь, увидел сгорбатившегося от холода, с седой, покрытой инеем спиной Вырыпаева, обрадовался ему:

— Василий Осипович!

Вырыпаев выпрямился, все понял, пожевал облезлыми губами.

— Владимир Оскарович, коня нежелательно, — сказал он Каппелю. — Вы находитесь, м-м-м... в таком состоянии, Владимир Оскарович, когда коня нежелательно.

— Вырыпаев знал, как не любит такие слова Каппель, но тем не менее произнес их. — Прошу вас!

— Командующий не может валяться в санях, будто изнеженная барышня, — очень тихо, но жестко произнес Каппель. — Это унизительно. Коня!

Переубедить генерала было невозможно. К саням подвели коня. Каппель поднялся. Лицо генерала от напряжения обузилось — было видно, что Каппель боится показать собственную слабость, боится ошибиться, сделать неверное неловкое движение, — на его бледном лбу появился пот, тем не менее он поднялся, довольно ловко всунул носок бурки в заиндевелое стремя и забрался в седло. Повторил призывно:

— В Баргу!

Серый снег под копытами коня завизжал пронзительно, пространство дрогнуло, возникло в нем что-то розовое — то ли отсвет далекого северного сияния, то ли еще что-то, снег визжал под ногами людей, над суровой рекой висел сплошной визг, колонна змеилась, обходя нагромождения льда и камней, черные промоины, в которых плавал снег, сторонясь сырых пятен, проступающих на поверхности реки — под любым таким пятном могла оказаться гибельная полынья, канская бездонь. Люди шли молча, берегли силы, раздавалось только хриплое дыхание да иногда короткая, какая-то обрезанная ругань — выругавшись, человек стыдливо умолкал, запечатывал рот, словно боялся осуждения...

Проехав в седле с полкилометра, Каппель покачнулся и начал сползать вниз. Бойченко поспешно подскочил к генералу, обхватил его рукой за талию, подсунул пальцы под ремень, удержав генерала в седле. Так они и двинулись дальше: генерал, сидящий на коне, и солдат, прочно держащий его, не дающий свалиться с седла.

Фигура генерала была видна далеко, все, кто шел в колонне, обязательно задерживали на ней взгляд, глаза у людей теплели — солдаты знали, что пока Каппель жив — все будет в порядке.

Когда до Барги оставалось двадцать километров, Каппель вновь потерял сознание. Его сняли с седла и опять положили в сани — не в те, что попали в промоину, обросли льдом и сейчас ползли в хвосте обоза, — в другие, в широкие крестьянские розвальни, застланные соломой, поверх соломы лежали пустые мешки.

Так до самой Барги Каппель и не пришел в себя.

Барга — село большое, богатое, если уж здесь ставят дом, так обязательно о пяти стенах, такой дом может занимать целую половину улицы; воздух над Баргой разрезан белыми пушистыми дымами: в морозные дни печи тут топят круглосуточно, бревна-целкачи, из которых сложены стены, от жары только пистолетно трещат, вызывая у незнакомого человека удивление — от такого треска иной солдатик даже невольно приседает, оглядывается, стараясь ухватить в руку предмет поувесистее.

— Это кто тут стреляет так неэкономно?

Каппеля внесли в большую, до сухого жара натопленную избу. Попробовали снять с его ног бурки — те примерзли намертво, не отодрать.

Бойченко вопросительно глянул на Вырыпаева.

— Режь! — велел тот.

— Жалко обувь. Справная уж больно.

— Мы не в тайге. Здесь, в деревне, найдем для Владимира Оскаровича приличные валенки.

Подсунув нож под край голенища, Бойченко прищурился, словно провел острием по фетру. Вновь посмотрел на Вырыпаева.

— Режь до конца, — приказал полковник.

Бойченко располосовал голенище от верха до щиколотки. Генерал застонал. Бойченко вскинулся, прислушался к стону. Вырыпаев, сам очень слабый, с обвисшей на щеках кожей и трясущимися от усталости и немощи руками, покачал головой:

— Он в себя не придет. Срезай с ноги вторую бурку.

Сбросив на пол искромсанные бурки, Бойченко срезал с ног Каппеля портянки — негнущиеся, ломкие,

не поддавшиеся душному жару избы, портянки не оттаяли.

Ноги у генерала от пальцев до колен были белые и твердые, как дерево — стучать по ним можно. Бойченко испуганно всплеснул руками:

— Ах ты Боже ж мой! — Подхватил большое цинковое корыто, стоявшее в горнице — в нем в банные дни купались люди, — выметнулся с корытом на улицу. Там залопотал, заохал, завздыхал, запрыгал, сгребая в корыто снег, выбирая места, где снег был помягче и почище. — Ах ты Боже ж ты мой!

Через минуту он уже тащил корыто в избу. Закричал громко, не обращая внимания на Вырыпаева, Войцеховского, еще двух полковников, ввалившихся в избу в заиндевелых шубах:

— Насморков! Где ты есть, Насморков?

Вырыпаев поспешно поднялся с лавки:

— Сейчас я его найду!

— Ваше высокоблагородие, лучше помогите мне, — попросил Бойченко Вырыпаева. — Ноги Владимиру Оскаровичу надо как можно быстрее оттереть снегом... Если этого не сделать сейчас — Владимир Оскарович погибнет.

Лицо у Бойченко было растерянным, подбородок дрожал. Он ухватил пригоршню снега и стал растирать им левую ногу Каппеля.

— Ах ты Боже ж мой!

Через несколько минут над ним навис Насморков, гулко схлебнул пот, стекший ему с верхней губы прямо в рот. Бойченко, продолжая растирать левую ногу Каппеля, выругался — на офицеров и генерала Войцеховского он уже не обращал внимания, понимал, они ему ничего не скажут, и помощники из них плохие, — смахнул рукавом гимнастерки пот со лба:

— Ты, Насморков, только и можешь, что учить лошадей есть пряники. Помогай! Начинай растирать другую ногу. — Бойченко вновь зачерпнул из корыта пригоршню снега, навалил ее на ногу Каппеля, с силой стал растирать кожу.

Каппель застонал, шевельнулся и приподнял голову:

— Что здесь происходит?

— Лежите, ваше высокопревосходительство, вам сейчас нельзя вставать, — осадил его Бойченко. Он сейчас командовал в этой хате, и его командам подчинялись все, даже строгий надменный Войцеховский и тот встал едва ли не навытяжку — он не умел делать того, что умел простой крестьянский сын Бойченко.

Каппель со стоном откинул голову на подушку, задышал часто, рвано — вновь впал в беспамятство.

А Бойченко работал, хлопал ладонями по голеням, по икрам, мял лодыжки, растирал ступни, покрикивал на Насморкова, подгонял его, тряс головой, сбивая со лба пот, сипел, стискивал зубы от напряжения и сочувствия к боли человека, который сейчас лежал перед ним. Бойченко щипал мышцы, оттягивал кожу, лил на ноги теплую воду, снова массировал, и ноги у генерала начали понемногу оттаивать.

Мертвенный сахарно-белый цвет кожи уступил место живой розовине, икры сделались упругими, стопы стали сгибаться.

— Ваше высокоблагородие, — позвал Бойченко Вырыпаева, — теперь сюда надо бы врача, господина Никонова.

— Да-да, — растерянно кивнул тот, — а что, чего-нибудь не получается?

— Получается, да не совсем так, как хотелось бы.

— Что именно, Бойченко?

— Пальцы на ногах не отошли, так и остались каменными. Я уже не знаю, что и делать. И пятки, они тоже каменные, холодные, стреляют льдом. Поэтому надо отыскать господина Никонова.

— Он сейчас у тифозных больных — им выделили отдельный дом.

Каппель вновь застонал, пришел в себя, приподнял голову, обвел собравшихся горячечным взглядом и смутился:

— Извините, господа!

Он, лежащий на лавке, поверженный, с обнаженными ногами, какой-то незащищенный, слабый, сам себе противный, чувствовал себя в присутствии подчиненных неловко.

Войцеховский, как равный по званию, подошел к главнокомандующему:

— Лежите, лежите, Владимир Оскарович. Все будет в порядке.

— В порядке? Вряд ли. — На глазах у Каппеля появились слезы, кадык, выпирающий на худой шее, гулко хлобыстнулся вверх, опал. Каппель сглотнул твердый комок, сбившийся во рту, и прошептал: — Как это некстати — моя болезнь.

— Болезнь всегда некстати, Владимир Оскарович. — Войцеховский сделал успокаивающий жест: — Полноте, полноте... Каждый из нас побывал в таком положении, и — ничего.

В сенцах заскрипел пол, кто-то громко застучал ногами. Войцеховский недовольно вскинул голову. В дверях появился доктор Никонов. Легок на помине! Никонов стянул с головы шапку. Крупный лысый череп тускло блеснул в свете двух больших керосиновых ламп.

— Два человека только что скончались в тифозной избе, — сообщил он скорбным голосом. — Болезнь преследует нас, бороться с ней нечем.

— У нас к вам очень важное дело, доктор,— сказал Войцеховский. В ответ Никонов покивал меленько, расстроенно и начал стягивать с себя шинель. На ее плечах мягкими матерчатыми полосками горбились узкие «медицинские» погоны.

Минут десять Никонов молча ощупывал ноги генерала, помассировал одну пятку, потом другую и произнес неожиданно задрожавшим голосом:

— Пальцы и пятки надо срочно ампутировать. Сейчас же! Немедленно!

Наступила гнетущая тишина. Было слышно, как где-то под полом, в глубине, скреблась мышь. Люди переваривали услышанное, морщили лбы. Лица — вытя-

нутые, серые, расстроенные, каждый сейчас примерял беду Каппеля на себя.

Вырыпаев встряхнулся, проговорил неожиданно звонким, каким-то истончившимся от напряжения тоном — глаза у него обрели неверящее выражение:

— И что, доктор, другого пути нет?

— Нет.

Полковник скосил глаза на Каппеля — тот вновь впал в забытье, нос и подбородок заострились, как у мертвеца.

— А если мы поступим иначе?..

— Иначе — гангрена, и конец, — перебил полковника Никонов. — Ни второго, ни третьего пути нет. Только этот, один: резекция.

От этих жестких слов полковник чуть не застонал, прижал руку ко рту, сделал это по-дамски расстроенно. Голос у него истончился еще больше:

— Но помилуйте, у вас же и хирургических инструментов нет!

Доктор глянул на обеденный стол, увидел там нож — хороший самодельный нож с острым лезвием, закаленный в медвежьей крови, с прочной деревянной ручкой, обвязанной в основании двумя медными красными полосками. Никонов взял нож, подкинул его в руке, не боясь обрезаться:

— А чем это не инструмент, Василий Осипович? Лучше не придумаешь. Прокалим на огне, протрем спиртом и сделаем операцию... Иначе мы Владимира Оскаровича потеряем.

— Спирт у вас есть?

— Не так много, как хотелось бы, но для экстренных хирургических действий имеется. — Доктор умолк, выжидательно посмотрел на Вырыпаева.

Каппель, словно почувствовав, что речь идет о нем, вдавился затылком в подушку, застонал. Вырыпаев глянул на генерала, губы у полковника дрогнули, уголки опустились вниз, придав лицу мученическое выражение, — перевел взгляд на доктора, вздохнул — он чувствовал себя загнанным в угол.

— Медлить нельзя не то чтобы ни минуты — ни секунды, — предупредил доктор.

— Ладно, — Вырыпаев нервно дернул правым плечом, вид у него сделался еще более мученическим, он опустил голову, — делайте, доктор, операцию.

Повернулся к Каппелю. Тот по-прежнему находился без сознания. Такое решение должен был принять сам генерал, но кто знает, когда он очнется. А у доктора даже обычного нашатыря нет. Ближе Вырыпаева у генерала не было сейчас человека не то чтобы во всей армии — на всей земле.

— Медлить никак нельзя, — повторил доктор.

— Делайте операцию! — вновь произнес Вырыпаев, правое плечо у него опять дернулось, приподнялось, в глубине груди послышался сжатый скрип — то ли простуженные легкие никак не могли отойти, то ли раздался зажатый плач.

Доктор шагнул к плите, весело потрескивавшей дровами — в этом богатом доме были печка и плита, — не боясь обжечься, ухватился пальцами за горячую бобышку дверцы, открыл топку.

Внутри, пощелкивая, стреляя игривыми угольками, трепетало рыжее пламя. Доктор сунул в него нож, пламя лизнуло ему пальцы, он перехватил нож другой рукой.

Тишина в доме установилась такая, что было слышно, как на окраине Барги гомонят ребятишки, скатываясь на салазках с горы.

— Бойченко! — позвал доктор. — Перехватите нож, я сейчас приготовлю спирт, вату и бинты.

Бойченко ловко перехватил у доктора нож. Прочное широкое лезвие потускнело и начало наполняться малиновой густотой, по острию забегали крохотные электрические мушки.

Через пять минут началась операция.

Во время операции Каппель трижды приходил в себя, над ним склонялся Вырыпаев, стирал ватой пот со лба генерала и шептал полубессвязно, не думая о том, что говорит:

— Так надо, Владимир Оскарович, так надо...

Он понимал, что сейчас важны не слова, а интонация, успокаивающий голос близкого человека. Каппель морщился, кивал, словно соглашаясь с тем, что говорил полковник, и вновь закрывал глаза.

Лишь один раз у него из-под одного века выкатилась маленькая чистая слеза, через минуту такая же слеза выкатилась из-под другого века, и он едва внятно прошептал:

— Я не подвел своих солдат... я никогда их не подведу. Я — с солдатами.

Движения у Никонова были четкими, выверенными, таких операций он сделал несколько сотен, на фронте приходилось кромсать и генералов, и рядовых... Правда, главнокомандующий попал ему под нож впервые.

Утром следующего дня Каппель находился без сознания. Весь день он пролежал в постели. Доктор Никонов не отходил от него, лишь изредка отлучался в тифозную избу к больным, но вскоре возвращался.

— Вы, доктор, тиф к генералу случайно не принесите, — предупредил его Вырыпаев, — иначе погубите Владимира Оскаровича.

— Исключено, — спокойно ответил Никонов полковнику, — я соблюдаю все меры предосторожности.

— История не простит нам гибели Владимира Оскаровича.

— Я это тоже знаю.

Некоторые части остановились за Баргой, в лесу, местные мужи помогли солдатам срубить огромные шалаши, накрыли их лапником.

Днем части строем прошли мимо дома, в котором лежал Каппель. Погромыхивал медью жиденький оркестр — две трубы и походная дудка, четкую дробь выдавал барабан. Музыка хоть и исполнялась четвертой частью необходимых инструментов, а все равно звучала торжественно. Генерал очнулся, открыл глаза.

Глаза были чистыми, от болезненной мути — ни следа. Каппель знал, что с ним произошло, и теперь, честно говоря, боялся приподняться на локтях и посмотреть на свои ноги; тем не менее он нашел в себе силы улыбнуться.

Преданный Вырыпаев, дремавший рядом на стуле, улыбку эту почувствовал подсознанием, поднял голову, поспешно отер рукою лицо, будто умылся:

— Владимир Оскарович!

— Тихо, тихо, — осадил тот Вырыпаева. — Слышите, как играет музыка?

— Слышу.

— Ничего не может быт прекраснее походной солдатской музыки.

— Да, да, — произнес Вырыпаев неожиданно растроганно — у него словно что-то сдвинулось в душе, покивал согласно, привстал на стуле, заглядывая в окно.

Воздух на улице светился розово, призывно, будто сквозь разрушившиеся небеса проклюнулась летняя заря, зима отступила, и только одно это ощущение рождало в душе приподнятое настроение. Каппель продолжал улыбаться. Вырыпаев улыбнулся тоже.

— Василий Осипович, вызывайте в штаб командиров частей, — приказал Каппель.

— Да что вы, Владимир Оскарович! Вам надо отлежаться. Рано еще...

— Сегодня — день на отлежку. Завтра выступаем дальше.

— Рано еще!

— Залеживаться нельзя, — в голосе Каппеля появились знакомые упрямые нотки, — нам надо как можно быстрее выйти к Байкалу. Потом... — он словно споткнулся обо что-то, у глаз его собрались горькие лучики, — чувствую я, что Александр Васильевич Колчак находится в беде, а если это так, то мой долг — немедленно отправиться к нему на выручку.

Совещание с командирами частей Каппель проводил лежа — извинился, что не может встать, виновато махнул рукой, оглядел собравшихся:

— Не вижу генерала Имшенецкого.

— Генерал Имшенецкий лежит в тифозном бараке, — тихо доложил Вырыпаев, — положение его очень тяжелое.

— Жаль. — Каппель вздохнул. — Потери, потери, потери...

Перед ним расстелили карту. Каппель провел по ней рукой и сказал:

— Недалек тот день, когда мы снова выйдем к железной дороге.

— К чехословакам? — не то спросил, не то просто вбил в себя эту мысль Войцеховский, крылья носа у него обиженно задергались, разом придав строгому генеральскому виду какое-то ребячье выражение, в следующий миг он утвердительно кивнул: генерал Каппель прав — иного пути, как выходить к железной дороге, у них нет.

— Отныне командиры частей будут собираться у меня в конце каждого дня, перед ночным привалом, — сказал Каппель. — Каждый раз мы будем обговаривать маршрут. Хватит нам потерь! Все! Мы и так уже лишились многих людей. Лучших из нас, — он поднял указательный палец, — лучших!

Каппель готовился к жизни, а не к смерти, — он не думал умирать, не хотел умирать, — ощущал ответственность за людей, которых вовлек в этот поход, а раз вовлек, то должен вывести их из этих дебрей.

Звуки небольшого оркестра за окном стихли. Лицо у Каппеля приняло сожалеющее выражение — эту музыку он готов был слушать нескончаемо долго. Вечно.

Утром во двор дома, где лежал Каппель, пригнали ладные легкие сани, застеленные несколькими шкурами — купили их у местного богача, промышлявшего мехом. Увидев сани, Каппель недовольно поморщился.

— Сани? Совершенно напрасно... Дайте мне коня!

Вырыпаев пытался удержать генерала:

— Владимир Оскарович, разве можно? Вы только что перенесли тяжелую операцию. — Вид у Вырыпаева

сделался мученическим — у него до сих пор не укладывалось в голове, как Каппель сумел стерпеть адскую боль — ему без всякого наркоза, без обезболивания, простым, едва ли не столовым ножом отрезали пальцы на обеих ногах и пятки, а генерал не издал ни звука. Впрочем, нож был не столовый, а двойного назначения, с ним ходили и на охоту, но это уже было неважно... Вырыпаев хорошо представлял, как сейчас трудно генералу. — Сани, только сани, Владимир Оскарович!

Генерал произнес хмуро и жестко:

— Коня!

Вырыпаев вздохнул и сделал знак Насморкову: приведи коня! Тот поспешно подвел оседланного коня. Каппель отметил: конь был оседлан заранее. Улыбнулся удовлетворенно: подчиненные знали, что он потребует коня, в следующий миг улыбка его приобрела виноватое выражение: напрасно он так строг к ним. Тронул за рукав Вырыпаева:

— Ты пойми, Василий Осипович: вид лежачего командующего, этакого барина на отдыхе, действует на армию деморализующе.

Когда он прилюдно обращался к Вырыпаеву на «ты», это означало высшую степень доверия; одновременно было и другое: Каппель таким способом искупал свою вину... Впрочем, надо отдать должное Вырыпаеву — он никогда не обижался на генерала.

— Ах, Владимир Оскарович... — Вырыпаев покрутил головой и пожевал губами впустую — в нем в этот миг проглянуло что-то старческое, немощное, и Каппелю, который находился в положении куда более худшем, сделалось жаль его.

— Вид командующего на коне определенно взбодрит людей, — сказал Каппель. Попросил, обращаясь к Насморкову: — Помогите мне, пожалуйста!

К Насморкову на помощь подскочил Бойченко. Вдвоем они посадили генерала на коня.

Каппель медленно выехал со двора на улицу.

Мимо проходила часть — один из полков Самарской

дивизии. Каппель вскинул руку к папахе, движение было коротким, четким. Это был тот самый, знакомый всем генерал Каппель, которого солдаты хорошо знали — человек, не делающий ошибок, привыкший побеждать.

Полк не удержался и — усталый, сильно поредевший, плохо одетый и плохо обутый — грохнул походную песню — со свистом и лихим уханьем:

— Солдатушки, бравы ребятушки...

Полк шел с песней, а Каппель, вытянувшись в седле, отдавал ему честь, — Каппель, у которого уже не было ног. На глазах у многих солдат заблестели слезы.

Психологический расчет был точный — солдаты увидели своего генерала, это придало им сил, произошел некий перелом, что-то в их душах сместилось, появилась надежда — солдаты поверили, что жизнь в конце концов одолеет смерть и возьмет свое... Каппель и сам почувствовал, что на глазах его вот-вот появятся слезы.

...К вечеру колонна достигла маленькой замусоренной деревушки, над которой струились хвосты дыма. Вся деревня была в дыму, целые стога вспухали над крышами, отрывались от труб, уносились в тайгу, даже маленькие сарайчики, сложенные из черных толстых бревен, и те, кажется, дымили, плевались тугими сизыми кольцами, ежились на морозе, переваливались с бока на бок, с одной куриной ноги на другую, от дыма трещали сугробы, трещали деревья, трещали сами сараи. Впрочем, не сараи это были, а бани, очень схожие с сараями, — такой в деревне обитал плотник: что он ни сложит, все сарай получается.

Это неважно, что в деревне каждый мужик — плотник, топором владеет так, что может им затачивать карандаши, среди этих плотников есть один — заправила, который и определяет, какой быть деревне, как должны лежать венцы и куда будут смотреть окна домов — на улицу или в огороды.

А дымила деревня потому, что был банный день, между домами бегали полуголые бабы со своими вечными постирушками, мужики голяком вываливались из тесных банных дверей и, окутанные клубами пара, ныряли в сугробы, прожигали их своими раскаленными телами до самой земли.

Весь день Каппель провел на коне. К вечеру у него поднялась температура, тело горело, будто он только что побывал в бане и, как те голозадые волосатые мужики, готов прыгнуть в колючий, недобро шевелящийся сугроб.

С коня Каппеля снимали сразу несколько дюжих мужиков, боясь уронить генерала. Острая боль просаживала его тело насквозь, от ног до самых ключиц, но Каппель и вида не подавал, что ему больно, досадовал только — нет у человека на ногах нескольких жалких костяшек, и все — ему уже не на что опереться, не на что ступить, человек заваливается на бок... Было отчего застонать. Каппель дал снять себя с коня, но, очутившись на земле, такой надежной, прочной, он неожиданно почувствовал, что земля-то непрочная, охнул неверяще и неуклюже повалился на бок. Бойченко еле успел его подхватить под мышки, пробормотал укоризненно:

— Ваше высокопревосходительство, аккуратнее надо...

Минут через десять пришел доктор Никонов, измерил у генерала температуру, нахмурил блестящую красную лысину — вся кожа у него лесенкой сползла на лоб, — потом, приподняв бровь, сказал:

— Ничего страшного. Обычная температура, реакция на перенесенную операцию.

Вечером, когда Каппель проводил совещание с командирами частей, никто не обратил внимания на тихий кашель, который генерал все время загонял в кулак: как только кашель возникал у него в груди, Каппель тут же подносил ко рту руку, взгляд у него делался особенно внимательным, пристальным.

— Наша промежуточная цель — Нижнеудинск, — сказал он на этом совещании. — Нам надо обязательно выйти к Нижнеудинску... Вполне возможно, что крас-

ные нас там ожидают — у них есть очень толковые командиры, которые хорошо просчитывают наши шаги — они-то и постараются устроить нам ловушку.

Войцеховский поддержал главкома.

— Я тоже считаю, что красные готовят нам встречу у Нижнеудинска, — сказал он. — Потому на нас и перестали нападать партизаны бывшего штабс-капитана... забыл, как его фамилия... — Войцеховский наморщил лоб.

— Дело не в фамилии, Сергей Николаевич, — тихо произнес Каппель, вновь приложил ко рту кулак. Кашель у него был сухой, дробный, неприятный. На лбу мерцал пот. — В общем, нас там ждут. Ждут-с!

Над столом, за которым сидели командиры частей, трепетали, потрескивая яркими крылышками пламени, две висячие лампы-десятилинейки: здешние крестьяне нашли в тайге «керосин-воду» — светлую, пахнущую маслом жидкость, зачерпнули малость старым берестяным кувшином — все равно кувшин на выброс, не жалко было, черкнули кресалом о кремень, брызги искр пальнули в ковшик. Жидкость, маленьким озерцом поблескивающая в ковшике, неспешно занялась пламенем.

Это была первосортная нефть.

Так что в чем, чем, а в керосине, без которого не обходится ни одна деревня, здешние мужики не нуждались — ее заменяла нефть. «Керосин-вода».

Единственное, что было плохо, — нефть горела неровно. Керосин горел так, что отблеск пламени можно было угольком нарисовать на стене, а нефть щелкала, стреляла, огонь в лампе то поднимался, то опадал, создавая на стенах избы тревожную игру теней — словно здесь существовал некий второй мир, параллельный, враждебный людям, но люди относились к нему спокойно — они перенесли, пережили столько всего, что бояться каких-то жалких теней им не пристало.

Когда Каппель остался один, к нему снова пришел доктор Никонов, стянул с головы папаху, которую он

насаживал на самые уши, чтобы не отмерзали мочки, проговорил неожиданно виновато:

— Простите, ваше высокопревосходительство...

Генерал не понял виноватого тона либо понял, но не принял его, спросил ровным голосом:

— За что простить, доктор?

Доктор перевел взгляд на ноги Каппеля, укрытые одеялом.

— Другого выхода у меня... у нас не было. Только операция.

На лбу генерала появилась скорбная вертикальная морщина, пролегла чуть косо между бровями, образовала скобку, светлые глаза потемнели.

— Я понимаю, — произнес он.

— Иначе антонов огонь, — добавил доктор, — и как неизбежность — полная ампутация ног.

— Я понимаю, — повторил генерал, — я все понимаю. — Он тихо кашлянул в кулак.

Нет бы Никонову обратить внимание на этот мелкий, противный, какой-то чужой кашель, но он не обратил, занялся ногами генерала — их надо было перебинтовать. Хотя опытный был доктор, собаку съел на врачевании, умел чинить не только покалеченных войной людей, собирая их по кусочкам, но и лечить любые болезни.

Вскоре доктор ушел. Каппель остался один. Бойченко принес ему кружку крепко заваренного чая, настоящего, китайского, привезенного здешним лавочником из Урянхая — от вкусного, хорошо настоявшегося духа у генерала даже защипало ноздри; рядом Бойченко поставил сплетенную из коры вазочку с конфетами и печеньем.

И конфеты и печенье были довоенными, уже забытыми, вид их родил в Каппеле скорбное воспоминание — где сейчас находится Оля, что с ней? Жива ли? Виски сжало — он бы жизнь свою отдал только за то, чтобы Оля была цела, чтобы выходила детишек. А он... он свое отжил. Дальнейшее же существование на костылях, с покалеченными ногами Каппель представлял себе очень смутно.

Генерал прижал пальцы к горлу — там возникло что-то теплое, давящее, и он тихо застонал, на этот раз Каппель словно услышал себя со стороны, стиснул пальцы правой руки в кулак, потом сжал пальцы левой, встряхнул оба кулака, приказывая себе не расслабляться... Но не тут-то было. Воля у генерала имелась, конечно, железная, но не все можно было подчинить воле, вот ведь как...

Он закрыл глаза и вдруг увидел зимний снежный сад. Тихие яблони, их тяжелые ветки были придавлены пышными, очень громоздкими шапками снега; вдалеке, за седыми стволами яблонь, виднелся неровный, придавленный сугробами забор. Он сразу узнал этот сад, не надо было даже напрягать память — это был сад старика Строльмана. Горло генералу вновь что-то сжало, теплая тяжесть натекла теперь уже в виски, не только в глотку, на глазах должны были вот-вот навернуться слезы, и генерал, борясь с ними, борясь с самим собою, вновь крепко сжал кулаки.

Сад, который он сейчас видел, был неподвижен, просматривался насквозь, каждая деталь была заметна — вон свежий снег испятнала заячья топанина — заяц бежал от яблони к яблоне, от ствола к стволу, пытаясь чем-нибудь поживиться, отгрызть хотя бы кусок коры и заморить червячка, но убежал ни с чем: старик Строльман был опытным садоводом, знал, как оберегаться от косых — все яблоневые стволы были у него густо побелены известкой — штукой для заячьего брюха совсем негодной. На одной из веток висело несорванное, не замеченное осенью, желтоватое яблоко — кажется, поздняя грушевка.

Вообще-то грушевка — сорт ранний, но старик Строльман знал кое-какие яблочные секреты, что-то с чем-то скрещивал, что-то добавлял, что-то отнимал, убирал, и ранние сорта у него становились и ранними и поздними одновременно — настолько поздними, что последний плод можно было сорвать перед самым снегом.

Неожиданно вдалеке, у забора Каппель увидел женщину, тихо плывущую по снегу — она совсем не проваливалась в него, плыла и плыла, и у него радостно сжалось сердце: это была Оля.

— Оля-я-я! — закричал он, но собственного голоса не услышал, с языка сорвалось что-то невнятное, почти безголосое, Каппель поморщился досадливо — не только он себя не услышал, жена тоже не услышала его. — Оля-я-я-я! — закричал он что было силы, и это, кажется, подействовало. Ольга Сергеевна остановилась, поднесла к глазам ладонь, поискала взглядом мужа, увидела его и, обрадованно выбросив перед собою руки, побежала к Каппелю.

Почувствовав, как виски у него обдало жаром, Каппель радостно охнул и так же, как и жена, вытянув руки перед собой, понесся навстречу Оле.

Они почти встретились — оставалось всего ничего, надо было одолеть всего метров пять, не больше, как вдруг Ольга Сергеевна пропала, растаяла, как дым в пространстве, даже тени, даже легкого намека, этакого движения воздуха не осталось... Каппель разочарованно остановился, ощупал пространство перед собою, ничего не нащупал — воздух был пуст, немея от горя, от нежности к женщине, которую только что видел, прокричал что было силы:

— Оля-я-я!

Воздух колыхнулся; с ближайшей яблони, с толстых неподвижных веток от его крика посыпался снег, завалил, заровнял заячью топанину. Каппель ощутил, как у него обиженно дрожат губы, а сердце колотится сразу во всем теле — в висках, в затылке, в ключицах, в разъеме грудной клетки, и от этого больного звука, разламывающего его, не убежать, не спастись.

— Оля-я-я-я! — вновь прокричал он, серые краски зимнего сада сделались неясными, расплылись, горло у генерала немо дернулось, родило тихий булькающий звук, он почувствовал, как повлажнели его глаза: в глубине сада напоследок возникло светлое неясное пятно, шевельнулось живо, будто бы чья-то душа вытаяла из снега на поверхность, и тут же пропало — озябшая на

обледенелом насте душа испугалась холода и нырнула обратно.

Каппель кричал еще, но ничего не слышал — крика, собственно, и раньше не было, раздавалось какое-то странное сипение, шевеление воздуха, способное родить немощный звук, бульканье, а сейчас не было даже бульканья — Каппель слабел стремительно, на глазах, как принято говорить.

Он очнулся, обвел взглядом пустую, освещенную двумя жарко потрескивающими лампами избу. Подумал о том, что о новом, уже наступившем 1920 годе в походе никто и не вспомнил, ни один человек — и стопки водки никто не выпил, и сухарика лишнего, чтобы потешить себе желудок, не было: приход года 1920-го остался незамеченным.

Внутри родился кашель — глухой, несильный, отдающий простой зимней простудой — кто из нас не простывал в январе? — Каппель приложил ко рту кулак, тело его дрогнуло от слабой боли, он сморщился и сдержал кашель внутри, чем причинил себе еще большую боль, закусил губы, сдавил и совсем не обратил внимания, как на подбородок, в жесткий, с легкой курчавинкой волос, капнула кровь. Вздохнул, зашевелил немо губами:

— Оля... Олечка... Если бы ты знала, как мне тебя не хватает.

Хорошо подготовленные к бою, отдохнувшие, накормленные красные полки встретили каппелевцев в тридцати километрах от Нижнеудинска. Командирам полков показалось, что смять усталых, больных, голодных, обмороженных, ослепших от холода, обремененных длинным обозом каппелевцев ничего не стоит — один выстрел, два плевка, три чиха — и каппелевцы побегут назад в тайгу, откуда так неудачно выкатились, а там их поштучно, поименно — каждого в отдельности — достанут лютые бородачи Щетинкина. Однако велик был порыв каппелевцев, велика была их ярость —

они со штыками, почти без выстрелов пошли на пулеметы и смяли красные полки.

Это было неслыханно, невиданно — сытые, хорошо отдохнувшие на зимних квартирах, отъевшиеся в тепле, на жирных заморских харчах, переданных им чехословаками, красноармейцы побежали от полудохлого, шатающегося от усталости войска бегом, теряя винтовки, подсумки с патронами, пулеметы и буденновские шлемы, украшенные большими матерчатыми звездами.

Драпали красноармейцы так, что мелкий снег поднимался за ними вихрем до самых облаков — побыстрее под прикрытие одноэтажных городских кварталов, поставленных в Нижнеудинске ровно, будто по линейке — видно, так оно и было, их строили по линейке, — но и там им не удалось задержаться: белые выбили противника из города.

Когда об этом доложили Каппелю, который, придя в сознание, пытался с помощью Насморкова выпить стакан чаю с черными сухарями, генерал улыбнулся скупо — улыбка эта натянула кожу на бледных блестящих скулах — и прошептал едва слышно:

— Иначе быть не могло.

Эту фразу — с точностью, как говорится, до запятых, — записал в своем дневнике полковник Вырыпаев. В этой фразе и был целиком сокрыт генерал Каппель.

Интересно, какой бы стала Россия, если б случилось невозможное и все люди, оказавшиеся на одном участке истории в одном жизненном пространстве, помирились бы, более того — объединились бы?

Жаль, что за одним столом не сумели попить чаю либо чего-нибудь покрепче градусами Колчак и Блюхер, Тухачевский и Каппель, Лазо и Пепеляев, Чапаев и атаман Семенов. Случись такое, может быть, и многие беды были бы отведены от России.

Россия была бы совершенно иной страной.

Но этого не произошло.

Русские продолжали бить русских, только кровь сыпалась в разные стороны страшными красными брызгами.

Нижнеудинск — это железная дорога, это стычки и с красными, и с партизанами, и с чехословаками, которые волокли тысячи вагонов награбленного барахла к морю — по некоторым сведениям, чехословаки вывезли около тридцати тысяч вагонов с награбленным добром, не говоря уже о золоте, драгоценностях и валюте, — они очень желали благополучно выскочить с этим грузом из России.

Чтобы это свершилось, они, кажется, готовы были продать не только Колчака, но и собственных детей — ведь всякая расшитая золотом тряпка, всякая связка книг, вывезенная из России, — это деньги, деньги, деньги... Чехословаки оказались мародерами высочайшего класса. Более гнусного поведения представителей рода человеческого в ту пору просто не существовало. И если бы кто-нибудь попытался доказать Каппелю обратное, генерал просто бы оборвал доброхота и указал ему на дверь.

Тем временем от тифа скончался начальник Самарской дивизии генерал-майор Имшенецкий. Каппель хорошо знал этого спокойного немногословного человека, пришедшего на фронт вместе с сыновьями — вся семья Имшенецких воевала в составе Самарской дивизии — и одного за другим потерявшего их. Теперь вот ушел и сам генерал.

Каппель собрал в Нижнеудинске совещание. Одевался он с трудом — отсутствие «мелких костяшек» затрудняло даже процесс одевания, и это выводило генерала из себя. Бойченко достал ему пару новеньких костылей, очень точно подходивших Каппелю по росту, но каждый раз, когда генерал брал их, то ощущал, как на шее у него начинала дергаться какая-то заполошная жилка, а в горле что-то по-синичьи жалобно попикивало, словно и не человеком он был, а птахой неразумной, — генерал плотно сжимал губы и отшвыривал костыли в сторону.

В дверь ему кто-то постучал, Каппель протестующе дернул головой: опять, наверное, какой-нибудь помощ-

ник-доброхот явился, чтобы помочь ему, внутри возникло раздражение, но в следующий миг Каппель взял себя в руки, спросил спокойно:

— Кто там?

— Это я, — послышался голос Вырыпаева.

— Что случилось, Василий Осипович?

— Умер генерал Имшенецкий.

Внутри, где-то под ключицами, родился стон, теплым округлым клубком пополз вверх. Каппель стиснул зубы. Пространство перед ним сделалось пятнистым, каким-то дымным, неверным, в следующий миг пятна эти всколыхнулись, сдвинулись в сторону, движение их убыстрилось, и генерал почувствовал, как из-под больных ног его выскальзывает пол, он молча развернулся, — это последнее, что он мог сделать, — и боком повалился на кровать.

Очнулся он от того, что сквозь заложенные уши, как сквозь вату, к нему откуда-то издали пробился голос Вырыпаева:

— Владимир Оскарович, что с вами? Владимир Оскарович...

Каппель выкашлялся в кулак и, упершись локтем в низкую спинку кровати, поднялся, посмотрел на толстое домашнее покрывало, расшитое шелковыми конями, — вид у него был сконфуженный:

— Командиры частей на совещание собрались?

— Так точно!

Генерал неуклюже выпрямился, пошатнулся.

— Я сейчас буду, — произнес он хрипло и очень тихо, виновато, — приду через несколько минут...

Перед глазами у него все плыло, грудь саднило от боли, боль сидела внутри, пряталась между костями, гнездилась в крестце и под мышками — она была везде...

— Помощь нужна, Владимир Оскарович? — спросил Вырыпаев. Вопрос был задан, скажем так, неосторожно, но не задать его полковник не мог.

— Я же сказал — сейчас буду. — В хриплом шепоте Каппеля проскользнуло раздражение.

Пред собравшимися он появился спокойный, с побелевшим от напряжения лицом, с негнущимися ногами, обутыми в просторные новые бурки, попросил всех подняться и почтить память генерала Имшенецкого минутой молчания.

Затем собравшиеся высказались по поводу дальнейших действий — выступали, как и прежде, по-флотски: первыми — младшие командиры, потом — старшие. Мнение было общим — надо попытаться оседлать железную дорогу и дальше двигаться по ней.

— Подойти к железной дороге нам не дадут ни красные, ни чехословаки, они спелись друг с другом и выступают теперь единым фронтом, — сказал Каппель. — Мы, конечно, постараемся взять и одну станцию, и другую, и третью... Но это будут разовые победы. Удержать железную дорогу нам не удастся потому, что мы не имеем артиллерии. А у наших противников — добрых полтора десятка только одних бронепоездов. — Каппель приложил ко рту кулак, откашлялся.

Он очень плохо выглядел, это отметили все, кто находился сейчас в просторной светлой комнате с тяжело прогнувшейся длинной матицей, державшей на себе потолок, — впрочем, собравшиеся выглядели не лучше: обмороженные лица, черные язвы на скулах, тусклые глаза, заострившиеся, как у покойников, носы, полопавшиеся, в жестких скрутках кожи губы.

— И все-таки мы попробуем захватить железную дорогу, — сказал Каппель, поглядев на лица сидящих командиров. Генерал понял, что сама попытка уклониться от этого будет непонятна этим людям, улыбнулся скупо, через силу...

Попытка завладеть одним из железнодорожных разъездов была сделана на следующий же день. Стоял мороз — крутой, посильнее, чем на Кане, от сугробов поднимался голубоватый кудрявый дым, растворялся, прилипал к редкой, похожей на кисею небесной наволочи, сквозь которую неярко просвечивало скудное белесое ядрышко солнца. Немой лес, по которому шли каппелевцы, начал наполнятся птичьими звуками, треском — с солнцем этим птахам и мороз был не страшен...

С железной дороги в лес приносились паровозные гудки — встревоженные, частые: то ли каппелевцев уже засекли и готовились к встрече, то ли движение по рельсам было таким плотным, что поезда шли впритык один к другому.

Разъезд, к которому устремлялись каппелевцы, не имел названия — только номер, из штатных железнодорожников там было всего три человека, которые, сменяя друг друга, несли дежурство, переводили стрелки, загоняли какой-нибудь второстепенный эшелон на запасную нитку, чтобы пропустить эшелон поважнее с каким-нибудь крикливым чешским полковником во главе. В редких промежутках, когда удавалось перевести дыхание, железнодорожники гоняли морковные чаи, поскольку настоящий чай уже кончился, топили печку, чтобы не остыло жилье, и играли в псддавки.

Эти три мужика в драной одежде никого не боялись — ни белых, ни красных, ни чехов, ни сербов, ни французов (были здесь и такие), — перестали бояться.

Вдруг на разъезд налетел бронепоезд с замызганным чехословацким флажком, воткнутым на паровоз в какую-то железную рогульку у кабины машиниста, накрыл железнодорожные пути несколькими густыми белыми клубами, пушки завозились в бойницах, ощупывая тупыми носами тайгу.

Следом за первым бронепоездом прикатил второй, послабее вооружением, но все равно страшный, гулко плюющийся белым паром, громыхающий несмазанными железными внутренностями — паровоз, видимо, давно не был в ремонте, — хоть и поменьше был второй бронепоезд, и вооружением послабее, а брал он своей настырностью — с ходу послал два снаряда в тайгу, немного погодя загнал туда еще три — на разъезде было слышно, как лопались перемороженные стволы деревьев, попавшие в зону разрывов.

Мужики, сидевшие в станционной будке, невольно втянули головы в плечи — появление на маленьком разъезде сразу двух бронепоездов им не понравилось.

По тайге ударил из всех стволов первый бронепоезд — странно даже, что он замешкался со стрельбой, он должен был давно дать залп.

Тайга застонала.

Старший железнодорожник невольно схватился за голову руками, покосился на своих товарищей:

— Как бы, братцы, не пришел наш последний... Из той самой песни, которую поют большевики, а потом волокут людей ногами вперед. Что-то тут затевается.

Человеком он был опытным, что означает появление двух бронепоездов в этой рельсовой глуши и стрельба по деревьям, знал, перекрестился испуганно:

— Свят-свят-свят!

На всякий случай втянул голову в плечи.

Каппелевцы сразу поняли, почему их встречают так торжественно, загодя подготовившись: вчера, ближе к вечеру, над их колонной дважды пролетал аэроплан. Прошел он так низко, что кое с кого, наиболее высоких и головастых, струей воздуха, идущего от винта, посдирал шапки.

Палить из винтовок по самолету не стали — эти летающие этажерки, обтянутые промасленной тканью, сбить из винтовки невозможно, проще сбить камнем или городошной битой, — аэроплан благополучно ушел к своим.

Это был красный разведчик. Сведения, что он получил, передали чехословакам.

Каппель уже не мог сидеть в седле — ослабел, он ехал на санях, укутанный меховой полостью, он больше походил на мертвого человека, чем на живого.

В мозгу плескались усталые мысли — отрывочные, неровные, рождали у генерала досаду: он никак не мог собраться, как обычно бывало перед боями, и это причиняло ему боль. Он сипел, давился воздухом, в следующее мгновение затихал, только голова подрагивала в такт лошадиным шагам, закрывал глаза, но через несколько секунд вновь открывал их, пытался всмотреться в макушки сосен, проплывавших над санями, пожевал впустую губами — есть он не хотел, ничего не брал в рот.

Вскоре около разъезда вскипел снег — бронепоезда били из пушек по тайге не переставая. Один из снарядов — неприцельный, шальной — всадился в обоз, разметал несколько лошадей, развесил по веткам деревьев розовые теплые кишки и купеческое добро, вывернутое из одного богатого возка.

Стало понятно — разъезд взять не удастся.

Каппелю доложили о бронепоездах и обстреле. Генерал некоторое время всматривался в качающиеся макушки деревьев, нетвердо подпиравшие небесную высь, — до него все доходило сейчас медленно, через фильтр боли, с запозданием, и, сжав глаза в щелки, прошелестел внятно, очень четко:

— От разъезда немедленно отойти. Бронепоезда нам без артиллерии не одолеть.

Колонна развернулась, всадилась головой в черный лес, в громоздкие шевелящиеся сугробы, скрывающие людей с головами; части двинулись параллельно железной дороге. Снег визгом отзывался на шаги солдат, плющился, стрелял тугими султанами в стороны, вверх да над людьми; над шапками и папахами позванивало погребально небольшое облако пара.

Не все чехословаки относились к Каппелю так, как относился тугодумный, с широким разъевшимся лицом, перепоясанным черной повязкой, Ян Сыровой или авантюрист Радола Гайда, бывший фельдшер, сумевший стать строевым генералом, хотя и понятия не имел, что это такое, — он же Рудольф Гейдль; было в этой армии полно командиров, которые знали Каппеля еще по Волге и восхищались им.

Когда полковник Вырыпаев с небольшим отрядом разведчиков появился на заснеженной маленькой станции, на путях под парами стоял чехословацкий эшелон. Станция, как и крохотный разъезд, подле которого бронепоез-

да стали крушить почем зря тайгу, состояла, кажется, из одной лишь трубы, всаженной в гигантский сугроб, и трех чугунных путевых веток. Труба на станции отчаянно дымила, пускала в небо красный светящийся сор, и непонятно было, где находится печка и кто кидает в нее дровишки, но служивый люд на станции имелся.

Вырыпаев с разведчиками появился у самых вагонов, некоторое время напряженно вглядывался в лица людей, высунувшихся из проемов теплушек.

Посреди эшелона находились, прочно сцепленные друг с другом, два пассажирских вагона. Увидев Вырыпаева, с подножки одного из вагонов спрыгнул офицер в бекеше с барашковым воротником и, призывно помахивая рукой, побежал к Вырыпаеву.

— Господин полковник, мы с вами встречались в Казани, — проговорил он на хорошем русском языке. — Я помню вас. А вы?

Вырыпаев этого человека не помнил, но тем не менее наклонил голову в вежливом кивке:

— Я тоже вас помню.

— Как вы здесь оказались? — спросил чехословацкий офицер.

— Случайно. — Вырыпаев не выдержал, усмехнулся, на лопнувшей нижней губе у него показалась кровь. — Нам нужны лекарства... Помогите, если это возможно. Генерал Каппель тяжело болен, находится в критическом состоянии...

— О-о-о, генерал Каппель! — не удержался от громкого возгласа офицер. — Я им всегда восхищался. — Вид у офицера сделался озабоченным.— Что с ним?

Помедлив — не хотелось говорить об этом, — Вырыпаев промокнул платком кровь, выступившую на губе, и сказал:

— Обморожение. Ампутированы пальцы на обеих ногах и пятки.

Чехословак охнул, прижал к щекам ладони:

— Бедный генерал!

— Нам надо его спасти!

— Господин полковник, я — начальник этого эшелона, — чехословак показал рукой на пассажирские вагоны, хорошо выбритое лицо его было искажено состраданием, — я предлагаю вам, генералу Каппелю и еще двум-трем людям из сопровождения переселиться к нам. Гарантирую безопасность, тепло, еду и медицинское обслуживание... — Чехословак с симпатией посмотрел на Вырыпаева.

Лицо у Вырыпаева дрогнуло, в уголках глаз появились мелкие, обозначившиеся двумя блестками слезы, в следующее мгновение блестки замерзли.

— Спасибо, — сказал он, — но этот вопрос должен решить сам генерал...

Каппель от любезного приглашения чехословацкого офицера отказался.

— Если мне суждено умереть, то я умру среди своих солдат. Ведь умер же генерал Имшенецкий среди своих солдат? Умер. Умирают от ран и тифа среди своих сотни других бойцов... Так хочу и я. Я тоже хочу умереть среди своих солдат — своих, а не чужих.

Глаза у него погасли — замерцало в них что-то далекое, тоскливое и в следующую минуту расплылось, исчезло — Каппель вновь потерял сознание.

Утром двадцать второго января 1920 года Каппель пригласил к себе Войцеховского. Тот явился незамедлительно — отощавший, нескладный, сделавшийся от голода выше ростом.

— Сергей Николаевич, я, видимо, до Иркутска не дотяну, — сказал Каппель.

Войцеховский вскинулся:

— Даже думать об этом не думайте. И не могите, Владимир Оскарович!

Но Каппель не слушал его.

— Сейчас, пока я нахожусь в сознании... — Каппель закашлялся, затрясся всем телом от удушья, подступившего к нему изнутри, притиснул к губам ладонь. Когда откашлялся, сложил ладонь ковшиком и посмотрел в него.

Сморщился. — Пока я нахожусь в сознании, я должен подписать приказ о назначении вас главнокомандующим.

Войцеховский на это ничего не сказал, лишь потряс отрицательно головой.

— Владимир Оскарович... — пробормотал он через полминуты смято и опять умолк.

— У меня к вам просьба, — попросил Каппель, — сделайте все, чтобы выручить Александра Васильевича Колчака.

— Знать бы, где он!

— Подойдете к Иркутску — узнаете.

Каппель произнес эти слова так, таким тоном, будто его уже не было в живых.

У Войцеховского нехорошо сжало сердце, он отвел глаза в сторону, пробормотал что-то невнятное, лишенное словесной оболочки, — он не мог говорить, потом сделал несколько суетливых непонятных движений и угрюмо опустил голову.

— Дай вам Бог здоровья, — сказал ему Каппель. — А теперь идите.

Войцеховский ушел, Каппель остался один. Устало — даже короткий разговор лишал его сил — закрыл глаза, закашлялся. Кашель этот, тихий, худой, гнилостный, пробивал все тело, перехватывал дыхание, из глаз во все стороны летели черные брызги, губы у Каппеля были влажными. Едва он закрыл глаза, как вновь увидел знакомый зимний сад и ладную женскую фигуру, устремившуюся к нему по глубокому снегу.

— Оля-я! — закричал Каппель отчаянно, изо всех сил, протягивая руки к жене, и, как всегда, не услышал своего голоса.

Но Ольга Сергеевна на этот раз услышала его — протянула руки ответно, лицо ее озарилось радостью.

В горле у Каппеля забулькали слезы; в следующее мгновение они превратились в кашель, в груди что-то рвануло — и кости и мышцы сдавило болью, — он понял, почему Ольга зовет его, протягивает в немой мольбе руки... Ее нет в живых.

Нет в живых...

Люди, по сути выкравшие Ольгу из Екатеринбурга, убили ее, хотя неписаный закон всякой вражды, всякой войны гласил: женщин и детей не трогать, они здесь ни при чем.

Теперь Ольга находится там, по ту сторону привычного мира с его бедами и болью, а он — здесь.

Ольга Сергеевна, неслышно проскользив по глубокому мягкому снегу, по самой его поверхности, ни разу не провалилась, остановилась рядом с мужем — рукой дотянуться можно, — глянула призывно в глаза.

— Я скоро... Я скоро приду к тебе, — произнес он тихо.

По лицу Ольги пробежала сожалеющая тень, брови сомкнулись в хмуром движении, и она исчезла.

Вечером двадцать первого января 1920 года Каппель подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта Войцеховского главнокомандующим вооруженными силами колчаковского правительства.

Сам Колчак в это время уже находился в Иркутске, в тюрьме, его беззастенчиво сдали союзники — люди, у которых, как он ошибочно считал, хотя бы по долгу службы должна иметься честь, — именно поэтому им верил, чем и погубил себя.

Морозы продолжали клещами стискивать землю. А колонна каппелевцев, поредевшая, теряющая людей, все двигалась на восток. Иногда она приближалась к железной дороге, но к путям не выходила — каппелевцев словно пасли чехословацкие бронепоезда.

При первой же возможности в небо взмывал аэроплан-разведчик, облетал колонну, и через двадцать минут сведения уже находились на бронепоездах.

Путь каппелевцев был отмечен трупами. Люди оставались лежать на обочинах огромного снежного тракта, пробитого в сугробах колонной, — непогребенные, не отпетые батюшкой, непрощенные, погибшие за Россию.

Тогда все погибали за Россию, ибо выше цели, чем Россия, в ту пору не было.

В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое января Каппель бредил. Остановились в небольшой, утонувшей в бездонных снегах деревушке, примыкавшей к железнодорожному разъезду.

На разъезде ночевали сразу три эшелона, румынские. Румыны держались особняком, в молотилку не вмешивались — им и без того тошно было, это первое, а второе — они хотели, никого не трогая, побыстрее покинуть Россию. Желание их было вполне понятно.

Каппель чувствовал себя все хуже и хуже.

Доктор Никонов перестал появляться у него — слег сам. Хотя он и не верил в то, что может заразиться тифом, а не уберегся — как ни обрабатывал себе руки раствором карболки, как ни натягивал на лицо марлевую повязку, — сыпняк достал и его.

С Каппелем в одной избе — черной, пропахшей дымом, по самую трубу заваленной снегом, — ночевал и Вырыпаев.

Он сидел на стуле рядом с постелью, на которой лежал генерал, и устало клевал носом — то опускал тяжелую, словно налитую свинцом, голову, то, напрягаясь так, что в ушах начинало звенеть, поднимал ее, впрочем, через несколько мгновений его голова снова бессильно падала на грудь.

Ближе к утру Каппель, находящийся в горячечной одури, вдруг начал говорить очень связно, четко, звенящим молодым голосом — именно такой голос был у Каппеля, когда они жили в Самаре:

— Главное — держите прикрытыми фланги, ни в коем разе не давайте во время движения открывать фланги. Арьергард должен быть хорошо защищен пулеметами. Тогда ни один наш боец не погибнет.

Вырыпаев, высоко вздернув голову — тяжести как небывало, — смотрел на генерала. Потом вытащил из кармана лист бумаги, записал эти слова. За печкой трещали два сверчка, соревновались друг с другом в горластости, в звонкости. Беззастенчивый назойливый звук их, гвоздями втыкающийся в уши, вызывал ощущение тревоги,

тоски, холода. В избе почему-то стойко пахло плесенью.

Каппель, словно почувствовав, что на него смотрит Вырыпаев и ловит каждое слово, умолк.

Прошло полчаса. За печкой продолжали пронзительно трещать сверчки.

Неожиданно Каппель открыл глаза — чистые, осмысленные, печальные.

— Это конец, — прошептал он, — я умираю. Конец...

— Сейчас... Я сейчас, Владимир Оскарович, — заметался Вырыпаев, рывком стащил с вешалки свою шубу, натянул на плечи. — Я сейчас приведу врача.

На разъезде, на путях, продолжали стоять румынские эшелоны; чехословаки, пропуская своих, придерживали всех остальных, в том числе и своих союзников румын — в эшелонах этих обязательно должен быть врач, хотя бы один на три состава.

Вырыпаев вывалился в ночь, в холод; ветер швырнул полковнику в лицо горсть снега, запечатал ему рот, хлестнул по глазам, заткнул ноздри. Вырыпаев развернулся к ветру спиной, согнулся по-старчески и так, спиной, сделал несколько шагов.

— Это что же такое делается? — пробормотал он хрипло, отер рукою слезы с глаз. — Где же Божья милость?

В следующее мгновение он вновь развернулся и, пригнувшись к земле, прикрываясь от холода и колючего ветра локтями, двинулся к эшелонам. Сделалось немного легче дышать. Исстеганные глаза ломило, виски сдавливало что-то тугое, вызывающее страх и невольную дрожь.

Румынские эшелоны были едва видны в снегу и морозе. Паровозы охраняли сразу по нескольку часовых — румыны боялись, как бы чехословаки не увели их «тягловую силу»: от этих людей можно было ожидать чего угодно.

Показав настороженным часовым, что у него ничего нет в руках, никакого оружия, Вырыпаев приблизился к ним.

— Братцы... Братцы... — простонал он. — Мне нужен врач. Понимаете — врач!

Порыв ветра знакомо хлестнул ему в лицо, вновь заставил заслезиться глаза. Вырыпаев разжевал снег, попавший ему в рот, отер слезы с глаз.

— Врач, понимаете? Не понимаете? Ну как же так! — Полковник похлопал себя ладонями по бокам. — Как же мне объяснить вам, что нужен врач? Румынского-то я не знаю совершенно.

Через две минуты выяснилось, что румынского языка и не надо было знать.

Проведя несколько лет в России — сначала в лагерях, потом на фронте, общаясь с местным людом, румыны хорошо изучили не язык, а мат: им показалось, что в России жить без мата совершенно нельзя. И когда Вырыпаев с тоскою выматерился, мат дошел до них.

Старший из часовых — капрал, как понял по нашивкам Вырыпаев, — тощий, черный, заморенный, похожий на грача, совершившего долгий перелет, похрумкал валенками по снегу.

— Врач вон в том эшелоне, — сказал капрал по-румынски, повесил винтовку, которую держал на изготовку, за спину, ткнул рукавицей в самый дальний состав, стоявший на ветке, примыкавшей к лесу. — Там врач. Вагон его находится в середине поезда. — И добавил несколько слов матом.

Полковник все понял, бегом кинулся к дальнему составу, поднялся в темный теплый вагон и, не видя ничего, начал ощупывать руками пространство. Влажный спертый воздух вагона вызвал у него приступ кашля. Вырыпаев задохнулся, с трудом выколотил кашель из себя и просипел едва слышно:

— Есть тут кто-нибудь?

В ответ открылась дверь одного из купе, и в проеме показался человек, слабо освещенный огнем коптилки, спросил что-то по-румынски.

— Мне врач нужен, врач, — просипел Вырыпаев, голос у него был по-прежнему сдавленным — немощное птичье клекотанье.

Человек, выглянувший из купе на оклик, и оказался

врачом. История сохранила только его фамилию и первый инициал, фамилия, кстати, вполне русская, — Донец — К. Донец.

— Тяжело болен генерал Каппель... Умоляю — помогите! — Вырыпаев прижал руки к груди.

Румынский врач знал Каппеля — точнее, знаком с ним не был, но много слышал о генерале. Лицо врача обрело почтительное выражение, он быстро собрал инструменты, сунул их в баул и нырнул вслед за полковником в ночь.

Через двадцать минут Донец уже сидел около Каппеля, тыкал трубкой то в одно место, то в другое, то в третье, оттягивал пальцами кожу на груди, смотрел, остаются красные пятна после щипка или нет, — пятна не оставались, щупал пульс, потом слушал грудь больного ухом и недовольно шевелил губами.

Закончив осмотр, Донец сложил инструменты в баул. Лицо его было скорбным. Он молчал.

Не в силах больше выносить молчание, Вырыпаев в молящем движении прижал руки к груди:

— Ну что?

Доктор вновь недовольно пожевал губами и произнес тихим, каким-то чужим голосом — в отличие от капрала и его солдат, он довольно сносно говорил по-русски:

— Через несколько часов господин генерал умрет.

— Что-о?

Врач, подтверждая сказанное, качнул головой. Вырыпаеву показалось, что пол у него под ногами поехал в сторону, он схлебнул с губ соленую жижу, внезапно натекшую в рот, вновь воскликнул неверяще и одновременно жалобно:

— Что-о?

— К сожалению, одного легкого у господина генерала уже нет совсем, от другого осталась только третья часть. Через несколько часов он умрет.

Вот к чему привел тихий назойливый кашель, на который никто не обращал внимания, поскольку кашляли все — все были простужены, — не только ноги надо

было спасать, но и легкие, однако теперь говорить об этом было поздно.

— Наши эшелоны утром отойдут, — сказал Донец. — Предлагаю перенести господина генерала к нам в поезд, в наш лазарет. Чем сумею помочь больному, обязательно помогу, — Донец заторопился, давясь русскими словами, кашлем — совсем как у Каппеля, тихим, внутренним, — но... — Он споткнулся на полуслове, замолчал и красноречиво развел руки в стороны.

Все было понятно без всяких слов. Было слышно, как во влажной теплой тиши сипит в беспамятстве Каппель.

— Неужели никаких надежд? — спросил Вырыпаев, он не верил в то, что слышал; обычные, довольно скучные слова приговора, за которыми скрывалась жестокая суть, не укладывались у него в голове, он не мог смириться с тем, что слышал.

— Никаких, — подтвердил Донец. Вырыпаев услышал, как в глубине груди родился длинный надорванный всхрип, на ключицы надавила тяжесть.

— Господина генерала надо немедленно перенести к нам в эшелон, — сказал Донец. На этот раз Вырыпаев обратил внимание, что говорит врач все-таки с очень сильным акцентом. Ну почему в такие минуты в голову лезет всякая второстепенная чушь, разная мелочь?.. Разве это имеет какое-то значение? — Как только рассветет, мы тронемся дальше, — добавил Донец.

— Да, да, — растерянно кивнул Вырыпаев.

— Вы, господин полковник, если желаете, можете переселиться в эшелон вместе с господином генералом.

— Да, да. — Вырыпаев вновь растерянно кивнул.

— И имейте еще в виду, — сказал Донец, — я к господину Каппелю отношусь с большим уважением. — Доктор, видимо, настолько сжился с Россией, что даже свыкся с извечным русским: «А ты меня уважаешь?» — Прошу верить мне.

— Да, да. — Вырыпаев опять кивнул. Он никак не мог прийти в себя от услышанного.

В темноте, в гоготе ветра и охлестах жесткого, как песок, снега, ведьминском вое — затевалась пурга, а январские метели здесь бывают обломными, дома пурга запечатывает по самые трубы, иной несчастный в трех метрах будет находиться от своей «фатеры», а трех метров этих так и не одолеет: мороз, ветер и снег окажутся сильнее, Каппеля на руках перенесли в санитарный вагон — один на три румынских эшелона, — положили на нижнюю деревянную полку.

Полки вагона, пропахшие карболкой, еще чем-то едким, дегтярным — видно, румыны часто проводили дезинфекции, борясь со страшным сыпным тифом, вонью дезинфицирующей жидкости здесь, кажется, пропитались даже гвозди, — располагались в три ряда, друг над другом. Все ряды были заняты, но Каппелю отвели нижнюю, самую удобную полку.

Вырыпаеву рядом с полкой поставили табурет, полковник тяжело опустился на него. Закрыл глаза — от слабости пространство перед ним заколыхалось пьяно. Надо было перевести дыхание.

Минут через пять Вырыпаев ожил, достал из кармана часы, щелкнул крышкой.

Времени было шесть часов утра. Шесть часов утра двадцать шестого января 1920 года.

Генерал лежал тихо, лишь иногда коротко вскрикивал, вскриком этим давил в себе боль и умолкал. Вырыпаев прошептал:

— Эх, Владимир Оскарович, Владимир Оскарович. — И, увидев, что перед ним опять начали шевелиться угрожающе гибкие дымные кольца, вновь закрыл глаза.

В семь часов утра румынские составы покинули маленький «номерной» разъезд.

В одиннадцать часов пятьдесят минут утра двадцать шестого числа, когда эшелон подходил к разъезду Урей, Каппеля не стало — у тридцатисемилетнего генерала остановилось сердце. Легкие у него уже совершенно не работали — были спалены жестоким жаром.

Перед кончиной Каппель начал что-то шептать — очень тихо, но внятно. Вырыпаев наклонился к нему.

— Пусть войска знают, что я был предан им, что я любил их и своей смертью среди них доказал это.

Это было последнее, что Каппель сказал в своей жизни, полковник Вырыпаев записал эти слова.

Вырыпаев не выдержал, заплакал. Белый день померк, сделался черным, из него будто высосали весь воздух. Вырыпаев задыхался, спина у него горбилась старчески, он скрипел, всхлипывал, сдавливал зубами стон и не мог сдержать его.

Вот и все.

Полковник — молодой еще, по сути, человек, хотя на щеках у него выступила седая щетина, — сгорбился еще больше, превращаясь в изрубленного жизнью старика, но в следующий миг выпрямился и произнес по-вороньи каркающе, резко, сжав кулаки, — на него словно что-то нашло:

— Нет, не все!

Каппеля уложили в простой, крестьянский, наспех оструганный гроб, и тело его вместе с отступающей армией двинулось дальше, к Иркутску. Войцеховский помнил об обещании, данном генералу Каппелю — тогда еще живому: сделать все, чтобы вызволить из беды Колчака.

Тогда ни Войцеховский, ни Каппель не знали, где конкретно находится адмирал, сейчас Войцеховский знал точно: в Иркутске, в тюрьме — сдан союзниками, французом Жаненом, чехословаками Сыровым и Гайдой, сдан в обмен на гарантию, что с них не снимут их собственные штаны да при выезде из России не станут потрошить чемоданы, набитые награбленным.

Войцеховский подошел к Иркутску и разбил лагерь. Войска стали готовиться к штурму. Власть в Иркутске менялась так часто, что горожане не успевали уследить, кто утром садится в главное городское кресло и подписывает разные «указивки», тысячами экземпляров потом украшавшие заборы.

Дольше всех продержался Политцентр.

Девятнадцатого января (Каппель был еще жив) была

сформирована новая власть — Военно-революционный комитет и в тот же день создана «Чрезвычайка» — ЧК. Колчак, сидевший в камере, перешел в ведение «Чрезвычайки». Вместе с ним и Виктор Пепеляев — премьер Сибирского правительства, брат генерала Анатолия Пепеляева.

Еще не успев ничего предпринять, Войцеховский неожиданно получил ультиматум от красного командующего Зверева: «Приказываю немедленно сложить оружие!»

В ответ Войцеховский лишь усмехнулся и, не дочитав ультиматум до конца, швырнул его в мусорную корзину. Произнес хмуро:

— Этот человек не ведает, о чем говорит... Кто такой Зверев? Первый раз слышу... Похоже, он здорово набрался, прежде чем решил сочинить эту бумажку.

Зверев прислал второй ультиматум, не такой лобовой и беспардонный, видимо, составленный на трезвую голову. Войцеховский вызвал к себе Вырыпаева.

— Василий Осипович, вы мастак по таким делам... Нужно сочинить ответный ультиматум. Наши требования: немедленное освобождение Колчака и арестованных с ним лиц — Пепеляева и гражданской жены адмирала Тимиревой — это раз. Два — немедленное снабжение нашей армии продовольствием и фуражом, три — выплата контрибуции в двести миллионов рублей, четыре — прекращение лживой клеветы и пропаганды в отношении нас... — В вопросах чести Войцеховский был также щепетилен, как и Каппель. — Если эти требования не будут выполнены, мы начнем штурм Иркутска.

Зверев отказался выполнить требования Войцеховского. О ситуации, сложившейся в Иркутске, было доложено Ленину, тот дал шифрованную команду немедленно расстрелять Колчака и его министров — арестован-то был целый поезд. Председатель иркутской «Чрезвычайки» Чудновский составил список из восемнадцати человек, но, поразмышляв немного, выделил из него только двоих: Колчака и Пепеляева.

В ночь на седьмое февраля, а точнее, в четыре часа тридцать минут седьмого февраля оба были расстреля-

ны на берегу реки Ушаковки, а их трупы сброшены в Ангару, в прорубь.

Колчаковские министры, которых Чудновский вычеркнул из списка, были расстреляны позже, летом, в июне.

Как и обещал, Войцеховский пошел в атаку на Иркутск, взял станцию Иннокентьевская, от которой до Иркутска, до городских домов можно было доплюнуть без всяких усилий. В Иркутске было объявлено осадное положение. Началось сражение, очень жестокое.

Пленных не брали, смерть предпочитали ранению. Натиск обмороженных, голодных, изнеможденных людей, привезших на санях гроб с телом Каппеля, был настолько велик, что красноармейские части отступили.

Иркутск был практически обречен.

Но опять встряли чехословаки. Они посчитали — не без оснований, кстати, что каппелевцы помешают им вывезти то, что они везли, и начальник Одиннадцатой чешской дивизии полковник Крайчий, замещавший отсутствующего Сырового, заявил, что он не допустит взятия Иркутска каппелевцами.

Еще одно предательство! Чехословаки начали подтягивать к передовой линии, уже оставленной красными, бронепоезда и артиллерию. Одолеть эту армаду Войцеховский не мог. К тому же он получил сообщение, что Колчак уже расстрелян.

Войцеховский дал команду обогнуть Иркутск стороной и выходить на байкальский лед — по сути повторил красноярский вариант.

Стрельба в иркутских пригородах затихла. Каппелевцы вновь выстроились в колонну — дело привычное — и, хрипя, оставляя трупы на обочинах дороги, ушли.

Мороз стал давить сильнее. Выпадали дни, когда вода замерзала на лету — ее лили из кружки на снег, но до земли она не долетала, превращалась в неровные ледяные шарики, шарики эти со звоном падали, скакали весело, безмятежно, дыхание из людей вырывалось с трудом, слышался частый кашель. Лица людей были черными от морозных язв. Простые женщины-крестьянки, видевшие каппелевцев в эти дни, плакали — им было жаль погибающих людей.

Байкальский лед был чистым, зеленым, гладким — ни одного снежного заструга, все посдирал свирепый ветер, удержаться на скользкой поверхности было невозможно, ветер сдувал с нее людей, солдаты цеплялись друг за друга, шли по льду косо, будто заваливающиеся столбы, но сдаваться не хотели.

Байкал надо было одолеть во что бы то ни стало — в Мысовской, на другом берегу озера, их ждало спасение. Там — другая территория, не подвластная ни чехам, ни французам с поляками и сербами, ни красным — там власть атамана Семенова.

Первым двигался отряд волжан во главе с молодым генералом Сахаровым — однофамильцем Сахарова-неудачника. Генерал шел впереди, как когда-то (а ведь было это совсем недавно) шел сам Каппель.

Тело Каппеля везли на санях. Конь был плохо подкован — перековать либо подправить ковку было негде, — часто падал, храпел испуганно — он боялся льда, боялся дороги и покойника, боялся ледяных пробок, запечатывающих ноздри, коня вел под уздцы лошадиный знаток Насморков, подбадривал его разными ласковыми словами — знал, что от звука человеческого голоса конь смелеет, делается спокойнее, идет увереннее, но зеленый байкальский лед продолжал пугать коня, он храпел, вращал налитыми кровью глазами, грыз крепкими желтыми зубами края оглоблей, копыта у него по-прежнему разъезжались, он падал.

— Эх, милый, милый, — с огорчением причитал Насморков, который и сам едва держался на ногах.

От берега уже давно отошли — берега, собственно, видно не было, он словно завалился за округлый край земли, слился с морозным воздухом, угас там. До противоположного берега было далеко — идти еще и идти. Может быть, его вообще не было. Серый, в розовых пролежнях воздух был горек, сух, рот открыть нельзя: зу-

бы спаивались от мороза, нижнюю челюсть от верхней не оторвать. Войцеховский ловил себя на мысли, что готов упасть на этот зеленый толстый лед, притиснуться к нему и замереть...

Что тогда будет, Войцеховский знал хорошо — человек никогда не поднимется, обратится в камень, умрет. Падать нельзя, но и идти дальше тоже нельзя, сил нету — наступил предел.

Несколько раз на безжизненном бескрайнем льду попадались широкие лунки — промысловики приходили сюда брать нерпу. Война войной, а жизнь жизнью. Но и нерпы на Байкале, похоже, не было — ни одного кровяного следа... Значит, ушли отсюда промысловики без добычи.

Конь, которого Насморков держал под уздцы, дернул головой, всхрапнул резко и, выдрав повод из рук человека, лег на лед, едва не перевернув сани. Гроб, лежавший в них, сполз к краю саней. Насморков присел на корточки над конем, попросил его тихо, давясь собственным дыханием:

— Милый, вставай! Ну!.. Ну пожалуйста, вставай!

Конь, храпя, лежал на льду.

— Вставай, милый! Ты же погибнешь, дурак! Уж примерз ко льду... Вставай!

Голос у Насморкова хоть и был сиплым, надсаженным, а проклюнулись в нем нежные уговаривающие нотки; конь прядал ушами, храпел, но не поднимался, в глазах его стояли слезы. Похоже, он уже не мог подняться. Минут десять Насморков, ежась от ветра, уговаривал его подняться, потом умолк и печально гладил большую заиндевелую морду с крупными ощеренными зубами. В глазах у Насморкова тоже появились слезы. Он жалел коня.

Отер глаза рукавицей, оглядел людей, столпившихся рядом — они хотели бы помочь, но не знали, как это сделать, — проговорил, с трудом шевеля одеревеневшими губами:

— Все. Отходил конь свое. Конец. — Он стащил с коня хомут, стянул чересседельник, покосился на сани с гробом. — Ну что, братцы, придется тащить сани на себе.

Из заднего ряда — снизу не было видно, кто говорил, — послышался недовольный голос:

— А что, может, гроб с телом — под лед, а? Чтобы и нам с ним не мучаться, и генерала не мучать... А?

У Насморкова задрожало лицо, он выдернул из прохудившейся варежки руку и сжал пальцы в кулак.

— Вот что положено за такие разговоры... Сейчас один раз двину, и сопатка у тебя станет такой же красной, как флаг над городом Иркутском. — Насморков не выдержал, всхлипнул.

Мимо шли люди — усталые, с опущенными головами, опирающиеся на винтовки. Оружия никто не бросал.

Неожиданно около Насморкова остановился усатый плечистый конник с заиндевелым лицом — таким заиндевелым, что непонятно было, как он еще не поморозился. Фамилия этого солдата была Самойлов, история сохранила эту фамилию. Самойлов шел с Каппелем от самой Самары. Он все понял с первого взгляда, вздохнул тяжело и слез со своего маленького, мохнатого, зубастого конька...

Кинул повод Насморкову:

— Запрягай, земляк. Гроб бросать нельзя.

Идти до Мысовской оставалось пятьдесят верст, и многие эти версты не одолеют — просто не хватит сил — кто знает, вдруг не сумеет их одолеть и этот заиндевелый мужик с окающим, дрожащим, будто у мальчишки, голосом.

Насморков склонил перед Самойловым голову:

— Спасибо, земляк!

И вновь заколыхалось бескрайнее зеленое пространство, не имевшее, как казалось людям, ни конца, ни края. Розовые проплешины, недобро сиявшие в сером небе — признак того, что мороз будет еще сильнее, исчезли, вскоре наступила темнота: ночь упала на землю стремительно, как занавес с оборванной веревкой.

Колонна отступающих не остановилась на ночлег — на льду это делать было нельзя, половина колонны тогда останется лежать посреди безбрежного пространст-

ва. Войцеховский, хоть и несведущ был в таких делах, но сообразил, как надо поступать, запретил ночной привал. Люди на ходу жевали, выгребая из карманов шинелей остатки сухарей, зерно, муку, отруби, ссыпали в рот старые, пропахшие патронным маслом крошки, на ходу спали, крепко вцепившись пальцами в локоть товарища, идущего рядом, на ходу оправлялись — все на ходу.

Звенел под ногами лед, черное измученное небо качалось над головами, было слышно, как на далеком, оставленном армией берегу воют волки — пришли поживиться тем, кого не смогли похоронить. Хорошо, у нескольких хозяйственных мужиков оказались с собою заранее припасенные факелы. Слабо потрескивающий на морозе огонь покачивался теперь над головами, освещая лед, не давая ногам угодить в какую-нибудь запорошенную, запечатанную снегом рыбацкую либо звероловную лунку. Надсаженно хрипели глотки, под зеленым глубоким льдом иногда возникали черные тени, неспешно уходили в сторону — то ли байкальские водяные дивились несмети людей, объявившихся вдруг на замерзшем озере, то ли лед имел на глубине сложенные напластования и они рождали такие диковинные тени, то ли происходило что-то еще, непонятное.

Самойлов, оставшись без лошади, быстро захромал, шел теперь, раскачиваясь в обе стороны сразу, опирался на руку Демкина, надорванное дыхание с трудом вырывалось у него изо рта.

— Держись, брат, — подбадривал его солдат Демкин, — осталось совсем немного. Утром, говорят, мы уже будем в Мысовской.

— М-да, — хрипел в ответ Самойлов, — если живы будем...

— Выжить нам, земляк, надо обязательно. Немного ведь осталось. Это надо же... — Демкин удивленно качал головой, — мы с тобой от самой Волги топаем, друг дружку поддерживаем, и сохранилось нас, целых, не полегших, с той поры ноль целых хрен десятых. Это

сколько же мы оставили позади километров? Ежели считать с Волги... А, Самойлов?

Самойлов хрипел в ответ что-то невнятное, цеплялся покрепче пальцами в рукав Демкина, а словоохотливый Демкин, окутываясь паром, все говорил, говорил, кренился вперед корпусом — тяжелая голова у него перевешивала тело. Демкин сопротивлялся этому, шаркал подошвами по льду, морщился, когда ветер швырял ему в лицо жесткую льдистую крупу. Ему казалось, что своими разговорами поддерживает жизнь в Самойлове, себе самом, и как только его голос угаснет, перестанет звучать — тогда все: и сам он упадет на лед, и Самойлов свалится вместе с ним.

— Верст этак... ну, тысчонок семь, наверное, позади осталось... А, земляк? Или того больше — тысяч восемь... А?

В ответ Самойлов вновь окутался клубом пара, из горла у него вырвалось что-то невнятное, заморенное, он подскользнулся и, если бы не Демкин, упал бы.

Колонна каппелевцев упрямо двигалась на восток...

Головной отряд каппелевцев достиг Мысовской на рассвете — в черном небе появилась жемчужная сыпь, растеклась по своду. Стало легче дышать.

Демкин, ступив на твердую землю, послушав, как в Мысовской лают собаки, отер нос рукавом шинели, перекрестился и заплакал. Самойлов тоже заплакал — креститься у него не было сил. Прошептал лишь тихо, давясь морозным воздухом:

— Прости меня, Господи, грешного...

Колонна каппелевцев, скрипя снегом, вползла на берег. Около Самойлова на землю упал небольшой, похожий на недокормленного мальчишку солдатик, зарылся нестриженой головой в снег; ветхая, изношенная до бумажной толщины папаха сорвалась с его головы, отлетела в сторону. Спина у солдатика задергалась, он заныл, заскулил тоненько, по-птичьи, потом простонал, примерзая лицом к насту:

— Неужели дошли, а?

Демкин с гудом выбил из себя дыхание и прохрипел:

— Дошли.

Хотя в то, что они дошли, находятся на своей земле, где в них никто не будет стрелять, он не верил, как еще не верил и в то, что они целы и у них появились шансы на жизнь.

Днем открыли гроб с телом Каппеля. Генерал лежал в грубо сколоченном ящике какой-то усохший, вымерзший, с горестно сжатыми губами.

На лбу у него плотным белым инеем мерцала изморозь. Войцеховский постоял несколько минут у гроба, потом повернулся и, пошатываясь устало, согбенной походкой двинулся прочь. Губы у него шевелились безголосо, в глазах застыла обида — до слез, до крика было жаль, что Каппель не дошел до Мысовской. Они дошли, а Каппель не дошел... Войцеховский прижал ко рту руку в меховой перчатке, плечи у него дрожали.

К генералу приблизился Вырыпаев, козырнул:

— Ваше высокопревосходительство, где будем хоронить Владимира Оскаровича?

Войцеховский долго молчал — не мог справиться с собой.

— Я считаю — в Чите. А вы что скажете, Василий Осипович?

— Я тоже считаю, что в Чите. — Сощурив глаза, Вырыпаев оглядел широкие приземистые избы Мысовской, хотел было добавить, что если белые останутся в Чите, то лучшей могилы для Каппеля не найти, но как быть, если белые в Чите не задержатся, потом подумал, что такой вопрос может оказаться оскорбительным для Войцеховского, и промолчал.

Невдалеке, за утонувшими в сугробах домами послышался звон колокольчиков. На несколько мгновений звон умолк, потом возник вновь. Из-за домов вылетела лихая тройка, расцвеченная лентами.

Впереди с вожжами в руках сидел удалой парень в забайкальской казачьей форме с желтыми лампасами и погонами, на которых металлом были вышиты две буквы «АС», что означало «Атаман Семенов», сзади красовалась молодая пара: черноглазая гуранка со смуглым лицом и юный офицерик с погонами подпрапорщика — редкое звание, которое дают только в условиях фронта. Они решили соединить свои жизни в это непростое время.

И такой красотой, бесшабашностью, чем-то непобедимым веяло от этой пары, что сгорбленный Вырыпаев невольно выпрямился, ствердил губы.

Офицерик, увидев генерала, приподнялся и четко, как на параде, козырнул. Войцеховский ответил. Следом ответил Вырыпаев. Смерть смертью, печали печалями, а жизнь жизнью... Жизнь брала свое.

— Когда начнем движение в Читу, Сергей Николаевич? — спросил Вырыпаев.

— Чем раньше — тем лучше... В Мысовской нет условий для отдыха солдат. А в Чите нас ждут хорошие теплые казармы.

Гроб, в котором лежал генерал Каппель, вместе с санями затащили в сарай, закрыли на замок.

Чистый зеленый лед Байкала перечеркнула длинная темная полоса — это была топанина, оставленная человеческими ногами, след страданий. Вырыпаев вышел на берег, тронул лед носком катанка, подумал, что в той точке, где темная полоса наползает на землю, надо поставить деревянный крест. В память о тех, кто не дошел...

И это надо сделать в ближайшее время. Внутри у него возникла боль, надавила на ключицы, сердце забилось громко, отозвалось в ушах тревожным звоном. Вырыпаев приложил к глазам платок, промокнул влагу, прошептал смято, почти беззвучно, гася в себе боль:

— Эх, Владимир Оскарович, Владимир Оскарович...

Он знал: сколько ни будет гасить в себе боль, она все равно не пройдет. Сколько будет жить Вырыпаев, столько в нем будет жить и эта боль.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДЕНЬ АНГЕЛА

Похоронили Каппеля в Чите. Атаман Семенов — Верховный правитель России, этот почетный титул Колчак отписал ему — встал на колени перед артиллерийским лафетом, на котором покоился гроб, понурил голову.

Когда атаман покинул Читу — сдержать красные части он не сумел, то каппелевцы не захотели оставлять прах своего командира в городе, понимая, что красные сровняют могилу с землей, — выкопали гроб и увезли его с собой в Китай.

Там Каппеля похоронили вновь — в Харбине, где осел основной костяк нашей дальневосточной эмиграции, — в ограде военной церкви Иверской Божьей Матери, около алтарной части. На могилу поставили большой крест из черного полированного мрамора. У подножия креста был положен кованый терновый венец, надпись, сделанная на могиле, была короткой, как и сама жизнь Каппеля: «Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель».

В 1945 году Китай был освобожден советскими войсками от японцев, на могилу Каппеля специально приехал с большим букетом цветов маршал Мерецков — отдать должное памяти талантливого генерала.

А через десять лет, в 1955 году, крест, установленный на могиле Каппеля, был снесен по требованию советского консула.

Что стало с детьми генерала — неизвестно. Последнее место их пребывания отмечено в Иркутске, они жили вместе с дедом в старом купеческом доме. Скорее всего — ушли в Китай. Ольга Сергеевна так и не нашлась, следы ее потерялись, наверняка она была расстреляна.

Полковник Вырыпаев благополучно дожил до старости, о Каппеле написал книгу воспоминаний. Книгу эту достать мне не удалось, зато в руки мои, благодаря сотруднице Ленинки — главной российской библиотеки — Елены Борисовны Горбуновой, попала другая книга, изданная «Русским Домом в Мельбурне» в 1967 году. Это книга рассказов тех, кто знал Каппеля. Думаю, другой такой книги в России нет. И вообще, материалов о Каппеле очень мало. Даже те сведения, которые находятся в Интернете, ничего не дали: они оказались противоречивыми, подчас неверными, спорящими друг с другом, ориентироваться на них — значит, заранее обречь себя на ложь.

Книга, с которой мне помогла познакомиться Е.Б. Горбунова, раньше находилась в библиотеке Министерства обороны (судя по штампу, стоящему на титульном листе), в тамошнем спецхране, в послеперестроечный период была передана в Ленинку. Самое интересное — на первой странице книги, в нижнем правом углу, выведено карандашом «Баратовъ». Скорее всего, книга эта принадлежала семейству Баратова, генерала, очень успешно командовавшего в годы Первой мировой войны русскими войсками в Персии. Это к нему в свое время направлялся Колчак, чтобы воевать с немцами, но вместо Персии он по воле англичан отчутился в Китае, откуда уже и был переправлен в Россию.

Чем ценна оказалась эта книга? В ней не было никакого вранья — лишь факты, факты и факты, голая, как говорится, правда, и ничего, кроме правды. Мне только оставалось документальные сведения, почерпнутые из

этой книги, облачить в соответствующую словесную форму.

Могилы у генерала Каппеля, благодаря стараниям наших современников, нет, но те, кто знает это имя (соратников по Ледовому Сибирскому походу в живых уже не осталось никого, последнее деды, такие как Насморков, Бойченко и Демкин, давно умерли), двадцать восьмого июля каждого года поминают воина Владимира... Двадцать восьмое июля — это день ангела Владимира Каппеля.

Сейчас, по прошествии многих десятков лет, очень важно, чтобы люди, оказавшиеся втянутыми в чудовищную Гражданскую войну, были одинаково признаны Родиной. Не они виноваты в этой бойне — виноваты политики, имена которых не хочу называть, они без всяких напоминаний известны всем. Те же, кто дрался на фронтах Гражданской — обычные солдаты (даже в генеральских чинах), совсем не виноваты в том, что по России вначале двадцатого века прокатилась такая лютая война.

Ни одна из стран не видела такой чудовищной, такой разрушительной войны — и слава Богу. А солдаты — что с одной стороны, что со стороны другой — преследовали благую цель: они хотели, чтобы Россия была лучше, чтобы народу жилось легче. Только ничего из этого не получилось. А люди погибли...

Гражданская война вырубила цвет нашей нации. Самых достойных. Те, кто по счастливой случайности не попал в эту молотилку, через несколько лет эмигрировали из России.

И последнее. Несколько лет назад казаки приехали на станцию Урей — бывший разъезд, где из румынского вагона-лазарета был вынесен мертвый Каппель, и установили там крест. В память о выдающемся генерале.

КОММЕНТАРИИ

Валерий Дмитриевич Поволяев родился в 1940 году на Дальнем Востоке. Окончил художественный факультет Московского текстильного института и сценарный факультет ВГИКа. Автор пятидесяти с лишним книг, в том числе романов «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Царский угодник», «Верховный правитель», «Атаман Семёнов» и сборников повестей и рассказов «Не убей меньшего брата», «Коррида в пятницу вечером», «Тихий ветер памяти», «Какого цвета звезды в Севилье», «Кто слышал крик аиста», «Лисица на пороге» и др.

Произведения Валерия Поволяева переведены на многие иностранные языки. Он является лауреатом нескольких литературных премий. Неоднократно бывал в различных горячих точках. В. Д. Поволяев — действительный член Русского географического общества, член-кореспондент Международной академии информатизации.

Роман «Если суждено погибнуть» — новое произведение писателя.

[1] *Монитор* — первый башенный броненосный корабль, придуманный в 1862 г. американцем Эриксоном назывался «Монитор»; впоследствии мониторами стали называть все суда этого типа.

[2] *...медаль... за Плевну.* — В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. бои за Плевну продолжались четыре с половиной месяца, после трех неудачных попыток штурма Плевна подверглась осаде, в конце концов армия Османа-паши (до 40 тыс. человек, 77 орудий) сложила оружие. Русская армия потеряла до 40 тыс. убитыми и ранеными.

[3] *Колонель* (англ. — colonel) — полковник.

[4] *Камо грядеше* — куда идете.

[5] *Верещагин Василий Васильевич* (1842–1904) — русский живописец. Закончил Морской кадетский корпус, пробыв на службе не более месяца, вышел в отставку и поступил в Академию художеств. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. состоял при генералах М. Д. Скобелеве и И.В. Гурко, был ранен; в битве за Плевну и во время кавалерийского набега на Адрианополь даже исполнял обязанности начальника штаба. Погиб 31 марта 1904 г. в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск».

[6] *...в селе... Мотовилиха.* — Теперь район города Перми.

[7] *Получил Владимира с мечами...* — С 1855 г. ко всем орденам, жалуемым за военные подвиги (кроме ордена Св. Георгия), присоединялись два накрест лежащие меча. Эти ордена не предназначались для награждения гражданских лиц, за исключением состоящих при войсках военных врачей. Получившие орден св. Владимира какой бы то ни было степени приобретали потомственное дворянство.

[8] *Ставрополь-Волжский* — Ставрополь — с 1964 г. город Тольятти.

[9] *Муравьев Михаил Артемьевич* (1880–1918) — подполковник, перешел на сторону советской власти. В 1917 г. во время мятежа Керенского и Краснова — начальник обороны Петрограда; в 1918 г. — главнокомандующий войсками Восточного фронта. В июле 1918 г., изменив Советам, поднял мятеж в Симбирске, его отряд (около 1000 человек) ликвидирован Красной Армией. Убит при аресте.

[10] *Инфлюэнца* — устаревшее название гриппа.

[11] *Гайда Радола* (Рудольф Гейдль) (1892–1948) — в Первую мировую войну служил в австро-венгерской армии, с 1917 г. — в России, командовал ротой, батальоном, полком, дивизией в чехословацких частях. Один из организаторов мятежа Чехословацкого корпуса. После Гражданской войны — в чехословацкой армии. В 1939–1945 гг. сотрудничал с фашистами, казнен по приговору чехословацкого трибунала.

[12] *Гуль Роман Борисович* (1896–1986) — рядовым бойцом корниловского офицерского ударного полка участвовал в Ледяном походе. Эмигрировал в 1919 г. Известен как автор книг о Белом движении «Ледяной поход. С Корниловым», мемуарной трилогии «Я унес Россию. Апология эмиграции» и многих других.

[13] *Антонов огонь* — или госпитальный антонов огонь — гангрена.

[14] *Вацетис Иоаким Иоакимович* (1873–1938) — в Гражданскую войну командовал Латышским полком, а затем Латышской стрелковой дивизией, Восточным фронтом. В 1918–1919 гг. — главнокомандующий Вооруженными силами Республики.

[15] *...вместе с дипломом... приобретал и личное дворянство.* — Личное дворянство приобреталось при получении на действительной военной службе чина обер-офицера, а на гражданской — чина 9-го класса или при отставке — чина полковника, капитана 1-го ранга или действительного статского советника.

[16] *Блюхер Василий Константинович* (1890–1938) — летом 1918 г. руководил походом Уральской армии, за что награжден орденом Красного Знамени № 1. В 1921–1922 гг. — военный министр, главком Народно-революционной армии Дальневосточной республики.

[17] *Эйдеман Роберт Петрович* (1895–1937) — в Гражданскую войну командовал дивизией, армией, группой войск на Южном и Юго-Западном фронтах.

[18] *Лацис Мартын Иванович (Судрабс Ян Фридрихович)* (1888–1938) — в октябре 1917 г. — член ВРК, с 1918 г. — член коллегии ВЧК, в 1919–1921 гг. — председатель Всеукраинского ЧК.

[19] *Кун Бела* (1886–1939) — один из руководителей и организаторов компартии Венгрии. Участвовал в обороне Петрограда, подавлении левоэсеровского мятежа 1918 г. в Москве, член РВС Южного фронта.

[20] *Смилга Ивар Тенисович* (1892–1938) — член РВС ряда фронтов, начальник Политуправления РВСР.

[21] *Зоф Вячеслав Иванович* (1889–1937) — в 1919–1920 гг. член РВС Балтийского флота.

[22] *Лашевич Михаил Михайлович* (1884–1928) — в 1918 г. председатель Сибревкома.

[23] *Не рань... Фанни Каплан Ленина...* — 30 августа 1918 г. Ф.Е. Каплан (Ройтман) совершила покушение на В.И. Ульянова, которое послужило поводом для массовых репрессий. Существуют версии, утверждающие, что она не могла ранить Ленина; чтобы скрыть этот факт, Каплан без всякого следствия была спешно расстреляна.

[24] *Гай Гая Дмитриевич* (Гайк Бжишкян ЕЖИШКЯН) (1887–1937) — участник Первой мировой войны, прапорщик, командир Красной Армии. В 1918 г. во главе сформированных им частей вел борьбу против белочехов и дутовцев. Автор книги «Первый удар по Колчаку». Репрессирован, расстрелян, реабилитирован посмертно.

[25] *Сыровой* — Сыровы Ян (1888–1971) — чех, в сентябре 1914 г. вступил в добровольческую Чешскую дружину (в составе Русской армии на Юго-Западном фронте). Во время мятежа Чехословацкого корпуса (май 1918 г.) командовал группировкой чехословацких и эсеровско-белогвардейских войск. В июне 1919 г. подавил выступление солдат корпуса (Иркутский бунт 1919 г.).

[26] *Войцеховский Сергей Николаевич* (1883–1951) — генерал-лейтенант. В 1917–1918 гг. начальник штаба 1-й чехословацкой дивизии, один из организаторов мятежа Чехословацкого корпуса. В 1919 г. командовал 2-м Уфимским корпусом, Уфимской группой войск, с июля — командующий 2-й колчаковской армией. В 1920 г. возглавил остатки колчаковских войск при их отступлении за Байкал, затем служил у Семенова. Эмигрировал в Чехословакию.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1883 г. — в Тульской губернии, в г. Беляеве родился Владимир Оскарович Каппель.

1906 г. — из Польши в пригород Перми, в с. Мотовилиху переведен 54-й драгунский Новомиргородский полк, где в чине корнета служил Каппель. Полк переименован в 17-й уланский Новомиргородский.

1907 г. — В.О. Каппель женился на дочери начальника Пушечного завода, расположенного в Мотовилихе, Ольге Сергеевне Строльман.

1909 г. — у супругов Каппелей родилась дочь Татьяна.

1915 г. — родился сын Кирилл.

1918 г., май — в Самаре был сформирован отряд Комуча, который возглавил подполковник Генерального штаба В.О. Каппель.

1918 г. — В.О. Каппелю присвоено звание генерал-майора.

1919 г. — В.О. Каппелю присвоено звание генерал-лейтенанта.

1919 г., ноябрь — В.О. Каппель назначен Верховным главнокомандующим колчаковской армии.

1920 г., 26 января, 11 час. 50 мин. утра — В.О. Каппеля не стало — умер от простуды и ран во время Сибирского Ледового похода недалеко от ст. Урей.

Похоронен был вначале в Чите, потом тело было перевезено в Харбин (Китай).

1955 г. — по просьбе советского консула снесен памятник В.О. Каппелю на его могиле в ограде военной церкви Иверской Божьей Матери (Харбин).

Ежегодно, 28 июля — день ангела Владимира, в который поминают погибшего воина В.О. Каппеля.

СОДЕРЖАНИЕ

Валерий Поволяев. ЕСЛИ СУЖДЕНО ПОГИБНУТЬ.
Роман 7
Комментарии 523
Хронологическая таблица 526